Дело чести

Быт русских офицеров

СЕКРЕТЫ ИДЕАЛЬНОГО МУЖЧИНЫ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Офицерство в царской России всегда было особой «кастой», отличающейся как от солдат, так и от гражданских людей. Отстраненность от общества объяснялась, в частности, и тем, что офицеры не имели права присоединяться к политическим партиям, а должны были на протяжении всей жизни руководствоваться лишь принципами долга и чести. Где офицеры конца XIX – начала XX века проводили время, когда могли жениться и как защищали свою честь? Обо всем этом вы узнаете из мемуаров русских офицеров XIX века.

- Дело чести. Быт русских офицеров
  - Андреев Николай Иванович
  - Федор Николаевич Глинка
  - Барон Торнау Федор Федорович
  - Дмитрий Ерофеевич Остен-Сакен
  - Александр Васильевич Чичерин
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24

- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68

- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112

- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156

- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177

Дело чести. Быт русских офицеров
сост. Вероника Богданова

Андреев Николай Иванович (1792–1870)
Воспоминания офицера 50-го егерского полка

Учеба и формирование

Отец мой, служивший во времена Великой Екатерины в драгунском полку, оставил службу с чином подпоручика и по отставке определился в статскую службу в городе Пскове, где был любим бывшими наместниками г. Беклешовым, Ламсдорфом и Пилем. Женился он в 1784 году июня 17-го на дочери дворянина Мягкова, Елене Васильевне, которой тогда было не более 14 лет. Позднее отец мой перешел на службу той же губернии в уездный город Порхов, где купил себе дом на берегу реки Шелони и где я родился в 1792 году апреля 5-го числа.

В 1798 году старший мой брат Василий был определен в Военно-сиротский дом или корпус, который был учрежден императором Павлом[1]. Заведение сие было любимым у Государя. В нем был комплект двухсот и сверхкомплектных до 300 человек. При сем же заведении были солдатская рота и отделение девиц около ста. Директором был назначен любимец Государя, бывший в Гатчине майором, что впоследствии генерал-майор, кавалер и командир, Петр Евстафьевич Веймарн. Корпусными офицерами были дети Веймарна, Александр, Владимир и Иван Петровичи; солдатского же отделения прежде капитан Нолькен, а впоследствии майор Книпер. Директрисою у девиц жена директора. Следовательно, вся власть была у одного лица.

Вот настал и мой час. В декабре 1802 года, нарядив меня и брата Нила в зеленые сюртуки со стеклянными пуговицами, в средине коих были из фольги звездочки, и в тафтяные высокие стёганые шапки на вате, в конце коих находились большие пуговицы, обернули нас в заячьи шубы, крытые нанкой. Сборы в дорогу в старину были большие: за полгода говорили, что нужно ехать к Рождеству, за несколько недель соседи прощались, сбирали экипажи, служили молебны, повозки были за неделю у крыльца. Люди, Матвей и Минка, ходили взад и вперед в длинных сюртуках, подпоясанные кушаками. За три дня изготовили дорожные кушанья. Настал, наконец, час разлуки – дворня все до

единого, не исключая малолетних у матерей на руках, собралась; плач и рыдание сопровождали наш поезд. Не буду описывать дорогу; помню только, что мы везде останавливались в крестьянских избах для ночлега и покормки лошадей. Тогда харчевен или постоялых дворов было мало.

По приезде нашем в Петербург мы остановились на квартире на Песках, близ Рождества, у кофишенка[2] Щербаева. Праздник Рождества Христова прошел, настал новый 1803-й год; помню, что отец мой, по знакомству со стариком Брызгаловым, служившим в Михайловском замке (это ныне Инженерное училище), имел случай видеть из оного замка великолепный фейерверк, данный на Царицыном лугу в столетие С.-Петербурга. Зрелище было великолепно; но я по молодости лет ничего не мог заметить особенного.

Меня с братом Нилом отвезли вскоре в Корпус, тот же, где был старший наш брат, и родители наши вскоре уехали в свою деревню. Первое время в Корпусе мне было чрезвычайно скучно и единообразно. Нас приняли сверхкомплекту, надели толстые солдатские мундиры; но по просьбе родителей наших мы спали с комплектными, у которых как мундиры, так и все содержание было гораздо лучше сверхкомплектных, у коих было все солдатское.

Обмундировка наша была следующая: поярковая[3] треугольная шляпа с шерстяным кордончиком, мундир довольно длинный, зеленый с красным высоким воротником, голова напудрена, сзади заплетены с боков маленькие косички в три прядка, а посредине коса с подкосником, обернутая черной лентой, белая портупея, застегнутая поперек портами, спереди оной медная пряжка, белые суконные исподницы, башмаки тупоносые с медной пуговицей. Нас поместили в 1-й класс, потому что мы знали только читать по-русски, более ничего. Как теперь помню, что в классе нашем были два брата Ганибал, Федор и Иван, весьма черные лицом и телом, с курчавыми черными волосами и большими белыми глазами и зубами. С нами были и солдатские дети в одном же классе. Учителями нашими были солдатские воспитанники из музыкантов.

Директор наш любил удовольствия; для своих детей, кадетов и девиц он учредил домашний театр у себя на дому на чердаке, в коем играли кадеты и его сыновья, они же и женские роли: из них был недурен кадет в женской роли Лямин, который впоследствии взят цесаревичем в конную гвардию юнкером. Костюмы доставались из малого театра племянником начальника театра Казаса, Албертом. Иногда сбирались танцевать у директора, и кадеты играли в бильярд. Могли везде кадеты быть в

партикулярном платье и всегда по просьбе были отпускаемы домой, часто и не в праздник, девицам тоже был отпуск из Корпуса с родственниками, а часто и со знакомыми… Со мной были в одной спальне племянники директора Александр, Федор и Петр; последний ныне начальник главного штаба и генерал-адъютант. Учителя наши были неважные, и на успехи кадет никто не обращал внимания – до того, что некоторые были в классах, а другие играли на дворе в мяч и чехарду. В 1805 году вышел в отставку наш директор с сыновьями, купив себе хорошее имение в Ямбурском уезде. По увольнении директора Веймарна многие очень сожалели, что лишились отца: так его называли кадеты. После него преобразился совершенно Корпус, отделение девиц переведено в другой дом, солдатская рота в Рамбов[4], уничтожены сверхкомплектные, все были разделены на две роты. Директором назначен полковник Ген, офицеры даны из армии и гренадеров. Ротными командирами назначили двух капитанов, Эбергарда и Свечина, они оба были строги до чрезвычайности. Эбергард, чахоточный, сухощавый и никогда не улыбался, сек кадет без пощады и, кажется, сам наслаждался, до того, что многих полумертвых выносили в лазарет, а г-н Свечин не уступал злостью и варварством Эбергарду. Они изобрели, чтобы и самые розги были по форме, размачивались и парились в горячей воде. Секли ими на скамейках солдаты, и нередко давали до 700 розог и более. Жестокость сих варваров известна была многим. Дали лучших учителей, перестроили дом, и Корпус принял один вид с прочими корпусами.

Гатчинский военно-сиротский дом, утвержденный в 1794 году цесаревичем Павлом Петровичем (известный также как Павловский кадетский корпус)

Я забыл сказать, что с 1805 года уничтожили на голове пудру и косу, а с 1807 года дали кивера и портупею чрез плечо. В сем же году взяли от нас лучших офицеров Клугина и Галченкова в лейб-милицию; но она, возвратясь из Прусского похода, переформирована в Финляндский полк. В сем же году сформирован лейб-уланский полк, из батальона гвардейских егерей сформирован лейб-егерский полк. Директор наш Федор Иванович Ген приказом по Корпусу установил, чтобы отпускаемые в праздник кадеты никак бы не ходили к параду, что бывал у дворца каждое воскресенье; но как обыкновенно всякое приказание впоследствии времени забывается, так же и сие. Я был отпускаем со двора к почтеннейшему семейству Станищевых, куда каждый праздник, по милости, можно назвать, сих благодетелей, я с братом ходил; нас любили и ласкали как ближайших родных. Я утром вышел погулять и, встретясь с кадетом нашего корпуса Зеничем, условился идти в Эрмитаж, куда свободно нас пускали по билетам, которые легко можно было достать, и проходя мимо дворца, видим развод и Государя. Как же пройти и не взглянуть? Мы остановились, но что же? Не прошло пяти минут, как подошел к нам директор, спросил наши фамилии и велел идти в Корпус; всякий может вообразить, каким страхом мы были поражены. И, отойдя от дворца, не рассудили

мы вернуться в Корпус, а пошли каждый по своим квартирам и явились в Корпус к вечеру со всеми вместе. На другой день в обед наш пришел директор и спросил нас; мы встали, извиняясь, что ненарочно, но, проходя мимо, остановились. На сие не получили никакого возражения, а вечером фельдфебель Ходовский показал нам письменный приказ директора, в коем было сказано: «кадеты 2-й роты Андреев и Зенич ослушались приказа и были на параде найдены г. директором, за каковое ослушание при собрании всей роты наказать их розгами». Я сознаюсь, ночь всю провел без сна. В 9 часов пошли в классы. Куда тут науки и уроки! Меня не помню, что спросили, я не отвечал, хотя по обыкновению кадеты мне подсказывали и давали знать знаками; но я был растерян и за сие поставлен среди класса на колени. В это время входит инспектор Шумахер. Увидев меня, повернулся и сказал: «Экой болван!» Но я был равнодушен и думал, что меня будут терзать. Пришла пора, вышли из класса, построили роту, повели обедать. Разумеется, я до обеда не дотрагивался, кончился обед, начали выносить лишние столы (ибо залы у нас не было, потому что дом перестраивался наш, а мы жили в наемном у купца Кочерова, комнаты были малы, рота поместиться не могла), привели всю роту, поставили скамью длинную, явились палачи-солдаты с ужасно длинными мокрыми розгами, и за ними не замедлил прийти главный капитан Свечин; вызвав меня и Зенича на средину, велел прочитать указ. Куря сигарку, он мигнул нам, и я первый повалился на скамью. Не помню, что я чувствовал, пожар, огонь, боль, но, к счастью, оробев, я мало подавал голосу; меня кончили и сняли. Но ужас был Зеничу – несчастный кричал во всю глотку, и его, как имеющего хороший голос, по словам капитана, секли без пощады; считавшие по обыкновению удары прочие кадеты сказали, что мне 80, а Зеничу 533 удара были наградою за любопытство развода.

Мне шел уже 17-й год, но успехи по наукам очень слабы: я был еще во 2-м классе. Я думал: что делать? Офицером буду нескоро, и очень нескоро, разве чрез 5 или 6 лет. Как быть? Блеснула мне мысль: буду проситься из Корпуса в отставку. Решил и написал батюшке о моей болезни и прочее, выдумал многое. Отец мой рассудил и разрешил мне выйти, написав благодетелю моему Станищеву, чтобы употребил все средства меня освободить; а тот адресовался к знакомому ему адъютанту старшему цесаревича Лагоде, и я чрез неделю оставил ненавистный мне Корпус, где я провел семь лет.

Вот я на свободе и нимало не помышляю, что я буду и какую теперь разыгрываю роль. Нанял я недорого подводу и приехал к отцу. Первое его слово: что ты и чем будешь заниматься? Куда

думаешь вступить в службу? Я еще ничего не обдумывал, но отвечал: «Как вам будет угодно!» – «Хорошо, живи дома, и что из тебя выйдет». – Я же с первого шагу так соскучился, что не знал, что делать; и наконец, блеснула мысль благая: я прошу отца отпустить меня в Петербург, где я сам определюсь в дворянский полк, называемый тогда волонтерным, из дворян устроенный 1807 года, в коем были дети, старики и отцы с сыновьями. Он состоял при 2-м Кадетском корпусе[5]. Отец мой одобрил мой выбор, благословил и к новому 1810 году отправил меня, дав в дорогу 50 рублей ассигнациями.

По приезде в Петербург, имея свидетельство о дворянстве губернского предводителя, я чрез неделю был принят в Корпус волонтером во 2-й батальон. Явившись к батальонному командиру Энгельгарду, я сознался ему, что был в корпусе Военно-сиротском, оттуда вышел по болезни, и учился математике, знаю читать и писать по-французски и по-немецки, географии хорошо (это я не прибавил, потому что любил сию науку), историю, рисовать, ну словом, что меня учили. Я был принят милостиво и окружен как воспитанный хорошо. Буду офицером чрез 6 месяцев! Я занялся фронтом[6], в классы не ходил, потому что учились только те, кто не знал читать и писать по-русски и первых четырех правил арифметики. Я уже был в общем мнении профессор, хотя правду сказать только то и знал, чему учили других. Фронт я понял скоро и дожидался выпуску, но, увы, тщетны наши надежды! Цесаревич Константин Павлович, узнав, что гг. батальонные командиры берут деньги с кадет и выпускают их чрез два месяца, имея их своими пансионерами и на своем столе, берут с них по 1200 рублей и более, запретил всех прежде года выпускать офицерами. Я должен был оставаться на год, но меня произвели унтер-офицером. В это время определены были в один со мной Корпус и меньшие мои братья Александр и Петр. Житье мне было превосходное против Военно-сиротского: свобода и без классов, стол изрядный. В июне пошли кадеты, в том числе и наш полк, в Петергоф на практический поход. Довольно было приятно, мы были на маневрах с гвардией, наш батальон поместили в Аглицком саду во дворце. Ученье, частые смотры императора Александра и разводы каждый день. Цесаревич любил наш Корпус. Вскоре батальонные командиры были подполковники и полковники с орденами на шее Св. Анны и Владимира; награды частые и щедрые сыпались им. Дали полкового командира, полковника из свиты, Куруту, который был только во фронте командир, а всегда был при цесаревиче, а внутренне распоряжались батальонные командиры. После похода цесаревич представил 8 человек в гвардию, подпоручиками

фельдфебелей и прапорщиками унтер-офицеров; конечно, последние были пансионеры батальонных начальников. Нашей 5-й роты фельдфебель А. Арбузов был выпущен в лейб-егерский полк подпоручиком, а пансионер Михайло Александрович Корсаков – в Преображенский прапорщиком. Первый – теперь командир гвардейского корпуса и генерал-адъютант.

Приближалась осень. В сентябре вызывали желающих в кавалерию. Разумеется, я, пробыв 8 лет в Корпусе, объявил желание, которое вскоре назначение переменилось. Из прежних охотников в кавалерию спросили желающих в пехоту в новоформированную дивизию 27-ю. Я от того не прочь. Чрез неделю свели нас, охотников, к цесаревичу в Мраморный дворец, а он к Государю в Зимний, во Владимирскую залу. Царь нас поздравил и велел немедля экипировать, что исполнено было с величайшею скоростью на казенный счет; но как? нитяные кутасы[7], шарф и темляк[8], эполеты медные[9] и сукно кадетское, но и за то слава богу и царю! Я не имел ни гроша, из дому получить не надеялся, что после оказалось справедливо. Я был назначен в 50-й егерский полк 27-й дивизии. Описывать ли восторг и чувство старого кадета, когда я надевал шпагу? Из разных корпусов 100 человек представлены мы были к Государю, который, осмотрев нас, просил служить хорошо, и на другой же день нас выслали из Петербурга, выдав прогоны в Москву. Я, не получив отпуска (ибо никого не отпускали), самовольно заехал к батюшке и, пробыв у него дня три, поехал с ним к дяде Беклешову проститься с сестрами. Через два дня я был уже к дороге к Москве. Батюшка дал мне 150, а дядя 250 рублей на шарф серебряный[10], как он мне тогда сказал. Я имел 400 рублей ассигнациями. Вот все мое богатство было: жить до трети года. Нужно было сшить платье получше. Но все бог справил.

По приезде в Москву явился я к шефу полка (они тогда в каждом полку были) полковнику Николаю Гавриловичу Назимову, который обласкал меня, сделал батальонным адъютантом и велел всегда у него обедать и пить чай. С сего времени до отставки моей из службы сей добрейший человек мне был вместо отца и был моим благодетелем во многих случаях. Упокой Господь его душу! Он умер генерал-лейтенантом в 1828 году в Тобольске комендантом. Я выпущен был 1811 года, в октябре. Мне отвели квартиру в Спасских казармах близ Сухаревой башни, где и полк наш был расположен. Я первый из офицеров явился, после меня из корпусных 2-го Постников и нашего Девянин явились. Формировка полка началась из 3 рот Московского гарнизонного полка[11]. Люди были не хуже гвардейских солдат, иные и лучше[12]; но офицеров несколько,

Боже упаси, которые впоследствии все из полка вышли. В наш полк пришла еще гарнизона Уральского рота с майором Тихоновским и тремя офицерами. Майор сей служил с 1812 года у нас, был добрый человек. После поступили рекруты, и мы к новому 1812 году были сформированы.

Москву я описывать не намерен; да по молодости и ветрености моей замечаний не делал, и занятия мои по службе во весь день того не дозволяли. Я имел свободный один вечер, обыкновенно занимался ежедневно: утром из рот соберут к разводу, я рассчитаю, командую разводом, в 11 часов еду за паролем и приказанием к коменданту в Кремль, оттуда, возвратясь, занимаюсь у полковника, у него же и обедаю, в пять часов вечер же мой. Знакомых я никого не имел, исключая почти всей дивизии офицеров, где мы часто встречались в кофейной у Грека или на бегу, что я очень любил смотреть. Вечером были в своей компании или катались по городу. Словом, жизнь моя в Москве была очень единообразна. Дивизия наша была готова. Командовал ею генерал Неверовской, почтеннейший, добрейший и храбрейший; бригадные наши были 1-й Ставицкой, флигель-адъютант, полковник, 2-й Александр Яковлевич Княжнин, полковник и нашей 3-й флигель-адъютант полковник Воейков. Дивизия одета была превосходно, люди отличные, корпус офицеров прекрасный. Государь прислал осмотреть и по донесении инспектора полковника Семеновского полка Лихарева дивизионный начальник получил чин генерал-лейтенанта[13].

В марте-месяце 1812 года мы выступили из Москвы, вся дивизия, и расположились в ближних городах Московской губернии.

Полк наш назначен квартировать в Звенигороде, а наш батальон в Воскресенске[14], заштатном городе, в коем храм, построенный патриархом Никоном по модели Иерусалимского. Квартиры были для нас и солдат очень хорошие, примечательного там, кроме храма, ничего не было, я говел в нем и встречал первый день Пасхи. Храм великолепный, в нем было еще при мне 28 приделов, один главный большой на средине и с боков, стены круглые, похоже на театр, с тою разницею, что галереи внутри храма и за ними приделы. В средине главной церкви большая часовня, разделена на два отделения, в последнем стоит плащаница и освещена свечами и лампадами, сбоку другой стороны еще часовня, гораздо меньше, в ней деревянное изображение Христа Спасителя во весь рост в терновом венке, сидящего на камне в темнице. Галереи в церкви около приделов в три яруса; в главном приделе с правой стороны гора Голгофа, на ней ежегодно бывает напоминовение снятия со

креста. С одной из галерей с правой стороны есть вход на колокольню, которая довольно обширна. Оттуда видна деревня Иуды и Вифлеем[15], находящийся от монастыря в ½ версты; дорога к нему обсажена березками. В Вифлееме небольшая церковь поставлена на пригорке, строение каменное, еще цел небольшой дом патриарха Никона очень простой работы, без всяких украшений[16]. В монастыре тогда было не более четырех иеромонахов и всей братии с прислугою до 20 человек; при мне даже не было архимандрита, только один строитель. Монастырь очень небогат, и видно, что мало бывает посетителей и пожертвований, хотя оный недалеко от столицы, в 63 верстах, которая издревле славилась подаяниями и приношениями в церкви[17]. Там мощей никаких нет. Жаль очень, что если сие великолепное здание и священное для христиан упадет; не знаю, в каком оно теперь виде. Монастырь сей построен в 1 версте от заштатного городка, ныне местечка Воскресенска, в коем строение деревянное, одна церковь, жители – купцы и мещане. В окружности оного деревни экономически очень богатые, крестьяне все – староверы разных сект.

Красное и Смоленск

Апреля 11-го дали нам приказ из полкового штаба, чтобы сбираться к полку в Звенигород, оттуда неизвестно куда поход. Вот полк собрался в Звенигород. Сей городок местом положения очень приятен, со множеством гор и холмов. Городничий – старик-весельчак и проказник, к тому же хлебосол и псовый охотник. Недолго пробыли мы в штабе, выстроился полк, отслужили молебен, и нам объявили поход в Гродненскую губернию, в город Новогрудок, на постоянные квартиры. Я постичь не могу, как мало знали мы и начальники наши, которые имели в Москве и Петербурге родство и связи; но никто из них и мы тоже не знали, что идем на кровавую брань, тогда как объявили поход нам на постоянные квартиры. Наполеон, собрав полки всей Европы, был уже в Дрездене, окруженный всеми монархами Европы, исключая нашего, английского, шведского и турецкого, и уже шел против России!

Полковник, подозвав меня, спросил, имею ли я лошадь, как необходимость адъютанта. Я ему сказал, что лошади нет, да и денег одна полтина серебром, он тотчас дал мне свою лошадь с седлом и сто рублей в счет будущего жалованья. Вот я снаряжен совсем, и полк выступил. Что это были за полки нашей дивизии, то таких теперь не выберешь из целого корпуса гренадеров[18].

Мы проходили Можайск, Гжатскую пристань, Вязьму, Смоленск и частью Минской губернии, не воображая, что чрез два месяца будем на сей кровавой дороге, устланной трупами человеков! Поход был единообразный, довольно приятный. Когда вступили в Белоруссию и Литву, все для меня было ново, все занимало, и наконец достигли мы места назначения, Новогрудка. По прибытии туда отправили квартирьеров занять квартиры для двух батальонов, 3-й же батальон на походе в Могилевской губернии был отделен от нас, отошел с обозом, сдан был майору на законном основании и пошел в крепость Бобруйск, как нам сказали, будто для работы, а при полку были 1-й и 3-й батальоны. В ночь прихода нашего приехал курьер от князя Петра Ивановича Багратиона с предписанием, чтобы полки наши к утру были готовы присоединиться к его армии, и тогда мы узнали, что у нас война с французами. До того времени никто не знал. В ночь послали верховых на обозных лошадях вернуть квартирьеров, и утром мы были в действующей армии. Шли очень скоро, потому что неприятель шел за нами в 10 верстах. Как снег на голову было для всех нас.

Мы присоединились к армии под названием второй. Полки сии большею частью были вышедшие из Турции, где недавно Кутузов заключил мир с турками. Были 12-я, 24-я и 2-я гренадерские дивизии. Сия последняя была отличная, старые солдаты-усачи, их можно сравнить с гвардией 1805–1807 годов; уже после я по сие время подобных полков не видал ни одной роты и в гвардии. Были у нас Ахтырский гусарский, Александровский, Литовский уланский. Первым командовал Ларион Васильевич Васильчиков, а последним Тутолмин, и Владимирский уланский, весьма дурной полк. Мы шли так скоро, что нередко делали 70 верст в сутки, не имея времени сварить кашицы солдатам, часто навешивали котлы, разводили огни и в мгновение варку сию убирали, выливали наземь и продолжали ретироваться. Было начало июня, жар нестерпимый. Мы несколько раз переправлялись через Неман в Могилевской губернии. В больших лесах бывали пожары, зрелище ужасное, для нас трудное и опасное для артиллерии. По дороге обе стороны были в огне. Как нас бог пронес, это непостижимо. Ретирада наша была изнурительная, но за тем отсталыми нашими не пользовались неприятели. Всякий спасал себя и не отставал. Я, частный офицер, не знал плана похода, не мог видеть, почему мы одну и ту же реку Неман переходили на понтонных мостах довольно часто и иногда с трудом, но о сем известно было князю, нашему главнокомандующему. Под местечком Миром была первая свалка у кавалеристов, начали казаки и кончили

Александровский и Ахтырский гусарские полки, где последний отличился храбростью. После сего мы почти бежали, получив известие, что наши дерутся в Могилеве на Днепре[19]: корпус генерала от кавалерии Николая Николаевича Раевского, где отличился дивизионный начальник генерал-майор Паскевич (ныне фельдмаршал князь Эриванский). Мы хотя и прошли 70 верст в сутки и, подходя к Могилеву, слышали близко выстрелы, но они уже были последние, и мы не поспели в дело[20]. Мы или армия наша была отрезана от первой Барклая-де-Толи сильнейшим против нас неприятелем; но гений ученика Суворова, незабвенного князя Петра Ивановича Багратиона вывел нас из беды, и, по трудной ретираде, окруженной со всех сторон, он вывел армию свою и соединился под Смоленском с первой армией. Хвала тебе, герой бессмертный!

Полк наш расположился у стен Смоленска. Первая армия была близ города, на той стороне Днепра. Пробыв три дня, обе армии пошли за Днепром, и наша дивизия назначена в отдельный отряд к городу Красному, куда и пришли на другой день и расположились около оного биваками, с нами был Харьковский драгунский полк и два полка казаков, Грекова и Комисарова. Драгунами командовал полковник Юзефович. Наш один Виленский полк из дивизии остался в Смоленске для занятия караулов[21], то у нас было только 5 полков пехоты. На другой день утром генерал Неверовской получил извещение чрез казаков, что неприятель показывается в сильных массах. Это было в 9 часов утра августа-месяца. Нас поставили на места, пред городом рассыпали стрелков, весь 49-й егерский полк; наш 3-й батальон в улицах города, поротно. Я был при 3-й гренадерской роте, на большой улице, у входа в город при нас было два орудия тяжелой батареи, прочие орудия сей роты были также по улицам, прикрываемые нашими егерями. В отряде нашем только и была одна рота артиллерии, 8 орудий; три полка пехоты оставались за городом в особых колонах, в поле, нашего полка 1-й батальон с шефом нашим и дивизионным генералом был в резерве, на две версты от города. Мы приготовились встретить неприятеля. Я не буду описывать кампании: мне неизвестна политика, да и что может знать фронтовой офицер? Я пишу о себе. Меня батальонный начальник послал сделать мост как можно скорее. Из города было на прямую линию болото, а дорога круто поворачивала направо. Я, взяв барабанщиков и флейтщиков, разломал ближние старые строения и будки и накинул живой мост для егерей. В 10 часов утра показались передовые казаки и сказали, что ужасная валит сила конницы неприятельской. Мы полагали, что они преувеличили, но вышло справедливо. Я с

прочими офицерами пошел на колокольню, откуда увидели из лесу в версте выходящего по большой дороге от местечка Лядов неприятеля, со множеством кавалерийских колонн, и по выходе из леса стали раздаваться по полю вправо и лево; другие шли по дороге к городу[22]. Вот проскакали мимо нас все казаки и драгуны, егеря 49-го полка сделали выстрелов несколько, и как у неприятеля пехоты не было, то они ретировались и пробежали мимо нас бегом. Едва неприятель стал вступать в город, то был приветствован картечью из орудий и батальным огнем наших егерей. Я был на большой дороге и видел, как несколько неприятельских колон были опрокинуты. Но они смекнули, для чего терять людей, и пошли в обход города. Что нам делать было, как не ретироваться из города? Стрелки побежали, орудия за ними, и при самом выезде из города на поле мы лишились всей нашей артиллерии. Вот какое было войско неприятеля. Наполеон, оставив наши обе армии за Днепром, пошел прямо со всеми своими полками прямо на Смоленск чрез Красный, и весь его авангард кавалерии, 38 полков, под командою короля неаполитанского Мюрата был послан на рысях занять скорее Смоленск. Это был первый для нас сюрприз. К счастью нашему, что с ними не было пехоты и ни одного орудия артиллерии: так они спешили. Я не могу сказать чувства мои. Быв в первый раз в сражении, я, кажется, ничего тогда не думал, но робел меньше гораздо, как в других сражениях.

Вот разбежавшиеся из города егеря, наш батальон и 49-й полк, по полю рассыпанные, стали сбегаться к колоннам пехоты, и те также соединились в одну массу. Я, бывши верхом и видя драгун, в рассыпном строе скачущих по полю с казаками, вздумал было спасаться тоже с ними; но, усмотрев, что кавалерия неприятельская преследует их и рубит без пощады, повернул моего коня обратно к нашей куче пехоты (тогда точно можно было назвать кучею сию команду; ибо, сбегаясь в одно место, никто не думал устроить порядок, колонну или каре)[23]. Я, возвратясь в толпу, ехал в средине людей и, видя безопасность от наездников польских и французских, иногда любовался их строем. Они одеты были превосходно, лошади отличные, а лучшие у поляков, которые более всех делали на нас атак; но как ни упорны были их атаки, но ничего с нами сделать не могли. Наша толпа похожа была на стадо овец, которое всегда сжимается в кучу, и при нападении неприятеля, с которой ни есть стороны, батальным огнем отстреливалась и штыками не допускала до себя. Поле было широко и ровно; было где разгуляться[24]. Одна наша беда была, что неприятель не допускал нас выйти на дорогу, которая с царствования Екатерины Великой обсажена в два ряда

по сторонам густо березами, что мешало бы более кавалерии близко к нам доезжать[25]. Взятыми у нас орудиями они пускали в нас несколько ядер и картечь и то сперва[26], но после, как прислуга и сбруя были ими перерублены, то и не могли тащить орудий, кои и остались на месте.

Выстрелы их отняли у нас до 40 человек, иных ранили, и одному возле меня мушкетеру оторвало руку, но он другою сгоряча нес еще ружье. Один польский штаб-офицер на отличном караковом коне четыре раза один подъезжал к нам, когда мы бежали; он преспокойно галопировал возле нас и уговаривал солдат сдаться, показывая их многочисленность и что мы себя напрасно утомляем, что все будем в плену. Но он напрасно храбрился: нашей роты унтер-офицер Колмачевский приложился на бегу, и храбреца не стало[27]. Конь его понесся к фрунту. Жаль покойника! Смельчак был! Атаки продолжались, но мы отстреливались. И сказать коротко, что мы были на бегу и в сражении от 10 часов утра до 8 полудня, пробежали 25 верст[28] и каждый шаг вперед оспаривали дракой. В 8-м часу попали мы на дорогу[29]. Показался вдали лес, а перед ним высокая и длинная гора, параллельно протянутая пред нами, на которой наш дивизионный начальник резерв свой, бывший из одного батальона нашего полка, выстроил в одну шеренгу егерей и остановленных им драгун и казаков с донскими двумя орудиями, кои с высоты по неприятелю сделали несколько выстрелов. Французы, полагая, что резерв велик, пехота и артиллерия, и видя сзади лес и уже близко вечер, остановились, и мы, пробежав мимо своих, начали выстраиваться по полкам, пришли в порядок и пошли лесом к Смоленску, от которого были только в 15 верстах.

Я в Красном купил у казаков французскую лошадь убитого офицера с чемоданом за 55 рублей, которую у человека моего Ивана, взятого из дому (сына конюха), со всем моим имуществом отбили. Он был сзади меня; но как это случилось, я у него не мог допроситься, а думаю, он струсил, увидя неприятеля, и ускакал на другой моей лошади, купленной у казаков, донской рыжей, а заводную верно бросил, и я остался с тем, что было на мне: один только сюртук. Такова судьба войны!

Смоленск 18 августа 1812 года в 6 часов утра.
Гравюра. Христиан Вильгельм фон Фабер дю Фор. XIX век

Потеря вашей пехоты была до 200 человек, артиллерия вся взята в плен, и драгун несколько порублено[30]. И по делом им. Зачем они бежали мимо пехоты и не присоединились к ней; тогда было им лучше, а неприятелю после каждой ретирады хуже, ибо они могли бы их рубить. Но что делать? Так случилось. Сражение наше есть необыкновенное: без привалов и порядка, не слушаясь начальников (да и кого же слушать?), толпа наша была смешана из разных полков, и сами без команды отбивались и бежали. Всего нас было 9 батальонов, а их, ужас! 38 полков отличной кавалерии и начальник их Мюрат…. Ура! 27-я дивизия не поддалась. Голубчики не струсили и не дали неприятелю торжествовать. Зато, как после узнали, как взбешен был Наполеон на Мюрата! Первое сражение, дивизия молодая, рекруты, но отделались. Хвала и Неверовскому: он остановил стремление неприятеля и обессмертил свое имя сим сражением, выведя свою дивизию, можно сказать, невредимою.

Вечером, в час, 1-го августа, пришли мы к Смоленску. Между тем генерал наш Неверовский от Красного дал знать в армию, что неприятель в больших силах войска свои сосредоточил к Смоленску к битве. Во 2-м часу генерал послал меня за три версты от Смоленска узнать об одной помещичьей даче, занята ли она неприятелем. Мне указали тропинку. Лошадь моя не ела и была измучена до чрезвычайности. Спасибо, полковник наш дал мне свою. Думаю: как ехать? Ночь, лесом мелким, где много тропинок, как я один пущусь? Но в службе отговорок нет.

Пустился я, и когда проехал кустарниками две версты, меня останавливает улан в белой шапке, потом другой и третий. Я приготовился шпагу свою отдать, думая, что поляки, но меня спросили, куда я еду и зачем. Я знал, что у нас уланов нет[31], и целый день насмотрелся на польских; но я отвечал, что еду на дачу, послан генералом. Они меня пропустили. Тогда и я, в свою очередь, спросил их, которого они полка, русские или поляки? Они сказали, что поляки, но служат в России, Литовского уланского полка. Я ободрился, как гора с плеч! Они мне показали пикет, где был офицер, у которого я узнал только, что впереди его казаки и они знают о даче, нужной мне, и был так добр, что дал мне по просьбе моей двух улан для конвоя и показать дорогу. Едва я проехал несколько шагов, на пригорке увидел всей французской армии биваки. Они были освещены огнем для варки пищи, и так близко, что можно было рассматривать, как они сидят у огня или лежат. Дача была занята казаками, но в нескольких шагах и аванпосты французские. Я обернул лошадь и вскоре был снова у генерала в Смоленске, донес ему, что дача занимается казаками и неприятель оттуда недалеко. Генерал приказал мне немедля взять две роты нашего полка 3-го батальона под командою майора Белявского и отвести на мызу в авангард; но не успели мы пройти версту, как на рассвете увидели отступающих к городу улан, после и казаков. Тогда и мы вернулись к полку.

Смоленская битва

Я уже сказал, что генерал Неверовской дал знать от Красного главнокомандующему, что неприятель идет к Смоленску. Посему немедленно был послан корпус Раевского и пришел к свету в Смоленск, а часть кавалерии ночью; оттого я и видел Литовский уланский полк. Раевский принял и нас в команду, сам остановился у Малаховских ворот и поставил на возвышенности батарею. Неприятель с рассветом дня сделал сильный натиск на город множеством стрелков; прежде сего пустил в город множество ядер, бомб и гранат, так что город во многих местах загорелся. Дело сие было на рассвете. Наш 1-й батальон, бывший под Красным и в ретираде от оного в резерве, поставлен в огороды, в стрелки; но как неприятельских стрелков было гораздо более, то наш несчастный батальон из тысячи человек[32] в течение ¼ часа вышел едва ли с 300 человеками: остальные были переранены, так что и одной роты нельзя было набрать[33]. Он и оставался где-то в городе оба дня сражения. Неприятель обложил

весь город по Днепр. Наша первая армия стояла на горе за Днепром, а вторая билась два дня упорно, так что из первой армии дан был сикурс: 3-я дивизия Коновницына и лейб-егерский полк. Это угодно было цесаревичу, который сам был при первой армии. С начала сражения наш батальон отправился на правый фланг города или за город к кладбищу. Мы были весь день в стрелках по мелким кустам. Я был послан к генералу Раевскому просить помощи, ибо мы с 4 до 10 часов утра были одни и потеряли значительно людей, к тому же по обширности места удержать неприятеля не могли. Генерал приказал из дивизии принца Виртембергского полку Киевскому идти со мною, а после полудни была не только наша дивизия, да и много пехотных полков на пункте том, где мы несколько часов держались с батальоном. Отрядом нашим командовал генерал Оленин. Хотя я постоянно не был в стрелках, но по обязанности адъютанта водил по очереди из резерва роты в стрелки, что еще хуже: я был на лошади и в невысоких кустах мог быть верною целью. Весь день сражались неимоверно стойко, но к вечеру не могли вынести сильного напору и ретировались в город. Тогда генерал Оленин остановил бегущих, велев вывести орудие на улицу. Люди остановились и прогнали неприятеля, а драгуны после докончили, и на ночь город остался за нами. С рассветом на другой день также потеха возобновилась, но нас посылали только четыре раза в стрелки; батальон убавился более половины. Два ротных командира наповал были убиты; один из них убит возле своего дома, поручик Кунцевич, двое тяжело ранены, а прочих офицеров со мною на лицо из 21 оставалось 8.

Мы отдыхали на валу городском и смотрели, как сильно колонны подвигаются во множестве к городу; ибо нам и кусты все были видны с возвышения, как на тарелке. Утром, часов в 11, командир Одесского полка полковник Потулов, увидев меня сидящего с офицерами на земле, пригласил к себе закусить. Мы выпили водки и съели хорошей ветчины и телятины. Он очень был грустен, сказал, что вчерашний день у Малаховских ворот убили его любимую лошадь, и, взяв меня и адъютанта своего Аксентьева за руки, пошел ближе к валу, где у нас стояли пушки, посмотреть, как смело подымаются на гору французы; но едва успели мы подойди к концу горы, как несчастный полковник был убит наповал, держа нас за руки. Пуля прошла в грудь навылет в сердце, и он не сказал ни слова. Степан Степанович Потулов служил прежде капитаном в Преображенском полку, полковником произведен там же и назначен шефом Одесского полка, был умен и необыкновенной доброты. Весь полк о нем плакал; об офицерах и говорить нечего: он их баловал и был отцом для них. Тут же его

и похоронили у стены Смоленска. Верно, родные впоследствии сделали ему памятник, но память о нем долго оставалась и по преданию в полку.

Сражение продолжалось до поздней ночи два дня, равно упорное, и удивительно, как могла наша вторая армия, из 6 дивизий с небольшим, держаться так долго в стенах Смоленска. Город не был укреплен, кроме что имеет каменную стену, почти такую же, как в Пскове. Первый день приступа неприятели по большей части все были поляки и итальянцы; но на второй – всех племен. Зрелище ужасное! Город горит, людей бьют, крик, стон, стукотня и трескотня с пожаром, и это до того присмотрелось, что мы могли есть и спать, не думая ни о чем. Под вечер вынесли из собора образ Смоленской Божией Матери, которая и была при армии не знаю долго ли, но пред сражением Бородинским 25 августа ее носили по рядам солдат обеих армий. Ночь с 5 на 6 августа все было тихо, батальон наш был в передовой цепи на том же месте, поротно. Я не спал и вздумал проехать вдоль реки к мосту. Не знаю, что меня завлекало видеть руины и узнать, будет ли или есть ли первая армия в Смоленске; ибо мы все роптали, что армия за городом хладнокровно смотрит на бой, а нам худо держаться. Подъезжая к мосту, вижу, что проходит войско. Я подъехал на мост, и штаб-офицер свиты его величества спрашивает у меня, нет ли там войска, откуда я приехал? Я сказал, что других не знаю, а есть наш батальон в цепи на правом фланге. Он просил меня скакать и велеть батальону немедля бегом прибыть сюда, ибо армия выходит из города и что он сей час зажигает мост, прежде чем будет рассветать, чтобы мост был уничтожен. Я, прискакав, объявил нашему майору Антонову, который долго не решался оставить без приказа своих начальников свой пост; но по убеждению моему велел подвигаться. Чрез четверть часа прискакал адъютант наш навстречу с приказанием идти бегом, что мост сожгут, и едва мы перебежали оный, как его взорвали, но бывший пред нами взвод Одесского полка, которому не дано было знать, и, быть может, и еще подобные остались: так и взяты в плен. Там был мой знакомый поручик Крутов; но я не знал тогда, и было каждому до себя. И так по случаю, что мне вздумалось проехаться, наш батальон и я спаслись от плена. То было Провидение Всевышнего. Я, проводя последний день в стрелках, был удивлен по возвращении на место к батальону: опустив руку в карман и вынув табакерку, заметил, что она разбита вдребезги, над карманом пробито. Осмотрел лошадь и нашел сзади в седле пулю, завязшую в обруче железном, а у казенной моей лошади в первый день сражения отбило копыто, когда я ее вел в поводу,

указывая место 8-й роте, где наши стрелки. Сражение каждое есть велико для того, кто участвует в нем, потому что и одним выстрелом может повалить, как говорят, виноватого. Не умолчу об одном случае и верю, что есть предчувствие. У поручика 8-й роты нашего батальона была тетка, и у нее на форштате[34] свой дом. После сражения стрелки сменяются для отдыха довольно часто, тетка его приносила ему и нам завтраки, и он более 15 раз в два дня был в стрелках с удовольствием, брал пленных, был примерной храбрости офицер, в последний же раз около вечера пришла его очередь, он пошел к майору и убеждал его не посылать. Майор спросил, не болен ли он? – «Что ж, Иван Дмитриевич, я совершенно здоров; но тоска ужасная, идти не хочу, робость напала». Тот его убеждал и просил идти, сказывая, что ему будет стыдно и что он его за храбрость под Красным и в Смоленске представит к Владимиру с бантом. Пошел Кунцевич и против обыкновения простился со всеми нами, но едва рассыпались его стрелки, как был поражен пулей наповал. Я велел после его искать, чтобы похоронить, и что же? Его вечером принесли всего ограбленного: сапоги, сюртук и все сняли французы. Мы его похоронили на дворе его дома. Несчастная тетка его, бедная женщина, была неутешна и с нами вышла из города, а после мы ее потеряли из виду. Еще такой же был случай с прапорщиком, и тот убит!

Мы пошли из Смоленска, и на рассвете уже неприятели заняли город и отыскивали переправы; кажется, что они простояли в нем дня два.

Бородино и переформирование

Выйдя из Смоленска, мы шли по дороге в Петербург, хотя небольшие переходы, но дня три. Обозы наши были на Московской дороге, и мы продовольствия никакого не имели. Я ходил просить в полки нашей дивизии, но ни у кого не было хлеба; достал у иных круп, у других мяса, сварили кашицу, но хлеба ни сухаря не было ни у кого. После мы повернули на Московскую дорогу, где отыскали наши обозы, и после 3 дней очень рады были солдатскому сухарю. Не доходя Вязьмы, я узнал, что меня произвели в подпоручики, но не за отличие, а по линии, и я в этом чине в военное время более 4 лет служил. Меня представили к орденам, за Красное – к Св. Анне, на шпагу, а за Смоленск – к Владимиру 4-й степени, но не знаю, как это устроилось, что за оба сии сражения не дали нашей армии ни одному человеку, даже генералам, ничего. Многие сказывали

причину, но я думаю, что она недостоверна: будто бы князь Багратион не мог сам утверждать наград, а должен был представлять об оных к Барклаю де Толи, чего он не хотел. Но как бы то ни было, а сие осталось нерешенным, почему нам ничего не дали, хотя нашего Невяровского за Красное дело обессмертили. Но ни он, ни мы, никто не был награжден, а за Смоленск следовало бы. И представления наши умерли вместе с князем[35]. Под Вязьмою дали нам рекрут из Вяземского депо. Тут я виделся с братом Василием. В Вязьме мы запаслись провизией даром. Жители все оставили город; нас или полк наш назначили в арьергард, что при ретираде означало сзади всех и всегда в виду неприятеля, в цепи стрелков.

Нашим арьергардом командовал граф Сиверс, а первой армии генерал Коновницын. Придя в Царево-Займище, мы узнали, что наш общий главнокомандующий – Кутузов. Много было пустых толков, да когда же и где их нет? Говорили, что Барклай – немец, изменяет, ведет француза в Москву, мало дерется, отдает города даром. Все подобные глупости беспрестанно повторялись, и очень рады были Михаилу Илларионовичу Кутузову.

Армия наша, кроме двух дней после Смоленска, везде имела продовольствие отличное: хлеба, мяса и вина всегда было довольно, даже с избытком. Спасибо командирам-отцам, мы были сыты вдоволь. Поговаривали, что Кутузов, приняв армию, даст потешиться нашим и остановит француза; но впоследствии оказалось, что Наполеон очень желал чаще сражений и бесился, что мы отступаем без боя, полагая своим множеством народа уничтожить нашу небольшую армию. Ошибся голубчик в расчете, сам себя скорее уничтожил. Кутузов и подлинно хотел дать сражение в Царевом Займище, но нашел, что позиция невыгодна, и отступил до Бородина, близ города Можайска в 9 верстах, а от Москвы в 90.

Я был послан в обоз привезти патронные ящики и продовольствие провианта, когда, возвращаясь обратно с ящиками и фурами и проезжая по дороге мимо Бородина, увидел множество возле харчевни генералов и офицеров. Я был позван к Кутузову, который сидел в сенях на скамеечке, окруженный большой свитой. Наряд мой был щегольской: шапка без козырька, старый изодранный сюртук, подпоясанный шарфом без кистей, чрез плечо на ремне нагайка казацкая, сабля у бедра и на тощем большом рыжаке. Я походил на рыцаря печального образа. В заключение сей экипировки была на плечах обгорелая на биваках байковая желтая бурка, я соскочил с рыжака, отдал его держать фурлейту, а сам подошел к главнокомандующему. Почтенный

старик спросил меня, которого я полка, куда везу ящики и где наш полк? Я отвечал, что 50-го егерского полка, везу для бригады порох и хлеб, что полк наш в арьергарде второй армии. Он мне сказал, чтобы я ехал с его адъютантом, который покажет мне, где я должен остановиться и дожидаться своего полка, не трогаясь с места. Меня повели, и я рассматривал место и войска. Возле главнокомандующего, помню, был 1-й лейб-егерский полк, далее гвардия в колоннах, за ней первая армия, а после и наша вторая. Местоположение было первой армии очень возвышенное, внизу овраг и речка с кустами, а наше гораздо ниже и лес сбоку и пред нами. На месте, где я был остановлен, была батарея, называемая Раевского; место возвышенное, и тут я нашел уже полк наш отдыхающим. Привезенный провиант и вино были разобраны, но много вина еще оставалось, как неприятель начал посылать к нам из орудий большие круглые гостинцы. Вино[36] привозили обыватели, которые плакали, чтобы я их отпустил скорее и при каждом выстреле наклоняли головы свои. Я спросил у полковника, куда девать вино, его много. Он велел дать по другой чарке людям, а остальные бочки разбить, чтобы не перепились люди. Я исполнил и велел обручи рубить. Вино потекло, полилось, как 26-го числа кровь людей. Крестьяне, бросив телеги, а другие лошадей своих, бросились бежать.

Это было 24 августа в 2 часа пополудни. Не успели люди еще поесть, как приказано батальону идти в стрелки.

Бородинская резня

Описывать битву сию, незапамятную в истории, хотя бы я мог, узнав подробности ее после и читая описания многих очевидцев, но это будет лишнее: я пишу о себе, следовательно, и довольствуюсь тем, где я был и что сам видел.

24-го числа, как я сказал, в 2 часа не успели наши закусить, как батальон наш пошел в стрелки; а 3-я гренадерская рота подвинулась от полка вперед, но стали возле опушки леса, где и я был. Стрелки наши были в лесу часа три. Тогда неприятели правее нас стали показываться колоннами на поле. Нашей дивизии Тарнопольский полк пошел колонной в атаку с музыкой и песнями (что я в первый и последний раз видел). Он после бросился в штыки в глазах моих. Резня недолго была, и полкового их командира ранило в заднюю часть тела навылет пулею. Его понесли, и полк начал колебаться. Его место заступили, полк остановили, и он опять бросился в штыки и славно работал. После остановились, прогнали неприятеля, и нас сменили. Не

знаю, что было после; но опять подошли к Раевского батарее, что было на конце левого фланга всей армии. Тогда ходили еще в атаку Александрийский и Ахтырский гусарские полки и храбро дрались из-за нас. На ночь мы опять пошли в стрелки и стояли смирно, а 25-го числа утром сменены были 49-м егерским полком, но ненадолго. После весь полк был несколько раз в стрелках и много потерял, а 49-й еще и более нас: у них потеря была очень велика. Во всей армии 25-е число было тихо, кроме нас. На левом фланге стрелков никто не замечал, а у нас в бригаде едва ли осталось по 30 человек в роте.

С 25-го на 26-е в ночи, близко нас, у неприятеля пели песни, били барабаны, музыка гремела, и на рассвете увидали мы: вырублен лес, и против нас, где был лес, явилась огромная батарея. Лишь только была заря, то зрелище открылось необыкновенное: стук орудий до того, что не слышно было до полудня ружейного выстрела, все сплошной огонь пушек. Говорят, что небо горело, но вряд ли кто видел небо за беспрестанным дымом. Егеря наши мало были в деле, но дело везде было артиллерийское, с утра против Нея, Мюрата и Даву корпусов. Наша дивизия была уничтожена. Меня опять послали за порохом, и я, проезжая верхом, не мог не только по дороге, но и полем проехать от раненых и изувеченных людей и лошадей, бежавших в ужаснейшем виде. Ужасы сии я описывать не в силах; да и теперь вспомнить не могу ужаснейшего зрелища. А стук от орудий был таков, что за пять верст оглушало, и сие было беспрерывно. Много о том писали и всем известно. Тут перо мое не может начертать всей картины. Проезжая поле, я увидел лошадей нашего полковника и спросил у музыканта Максимова, где полковник, не убит ли? К счастью, тот показал, что тут лежит, жив; он не сказал, а показал пальцем. Я подошел к нему, и он с горестью сказал, что полка нашего не существует. Это было в 7-м часов вечера. Я отослал ящики назад, а сам поехал вперед к деревне Семеновской, которая пылала в огне. На поле встретил я нашего майора Бурмина, у которого было 40 человек. Это был наш полк. Он велел сих людей вести в стрелки. Я пошел, и они мне сказали: «ваше благородие, наш полк весь тут, ведите нас последних добивать». Доподлинно, взойдя в лес, мне встретилась картина ужаснейшая и невиданная. Пехота разных полков, кавалерия спешившая без лошадей, артиллеристы без орудий. Всякий дрался чем мог, кто тесаком, саблей, дубиной, кто кулаками. Боже, что за ужас! Мои егеря рассыпались по лесу, и я их более не видал, и поехал к деревне Семеновской. Был уже 10-й час, пальба пушек не переставала с той же силою. На дороге я видел колонны русских и французов, как в игрушках согнутые

карты, повалены дуновением ветра или пальцем. Картина ужасная. Но сердце замерло: ни одной слезы о несчастных! Наткнулся я на брата, который сказал, что он ранен в ногу. Я поделился с ним куском баранины[37], доставшейся мне от казначея Головикова, когда я ездил за патронами. Возле деревни встретил я дивизионного начальника, который мне велел, где увижу, собирать к деревне Шевардино его дивизию 27-ю.

В 11 часов была дивизия собрана, всего до 700 человек. В Одесском командовал поручик, в Тарнопольском фельдфебель, и так далее; в нашем полковник и три офицера со мною.

В полдень 26-го я с капитаном нашим Шубиным поехал на пригорок, где слышался необыкновенный шум, и что же? Мы видим: два кирасирских полка, Новороссийский и Малороссийский, под командою генерал-лейтенанта Дуки, пошли на неприятельскую батарею. Картина была великолепная! Кирасиры показали свою храбрость: как картечь их не валила, но хотя половиною силы, они достигли своей цели, и батарея была их. Но что за огонь они вытерпели, то был ад! За любопытство наше капитану Шубину оторвали правую руку, но, впрочем, на все судьба: это могло бы, и не трогаясь с места, быть; от сего отделаться нельзя. Мы видели, как Семеновской полк, несколько часов стоя на позиции, не сделав ни одного выстрела, был ядрами уничтожаем. Я видел, когда сняли незабвенного нашего князя Багратиона с лошади, раненного в ногу, и как он был терпелив и хладнокровен: слезал с коня в последний раз и поощрял солдат отмстить за себя. Помощник Суворова, бывший с ним в Италии и Швейцарии, командовал всегда авангардом и, наконец, бывши главнокомандующим, не берег себя и по привычке был в сильном огне. Он не вынес раны и вскоре умер. Царство ему небесное! Армия много в этот день потеряла хороших генералов: утром убило Тучкова, в полдень Кутайсова, начальника артиллерии, и многих очень. И граф Милорадович поспел на веселый пир. Он пред сражением привел резервы. Граф Воронцов командовал возле нас сводными гренадерскими ротами двух батальонов[38]; в числе сих были и нашего полка. Ночь прекратила побоище неслыханное в летописях, и мы пошли к Можайску. Да и неприятель отступил. Скелеты полков нашей дивизии поступили к графу Милорадовичу в арьергард.

За Бородино дали мне на шпагу Св. Анны 3-й степени, и два еще капитану и прапорщику. Вот наши и все награды за всю Русскую кампанию. Полку серебряные трубы, полковнику Св. Анны и Владимира 3-й степени на шею.

Я забыл сказать, что 26-е число Московское ополчение стояло в колонне сзади нас на горе; их било ядрами исправно, и даром.

Главнокомандующий сделал славное из них употребление: поставил их цепью сзади войска, чтобы здоровые люди не выносили раненых, а убирали бы ополченцы. Сделано славно, но безбожники грабили раненых, что я сам видел, везя патроны в полк, и трем саблею от меня досталось по спинам плашмя. Этими молодцами после сражения укомплектовали дивизию нашу, с оружием бог знает каким: кто имел пику, кто бердыш, у иного ружье, пистолет и нож, а кто был с дубиной. К нам дали их офицера в треугольной шляпе, который вскоре и бежал. Да и войско его дошло с нами только до Москвы, а после и десятой части их не осталось: все разбрелись, дружки[39].

От Можайска до Москвы мы не дрались, только иногда кавалерия, всегда сзади нас шедшая, переведывалась помаленьку. Мы подошли к Москве, остановились на Воробьевых горах. Вид чудесный! Вся старушка-Москва под ногами. Я, быв в Москве зимой, не был на горах сих и в первый раз любовался местоположением прелестным. Пробыв там почти сутки, я был послан по дороге Владимирской отыскать обозы наши и 49-го полка, взять фуры и, нагрузив их в магазине в Москве, доставить в полки. Верст за 20 от Москвы нашел я обоз и на рассвете был в Москве. Там ожидало меня новое зрелище. Магазин был заперт, караула нет, армии я не нашел; куда пошла, мне неизвестно, да и кто знает, куда ведут начальники? Ломать печати и замки беда, без хлеба ехать еще хуже. Я решился, однако, нагрузить фуры и поехал за толпою народа, который, вероятно, выезжал и выходил туда, куда пошла армия, к городу Подольску. Вообразить себе можно, какая давка и теснота была в Москве на выездах.

Жители были до того времени покойны и не выезжали, пока армия оставила Москву. Я видел сию тревогу и с 10 часов утра до 7 вечера с трудом с 8 фурами выехал за заставу. Отъехав с версту, вижу, что за мною выехала наша арьергардная кавалерия, в том числе были гвардейский[40], гусарский, уланский и драгунский полки с пиками (гусаров я еще первых увидел с пиками[41]); полки сии были очень невелики. Вскоре раздался залп из орудий неприятельских; это означало их вступление в нашу столицу, но для чего, я не знал: войска нашего там не было. Граф Милорадович сделал договор с Мюратом выпустить наши остальные войска из Москвы. Я продолжал путь и, отъехав 15 верст, уже ночью, увидел сильное зарево в Москве; белокаменная запылала. Но огонь ее очистил Россию от французов скоро: нет худа без добра. К свету настиг я на привале свой полк. На другой день шли к Подольску и повернули после круто на Калугу. Мы еще были в арьергарде, но, остановившись у села Воронова (Растопчина графа), мы уже были в авангарде: ибо ретироваться с

сего пункта перестали. Граф Растопчин, истиннорусский, сжег сам свое село[42], чтобы нога неприятеля не ступила в его строение.

Дивизионный наш Неверовский просил графа Милорадовича, чтобы сменил дивизию его, разбитую до невозможности, сказав, что она без обуви, не имеет времени починиться, да и силами ослабела, всегда под выстрелами от Смоленска. «Знаю, ваше превосходительство, что дивизия ваша ослабела силами, но зато тверда духом!» – отвечал граф, и Неверовскому не оставалось более, как благодарить за честь, которую ему делает граф[43]. Церемония кончилась, а мы все остались в авангарде. Мы были еще в драке у реки Красной Пахры, и сия была уже для нас последняя. Подойдя к Тарутинскому лагерю, полки наши дошли до совершенного ничтожества: в нашем оставалось до 300 человек и 6 офицеров. Главнокомандующий уменьшил дивизию: из шести полков по два послал формироваться. Из нашей дивизии назначили Тарнапольский и наш 50-й егерский. Людей мы сдали в 49-й, оставив только 40 человек и полковой штаб. У нас было музыкантов с барабанщиками вдвое, чем весь полк. Наш бригадный Воейков просил меня идти к нему в адъютанты, ибо его адъютанта произвели в майоры. Я посоветовался с полковником, который мне не присоветовал, а взял с собою. Не знаешь, где найти и где потерять. Хорошо, что я не пошел к нему: он был бригадный одного полка и вскоре по болезни уехал в Петербург, и мы более о нем не слыхали: пропал без вести! По названию у нас все был полк, хотя 40 человек, но штаб был полка налицо.

Мы прошли Тулу и пошли в Нижегородскую губернию в исходе сентября. В каждом городе мы шли церемониально с музыкой, и когда проходили, то жители всегда спрашивали, где же полк? И мы показывали на наши остатки. Нас принимали везде, как родных; расспросов, разговоров не было конца. Стало уже холодно, и мы в ноябре пришли формироваться в город Ардатов, а главнокомандующий наш, генерал от инфантерии князь Лобанов-Ростовский, жил в Арзамасе; и кавалерийский же генерал Кологривов в Орле. Житье нам было в Ардатове! Скитавшись от апреля до 15 октября под открытым небом возле костров бивачных и быв беспрестанно в это время в опасности, можно вообразить, каково нам было! Городничий, судья, исправник, соляной пристав и откупщик Анцов – все люди богатые. У последнего была моя квартира, прекраснейшая, лучшая в городе. Пиры беспрестанные, разгулье молодецкое, и еще узнали, что француза погнали по старой разоренной дорожке. То-то была гульба! Раненые солдаты и офицеры к нам

прибывали. Рекрут нам дали молодцов нижегородских. И мы с 15 октября до 1 декабря почти сформировали полк. Много прибывало и раненых, офицеров же не было половины комплекта. Мне дали 3-ю гренадерскую роту. Формировка продолжается сама по себе, а вечерами гульба ужасная. Вот что было у нас, пили напропалую. Музыканты отказывались от Цымлянского и выморозков[44]. Очень я доволен был, что избавился от адъютантской должности: на месте все бы ничего, а походом каторга; было время, что сам не раздевался и лошадь не расседлывал по два месяца. Полковой адъютант в канцелярии и батальонный, по приходе на место, нарядить должен команды за дровами и водой с офицером, после ехать в дивизионную квартиру за приказанием, а нередко и в корпусную. Поди, отыщи и там дожидайся, пока приказы будут. Их нужно выписать и отвезти к начальству, к бригадному и полковому, после собрать фельдфебелей, отдать приказание, а глядишь, уже свет и в поход. Спал я часто верхом, и сбоку солдаты придерживали; хуже не было в полку должности моей. Хозяин мой Ардатовский был большой хлебосол, гости и офицеры у него безвыходно были, я ему был как брат, и старший. Езжали к нему часто соседи, живущие в трех верстах от города, семейство Бухваловых, состоящее из старой вдовы, ее сына и двух дочерей. Сын пошел в ополчение, но я его еще застал дома. Меньшая дочь, Марья Федоровна, очень мне понравилась. Я, отдохнув, забыл про беду и влюбился. Девица хороша, думаю я, за нею 60 прекрасных душ. Мне, правда, ровесница, 21 года; что же, жениться не худо, ежели пойдет. Сказано – и сделано. Я объяснился с моим хозяином (большим другом семейства Бухваловых), он одобрил. Я чрез два дня посватал и имел полный успех. Вот я и жених, меня любят, ласкают, и я как сыр в масле. Что же? Узнаёт мой добрый полковник – залучил меня в свой кабинет и начал журить по-отечески. Он мне сказал: «Что ты, брат Николай Иванович, задумал? Ужели ты век прожил; какого ты чина? Какое теперь у нас обстоятельство? Правда, девица хороша, но что же дальше? Ты очень еще молод, поспеешь жениться; а теперь что же будет? Отставки тебе в военное время не дадут; но хотя бы и дали оную, какую ты играть будешь роль в 20 лет в отставке? Подпоручик, имеющий Св. Анны на шпаге и медаль. И тебя выберут в заседатели в земский суд, привяжешь колокольчик к дуге, и вот блестящая твоя карьера. Того ли ожидает от тебя твой отец? Вот послужил сын его Отечеству ровно год! Ты молод, не понимаешь, что будет. За нею дадут хорошо 60 душ; подумай, у тебя будут дети, может быть, и много; ты размножишь слободу однодворцев[45], ты от скуки захочешь служить, состояние

небольшое, жену оставишь дома. Сам влюбишься опять в другую: вот твоя перспектива! Словом, я тебе никак не позволяю сделать такую наивеличайшую глупость; выкинь из головы, займись лучше ротой, а частые твои поездки прекрати. Поди с богом, я твоих возражений и слушать не хочу; есть ли же не перестанешь ездить, то я поеду к ним сам и скажу, что мне отцом препоручен, и я, как отец и как начальник твой, тебе строго запрещаю жениться». Что было мне делать! Говорить – хуже: я знаю горячий нрав его; беда, что наделает! Бог знает, лучше молчать, а свое делать. Представится случай, мое не уйдет. Теперь Рождественский пост; вот как кончится, хозяин мой поможет, сделаем свадьбу втихомолку, у нас священник добрый, и Ардатовский дьякон, лихой игрок в карты, в бильярд и пойдет куда угодно! Ему знакомы другие попы, он устроит; часто он ночи просиживал до обедни, идет в церковь, в мелу замаран, проигравши. Ему тихонько покажешь карту с углом: он доволен, полагая отыграться! Человек располагает, а Бог управляет. Я немедля же поехал к Бухваловым. Когда же возвратился от них, мне сказали, что полковник за мною три раза присылал. Я иду. Вижу его серьезную мину. Он мне сказал: «Вот, любезнейший, всему конец. Полно тебе дурачиться: поздравляю тебя с походом: мы идем послезавтра в Орел. А тебе вот предписание: поезжай сейчас в слободу, отсюда за 60 верст – там найдешь 120 рекрут Житомирской губернии, прими их и артельные деньги, и выходи ко мне навстречу: тебе не далее будет 15 верст по тракту к городу Темникову Рязанской губернии. Возьми с собою трех старых солдат твоей роты, унтер-офицеров не бери. Прощай, поспеши: я буду дневать чрез два дня, и туда явишься». Взял я бумагу и думаю: прощай, быть может, и навек! Иду я к хозяину, сказываю свою беду; он спросил: «Что же вы намерены делать?» – «Жениться после праздника непременно, а там что Бог даст!» Вот я делаюсь против службы первый раз преступником! Прошу хозяина завтра съездить к невесте и уверить ее, что я скоро буду. Забрал в дорогу харчей и чаю, лошади готовы, вот я и в дороге.

В восьми лье от Москвы, слева от главной дороги, 23 сентября 1812 г.

Гравюра. Христиан Вильгельм фон Фабер дю Фор. XIX век

Зима стояла прежестокая, доходило выше 30 градусов. Лошади были подставные, по предписанию исправника. Я до света долетел до местечка, вижусь с гарнизонным офицером, принимаю команду, все идет скоро, деньги до 1500 рублей принял, пишу списки, и в день и ночь все готово: прошу офицера довести команду 15 верст до полку. Он сказал, что ему нужно еще 300 человек вести в полк Тираспольский. Вот задача! Что я буду делать?! Послать с солдатами команду – худо, а сказаться больным – все пропало! Думал я много, и тут нечистый искусил. Я вздумал команду вести в город Ардатов. Это вышло назад 50 верст, да оттуда, сдав гарнизонному офицеру, самому остаться больным и еще бедным рекрутам догонять полк 60 верст, что составило вместо 15 – 110 верст в такую стужу. Стоило бы подумать, что я буду солдат за такую проделку[46]. Молодость все прощает, был ветрен и хотел поставить на своем. Но лучше бы отправить со старыми солдатами, хотя они и были все пьяницы; но деньги я мог отправить по почте. Дело прошлое, согрешил и повел в Ардатов команду, а сам с половины дороги уехал один в город. Приезжаю, спрашиваю человека, ушел ли полк наш. Ушел, он отвечал. Вхожу в гостиную. В гостиной сидел мой хозяин с полковником. Я не помню, что со мною было. Это Бородинское жаркое дело! Первый вопрос полковника, почему я людей не

принял? Я отвечал, что принял. Как я мог отправить команду без себя? Верно, я бежал? Я сказал, что команда идет сюда. «Подайте мне вашу шпагу!» – «Ея нет со мною: она в обозе». – «Покажите мне людей, которых вы приняли?» – «Их нет, они еще на половине дороги». – «Вы солдат! – сказал он, прибавив: – я знаю вашу хитрость. Приказываю: когда придут люди, немедля выйти из города и догонять полк». Он был взбешен, как я его никогда не видел. И было от чего. Сам он ушел немедля. После ухода его хозяин, добрый мой, обняв меня, заплакал и сказал, что полк наш вчерашний день ушел, а полковник остался за расчетом и завтра в 11 часов утра едет за полком на дневку, куда все городские приятели его провожают. Первое мое дело было броситься к исправнику и просить, чтобы близ города отвел квартиры моим рекрутам и дал бы им в 6 часов больше подвод с тулупами, да и впереди бы заготовил смену. Он, добряк, обещал, пожалел обо мне, и мы до свиданья расстались с ним. Я бросился к хозяину и с ним уехал к Бухваловым, приказав, когда партия придет в город, то проходили бы мимо за версту в большую деревню ночевать. Полковник вечером послал узнать, пришла ли партия, ему сказали, что прошла чрез город догонять полк. Его ужасно это рассердило; он говорил со мною сгоряча и думал, что я все исполнил, а я преспокойно всю ночь прощался и обещал из Орла приехать. Мне надавали почти годовую провизию, слезы были прощанием. Они полагали, что я буду солдат. Простившись и прося писать, я поехал в деревню, в 6 часов по приезде нашел ужасное количество подвод, так что на две лошади по два человека и два тулупа. Поверил команду, они все здоровы и целы! Я поскакал догонять полк и в 3 часа пополудни нагнал. Я послал рапорт к майору о прибытии моем и о том, что команда моя вся здорова и сыта, также деньги и шпагу. Полковник в городе замешкал до 12 часов на проводах и выехал со всеми знакомыми городскими чиновниками, кои его проводили. Дорогою он скучал, что нигде не может обогнать партии, и по приезде на дневку узнал, что партия пришла и все здоровы. Ехали на лошадях и в шубах. Знакомые городские все меня посетили, так же и мой хозяин, и привез мне поклон от невесты. Шпага мне была возвращена того же дни, но я долго не показывался полковнику, который в Темниково со мною нечаянно встретился и увел меня к себе обедать. Вот и конец делу, но я этой моей ветрености и теперь удивляюсь.

Мы шли походом до Орла без всяких приключений и дошли благополучно. Не доходя до оного за день, получили повеление в Орле только иметь дневку и по маршруту идти всем и кавалерии в герцогство Варшавское (что ныне царство Польское), в местечко

Закрочин блокировать крепость Модлин, близ Варшавы, в 6 милях. Вот мои и планы на женитьбу рушились. Я писал много писем к невесте, ее матери и брату, но ответа ни одного не получил. Так и кончилось[47].

Заграничный поход

Наступил 1813 год. Неприятеля не было не только в России, но и в Польше. Мы достигли своего местоназначения, где по приходе немедля послали в армию нашего полка батальон с майором Антоновым, а я как ни просился, но полковник не отпустил. Мы квартировали у обывателей. Крепость Модлин укреплена очень хорошо[48], мы ходили по очереди в цепь. Со стороны сухопутной вылазок не было.

Армию формировал князь же Лобанов-Ростовский; корпус наш был под начальством генерал-лейтенанта Клейнмихеля, отца главноуправляющего путей сообщения. У него были в команде батальоны формирующейся гвардии, гренадер и армейские. Кавалерия стояла в Плоцке. Хотя солдат было и довольно в гвардии, но офицеров мало, и потому требовали из армии. Из нашего батальона командирован был я. Гвардия была расположена по реке Висле у колонистов, близ крепости, около местечка Новый Двор, где река Нарева впадает в Вислу, против крепости. Я явился к дивизионному начальнику 2-й гвардейской дивизии, подполковнику из нашей дивизии, моему приятелю Константину Михайловичу Колошинскому. Обеими дивизиями батальонов командовал Преображенского полка полковник Стрекалов. Я был назначен адъютантом 2-й гвардейской дивизии, месяца три исправлял я сию должность. В это время было ужаснейшее наводнение реки Вислы, на берегу коей мы стояли, а против нас за рекой был корпус гренадеров, под командою Паскевича. Река разлилась и потопила даже большие дома колонистов, так что мы делали плоты и плыли семь верст на высоту и там жили неделю на биваках. Сорвало в Варшаве мост и несло его мимо нас с людьми, там случившимися, в крепость. Зрелище было необыкновенное; на мосту была торговка и разного рода люди и собаки, но как они были поляки, то в крепости им дали убежище. Вода у нас была как море, и мы с трудом переправились. Так скоро прибывала, что утром показалась на улице, а к полудню уже затопила избы наверху. Я после назначен был в лейб-финляндский батальон, и там встретил знакомого начальника, капитана Женевского, который был ротным командиром, где я был в Дворянском полку в 5-й роте. Меня он

назначил адъютантом, казначеем и квартирмистром, а после приехал этого же полка капитан Байков и принял батальон. Он меня полюбил очень и после дал роту, хотя и были гвардейские офицеры. Однажды, как я был в карауле с ротой в Новом Дворе против крепости (нас только река разделяла), неприятель вздумал, устроив флотилию из больших лодок, ночью посетить нас, чтоб истребить наш батальон, но ему эта шутка не удалась. Мы, подпустив их ближе, пустили на них батальный огонь, и они, правда, отвечали и 9 человек наших убили наповал, а 15 ранили порядочно: за то они, думаю, недосчитались у себя много, а одна лодка из орудия большого калибра была в щепки разбита, и люди их все перетонули. Но мы были очень осторожны. С трудом ходили за водой; они из крепости, не жалея снарядов, стреляли из пушек и по одному человеку. Наконец, наскучило мне быть у чужих, работать, учить чужую команду – я начал проситься в свой батальон. Байков меня просил остаться, с тем что когда будет мир, то он упросит великого князя меня перевести в гвардию, а как состояние мое не позволяло там служить[49], к тому же я слышал, что из армии нашей каждого батальона идут за границу в действующую армию по две роты, то и думал туда отправиться. Но вышло не то. Вскоре, 1814 года в марте, был мир. Бонапарта прогнали на Эльбу. Крепость сдалась еще прежде, и мы пошли за Варшаву, где квартиры были чудесные, 25 миль около Кракова. Гостеприимство везде отличное, и можно сказать, что я пожил в Польше весело.

В исходе 1814 года пошли мы в Гродненскую губернию, куда из Парижа пришла и дивизия наша. К прискорбию нашему, не вернулся наш добрейший дивизионный Неверовский: его тяжело ранили под Лейпцигом в ногу, и он от раны вскоре умер[50]. Дивизия вся его оплакивала, да и я впоследствии никогда не имел такого начальника.

В Гродненской губернии, бедной против Варшавской, я, однако, жил весело. Полк наш квартировал в Зельве, я с ротой в местечке Кременице, в уезде Волковиском, в имении бригиток-монашенок. Эконом был добрый человек, а дочь его Маша – милашка. Я имел квартиру прекрасную, жил как хороший обзаведенный офицер, имел три лошади своих, у меня бывали вечера, а у хозяина Избицкого балы. Часто полковая музыка у нас гремела, провианту я не давал ни гонцу, всегда квитанция готова. Артели солдат прибавлялись значительно, я продавал их муку и деньги отдавал им в артель. Мука была 25 рублей, а крупа 32 рубля за куль. Солдатам хорошо, да и я жил весело[51]. Что за жизнь была в Польше, и теперь с восторгом вспоминаю. Хорошо было молодежи, не так, как в России, кроме Ардатова, и то в

какое время!

Наступил 1815 год. Наполеон вздумал бежать, и нас потребовали. Шли мы скоро до Калиша, а там в Шлезию, Саксонию. Что за край! Подобного нет в Европе. Проходили много герцогств, княжеств, Баварию, Богемию, и подошли к Рейну во Франкфурте-на-Майне. Я не живописец и не пиит, не могу изобразить прелестной картины возле Рейна, где мы простояли пять часов, дожидаясь эрцгерцога Карла, брата императора австрийского. Перед нами крепость Майнц, левее Рейн, в него впадает река Майнц. За рекой город Майнц, на горе, довольно большой и красивой; по правую сторону горы с виноградниками, по левую по реке Рейну даль верст на двадцать с деревнями каменного строения и церквами. Сзади нас в двух верстах на горе город Гохейм. Можно смотреть и восхищаться! Когда проехал мимо нас принц Карл, ему кричали «ура». Мы перешли Рейн и выпили прекрасного вина Гохеймского. Из полку по четыре офицера и по двое штабс-офицеров были приглашены на завтрак к принцу Карлу; я был в числе избранных. Завтрак был неважный, но зеленого салату много и вино хорошее, по две рюмки; принц одет был в сером сюртуке, и шляпа с широким позументом.

Я забыл сказать, что меня в Гродно в 1814 году произвели в поручики, а при переходе чрез Рейн 1815 года – в штабс-капитаны. Когда мы перешли Рейн, война кончилась. Англичане и прусаки разбили при Ватерло французов, и Наполеон великий бежал, и после отдался англичанам, кои отправили его на остров Св. Елены. Крепости же Мец и Вердюн не сдавались, и много у них было партизан. К последней нас послали блокировать ее; мы шесть недель содержали ее в блокаде, и она сдалась. Тогда я ездил в Люневиль, известный миром в 1801 году. Город очень хорош, в нем ружейная фабрика и пистолеты превосходные. Нас от границы Польши и во Франции продовольствовали везде очень хорошо, особливо прусаки и саксонцы, и у французов было недурно. Полк наш после квартировал в городе Бельмонте, а я с ротою в деревне Клермонте. В июле-месяце император собрал всю нашу армию и гренадеров на Шалонские поля близ Вертю, от Парижа очень недалеко. Он делал армии смотр и сам представлял монархам австрийскому, прусскому, баварскому, и много было владетельных, а фельдмаршалы наш и английский Велингтон. Из Парижа множество было маршалов, принцев, генералов и даже дам. Маневр сей для зрителей был прелестный. Когда армия собралась к Вертю в Шампани, в три часа утром, войска были поставлены в три линии! В первых двух пехота с артиллерию, в интервалах между дивизий, в третьей кавалерия. В десять часов приехали монархи в город Вертю, который построен

на высокой горе, и оттуда необозримая равнина. Такого каре, думаю, никто и никогда не видал. Когда построились в каре, государи объехали оное, что составляло до пятнадцати верст кругом, и за ними вся свита и дамы. Большая кавалькада!

Мы стали в дивизионные колонны, а после в батальонные, и так пошли церемониальным маршем кругом десять верст. Наш император Александр ехал впереди пред гренадерами: гвардии тогда во Франции не было. Мы очень устали и утомились, пыль, жар, в августе 29-го. Мы ночью пришли, не ели ничего, жар, воды нет, везде песчаная степь. Мы платили по рублю серебром за стакан воды и рюмку водки. Сия проделка была повторяема три дня кряду: первый день репетиция, второй – смотр монархов, а 30 августа церковный парад в сей же армии и на том же месте. Я был последним в армии, проходил мимо царей, потому что дивизия 24-я была последняя в армии, полк наш последний в дивизии, рота моя, 9-я[52], последняя в полку; сзади меня шла кавалерия. Можно вообразить, что по песку в жар какая была пыль. Если бы на мне был красный мундир, и тот бы был бел. Слава богу, все прошло, и молодость вынесла все труды.

Мы тотчас пошли в Шато-Тьери, городок хороший, на реке Сене, близ Парижа. Корпус наш был 8-й, командовал им Сабанеев, и нас оставляли во Франции на пять лет – я пока и не думал ехать в Париж, полагая, что успею еще, да и нужен был товарищ, кто бы знал язык французский[53]. В ожидании поездки получили повеление немедля выходить в Россию, а вместо нас оставили корпус графа Воронова. Вот мои планы рушились. Я был в Риме и папы не видал, то есть был возле Парижа, а там не был. Потомство сказало бы, что я вандал; но обстоятельства все переменяют, а притом же без денег там скучно. Я имел 40 червонцев; думаю: сберегу и, придя в Россию, съезжу проведать батюшку, которого давно не видал. Я так и сделал: еще во Франции подал в отпуск, и по возвращении в Россию, когда мы квартировали на Волыни в Житомирской губернии, я получил отпуск…

Чрез короткое время, в ноябре, произвели нашего полковника Назимова в генералы, а шефы в армии еще во Франции уничтожены. К нам дали полкового командира Яковлева, служившего в армии графа Витгенштейна с 1812-го подпоручиком, а в 1815 году был он полковник. Я не хотел служить в пехоте, хотел в кавалерию; но трудно перейти; а из отставки можно было проситься в любой полк. Вот что меня понудило оставить военную службу 26 лет. Я подал в отставку и недолго ждал: меня уволили тем же чином, потому что я не дослужил года в штабс-капитанском чине. Дивизию нашу еще при

мне назначили в Литовской корпус, под начальство цесаревича Константина Павловича. Я, прощаясь со службой, не думал, что навек не надену военного мундира. Когда дали мне отставку, то в приказах сказана Высочайшая воля, чтоб отставных офицеров не принимать в другие полки, как в те же, где они служили. Вот я оставил службу военную навек. После идти в тот же полк нельзя, потому что кто у меня был в команде, у того я бы должен быть, и товарищи мои чрез два года были майоры все. К тому же батюшке угодно было, чтоб я остался при нем: из пяти сыновей ни одного при нем не было. Что делать мне было иначе? Я вышел в отставку 1816 года, дома прожил до 1819-го, после выбрали меня в заседатели в Порховский Земский суд…

Федор Николаевич Глинка (1786–1880)
Письма русского офицера о Польше, австрийских владениях, Пруссии и Франции, с подробным описанием Отечественной и заграничной войны с 1812 по 1814 год

Предуведомление

В 1817 году, когда мне довелось быть председателем известного в то время Литературного общества и, в чине полковника гвардии, членом Общества военных людей и редактором Военного журнала, посетили меня в один вечер (в квартире моей в доме Гвардейского штаба) Жуковский, Батюшков, Гнедич и Крылов. Василий Андреевич (Жуковский) первый завел разговор о моих Письмах русского офицера, заслуживших тогда особенное внимание всех слоев общества.

«Ваших писем, – говорил Жуковский, – нет возможности достать в лавках: все-де разошлись. При таком требовании публики необходимо новое издание. Тут, кстати, вы можете пересмотреть, дополнить, а иное (что схвачено второпях, на походе) и совсем, пожалуй, переписать. Теперь ведь уже уяснилось многое, что прежде казалось загадочным и темным».

Гнедич и Батюшков более или менее разделяли мнение Жуковского, и разговор продолжался. Крылов молчал и вслушивался, а наконец заговорил: «Нет! – сказал он, – не изменяйте ничего: как что есть, так тому и быть. Не дозволяйте себе ни притачиваний нового к старому, ни подделок, ни вставок: всякая вставка, как бы хитро ее ни спрятали, будет выглядывать новою заплатою на старом кафтане. Оставьте нетронутым все, что написалось у вас, где случилось, как пришлось… Оставьте в покое ваши походные строки, вылившиеся у бивачных огней и засыпанные, может быть, пеплом тех незабвенных биваков. Представьте историку изыскивать, дополнять и распространяться о том, чего вы, как фронтовой офицер, не могли ни знать, ни ведать! И поверьте, что позднейшим читателям и любопытно, и приятно будет найти у вас не сухое официальное изложение, а

именно более или менее удачный отпечаток того, что и как виделось, мыслилось и чувствовалось в тот приснопамятный 1812-й год, когда вся Россия, вздрогнув, встала на ноги и с умилительным самоотвержением готова была на всякое пожертвование».

Ф. Глинка

Описание Отечественной войны 1812 года до изгнания неприятеля из России и переход за границу в 1813 году

Мая 10, 1812. Село Сутоки

Природа в полном цвете!.. Зеленеющие поля обещают самую богатую жатву. Все наслаждается жизнью. Не знаю, отчего сердце мое отказывается участвовать в общей радости творения. Оно не смеет развернуться, подобно листьям и цветам. Непонятное чувство, похожее на то, которое смущает нас перед сильною грозою, сжимает его. Предчувствие какого-то отдаленного несчастья меня пугает… Но, может быть, это мечты!.. «Недаром, – говорят простолюдины, – прошлого года так долго ходила в небесах невиданная звезда; недаром горели города, села, леса, и во многих местах земля выгорала: не к добру это все! Быть великой войне!» Эти добрые люди имеют свои замечания. В самом деле, мы живем в чудесном веке: природа и люди испытывают превратности необычайные. Теперь в «Ведомостях» только и пишут о страшных наводнениях, о трясении земли в разных странах, о дивных явлениях на небе. Мы читаем в Степенных книгах[54], что перед великим нашествием татар на Россию солнце и луна изменяли вид свой, и небо чудесными знамениями как бы предуведомляло землю о грядущем горе… Нельзя не согласиться с знаменитым Махиавелем[55], что мыслящие умы так же легко предузнают различные приключения в судьбе царств и народов по известным обстоятельствам, как мореплаватели – затмение светил и прочее по своим исчислениям.

Известно, до какой степени маркиз Куева де Бедмар[56], описанный Сент-Реалем, силен был в науке предузнавать!.. К чему, в самом деле, такое притечение войск к границам? К чему сам государь, оставив удовольствия столицы, поспешил туда разделять труды воинской жизни? – К чему, как не к войне!.. Но война эта должна быть необыкновенна, ужасна!.. Наполеон, разгромив большую часть Европы, стоит, как туча, и хмурится над Неманом. Он подобен бурной реке, надменной тысячью

поглощенных источников; грудь русская есть плотина, удерживающая стремление, – прорвется – и наводнение будет неслыханно! – О, друг мой! Ужели бедствия нашествий повторятся в дни наши?.. Ужели покорение? Нет! Русские не выдадут земли своей! Если недостанет воинов, то всяк из нас будет одной рукой водить соху, а другой сражаться за Отечество!

Кого не мучит теперь любопытство, чтоб разгадать загадку будущего? – Я читаю славную Гедеонову[57] проповедь на разрушение Лиссабона – и живо представляется воображению моему, как величавый муж сей в священных сумерках пространного храма, где голос его в таинственных отзывах повторяется, перед лицом императрицы Елисаветы, описывая бедствия колеблющейся природы и страшную гибель Лиссабона, смело укоряет блестящий сонм вельмож в отставлении праотеческих нравов, в неге и роскоши, которым предаются, и вдруг, устами боговдохновенного пророка, гласит им в последнее наставление сии священные слова: и когда услышите голос его, не ожесточите сердец ваших. Прощай! Я иду в свой садик поливать цветы и слушать громкого соловья – пока это еще можно! «Жить невидимкой – значит быть счастливу!» – говорит славный философ Декарт. Еще раз: прощай!..

Федор Николаевич Глинка (1786–1880) – русский поэт, публицист, прозаик, офицер, участник декабристских обществ.

Портрет. XIX век

16 июля 1812 – Смоленск

Сейчас приехал я в Смоленск. Какое смятение распространилось в народе!.. Получили известие, что неприятель уже близ Орши. В самом деле, все корпуса, армию нашу

составляющие, проходя различными путями к одной цели, соединились в чрезвычайно укрепленном лагере близ Дриссея[58] и ожидали неприятеля. Полагали, что он непременно пойдет на то место, чтоб купить себе вход в древние пределы России ценой сражения с нашими войсками; ибо как отважиться завоевывать государство, не разбив его войск? Но дерзкий Наполеон, надеясь на неисчислимое воинство свое, ломится прямо в грудь Отечества нашего. Народ у нас не привык слышать о приближении неприятеля. Умы и души в страшном волнении. Уже потянулись длинные обозы; всякий разведывает, где безопаснее. Никто не хочет достаться в руки неприятелю. Кажется, в России, равно как и в Испании, будет он покорять только землю, а не людей…

17 июля. Смоленск

Мой друг! настают времена Минина и Пожарского! Везде гремит оружие, везде движутся люди! Дух народный после двухсотлетнего сна пробуждается, чуя угрозу военную. Губернский предводитель наш, майор Лесли, от лица всего дворянства испрашивал у государя позволения вооружить 20 000 ратников на собственный кошт владельцев. Государь с признательностью принял важную жертву сию. Находящиеся здесь войска и многочисленная артиллерия были обозреваемы самим государем. К ним, по высочайшему повелению, должны немедленно присоединиться идущие из Дорогобужа и других депо рекрутские батальоны. Уже передовой отряд, под начальством храброго генерала Оленина, выступил к Красному. Старый генерал Лесли, поспешно вооружив четырех сынов своих и несколько десятков ратников, послал их присоединиться к этому же отряду, чтоб быть впереди. Вчера принят Е.И.В. из отставки в службу Г.-М. Пассек и получил начальство над частью здешних войск. – Земское ополчение усердием дворян и содействием здешнего гражданского губернатора барона Аша со всевозможной скоростью образуется. Смоленск принимает вид военного города. Беспрестанно звенят колокольчики; скачут курьеры; провозят пленных или шпионов. Несколько польских губерний подняли знамя бунта. Недаром они твердили пословицу: «Слышит птичка весну». О заблуждение! Они думают воскреснуть среди всеобщего разрушения!.. Обстоятельства становятся бурны. Не знаю, буду ли с тобой видеться, но письменное сношение заменяет половину свидания, – так говорит персиянин Бек-али; я верю ему – и буду стараться к тебе писать. – Прощай!..

18 июля, 1812. Село Сутоки

Наконец, поля наши, покрытые обильнейшей жатвой, должны будут вскоре сделаться полями сражений. Но счастливы они, что послужат местом соединения обеих армий и приобретут, может быть, в потомстве славу Полтавских: ибо Первая Западная армия, под начальством Барклая-де-Толли, а вторая – князя Багратиона, после неисчислимых препятствий со стороны неприятеля соединились наконец у Смоленска. Г. Платов прибыл сюда же с 15 000 Донского войска. Армия наша немногочисленна; но войска никогда не бывали в таком устройстве, и полки никогда не имели таких прекрасных людей. – Войска получают наилучшее продовольствие; дворяне жертвуют всем. Со всех сторон везут печеный хлеб, гонят скот и доставляют все нужное добрым нашим солдатам, которые горят желанием сразиться у стен смоленских. Некоторые из них изъявляют желание это самым простым, но, конечно, из глубины сердца исходящим выражением: мы уже видим седые бороды отцов наших, говорят они: отдадим ли их на поругание? Время сражаться!

19 июля. Там же

Я имел удовольствие обнять брата моего Григория, служащего в Либавском пехотном полку. Общество офицеров в этом полку прекрасное, солдаты отменно хороши. Объехав несколько полков, я везде находил офицеров, которые принимали меня как истинные друзья, как ближайшие родные. Кто же такие эти прекрасные люди?» – спросишь ты. – Общие наши товарищи: кадеты! – О! Как полезно общественное воспитание! Никакие уставы, никакие условия обществ не могут произвести таких твердых связей между людьми, как свычка ранних лет. Совоспитанники по сердцу и душе встречаются везде с непритворным, сердечным удовольствием… Многие из товарищей наших уже полковниками и в крестах; но обхождение их со мной точно то же, какое было за 10 перед этим лет, несмотря на то что я только бедный поручик! Как сладко напоминать то время, когда между богатыми и бедными, между детьми знатных отцов и простых дворян не было никакой разницы; когда пища, науки и резвости были общими; когда, не имея понятия о жизни и свете, мы так сладостно мечтали о том и другом!.. Помнишь, как, повторяя бессмертные слова Екатерины, что корпус кадетский есть рассадник великих людей, мы любили воображать себе, что все до одного будем полезны Отечеству. Но сколько из юных растений этого рассадника, поверженных в буре случаев, утратили способности свои от бездействия, сделались бесполезными от несправедливости людей и увяли от бедности – или в тени неизвестности, лишенные спасительных лучей –

ободрения!..

Вчера армии двинулись от Смоленска, вниз по течению Днепра, к окрестностям озера Катани. Авангард пошел к Рудне; оттуда ожидают неприятеля, который теперь толпится на пространстве между Двиной и Днепром. Это наступательное движение войск наших много обрадовало народ. Всякий стал дышать свободнее!..

Дай бог нашим вперед! Помоги бог оттолкнуть дерзких от древних рубежей наших!.. Однако ж, идя вперед, кажется, не забывают о способах, обеспечивающих и отступление… На этих днях военное начальство требовало у гражданского губернатора надежного и деятельного дворянина для особенных важных препоручений. Зная из многих опытов усердие и деятельность брата моего Ивана, губернатор представил начальству его. Тотчас поручено было ему, со всевозможной скоростью, без лишней огласки, устроить сколько можно более переправ на Днепре у Соловьева, что на большой Московской дороге. Мосты спеют с удивительной поспешностью. Работают день и ночь. Великие толпы народа, бегущие из разных занятых неприятелем губерний, переправляются беспрестанно. «Но неужели и войска пойдут через них?» «Ужели и Смоленск сдадут?..» Солдаты будут драться ужасно! Поселяне готовы сделать то же. Только и говорят о поголовном наборе, о всеобщем восстании. «Повели, государь! Все до одного идем!» Дух пробуждается, души готовы. Народ просит воли, чтоб не потерять вольности. Но война народная слишком нова для нас. Кажется, еще боятся развязать руки. До сих пор нет ни одной прокламации, дозволяющей сбираться, вооружаться и действовать, где, как и кому можно. «Дозволят – и мы, поселяне, готовы в подкрепу воинам. Знаем места, можем вредить, засядем в лесах, будем держаться – и удерживать; станем сражаться – и отражать!..»

Августа 4 дня. Село Сутоки, в 2 часа, за полдень

В сии минуты, как я пишу к тебе дрожащей рукой, решается судьба Смоленска. Неприятель, сосредоточив где-то великие силы, ворвался вчера в Красное; и между тем как наши смотрели на Рудню, он полетел к Смоленску, чтоб овладеть им внезапно. Дивизия Неверовского принесла сегодня французов на плечах; а храбрый генерал Раевский встретил их с горстью войск и не впустил в город. Сегодня все обыватели высланы; батареи расставлены. Неприятель с двумястами тысяч наступает на Смоленск, защищаемый 150 000 наших. Покровская гора еще в наших руках. Теперь сражение горит под самыми стенами. Когда получишь эти строки, то знай, что чей-нибудь жребий уже

решился: или отбит Наполеон, или – дверь в Россию отперта!..

Я сейчас иду помолиться в последний раз на гробах родителей и еду к старшему брату Василию: от него видно сражение. Прощай!

Августа 8. Село Цуриково

Я видел ужаснейшую картину – я был свидетелем гибели Смоленска. Погубление Лиссабона не могло быть ужаснее. 4 числа неприятель устремился к Смоленску и встречен, под стенами его, горстью неустрашимых россиян. 5 числа, с ранней зари до позднего вечера, 12 часов продолжалось сражение перед стенами, на стенах и за стенами Смоленска. Русские не уступали ни на шаг места; дрались как львы. Французы, или, лучше сказать, поляки, в бешеном исступлении лезли на стены, ломились в ворота, бросались на валы и в бесчисленных рядах теснились около города по ту сторону Днепра. Наконец, утомленный противоборствием наших, Наполеон приказал жечь город, которого никак не мог взять грудью. Злодеи тотчас исполнили приказ изверга. Тучи бомб, гранат и чиненных ядер полетели на дома, башни, магазины, церкви. И дома, церкви и башни обнялись пламенем – и все, что может гореть, – запылало!.. Опламененные окрестности, густой разноцветный дым, багровые зори, треск лопающихся бомб, гром пушек, кипящая ружейная пальба, стук барабанов, вопль старцев, стоны жен и детей, целый народ, падающий на колени с воздетыми к небу руками: вот что представлялось нашим глазам, что поражало слух и что раздирало сердце!.. Толпы жителей бежали из огня, полки русские шли в огонь; одни спасали жизнь, другие несли ее на жертву. Длинный ряд подвод тянулся с ранеными…

В глубокие сумерки вынесли из города икону Смоленской Божьей Матери. Унылый звон колоколов, сливаясь с треском распадающихся зданий и громом сражений, сопровождал печальное шествие это. Блеск пожаров освещал его. Между тем черно-багровое облако дыма засело над городом, и ночь присоединила темноту к мраку и ужас к ужасу. Смятение людей было так велико, что многие выбегали полунагими и матери теряли детей своих. Казаки вывозили на седлах младенцев из мест, где свирепствовал ад. Наполеон отдал приказ, чтоб Смоленск взят был непременно 5-го числа; однако ж русские отстояли его грудью, и 5-го числа город не был взят. Но 6-го рано – о превратность судьбы! – то, что удерживали с таким усилием, отдали добровольно!.. Главнокомандующий имел на то причины. Теперь Смоленск есть огромная груда пепла; окрестности его – суть окрестности Везувия после извержения.

Наши поспешно отступают к Дорогобужу, но сейчас, т. е. 8-го числа к вечеру, приостановились недалеко от Бредихи. Третьего дня дрались, вчера дрались, сегодня дерутся и завтра будут драться! Злодеи берут одним многолюдством. Вооружайтесь все, вооружайся всяк, кто только может, гласит, наконец, главнокомандующий в последней прокламации своей. Итак – народная война!

Его императорское высочество Константин Павлович, усердно разделяющий с войском труды и опасности, был свидетелем кровопролитного боя и страшного пожара смоленского. С душевным прискорбием взирал он на разрушение одного из древнейших городов своего отечества. Жители Смоленска неутешны. Несчастия их неописаны. О, друг мой! Сердце твое облилось бы кровью, если бы ты увидел злополучие моей родины. Но судьбы вышнего неиспытаны. Пусть разрушаются грады, пылают села, истребляются дома, исчезает спокойствие мирных дней, но пусть эта жертва крови и слез, эти стоны народа, текущие в облако вместе с курением пожаров, умилостивят, наконец, разгневанные небеса! Пусть пострадают области, но спасется Отечество! Вот общий голос душ, вот искренняя молитва всех русских сердец!

Я и старший брат с нетерпением ожидали, пока выйдет брат наш Григорий из огня. Он был 12 часов в стрелках и дрался так храбро, как только может драться смолянин за свой отечественный город. В этом уверили нас все офицеры его полка. Бригадой их командовал генерал-майор Оленин и водил ее в самый жаркий огонь. Все жалеют о смерти отличного по долговременной службе, необычайной храбрости и доброте душевной генерала Баллы, который убит 5-го числа в передней цепи стрелков. Кровопролитные битвы еще продолжаются. Мы ложимся и встаем под блеском зарев и громом перестрелок. Мне уже нельзя заехать домой; путь отрезан! Итак, иду туда, куда двигает всех буря войны!.. Сколько раненых! Сколько бегущих! Бесконечные обозы тянутся по полям; толпы народа спешат, сами не зная куда!.. Мы теперь нищие, с благородным духом, бродим уныло по развалинам своего отечества. Бедный С…! В то время как брат его сражается и отечественный город в глазах его горит, узнает он, что отец впал в жестокую горячку, а мать, испуганная приближением врага, умерла!.. Вот пример ужаснейшего положения, в котором находятся теперь многие! Повсюду стон и разрушение!.. Мы живем в дни ужаса! Прощай!.. Может быть, в этом мире уже навсегда!..

13 августа

Итак, я теперь –

Наследия отцов и родины лишен,
Как птицы без гнезда стал, бурей унесен!..

Странствую по сгорающей земле, под небом, не внемлющим жалобам смертных. Всякий день вижу уменьшение отечества нашего и расширение власти врагов. Каждая ночь освещается заревами пожарищ.

Полнеба рдеет, как раскаленное железо. Я веду совершенно кочующую жизнь, переезжая из шалаша в шалаш, от огня к огню. В окрестностях Дорогобужа ехали мы некоторое время с конницей генерала Корфа. Старший брат мой, знающий там все тропинки, служил ей лучшим путеуказателем. Теперь пристаем чаще всего в дежурстве генерала Дохтурова. Нередко хожу я и с гренадерами, которых ведет граф Строганов. Смотря на сего вождя, не подумал ли какой-либо себялюбец: имея неисчислимые способы к жизни, имея чины, заслуги, почести и дома у себя имея рай, зачем ему бросаться в бури, которыми дышит сам ад в дни наши; зачем наряду с простым солдатом, терпя потому труд и голод, стремиться в опасности, на раны в смерть? Но вот что значит любовь к Отечеству!.. Потомки не уступают предкам. О, чувство благородное, чувство священное! Обладай вечно сердцами россиян!..

Помнишь, как мы вместе читали Шиллерову трагедию «Разбойники»? Помнишь, как пугала нас страшная картина сновидения Франца Мора, картина, которую Шиллер с искусством Микеланджело начертал пламенным пером своим? Там, среди ужасного пожара вселенной, леса, села и города тают как воск, и бури огненные превращают землю в обнаженную пустыню! Такие-то картины видим мы всякий раз, ложась спать! «Каковы же должны быть сновидения?» – спросишь ты. Их нет: усталость лишает способности мечтать. Уже и Дорогобуж, и Вязьма в руках неприятеля: Смоленская губерния исчезает! Прощай!

Августа 16

Я часто хожу смотреть, когда он проезжает мимо полков, и смотрю всегда с новым вниманием, с новым любопытством на этого необыкновенного человека. Пылают ли окрестности, достаются ли села, города и округи в руки неприятеля; вопиет ли народ, наполняющий леса или великими толпами идущий в далекие края России: его ничто не возмущает, ничто не сильно поколебать твердости духа его. Часто бываю волнуем невольными

сомнениями: куда идут войска? для чего уступают области? и чем, наконец, все это решится? Но лишь только взглядываю на лицо это-то вождя сил российских и вижу его спокойным, светлым, безмятежным, то в ту же минуту стыжусь сам своих сомнений. Нет! – думаю я, человек, не имеющий обдуманного плана и верной цели, не может иметь такого присутствия, такой твердости духа! Он, конечно, уже сделал заранее смелое предначертание свое; и цель, для нас непостижимая, для него очень ясна! Он действует как провидение, не внемлющее пустым воплям смертных и тернистыми путями влекущее их к собственному их благу. Когда Колумб посредством глубоких соображений впервые предузнал о существовании нового мира и поплыл к нему через неизмеримые пространства вод, то спутники его, видя новые звезды, незнакомое небо и неизвестные моря, предались было малодушному отчаянию и громко возроптали. Но великий духом, не колеблясь ни грозным волнением стихии, ни бурею страстей человеческих, видел ясно перед собой отдаленную цель свою и вел к ней вверенный ему провидением корабль. Так, главнокомандующий армиями, генерал Барклай де Толли, проведший с такой осторожностью войска паши от Немана и доселе, что не дал отрезать у себя ни малейшего отряда, не потеряв почти ни одного орудия и ни одного обоза, этот благоразумный вождь, конечно, увенчает предначатия свои желанным успехом. Потерянное может возвратиться; обращенное в пепел – возродиться в лучшей красоте. Щедроты Александра обновят края, опустошенные Наполеоном… Всего удивительнее для меня необычайная твердость ведущего армии наши. Смотря на него, я воображаю Катона и прекрасное место из Лукановой поэмы[59], где автор представляет этого великого мужа под пламенным небом Африки, среди раскаленных песков Ливии. Тут же и прекрасный Горациев стих сам собой приходит на ум:

«И на развалинах попранныя вселенной,
Катон, под бурями, неколебим, стоит!..»

17 августа

С какой грустью оставляют они дома, в которых родились, выросли и были счастливы! Бедные жители злополучных стран!

В одном прекрасном доме, близ дороги, написаны на стене женскою рукою простые, но для всякого трогательные слова:

Прости, моя милая Родина!

Друг мой! Настают времена, когда и богатые, оставляя великолепные чертоги, равняются с бедными и умножают толпы бегущих… Война народная час от часу является в новом блеске.

Кажется, что сгорающие села возжигают огонь мщения в жителях. Тысячи поселян, укрываясь в леса и превратив серп и косу в оборонительные оружия, без искусства, одним мужеством отражают злодеев. Даже женщины сражаются!.. Сегодня крестьяне Гжатского уезда, деревень князя Голицына, вытесненные из одних засек, переходили в другие, соседние леса через то селение, где была главная квартира. Тут перевязывали многих раненых. Один 14-летний мальчик, имевший насквозь простреленную ногу, шел пешком и не жаловался. Перевязку вытерпел он с большим мужеством. Две молодые крестьянские девки ранены были в руки. Одна бросилась на помощь к деду своему, другая убила древесным суком француза, поранившего ее мать. Многие имели простреленные шапки, полы и лапти. Вот почтенные поселяне войны! Они горько жаловались, что бывший управитель-поляк отобрал у них всякое оружие при приближении французов. Долго ли русские будут поручать детей своих французам, а крестьян – полякам и прочим пришельцам?..

Того же числа

Теперь начальствует арьергардом и почти ежедневно сражается генерал-лейтенант Коновницын, воин, почтенный летами, заслугами и подвигами. У него адъютантом и правителем канцелярии общий совоспитанник и друг наш Ахшарумов, с которым я иногда видаюсь. Быть бою кровавому, быть великому сражению! Всякий раз, когда, идя с солдатами во время ночных переходов, завожу с ними разговор или слушаю их, разговаривающих, то во всех поступках их замечаю ревностное и пламенное желание стать и сражаться! Горящие окрестности, разоряемые церкви, поруганная святыня и стон жителей с неизъяснимой силой действуют на души их. О! Как добры и благочестивы солдаты русские! Чего нельзя с ними сделать? Никто не умеет так оценить и помнить храбрости офицера, как они. Один усатый гренадер, когда я с ним вчера разговаривал и объявил свое имя, сказал мне: «Да не родня ли вам Глинка, в Либавском полку что был под Смоленском в стрелках?» «Это брат мой», – отвечал я. «Он прехрабрый, сударь, человек! – говорил гренадер, – с ним весело ходить вперед!» Вот нечаянное приветствие – и самое лестное! От часу более распространяется слух о скором прибытии к армии Светлейшего Князя Голенищева-Кутузова. Говорят, что народ встречает его повсюду с неизъяснимым восторгом. Все жители городов выходят навстречу, отпрягают лошадей, везут на себе карету; древние старцы заставляют внуков лобызать стопы его, матери выносят грудных младенцев, падают на колени и подымают их к небу! Весь народ

называет его спасителем. Государь сказал ему: «Иди спасать Россию!» Россия, указывая на раны свои, вопиет: «Спаси меня!» Бессмертие уже готовит место на скрижалях своих, чтоб передать имя его в бесконечность времен. Помнишь, как мы восхищались неподражаемым местом в Мармонтелевом Велисарии[60], где он представляет сего великого мужа проходящим через те самые области, которые спас от гибели, и повсюду собирающим бесценные дани нелестного усердия народа. О, как различна слава бичей и спасителей народов!

18 августа

Наконец прибыл сей лаврами и сединами увенчанный вождь! Некоторые из почтенных гжатских купцов привезли его сами на прекрасных своих лошадях в село Царево-Займище. Я сейчас видел Светлейшего Голенищева-Кутузова, сидящего на простой скамье подле одной избы, множество генералов окружили его. Радость войск неописана. У всех лица сделались светлее, и военные беседы вокруг огней радостнее. Дымные поля биваков начинают оглашаться песнями.

20 августа

Как нетрудно понравиться солдату! Должно показать только ему, что заботишься о судьбе его, что вникаешь в его состояние, что требуешь от него необходимо нужного и ничего излишнего. Когда Светлейший Князь объезжал в первый раз полки, солдаты засуетились было, начали чиститься, тянуться и строиться. «Не надо! Ничего этого не надо!» – говорил князь. – Я приехал только посмотреть, здоровы ли вы, дети мои! Солдату в походе не о щегольстве думать: ему надобно отдыхать после трудов и готовиться к победе». В другой раз, увидев, что обоз какого-то генерала мешает идти полкам, он тотчас велел освободить дорогу и громко говорил: «Солдату в походе каждый шаг дорог, скорей придет – больше отдыхать будет!» Такие слова главнокомандующего все войско наполнили к нему доверенностью и любовью. «Вот то-то приехал наш “батюшка”! – говорили солдаты, – он все наши нужды знает: как не подраться с ним»; в глазах его «все до одного рады головы положить». Быть великому сражению!

Все обстоятельства предвещают сражение, долженствующее решить судьбу отечества. Говорят, что в последний раз, когда Светлейший осматривал полки, орел явился в воздухе и парил над ним. Князь обнажил сединами украшенную голову; все войско закричало «ура!». В сей же день главнокомандующий приказал служить во всех полках молебны Смоленской Божьей

Матери и для иконы ее, находившейся при армии, сделать новый приличный кивот. Все это восхищает солдат и всякого!

На этих днях смоленский помещик Реад привез двух сынов, прекрасных молодых людей, и просил определить их в службу[61]. Другой смолянин, ротмистр Клочков, оставив прекрасную жену и пятерых детей, приехал служить и определился к почтенному генералу Лихачеву, который, от тяжкой боли едва передвигая ноги и почти совсем не владея руками, ездит на дрожках при своей дивизии и бывает в сражениях.

Вот что значит война отечественная!..

21 августа

Мне кажется, я переселился совсем в другой свет! Куда ни взглянешь, все пылает и курится. Мы живем под тучами дыма и в области огней. Смерть все ходит между и около нас! Она так и трется промеж рядов. Нет человека, который бы не видел ее каждый день, и каждый день целые тысячи достаются ей на жертву! Здесь люди исчезают как тени. Сегодня на земле, а завтра под землей!.. Сегодня смеемся с другом; завтра плачем над его могилой!.. Тут целыми обществами переходят из этого на тот свет так легко, как будто из дома в дом! Удивительно, как привыкли здесь к смерти, в каких бы видах ни являлась: свистит ли в пулях, сеется ль в граде картечи или шумит в полете ядер и вылетает из лопающихся бомб – ее никто не пугается. Всякий делает свое дело и ложится в могилу, как в постель. Так умирают сии благородные защитники отечества! Сии достойные офицеры русские. Солдаты видят их всегда впереди. Опасность окружает всех, и пуля редкого минует!..

22 августа

Поутру полки расположились около Колоцкого монастыря[62]. Там еще оставались два или три поседелых монаха. Я был у вечерни. Унылый стон колокола, тихое пение, синеватый сумрак, слегка просветляемый темной лампадою.

Вид пылающего отечества, бегущего народа и неизвестность о собственной судьбе сильно стеснили сердце. Я вышел и смотрел на заходящее солнце, которое усиливалось сохранить блеск свой в мутных облаках, гонимых холодным ветром. Ужели, думал я, и древняя слава России угаснет в бурях, как оно!.. Нет! Восстал дух русской земли! Он спал богатырским сном и пробудился в величественном могуществе своем. Уже повсюду наносит он удары злодеям. Нигде не сдается, не хочет быть рабом. Он заседает в лесах, сражается на пепле сел и просит поля у врага, готовясь стать и биться с ним целые дни.

Все признаки великого сражения час от часу более становятся видимы. Неприятель, совокупляя силы свои, каждый день с большею дерзостью надвигает. Силы его несметны!.. Они ширятся вправо и влево и темнеют, как дремучие леса, или ходят, как тучи, из которых по временам стреляет гром!..

23 августа

«Тут остановимся мы и будем сражаться!» – думал каждый, завидя высоты Бородинские, на которых устроили батареи. Войска перешли Колочу, впадавшую здесь же, в селе Богородице, в Москву-реку, и установились на протяжении холмов, омываемых слиянием этих двух речек. Стало войско – и не стало ни жатв, ни деревень: первые притоптаны, другие снесены. «Война идет и метет!» Так говорится издавна в народе. Может ли быть бедствие лютейшее войны?..

Наступает вечер. Наши окапываются неутомимо. Засеками городят леса. Пальбы нигде не слыхать. Там, вдали, неприятель разводит огни; ветер раздувает пожары, и зарево выше и выше восходит на небеса! По последнему расположению войск у нас на правой руке Милорадович; на левой князь Багратион; в середине Дохтуров. Глава всех войск Князь Кутузов, под ним Барклай де Толли. Ожидают неприятеля и сражения. Прощай!

24 августа

Отдаленный гром пушек приветствовал восходящее солнце. Генерал Коновницын с передовыми полками схватился с неприятелем под стенами Колоцкого монастыря. Вот идут они: один искусно уклоняется, другой нагло влечет гремящие тысячи свои прямо на нас. Толпы его, тянувшиеся по дороге, вдруг распахнулись вправо и влево. Смотрите, какая необозримость их движущихся стен!.. Поля дрожат, кажется, гнутся под множеством конных; леса насыпаны стрелками, пушки вытягиваются из долин и кустарников и, в разных местах, разными тропами пробираясь, на холмы и пригорки въезжают. Многочисленное неприятельское войско колеблется: кажется, в нерешимости. Вот пошатнулось было влево и вдруг повалило направо. Огромные полчища двинутся на левое наше крыло. Русские спокойно смотрят на все с укрепляемых своих высот. Пыль, взвившаяся до небес, уседается. Даль яснеет. Неприятель к чему-то готовится. Посмотрим, к чему…

24 августа. Поздно ввечеру

Неприятель, как туча, засипел, сгустившись, против левого нашего крыла и с быстротой молнии ударил на него, желая все

сбить и уничтожить. Но князь Багратион, генерал Тучков, храбрый граф Воронцов и прочие, призвав на помощь бога, укрепясь своим мужеством и оградясь русскими штыками, отбросили далеко пехоту, дерзко приступавшую к батареям. Пушки наши действовали чудесно. Кирасиры врубались с неимоверной отважностью. Раздраженный неприятель несколько раз повторял свои нападения и каждый раз был отражен. Поле покрылось грудами тел. Во все время как мелкий огонь гремел неумолчно и небо дымилось на левом крыле. Князь Михаила Ларионович сидел на своей деревянной скамеечке, которую за ним всегда возили, у огня, на середине линий. Он казался очень спокоен. Все смотрели на него и, так сказать, черпали от него в сердца свои спокойствие. В руках его была нагайка, которою он то помахивал, то чертил что-то на песке. Казалось, что весь он превратился в слух и зрение, то вслушиваясь в гремящие переходы сражения, то внимательно обозревая положение мест. Часто пересылался с ним Багратион. Ночь прекратила бой и засветила новые пожары. Прощай до завтра!

Кутузов осматривает позицию при Бородине.
Художник В. Серов. 1950-е гг.

25. Утро

Все тихо, неприятель отдыхает; перевязывает вчерашние раны и окапывает левое крыло свое. И наши не дремлют – готовятся.

25. Сумерки

Я почти целый день просидел на колокольне в селе Бородино. Оттуда в зрительную трубку – все как на ладони! Они роются, как кроты, в земле; строят преогромные редуты, а пушек, пушек – и

сказать страшно! На одном только окопе насчитал я сто! Но не один я задержан был любопытством на колокольне: многие генералы всходили туда же. Общее мнение было, что неприятель для того огораживает левое крыло свое, чтобы свести все войска на правое и с сугубым усилием ударить на левое наше. На середину также ожидали нападения. Но вот уже сумерки! Ветер поднимается с воем и гудит по шалашам. Французы оговорились и засветили огни. Я забыл сказать, что почти целый день шайки их стрелялись с нашими егерями: наши не давали им пить из Колочи. Прощай – темно! Иду доставать свечи.

С 25 на 26. Глубокая ночь

Все безмолвствует!.. Русские с чистой, безупречной совестью тихо дремлют, облегши дымящиеся огни. Сторожевые цепи пересылают одна другой протяжные отголоски. Эхо чуть вторит им. На облачном небе изредка искрятся звезды. Так все спокойно на нашей стороне.

Напротив того: ярко блещут устроенные огни в таборах[63] неприятельских; музыка, пение, трубные голоса в крики по всему их стану разносятся. Вот слышны восклицания! Вот еще другие!.. Они, верно, приветствуют разъезжающего по строям Наполеона. Точно так было перед Аустерлицким сражением. Что будет завтра? Ветер гасит свечу, а сон смыкает глаза. Прощай!

29 августа. Окрестности Москвы

Застонала земля и пробудила спавших на ней воинов. Дрогнули поля, но сердца спокойны были. Так началось беспримерное Бородинское сражение 26 августа. Туча ядер, с визгом пролетавших над нашим шалашом, пробудила меня и товарищей. Вскакиваем, смотрим – густой туман лежит между нами и ими. Заря только что начинала зажигаться. Неприятель подвез несколько сот орудий и открыл целый ад. Бомбы и ядра сыплются градом. Треск и взрывы повсеместны. Одни шалаши валятся, другие пылают! Войска бегут к ружью в огонь. Все это происходило в середине, а на левом нашем крыле давно уже свирепела гроза в беспрерывных перекатах грома пушек и мелкого оружия. Мы простились с братом. Он побежал со стрелками защищать мост. Большую часть этого ужасного дня проводил я то на главной батарее, где находился Светлейший, то на дороге, где перевязывали раненых. Мой друг! Я видел это неимоверно жестокое сражение и ничего подобного в жизнь мою не видал, ни о чем подобном не слыхал и едва ли читывал.

Я был под Аустерлицем, но то сражение в сравнении с этим – сшибка! Те, которые были под Прейсиш-Эйлау, делают почти

такое же сравнение. Надобно иметь кисть Микеланджело, изобразившую Страшный суд, чтоб осмелиться представить это ужасное побоище. Подумай только, что до 400 тысяч лучших воинов на самом тесном, по их многочисленности, пространстве, почти, так сказать, толкаясь головами, дрались с неслыханным отчаянием: 2000 пушек гремели беспрерывно. Тяжко вздыхали окрестности – и земля, казалось, шаталась под бременем сражающихся. Французы метались с диким остервенением; русские стояли с неподвижностью твердейших стен. Одни стремились дорваться до вожделенного конца всем трудам и дальним походам, загрести сокровища, им обещанные, и насладиться всеми утехами жизни в древней знаменитой столице России; другие помнили, что заслоняют собой эту самую столицу – сердце России и мать городов. Оскорбленная вера, разоренные области, поруганные алтари и прахи отцов, обиженные в могилах, громко вопияли о мщении и мужестве.

Сердца русские внимали священному воплю сему, и мужество наших войск было неописано. Они, казалось, дорожили каждым вершком земли и бились до смерти за каждый шаг. Многие батареи до десяти раз переходили из рук в руки. Сражение горело в глубокой долине и в разных местах, с огнем и громом, на высоты всходило. Густой дым заступил место тумана. Седые облака клубились над левым нашим крылом и заслоняли середину, между тем как на правом сияло полное солнце. И самое светило мало видало таких браней на земле с тех пор, как освещает ее. Сколько потоков крови! Сколько тысяч тел! «Не заглядывайте в этот лесок, – сказал мне один из лекарей, перевязывавший раны, – там целые костры отпиленных рук и ног!» В самом деле, в редком из сражений прошлого века бывало вместе столько убитых, раненых и в плен взятых, сколько под Бородином оторванных ног и рук. На месте, где перевязывали раны, лужи крови не пересыхали. Нигде не видал я таких ужасных ран. Разбитые головы, оторванные ноги и размозженные руки до плеч были обыкновенны. Те, которые несли раненых, облиты были с головы до ног кровью и мозгом своих товарищей…

Сражение не умолкало ни на минуту, и целый день продолжался беглый огонь из пушек. Бомбы, ядра и картечи летали здесь так густо, как обыкновенно летают пули; а сколько здесь пролетало пуль!.. Но это сражение неописано: я сделал только абрис его. По счастью, на то самое место, где случился я с братом, привели уже около вечера нашего брата Григория. Он был ранен пулей в голову. Рана опасна, но не смертельна. Искусный лекарь перевязал ее. Вечер наступал, и неприятель начал уклоняться. Русские устояли! Мы благословляли небо и

поспешили проводить раненого в Можайск.

30 августа

«Так восходило оно в день Аустерлицкого сражения!» – сказал Наполеон перед строем войск, указывая на восходящее солнце. Надменный вождь хотел заранее читать победу в Небесах? Но предвещания его не сбылись. О, мой друг! Какое ужасное сражение было под Бородино! Сами французы говорят, что они сделали 60 000 выстрелов из пушек и потеряли 40 генералов! Наша потеря также очень велика. Князь Багратион тяжело ранен. «Оценка людей, – говорит Екатерина, – не может сравняться ни с какими денежными убытками!» Но в отечественной войне и люди – ничто! Кровь льется как вода: никто не щадит и не жалеет ее! Нет, друг мой! Ни берега Дуная и Рейна, ни поля Италии, ни пределы Германии давно, а может быть никогда еще, не видали столь жаркого, столь кровопролитного и столь ужасным громом пушек сопровожденного сражения! Одни только русские могли устоять: они сражались под отечественным небом и стояли на родной земле.

Однако ж Наполеон не остановился в Бородине: он влечет пронзенные толпы свои прямо к Москве. Там Милорадович, командуя передовыми войсками, принимает все удары на свой щит. Здесь составляется совещание об участи Москвы.

Что будет? Богу знать!

P.S. Я бы писал к тебе более и пространнее, но от нестерпимой головной боли едва могу мыслить. В течение всего этого времени, имев всегда постелью сырую землю, я сильно простудил голову. Лучшее описание Бородинского сражения получишь разве со временем. Прощай!

2 сентября

Мы привезли раненого брата в Москву. Вот уже другой день, как я в столице, которую так часто видал в блестящем ее великолепии, среди торжеств и пирований, и которую теперь едва-едва могу узнать в глубокой ее печали. О, друг мой! Что значит блеск городов, очаровывающий наши чувства? Это самая тленная полуда на меди, позолота на пилюле! Отняли у Москвы многолюдство, движение народа, суету страстей, стук карет, богатство украшений – и Москва, осиротелая, пустая, ничем не отличается от простого уездного города! Все уехало или уезжает. Вчера брат мой, Сергей Николаевич, выпроводил жену и своих детей. Сегодня жег и рвал он все французские книги из прекрасной своей библиотеки, в богатых переплетах, истребляя у себя все предметы роскоши и моды. Тому, кто семь лет пишет в

пользу отечества против зараз французского воспитания, простительно доходить до такой степени огорчения в те минуты, когда злодеи уже приближаются к самому сердцу России. Я забыл сказать тебе, что государь в последний свой приезд в Москву пожаловал ему Владимирский крест при следующих словах: «За любовь вашу к отечеству, доказанную сочинениями и делами вашими». Мы было все пять братьев съехались в Москву, но пробыли вместе не более дня. Брат мой Иван уехал к князю Лобанову-Ростовскому, который взял его к себе в адъютанты… Уже враг в Москве! Уже французы в священных стенах Древнего Кремля!.. А мы вслед за русскими войсками пробираемся на Рязанскую дорогу. Древняя столица Севера после двухсотлетней свободы должна опять почувствовать тяготу оков иноплеменных!

4 сентября. Боровской перевоз

Москва в слезах;
Москва уныла,
Как темная в пустыне ночь!

Так говорил я вместе с одним из превосходнейших наших поэтов, стоя на высоком Мячковском кургане у Боровского перевоза на Москве-реке. Я видел сгорающую Москву. Она, казалось, погружена была в огненное море. Огромная черно-багровая туча дыма висела над ней. Картина ужасная!.. Войска наши предпринимают какое-то очень искусное движение влево. Потеря Москвы не есть еще потеря Отечества. Так скажет история, и так говорит главнокомандующий: таков есть голос всего войска, готового сражаться до последней капли крови! Ты знаешь, что в 1571 году, при царе Иване Васильевиче, вся Москва разорена и была предана пламени набежавшим с ордой крымских татар ханом Дивлет-Гиреем в день 24 мая. «Все улицы наполнены были кровью и трупами, и Москва-река “мертвых не пронесла”!» – так повествует летописец. В 1612 году она терпела почти такую же участь и славно избавлена Пожарским!

Один знаменитый писатель[64] говаривал часто, что время настоящее беременно будущим. А посему-то, видя в настоящем всеобщее вооружение, воскресший народный дух, твердость войск и мудрость вождей, я предчувствую, что будущее, рожденное счастливыми обстоятельствами настоящего, должно быть некоторым образом повторением прошедшего; оно должно возвратить нам свободу, за которую теперь, как и прежде, все ополчается. Друг мой! Будем молиться – и надеяться!

Сентября 10. Рязань

С какими трудами, неприятностями и препятствиями сопряжено всеобщее бегство!.. По Рязанской губернии в нескольких местах переправляются через одну только Оку, и ни в одном месте нет порядочной переправы! Ни к чему не годные паромы на ветхих канатах едва могут поднять десять лошадей и несколько человек, тогда как сотни проезжающих ожидают на берегу. Раненые офицеры больше всего при этом страждут. Целые семейства живут здесь на пустом берегу в ожидании очереди переправиться. Жена одного знакомого нам московского жителя, который простоял на переправе трое суток, разрешилась от бремени. Положение отца было самое печальное, ибо негде было взять никаких средств для вспоможения болящей и младенцу. Я еще в первый раз в здешних местах и в первый раз вижу, что Россия здесь так мало населена. Какие обширные поля – и как мало жилищ! Кажется, что вся населенность в России сдвинулась к ее границам. Если б можно было сделать противное, чтоб народ стеснился ближе вокруг сердца своего Отечества, а степи отделили бы от чуждых стран, чтоб разврат и оружие иноплеменников не так легко проникали в него!

Что сказать тебе более о нашем странствовании? Мы проехали Коломну, очень порядочный город, пониже которого сливается Москва-река с Окою. Я едва успел взглянуть там на древние развалины очень красивых башен; вихрь всеобщего смятения умчал и нас с собою далее. Мне очень хотелось найти здесь подполковника артиллерии, двоюродного брата моего и друга Владимира Глинку, который, помнишь, был с нами вместе в Корпусе[65]; но он уже ушел с ротою куда-то за Оку. Мы проезжали Зарайск, прелестный городок на берегу светлой реки Осетра, впадающей в Оку. Там осмотрел я старинную крепость, называемую Кремлем.

Говорят, что предки наши были непросвещенны; однако ж они умели выбирать самые выгодные места для своих Кремлей. Зарайский Кремль служит доказательством. Стоя на возвышенном месте, он преграждает переправу на реке и может действовать орудиями далеко по дороге, извивающейся по чистым и гладким полям, по которой прихаживали туда татары. Почти вся Рязанская губерния полиста и безгорна: кое-где холмится. В каждой лощине хутор или деревенька. Ручей и рощица – суть сокровища в сей стороне. Земля отменно хлебородна. Женщины здешние ходят в шушунах, а на голове носят остроугольные кички, которые придают им необыкновенный рост. Они говорят проезжим: «Добрый господин, касатик», одна другой говорит: «Подруга ластушка». Мужчины великорослы, свежи, белотелы; в обращении

несколько суровы. О Рязани, по причине краткого в ней пребывания, не скажу тебе ни слова. Я заметил только, что лучший и огромнейший из всех домов в ней есть дом откупщика. Как разживаются у нас откупщики и французы-учителя!.. Мы полагали, что в таком городе, как Рязань, будет приют для раненых, но им велят убираться в Касимов; мы едем с братом туда. И здесь все волнуется. Бог знает от чего? Народ суетлив!

Сентября 11

Не припомнишь ли ты в прошлогоднем «Вестнике Европы» одной очень остроумной статьи? – Это было какое-то сновиденье, которое теперь можно назвать пророческим. Человек, писавший этот отрывок, сквозь целый год будущего видал сбывающееся ныне. Он видел, – говорит он, – во сне, что будто на Россию сделалось нашествие и Москва окружена татарами! Стон и вопли повсеместны. Но победоносный хан Узлу-к-узлу смягчается слезами нежного пола. Он позволяет каждой женщине вынести на себе то, что ей всего дороже. Зритель во сне с нетерпением ожидает, что или кого станут выносить?.. Наконец, открылись заставы и повалили толпы женщин. У большой части из них ноши были легки: они несли шляпки, шали, ленты, кружева и прочие освященные модою безделки. Иные тащили кипы романов, другие уносили любимых постельных собачек, попугаев, кучи сладких записочек и раззолоченных альбомов. Вдруг мелькает знакомое лицо – жена любопытного зрителя.

С помощью нескольких дюжин горничных девушек тащит она на себе преогромный короб. Вот тут-то, верно, спрятаны дети мои, думает чадолюбивый отец и бежит вслед за женою. Молодая супруга останавливается, бережно опускает короб, с нетерпением открывает его, и – оттуда выскакивает… француз-учитель! Бедный муж ахнул и проснулся. А теперь не проснешься, видя подобные случаи: ибо видишь их наяву!.. С каким старанием сии скачущие за Волгу увозят с собою французов и француженок! Берегут их, как родных детей! Какое французолюбие! Несчастные! Выезжая из чумы, везут с собою вещи, напоенные ядом ее!.. Не совсем-то хорошо и то, что по той же самой дороге, где раненые солдаты падают от усталости, везут на телегах предметы моды и роскоши. Увозят вазы, зеркала, диваны, спасают Купидонов, Венер, а презирают стоны бедных и не смотрят на раны храбрых!!

Гремит гром, но не всякий еще крестится!..

21 сентября. Село Льгово – недалеко от Рязани

Мы уже были в Касимово, но не более двух дней. Три перевязки, сделанные искусным лекарем, встретившимся нам на

дороге, облегчили рану брата. Он не захотел тесниться в городе, наполненном великим множеством раненых, и, почувствовав себя в состоянии лечиться при полку, решился ехать в армию. В Касимово любопытно видеть древнее кладбище татарских ханов и читать надписи на обломках великолепных надгробников; но я не успел ничего видеть. Я только видел большие барки, на которых благородные семейства со всем домом, с каретами, лошадьми и прочим тянулись вниз по реке. Все уплывает, уходит или уезжает! Вот времена! Дай бог, чтобы они скорее кончились и никогда не возобновились!

Как странна упряжь уезжающих! Часто подле прекрасной английской верховой лошади видим мы запряженную водовозную клячу; видим людей, богато одетых в крестьянских телегах! Теперь люди испытывают то, о чем прежде едва ли слышали. Очень редко видим едущих к Рязани; везде оглобли и дышла повозок, и головы лошадей обращены в противоположную сторону.

Сейчас гулял я по берегу Оки и смотрел, как буря играла синими волнами ее и гнала их в далекое пространство открытых степей. В разных местах приметны на берегах Оки огромные горы сыпучего песку: кто насыпал их? веки или наводнения? Песчаные берега, осененные темно-зелеными елями, под туманным небом представляют унылые Оссияновские картины.

Здесь, в Ольгово, есть монастырь на превысокой скале над Окою. Отшельник, живущий в нем, может смотреть в одно окно на Европу, в другое – на реку и степи, идущие к пределам Азии. С одной стороны слышит он шум страстен и стон просвещенных народов, с другой – представляется ему молчаливая природа в величественной важности своей. Полудикие племена, кочующие в дальних степях, не имеют великолепных городов и пышных палат, но зато незнакомы с заботами и горестями, гнездящимися в них!

26 сентября. Город Таруса

В Рязани простились мы с братом Сергеем: он поехал отыскивать жену свою и семейство, которое составляло все утешение, все счастье трудами и бурями исполненной жизни его. Кажется, Плутарх сказал, что брат есть друг, данный нам природою; мы испытали это, особенно в теперешнем странствии.

От Рязани проехали опять Зарайск, потом Каширу и Серпухов.

Какие прелестные места!.. Здесь берега Оки унизаны селениями, расположенными на прекрасных холмах, между зелеными рощицами. Почти на всякой версте видим красивые господские дома, каменные церкви, больницы и сады. Какое

приятное соседство! Как счастливы должны быть здесь люди, если только они так хороши, как их природа! Женщины здешние имеют живой, алый румянец на белом лице, белокуры и вообще очень хороши собою. Здесь, верно, проводят приятные летние месяцы в хозяйственных занятиях, во взаимных друг другу посещениях, в прогулках по светло-голубой Оке и живописным берегам ее. Зимою здесь, верно, пользуются таким близким соседством: катаются на легких санях или бегают на коньках по светлому льду из дому в дом. Занимаются приятными разговорами, музыкою, полезным чтением и, важность бесед услаждая невинными забавами, живут в дружбе, любви и простоте, вовсе не заботясь о шумных городах и большом свете. Так думаешь, но совсем не то находишь. К сожалению, с того времени, как французские моды вскружили головы французских питомцев, на Руси изредка стали заглядывать в поместья свои. Собрав сельские доходы, тотчас спешат приносить их на алтарь моде во храмах, воздвигнутых ею в Москве. Французские торговки и рассеянная жизнь все поглощают!.. Питомцы французов, не заботясь о наследии отцов, входят в долги, читают французские романы и не могут поверить, что стране своей родной со счастьем можно в селах знаться!

Опустелые каменные дома и различные заведения свидетельствуют, что здесь некогда люди пользовались выгодами и приятностями сельской жизни. Может быть, теперь, вразумленные пожаром Москвы, сожженной их любимцами, дети возвратятся к благим обычаям отцов своих.

Друг мой! Французы-учителя не менее опасны и вредны французов-завоевателей: последние разрушают царства, первые – добрые нравы, которые неоспоримо суть первейшие основания всех обществ и царств. Рассказывают, что одна несчастная, не россиянка по воспитанию, слюбившись с французом, воспитателем ее детей, выгнала из дому доброго, честного и генеральский чин уже имевшего мужа своего. Она могла это сделать, ибо, к несчастью, все имение принадлежит ей. Нежный отец украдкой только видается с детьми своими. Когда велено было всех французов высылать за границу, то этот назвался прежде итальянцем, а потом жидом! Каковы французы! Нет брани, которой бы стоил этот превратный и развратный народ!

Теперь здесь побережье Оки совершенно пусто; все господа уехали в степи от французов, так как прежде, заражаясь иноземною дурью, ездили в Москву и в Париж к французам.

Признаюсь тебе, что сколько я ни люблю прежних французских, а особливо драматических, писателей, однако желал бы, чтоб язык их менее употребителен был у нас. Он такой

же вред делает нашему, как ничтожный червь прекрасному величественному древу, которого корни подтачивает.

Крайне прискорбно видеть и в армии язык сей в излишнем употреблении. Часто думаешь, что идешь мимо французских биваков! Я видел многих нынешнего воспитания молодых людей, которые прекрасно говорят и пишут по-французски, не умея написать правильно нескольких строк на своем природном языке. Я приметил, что люди эти умны только по-французски. Послушай их, говорящих по-русски, – и вся ловкость, все обороты, вся замысловатость исчезают! Это очень легко объяснить. Ты знаешь, что у французов почти все умники суть фразеры (fraseurs), которые умны чужим умом. Память их испещряется выражениями разных писателей, и они беспрестанно повторяют то в разговорах, что затвердили в книгах. Множество каламбуров, пословиц и памятных стихов (des vers a reteniv) придают разговорам их какую-то пестроту и приятность… на первый только раз! Однажды спросили у Дидерота, каких он мыслей о том человеке, с которым недавно проговорил целый час? «Он умен», – отвечал Дидерот. Но те, которые знали его коротко, начали смеяться и доказали, что он дурак. «Ну, так я не виноват, – возразил Дидерот, – что он на один только час запасся умом!» Стало, у французов можно запасаться умом? По-русски совсем иначе: надобно сочинять свой разговор, изобретать выражения, а для этого нужен незаемный ум. Суворов знал прекрасно французский язык, а говорил всегда по-русски. Он был русский полководец!

27 сентября

Я сделал бы великое преступление, если б в то время, как загружаю некоторые письма мои к тебе разными подробностями, не упомянул о деяниях одного из знаменитых соотечественников наших. Эти деяния, весьма полезные теперь, почтенные во всякое время и драгоценные для истории, пролагают сами себе верный путь чрез благородные сердца современников в память и сердца потомков. Я говорю о подвигах доброго, человеколюбивого генерала графа Воронцова. В самых молодых летах, получив одно из величайших наследств в России, он не уснул на розах. Напротив, по стезе трудов и терний пошел за лавровыми венцами. Не стану распространяться о его храбрости – она известна. Но не могу не разделить с тобою удивления моего тому, что ни богатство, в котором так легко черствеют сердца, ни блеск воинской славы не могли отвлечь его внимания от страданий ближних.

Никто больше его не вникал в нужды бедных офицеров, никто не был ближе к принесению им помощи. Он привлекал к себе

любовь подчиненных и славился ею еще в то время, как водил отряд свой по вертепам Балканских гор. Отгремев на берегах Дуная, явился он в войсках Второй Западной армии. В день ужаснейший Бородинской битвы долго отстаивал с преданными ему гренадерами место свое на левом крыле. Наконец, покрытый ранами и славою, с потерею крови и памяти унесен с поля. Теперь, остановясь в одном из своих поместий, лежащем на одной из больших дорог, ведущих из Москвы вглубь России, он открыл весь дом свой к помещению, а сердце к просьбам несчастных. Все раненые офицеры, солдаты и бесприютные странники русские заходят к нему, как в собственный дом. Весьма приличное содержание, пища и покров. Многих благотворительность его оделяет втайне и деньгами. Слухи о сем, доходя до сих мест, восхищают всех истинно русских. А я сердечно рад, когда могу золотить письма мои немерцающим блеском отечественных добродетелей. «Где девал ты свое имение?» – спросил некогда царь Иван Васильевич боярина своего Шереметева. «Чрез руки бедных отправил к богу!» – отвечал он царю. Вот лучшее употребление богатств, употребление, достойное русских вельмож! В царствование Елисаветы, когда проповеди начинали уже становиться необходимыми к умягчению дебелевших в роскоши сердец, Гедеон в одной из проповедей, произнесенной им в день сошествия Св. Духа, жарко вступается за бедных. Он сильно и красноречиво доказывает, что богачи суть люди, которых Бог удостоил быть блюстителями сокровищ земных, не для чего иного, как для вернейшего подела оных бедным собратиям своим. Ударит последний час, те и другие явятся с отчетом: первые в раздаче, последние в получении. Молитвы бедных отворят врата райские богачам.

Богачи нашего времени! Какой ответ дадите вы, если глас царя небесного или голос Отечества спросит у вас: «Где деваете вы свои имения?» Горе тем, которые, указав на льющееся море роскоши, скажут: «Там утопают они!» Не думаете ли вы, питомцы неги, пресыщаться спокойно отрадами жизни, когда придут грозы и вы по-прежнему в домах расставите ломкие сокровища – зеркала и фарфоры свои? Нет! Тогда громкие стоны бедных, которые роями притекут к пеплу пожарищ своих, заглушат все песни вашей радости!..

29 сентября

Наконец, среди опустошенных селений, по лесистой проселочной дороге, соединяющей большую Тульскую с Калужской, прибыли мы к Тарутину. Небольшие отряды, рассеянные для фуражирования, служили нам проводниками.

Обширное зарево, пылавшее на горизонте, еще издалека указало место, где стояла армия на биваках. Выезжаем из леса – и видим пространное поле, ряды высоких укреплений; вправо крутые берега Нары, далее представляется множество огней, ярко светящихся в вечерних сумерках, и многочисленное воинство, стройно расположенное в соломенных шалашах по обеим сторонам большой дороги. Веселые клики, повсеместное пение и музыка, в разных местах игравшая, ясно доказывали, что дух войск не был еще удручен печалью. Здесь-то остановились, наконец, храбрые тысячи русских, безмолвно следовавшие за своими вождями, беспрестанно сражавшиеся и при всегдашней победе уступавшие села, города, целые области хищному неприятелю. Здесь остановились они для того, чтобы всем до одного умереть или нанести смертельный удар нашествию.

Около ста тысяч войск чудесно укрепленное местоположение и большое число пушек составляют в сем месте последний оплот России. Но войско наше кипит мужеством; но любовь к отечеству овладела сердцами всего народа; но Бог и Кутузов с нами – будем надеяться!

Сентября 30

На месте, где было село Тарутино Анны Никитишны Нарышкиной, и в окрестностях оного явился новый город, которого граждане – солдаты, а дома – шалаши и землянки. В этом городе есть улицы, площади и рынки. На сих последних изобилие русских краев выставляет все дары свои. Здесь, сверх необходимых жизненных припасов, можно покупать арбузы, виноград и даже ананасы!.. тогда как французы едят одну пареную рожь и, как говорят, даже конское мясо! На площадях и рынках тарутинских солдаты продают отнятые у французов вещи: серебро, платье, часы, перстни и проч. Казаки водят лошадей. Маркитанты торгуют винами, водкой. Здесь между покупщиками, между продающими и меняющими, в шумной толпе отдохнувших от трудов воинов, среди их песен и музыки, забываешь на минуту и военное время, и обстоятельства, и то, что Россия уже за Нарою…

Отдых, некоторая свобода и небольшое довольство – вот все, что тешит и счастливит военных людей!

1 октября

Брат мой, у которого рана еще не зажила, явясь на службу, был очень благосклонно принят генерал-майором Талызиным и дивизионным начальником своим почтенным генерал-лейтенантом Капцевичем. Я приехал сюда также с тем, чтоб

непременно определиться в полк. Но мне надо было найти генерала, который, зная прежнюю мою службу, принял бы бедного поручика хотя тем же чином, несмотря на то что все свидетельства и все аттестаты его остались в руках неприятеля и что на нем ничего более не было, кроме синей куртки, сделанной из бывшего синего фрака, у которого от кочевой жизни при полевых огнях полы обгорели. Я пошел к генералу от инфантерии Милорадовичу, живущему в авангарде впереди Тарутинской позиции. Он узнал меня, пригласил в службу; и я уже в службе – тем же чином, каким служил перед отставкой и каким отставлен, то есть поручиком, имею честь находиться в авангарде, о котором теперь гремит слава по всей армии.

4 октября. Село Тарутино

Сегодня генерал Милорадович взял меня с собой обедать к генералу Дмитрию Дмитриевичу Шепелеву, который имел свои биваки за правым крылом армии. Обед был самый великолепный и вкусный. Казалось, что какая-нибудь волшебница лила и сыпала из неистощимого рога изобилия лучшие вина, кушанья и самые редкие плоды. Хозяин был очень ласков со всеми и прекраснейший стол свой украшал еще более искусством угощать. Гвардейская музыка гремела. Итак, твой друг, в корень разоренный смоленский помещик, бедный поручик в синей куртке, с пустыми карманами, имел честь обедать вместе с тридцатью лучшими из русских генералов…

К большому моему удовольствию, я познакомился здесь с любезным молодым человеком графом Апраксиным, адъютантом генерала Уварова.

Победа русской армии при Тарутино.
Гравюра. С. Карделли. XIX век

7 октября. Тарутино

Еще звенит в ушах от вчерашнего грома. После шести мирных лет я опять был в сражении, опять слышал шум ядер и свист пуль. Вчерашнее дело во всех отношениях удачно. Третьего дня к вечеру генерал Беннигсен заезжал к генералу Милорадовичу с планами. Они долго наедине советовались. Ночью знатная часть армии сделала, так сказать, вылазку из крепкой Тарутинской позиции. Славный генерал Беннигсен имел главное начальство в этом деле. Генерал Милорадович командовал частью пехоты, почти всей кавалерией и гвардией. Нападение на великий авангард французской армии, под начальством короля Неаполитанского, сделано удачно и неожиданно. Неприятель тотчас начал отступать и вскоре предался совершенному бегству. 20 пушек, немалое число пленных и великое множество разного обоза были трофеями и плодами этого весьма искусно обдуманного и счастливо исполненного предприятия. Движениями войск в сем сражении управлял известный полковник Толь, прославившийся личной храбростью и великими познаниями в военном деле. Предупреждаю тебя, что все мои описания с этой поры будут очень кратки: в авангарде нет ни места, ни времени к пространным письменным занятиям. Подожди! Когда-нибудь при удобнейшем случае я сообщу тебе

подробнейшее описание действий войск под начальством генерала Милорадовича. Не знаю, почему большая часть знаменитых подвигов этого генерала не означена в ведомостях; но он, как я заметил, нимало этим не огорчается. Это значит, что он не герой «Ведомостей», а герой истории и потомства.

Скажу тебе, что этот генерал, принявший, по просьбе Князя Светлейшего, начальство над арьергардом после страшного Бородинского сражения, дрался с превосходным в числе неприятелем с 29 августа по 23 сентября, т. е. 26 дней беспрерывно. Некоторые из этих дней, как то: 29 августа, 17 сентября и 20 и 22 того же месяца, ознаменованы большими сражениями, по десяти и более часов продолжавшимися. Известно ли все это у вас?

9 октября. Дача Кусковникова близ Тарутина

Как живуч может быть человек!.. Сегодня поехал генерал Милорадович, и мы все за ним, осматривать передовые посты, оставшиеся на том самом месте, где было сражение. В разных местах валялись разбросанные трупы, и между ними один, весь окровавленный, казалось, еще дышал. Все остановились над ним. Этот несчастный, за три дня пред сим оставшийся здесь в числе мертвых, несмотря на холодные ночи, сохранял еще в себе искру жизни. Сильный картечный удар раздробил ему половину головы: оба глаза были выбиты, одно ухо, вместе с кожей и частью черепа, сорвано; половина оставшейся головы облита кровью, которая густо на ней запеклась, и за всем тем он еще жил!.. Влили ему в рот несколько водки, игра нерв сделалась живее… «Кто ты?» – спрашивали у него на разных языках. Он только мычал. Но когда спросили наконец: «Не поляк ли ты?», он отвечал по-польски: «Да!» «Когда ранен?» – «В последнем деле, то есть третьего дня». – «Чувствуешь ли ты?» «Бывают минуты, когда чувствую – и мучусь!» – отвечал он с тяжким вздохом и просил убедительно, чтоб его закололи. Но генерал приказал дать ему опять водки и отвезти в ближайшую деревню. – Нет, друг мой! Славный Гуфланд еще не все изъяснил нам в красноречивейших умствованиях своих о жизни. Надобно было ему увидеть этого несчастного, чтоб понять, сколь долго сей тончайший духовный спирт[66] может держаться в полураздробленном скудельном сосуде своем.

Вчера приехал к нам из Пажеского корпуса сын Г.П. М-ча, о котором я тебе столько раз писал и которого благорасположение ко мне поставляю в великой цене. Сын его, племянник генерала нашего, – прекрасный, благовоспитанный молодой человек. Я душевно рад, что он остается у нас. Теперь он был вместе с нами

и в первый раз отроду видел поле сражения, где хотя замолкли громы, но еще не обсохла кровь. Генерал приказывал ему смотреть на все внимательнее, чтобы привыкать к ужасам войны. В самом деле, посинелые трупы, кровью и мозгом обрызганные тела, оторванные руки и ноги, в разных местах разметанные, должны возмущать мирные чувства кроткого юноши, пока не привыкнет он к таковым плачевным, но необходимым позорищам[67]!

Мы теперь переместились со всем дежурством в один огромный каменный дом, который, по-видимому, был некогда убран богатою рукою. Теперь все изломано и разорено. На биваках у казаков сгорают диваны, вольтеровы кресла, шифоньерки, бомбоньерки, кушетки, козетки и проч. Что сказала бы всевластная мода и роскошные баловни ее, увидев это в другое время?

23 октября. Город Вязьма

Среди дымящихся развалин города, под громом беспрерывно лопающихся бомб и гранат, повсюду злодеями разбросанных, в тесной комнате полусожженного дома, пишу к тебе, друг мой!.. Торжествуйте великое празднество освобождения Отечества!.. Враги бегут и гибнут; их трупами и трофеями устилают себе путь русские к бессмертию. До сих пор я не имел ни одной свободной минуты. В течение 12 суток мы или шли, или сражались. Ночи, проведенные без сна, а дни в сражениях, погрузили мой ум в какое-то затмение – и счастливейшие происшествия: освобождение Москвы, отражение неприятеля от Малого Ярославца, его бегство – мелькали в моих глазах, как светлые воздушные явления в темной ночи. Печатные известия из армии, рассылаемые по губерниям, конечно, уже известили тебя подробно обо всем. Итак, я скажу несколько слов только о том, что при свободном досуге надобно бы описать на нескольких страницах. Еще повторяю, что о делах генерала Милорадовича (который почти всякий раз доносит главнокомандующему в двух или трех строках, не более того, что он отразил или побил неприятеля там и тогда-то) я постараюсь представить тебе подробнейшее описание, если останусь жив и записная книжка моя уцелеет.

Вскоре после Тарутинского дела, 6 октября, Князь Светлейший получил известие, что Наполеон, оставляя Москву, намерен прорваться в Малороссию. Генерал Дохтуров, с корпусом своим, отряжен был к Боровску. Вслед за ним и вся армия фланговым маршем передвинулась на старую Калужскую дорогу, заслонила собой ворота Малороссии и была свидетельницей

жаркого боя между нашим 6-м и 4-м французским корпусами при Малом Ярославце.

Генерал Милорадович, сделав в этот день с кавалерией 50 верст, не дал отрезать себя неприятелю и поспешил к самому тому времени, когда сражение пылало и присутствие его с войсками было необходимо. Фельдмаршал, удивленный такой быстротой, обнимал его и называл крылатым. В наших глазах сгорел и разрушился Малый Ярославец. На рассвете генерал Дохтуров с храбрыми войсками своего корпуса присоединился к армии, которая двинулась еще левее и стала твердой ногой на выгоднейших высотах.

Генерал Милорадович оставлен был с войсками своими на том самом месте, где ночь прекратила сражение. Весь следующий день проведен в небольшой только пушечной и ружейной перестрелке. В сей день жизнь генерала была в явной опасности, и провидение явно оказало ему покровительство свое. Отличаясь от всех шляпой с длинным султаном и сопровождаемый своими офицерами, заехал он очень далеко вперед и тотчас обратил на себя внимание неприятеля. Множество стрелков, засев в кустах, начали метить в него. Едва успел выговорить адъютант его Паскевич: «В вас целят, ваше превосходительство!» – и пули засвистали у нас мимо ушей. Подивись, что ни одна никого не зацепила. Генерал, хладнокровно простояв там еще несколько времени, спокойно поворотил лошадь и тихо поехал к своим колоннам, сопровождаемый пулями. После этого генерал Ермолов, прославившийся и сам необычайной храбростью, очень справедливо сказал в письме Милорадовичу: «Надобно иметь запасную жизнь, чтоб быть везде с вашим превосходительством!» Через два дня бегство неприятеля стало очевидно, и наш арьергард, сделавшись уже авангардом, устремился преследовать его. Темные, дремучие ночи, скользкие проселочные дороги, бессонье, голод и труды – вот что преодолели мы во время искуснейшего флангового марша, предпринятого генералом Милорадовичем от Егорьевска прямо к Вязьме. Главное достоинство этого марша было то, что он совершенно утаен от неприятеля, который тогда только узнал, что сильное войско у него во фланге, когда мы вступили с ним в бой, ибо до того времени один генерал Платов теснил его летучими своими отрядами. Вчера началось сражение, с первым лучом дня, в 12 верстах от Вязьмы. У нас было 30 000, а вице-король итальянский и маршалы Даву и Ней наставили против нас более 50 000. Неприятель занимал попеременно шесть выгоднейших позиций, но всякий раз с великим уроном сбиваем был с каждой победоносными нашими войсками. Превосходство в силах и

отчаянное сопротивление неприятеля продлили сражение через целый день. Он хотел было непременно, дабы дать время уйти обозам, держаться еще целую ночь в Вязьме и весь город превратить в пепел. Так уверяли пленные; и слова их подтвердились тем, что все почти печи в домах наполнены были порохом и горючими веществами. Но генерал Милорадович, послав Паскевича и Чоглокова с пехотой, которые тотчас и ворвались с штыками в улицы, сам с бывшими при нем генералами, устроя всю кавалерию, повел в объятый пламенем и неприятелем наполненный еще город. Рота конной артиллерии, идя впереди, очищала улицы выстрелами; кругом горели и с сильным треском распадались дома; бомбы и гранаты, до которых достигало пламя, с громом разряжались; неприятель стрелял из развалин и садов; пули свистели по улицам. Но, видя необоримую решимость наших войск и свою гибель, оставил он город и бежал, бросая повсюду за собой зажигательные вещества. На дымящемся горизонте угасало солнце. Помедли оно еще час – и поражение было бы совершеннее; но мрачная осенняя ночь приняла бегущие толпы неприятеля под свой покров. До пяти тысяч пленных, в числе которых известный генерал Пелетье, знамена и пушки были трофеями этого дня. Неприятель потерял, конечно, до 10 000. Путь на 12 верстах устлан его трупами. Генерал Милорадович остановился в том самом доме, где стоял Наполеон, и велел тушить горящий город. Сегодня назначен комендант, устроена военная полиция, велено очищать улицы от мертвых тел, разослано по уезду объявление, сзывающее жителей к восстановлению по возможности домов и храмов Божьих в отечественном их городе, исторгнутом ныне из кровавых рук нечестивых врагов.

Со временем благородное дворянство и граждане Вязьмы, конечно, почувствуют цену этого великого подвига и воздадут должную благодарность освободителю их города. Пусть поставят они на том самом поле, где было сражение, хотя не многоценный, но только могущий противиться временам памятник, и украсят его, по примеру древних, простой, но всеобъясняющей надписью: «От признательности благородного дворян сословия и граждан Вязьмы начальствовавшему российским авангардом генералу от инфантерии Милорадовичу за то, что он, с 30 000 россиян, разбив 50-тысячное войско неприятельское, исторгнул из рук его горящий город их, потушил пожары и возвратил его обрадованному Отечеству и утешенным гражданам в достопамятный день, 23 октября 1812 года». В одержании победы участвовали: известный генерал граф Остерман; князь Сергей Николаевич Долгорукий, который, отличаясь прежде на

дипломатическом поприще, горел желанием служить в Отечественной войне и променял перо на шпагу. Но, служа в поле, он не перестает украшать бесед своих той же неподражаемой остротой ума, которой блистал некогда при дворах государей. Русские ко всему способны!.. Генералы: Ермолов, Паскевич, Олсуфьев и Чоглоков – храбростью и благоразумием своим содействовали к совершенному поражению врага. Полковник Потемкин со свойственным ему мужеством, как начальник штаба по авангарду, наблюдал за движениями наших войск в опаснейших местах. Перновский и Белозерский полки и батарейная рота Гулевича отличились.

P.S. В это самое время, как я пишу к тебе, генерал Вильсон, бывший личным свидетелем вчерашнего сражения, описывает также это своим соотечественникам. Из Петербурга нарочный отправится с известием об этой победе в Лондон.

26, в два часа пополудни. Дорогобуж

Вот сейчас только кончился штурм крепостного замка в Дорогобуже. Мы вырвали его из рук французов, захватили город, который они уже начали жечь, и провожали их ядрами, покуда не скрылись из наших глаз; а теперь сильная буря, веющая к западу, и генерал Юрковский с легкой конницей гонят их далее. Стужа увеличилась, метель затемнила воздух. Мы забрались в дом к протопопу, в котором уцелели окна и немного тепло. Я нашел старую чернильницу, отмочил засохшие чернила и пишу к тебе, как могу. Помедлив несколько в Вязьме, я должен был скакать 30 верст, чтоб догнать наши войска, неослабно преследовавшие неприятеля. Я ехал вместе с генералом Вильсоном, который не отстает от авангарда и по доброй воле бывает в огнях. В каком печальном виде представлялись нам завоеватели России!.. На той дороге, по которой шли они так гордо в Москву и которую сами потом опустошили, они валялись в великом множестве мертвыми, умирающими или в беднейших рубищах, окровавленные и запачканные в саже и грязи, ползали, как ничтожные насекомые, по грудам конских и человеческих трупов. Голод, стужа и страх помрачили их рассудок и наложили немоту на уста: они ни на что не отвечают; смотрят мутными глазами на того, кто их спрашивает, и продолжают глодать конские кости. – Так караются враги, дерзающие наступать на святую Русь! Подобная казнь постигла татар, дерзко набежавших на Россию в дни малолетства царя Ивана Васильевича. «Великие снега и морозы познобили татар; а остальных “казаки добивали”», – так говорит Царственная книга. Во все эти дни неприятель беспрестанно забавлял нас потешными огнями: он подрывал много своих

пороховых ящиков. Бог знает каких только неистовств не делает этот неприятель! Он отряжает нарочные толпы для сжигания деревень, прикалывает наших пленных и расстреливает крестьян. Зато и крестьяне не спускают им! Большими ватагами разъезжают они с оружием по лесам и дорогам, нападают на обозы и сражаются с толпами мародеров, которых они по-своему называют миродерами. По их толкам это люди, обдирающие мир!

Генерал Вильсон говорит, что война эта подвинула Россию на целое столетие вперед на пути опытов и славы народной. Мой друг! Молнии и зарницы электрической своей силой способствуют зрелости жатв; молнии войны пробуждают дух народов и также ускоряют зрелость их. Таков порядок вещей под солнцем!..

Я не сказал тебе еще о сегодняшних трофеях наших. Они состоят в 600 пленных и двух пушках. Все это досталось нам после довольно жаркого боя. Укрепленные высоты Дорогобужа должны мы были взять открытым штурмом, а из города выйти неприятеля заставил генерал Милорадович искусным направлением дивизии принца Виртембергского в обход слева. Пожар начал было распространяться и здесь, но густым снегом и усердием наших солдат был потушен. Тут также оставляется комендант, которому поручено сзывать жителей на прежние их жилища. Надо видеть наших солдат, без ропота сносящих голод и стужу, с пылким рвением идущих на бой и мгновенно взлетающих на высоты окопов, чтоб иметь понятие о том, как принято освобождать города своего Отечества! 4-го егерьского полка майор Русинов, получив рану в руку при начале штурма, велел поддерживать себя солдатам и продолжал лезть на вал; через несколько минут ему прострелили ногу, и солдаты вынуждены были снести его в ров. Но этот храбрый офицер до тех пор не приказывал уносить себя далее и не переставал ободрять солдат, пока не увидел их уже на высоте победителями. Это тот самый, который вышел одним выпуском прежде нас из корпуса.

Представь себе, друг мой, что я теперь только в 60 верстах от моей родины и не могу заглянуть в нее!.. Правда, там нечего и смотреть: все разорено и опустело! Я нашел бы только пепел и развалины; но как сладко еще раз в жизни помолиться на гробах отцов своих! Теперь сходен я с кометой, которая не успеет приблизиться к солнцу, как вдруг косвенным путем удаляется опять от него на неизмеримые пространства. Завтра мы едем отсюда, но не в Смоленск, а боковыми, неизвестными путями и дорогами, через леса и болота… После узнаешь ты об этом искусном и, конечно, гибельном для французов движении наших войск.

7 ноября. На поле близ Красного

Видишь ли, какой мы сделали шаг! От Дорогобужа прямо к Красному. Смоленск и Днепр остались у нас справа. Тихо подкрались мы к большой дороге, из Смоленска в Красное. Неприятель полагал нас за тридевять земель; а мы, как будто из-под земли, очутились вдруг перед ним! Это впрямь по-суворовски! Теперь называют это фланговым, или боковым, маршем, 3-го числа ноября показались мы из лесов против деревни Ржавки. Неприятель шел по большой дороге спокойно и весело: наступившая оттепель отогрела жизненные силы этих питомцев благодетельного климата их отечества. Великие обозы с северными гостинцами тянулись между колонн. Генерал Милорадович приказал тотчас нападать. Неприятель остановился, сыпнул в овраги и паростники множество стрелков, выставил между берез, по высотам дороги, легкие орудия; а тяжелой артиллерии и обозам, в сопровождении своей конницы, велел спасаться вперед. Наши наступили с обыкновенным мужеством – и дело загорелось! Но, несмотря на великое превосходство в силах неприятеля перед нами, он был мгновенно сбит с большой дороги, поражаем в полях и одолжен спасением одной только темноте ночной и ближним лесам, в которых скрылся. Знамена, пушки, пленные и множество обоза наградили победителей, на первый раз, за трудный фланговый марш. Впереди нас видна была деревня; генерал Милорадович хотел в ней провести ночь, ему говорят, что там еще французы. Он посылает казаков истребить их – и мы там ночевали. После этого 4, 5 и 6-го числа, три дня сряду, проводили в беспрерывных сражениях. Всякий вечер отбивали у французов ночлег в нескольких верстах от большой дороги. С каждой утренней зарей, коль скоро с передовых постов приходило известие, что колонны показались на большой дороге, мы садились на лошадей и выезжали на бой. Наполеону очень не нравилось, что генерал Милорадович стоит под дорогой и разбивает в пух корпуса его; но делать нечего!.. Последняя рана, нанесенная ему вчера, чувствительнее всех прочих. Вчера. – О! Восхищайся, друг мой, столь знаменитой победой: вчера генерал Милорадович разбил совершенно тридцатитысячный корпус под предводительством искуснейшего из маршалов Наполеона – Нея, недавно прозванного им князем Москворецким. Неприятельский урон черезвычайно велик. Все четыре начальствовавших генерала убиты. Места сражений покрыты грудами неприятельских тел. В эти четыре для нас победоносных дня потеря неприятеля, наверно, полагается убитыми до 20 000, в плен взято войсками генерала

Милорадовича: генералов 2, штаб– и обер-офицеров 285, рядовых, сколько ты думаешь? – 22 000; пушек – 60!.. Поля города Красного в самом деле покраснели от крови. В одержании этих четвородневных побед много участвовали генералы Раевский и Паскевич. Храбрые их войска многие неприятельские толпы подняли на штыки. Отважными нападениями конницы предводительствовал генерал Уваров. Артиллерия оказала громадные услуги. Полковник Мерлин командовал ею в авангарде. Его рота и рота отважного капитана Башмакова покрыли себя славой. Действия пушек искусного и храброго Нилуса под Смоленском и Гулевича под Вязьмой останутся навсегда памятны французам. Остальные 600 из разбитого Неева корпуса, укрепившиеся с пушками в лесах, прислали уже поздно к вечеру переговорщика сказать, что они сдадутся одному, только генералу Милорадовичу, а иначе готовы биться до последнего. Французы называют Милорадовича русским Баярдом; пленные везде кричат ему: «Да здравствует храбрый генерал Милорадович!» Его и самые неприятели любят, вероятно, за то, что он, сострадая о них по человечеству, дает последний свой запас и деньги пленным. После всего этого ты видишь, что трофеев у нас много; лавров девать некуда; а хлеба – ни куска… Ты не поверишь, как мы голодны! По причине крайне дурных дорог и скорого хода войск наши обозы с сухарями отстали; все окрестности сожжены неприятелем, и достать нигде ничего нельзя. У нас теперь дивятся, как можно есть! и не верят тому, кто скажет, что он ел. Разбитые французские обозы доставили казакам возможность завести такого рода продажу, о которой ты, верно, не слыхивал. Здесь, во рву, подле большой дороги, среди разбитых фур, изломанных карет и мертвых тел, кроме шуб, бархатов и парчей, можно купить серебряные деньги мешками!! За сто рублей бумажками покупают обыкновенно мешок серебра, в котором бывает по сто и более пятифранковых монет. Отчего ж, спросишь ты, сбывают здесь так дешево серебро? – Оттого, что негде и тяжело возить его. Однако ж куплею этой пользуются очень немногие: маркитанты и прочие нестроевые. Но там, где меряют мешками деньги, – нет ни крохи хлеба! Хлеб почитается у нас единственной драгоценностью! Все почти избы в деревнях сожжены, и мы живем под углами в шалашах. Как жалко смотреть на пленных женщин! Их у нас много. Наполеон вел в Россию целый вооруженный народ! Третьего дня видели мы прекрасную женщину, распростертую подле молодого мужчины. Однако ядро лишило их жизни, может быть, в минуту последнего прощания. Тогда же, в пылу самого жаркого боя, под сильным картечным огнем, двое маленьких детей, брат и сестра, как Павел и

Виргиния[68], взявшись за руки, бежали по мертвым телам, сами не зная куда. Генерал Милорадович приказал их тотчас взять и отвести на свою квартиру. С того времени их возят в его коляске. Пьер и Лизавета, один 7, а другой 5 лет, очень милые и, по-видимому, благовоспитанные дети. Всякий вечер они, сами собой, молятся богу, поминают своих родителей и потом подходят к генералу целовать его руку.

Теперь эти бедняжки все вовсе сироты. Вчера между несколькими тысячами пленных увидели они как-то одного и вдруг вместе закричали: «Вот наш батюшка!» В самом деле это был отец их, полковой слесарь. Генерал тотчас взял его к себе, и он плачет от радости, глядя на детей. Мать их – немка – убита. Рассказать ли тебе об ужасном состоянии людей, которые давно ль были нам так страшны?.. Но меня зовут к генералу. Прости до первой свободной минуты!..

Оттуда же и того же дня

Мой друг! В самых диких лесах Америки, в области каннибалов, едва ли можно видеть такие ужасы, какие представляются здесь ежедневно глазам нашим. До какой степени достигает остервенение человека! Нет! Голод, как бы он ни был велик, не может оправдать такого зверства. Один из наших проповедников недавно назвал французов обесчеловечившимся народом; нет ничего справедливее этого изречения. Положим, что голод принуждает их искать пищи в навозных кучах, есть кошек, собак и лошадей; но может ли он принудить пожирать подобных себе. Они нимало не содрогаясь и с великим хладнокровием рассуждают о вкусе конского и человеческого мяса! Зато как они гибнут: как мухи в самую позднюю осень!.. У мертвых лица ужасно обезображены. Злость, отчаяние, бешенство и прочие дикие страсти глубоко запечатлелись на них. Видно, что сии люди погибали в минуты исступления, со скрежетом зубов и пеною на устах. На сих лицах не успело водвориться и спокойствие смерти[69]. Те, которые не совсем еще обезумели, беспрестанно просят есть; а накорми их досыта теплым кушаньем – умирают! Но большая часть из них совсем обезумели; бродят, как слепые. Вчера я видел одного, который в самом пылу сраженья с величайшим хладнокровием мотал клубок нитки и сам с собой разговаривал, воображая, что он сидит дома у своей матери. Но вчерашняя ночь была для меня самая ужасная! Желая немного обсушиться, мы оправили кое-как одну избу, законопатили стены, пробитые ядрами, и истопили печь. Сотни стенящих привидений, как Шекспировы тени, бродили около нас. Но едва почуяли они теплый дух, как со страшным воплем и

ревом присыпали к дверям. Один по одному втеснилось их несколько десятков. Одни валялись под лавками и на полу, другие на верхних полатях, под печью и на печи. Мы принуждены были помостить себе несколько досок с лавки на лавку. Отягченные усталостью, уснули на них. Перед светом страшный вой и стоны разбудили меня. Под нами и над нами множество голосов, на всех почти европейских языках, вопили, жаловались или изрыгали проклятие на Наполеона! Тут были раненые, полузамерзшие и сумасшедшие. Иной кричал: «Помогите! Помогите! Кровь льется из всех моих ран! Меня стеснили!.. У меня оторвали руку!» «Постойте! Удержитесь! Я еще не умер, а вы меня едите!» – кричал другой. В самом деле, они с голоду кусали друг друга. Третий дрожащим голосом жаловался, что он весь хладеет, мерзнет; что уже не чувствует ни рук, ни ног! И вдруг среди стона, вздохов, визга и скрежета зубов раздавался ужасный хохот… Какой-нибудь безумный, воображая, что он выздоровел, смеялся, сзывая товарищей: бить русских! А вслед за этим слышен был в другом углу самый горестный, сердце раздирающий плач. Я слышал, как один молодой поляк, увидев, конечно, во сне, родину свою, говорил громко, всхлипывая: «Я опять здесь, о матерь моя!.. Но посмотри, посмотри, как я весь изранен! Ах! Для чего ты родила на свет несчастного?»

Когда рассвело, мы нашли несколько умерших над нами и под нами и решились лучше быть на стуже в шалаше. Между сими злополучными жертвами честолюбия случился один заслуженный французский капитан, кавалер Почетного легиона. Он лежал без ноги под лавкой. Невозможно описать, как благодарил он за то, что ему перевязали рану и дали несколько ложек супу. Генерал Милорадович, не могший равнодушно видеть сиих беспримерных страдальцев, велел все, что можно было, сделать в их пользу. В Красном оправили дом для лазарета; все полковые лекари явились их перевязывать; больных обделили последними сухарями и водкой, а те, которые были поздоровее, выпросили себе несколько лошадей и тотчас их съели![70] Кстати, не надобно ль в вашу губернию учителей? Намедни один француз, у которого на коленях лежало конское мясо, взламывая череп недавно убитого своего товарища, говорил мне: «Возьми меня: я могу быть полезен России – могу воспитывать детей!» Кто знает, может быть, эти выморозки поопрaвятся, и наши расхватают их по рукам – в учителя, не дав им даже и очеловечиться…

10 ноября. Местечко Баево

Вчера перенесли мы знамена свои за древние рубежи нашего

Отечества. Перейдя речку Мерейку, мы вступили уже в Могилевскую губернию. Теперь главная квартира авангарда в местечке Баево, что на одной высоте с м. Лядами, на большой дороге. И так ныне уже ясно и никакому сомнению не подвержено, что одно постоянное продолжение сей войны увенчивает ее столь блистательными успехами. Если б заключили мир при Тарутине, как бы ни был он выгоден, Россия не имела б ни лавров, ни трофей, ни драгоценнейшего для всякого уверения, что Наполеон уже никогда не возвратится разорять пределы ее. Теперь можем мы вздохнуть спокойно!.. Меч, висевший над головами нашими, исчез. Тучи, ходившие по русскому небу, быстро несутся назад. Мы видим над собой ясную лазурь безмятежного свода, отколе Всевышний благословляет оружие правых на славном поприще его побед.

Известно, однако ж, что Наполеон, прежде нежели решился оставить Москву, истощал все усилия для заключения мира. Мудрый Кутузов заводил в сети ослепленного страстями и гордостью этого нового Навуходоносора. Он старался выиграть время, доколе подоспеет к нам вернейшая союзница – зима!

Но твердость государя в этих смутных обстоятельствах достойна хвалы и удивления современников и потомства. Исполненный духом предвидения, он пребывал непоколебим, как гранитный утес среди мятежных морей!

«Я прежде соглашусь перенести столицу мою на берега Иртыша и ходить в смуром кафтане, чем заключу теперь мир с разорителем Отечества!»

Так отвечал монарх на предложение о мире. Слух об сем дошел к нам в армию. Такие изречения государей подслушивает история и с благоговением передает отдаленнейшим родам.

Мой друг! Настоящее повторяется в будущем так, как прошедшее – в настоящем! Пройдут времена; лета обратятся в столетия, и настанет опять для некоего из царств земных период решительный, подобный тому, который ныне покрыл Россию пеплом, кровью и славою…

14 ноября. Город Борисов

Ушла лисица, только хвост в западне остался[71]!.. Никакой человеческий ум не может сделать соображений лучше тех, какие сделаны были князем Кутузовым, и принять лучших мер, какие принял он для поимки Наполеона у реки Березины в городе Борисове. Одна непостижимая судьба могла спасти его, может быть, для того, чтобы карать им еще человечество! Адмирал Чичагов с армией своей слева вниз, а граф Витгенштейн справа вверх по течению реки сближались один против другого, дабы

сомкнуть войска свои, как две стены, в том месте, где мог переправиться неприятель, за которым шла армия Кутузова и которого неослабно преследовали граф Платов с казаками, генерал Милорадович с авангардом, генералы Ермолов и Бороздин с летучими отрядами.

Бегство армии Наполеона из России.
Гравюра. Христиан Вильгельм фон Фабер дю Фор.
Середина XIX века

Все эти дни погода была самая бурная и ненастная. Морозы достигали до 20 градусов. Мы шли проселочными дорогами. Артиллерия наша прорезывала пути по глубоким снегам; пехота и конница пробирались дремучими лесами, и при всем этом несколько переходов сделано по 40 верст в день. Не забудь, что в зимний день!

Дух великого Суворова, конечно, веселился, взирая с высот на столь быстрое шествие победоносных россиян. Сбылся стих великого поэта:

Где только ветры могут дуть,
Проступят там полки орлины!

Жаль, однако ж, что все наши труды были напрасны!.. Наполеон уже за Березиной!.. Граф Витгенштейн тем же самым громом, который бросал на Клястицких полях[72], отбил у переправлявшегося неприятеля один из задних его корпусов, и 12 тысяч, увидев себя окруженными, положили оружие. Мы остановились в разоренном и еще дымящемся от пожара Борисове. Несчастные наполеонцы ползают по тлеющим развалинам и не чувствуют, что тело их горит!.. Те, которые поздоровее, втесняются в избы, живут под лавками, под печьми и

заползают в камины. Они страшно воют, когда начнут их выгонять. Недавно вошли мы в одну избу и просили старую хозяйку протопить печь. «Нельзя топить, – отвечала она, – там сидят французы!» Мы закричали им по-французски, чтоб они выходили скорее есть хлеба. Это подействовало. Тотчас трое, черных как арапы, выпрыгнули из печи и явились перед нами.

Каждый предлагал свои услуги. Один просился в повара; другой – в лекаря; третий – в учителя! Мы дали им по куску хлеба, и они поползли под печь.

В самом деле, если вам уж очень надобны французы, то вместо того чтоб выписывать их за дорогие деньги, присылайте сюда побольше подвод и забирайте даром. Их можно ловить легче раков. Покажи кусок хлеба – и целую колонну сманишь! Сколько годных в повара, в музыканты, в лекаря, особливо для госпож, которые наизусть перескажут им всего Монто; в друзья дома и – в учителя! И за недостатком русских мужчин, сражающихся за отечество, они могут блистать и на балах ваших богатых помещиков, которые знают о разорении России только по слуху! И как ручаться, что эти же запечные французы, доползя до России, приходясь и приосанясь, не вскружат голов прекрасным россиянкам, воспитанницам француженок!.. Некогда случилось в древней Скифии, что рабы отбили у господ своих, бывших на войне, жен и невест их. Чтоб не сыграли такой штуки и прелестные людоеды с героями русскими!..

16 декабря. Вильна

В начале октября был я несколько сот верст за Москвою, в Рязани, в Касимово, на берегах Оки. В ноябре дрались мы уже на границах Белоруссии, а 16 декабря пишу к тебе из Вильны. Так мыкается друг твой по свету! Такими исполинскими шагами шло войско наше к победам и славе!.. Но сколько неслыханных, невообразимых трудов перенесло войско! Сколько вытерпел друг твой! Однако ж я здоров! Через шесть дней буду в Гродне. Армия остается еще здесь, чтоб взять хоть малейший роздых. Авангард идет в Гродню, которая со всеми магазинами своими сдалась партизану Денису Давыдову. Наполеон бежит к Неману.

На сих днях изволил прибыть сюда государь император. Победоносное воинство и отягченный лаврами князь Смоленский встретили его. Вскоре прибыл и цесаревич. Радость сделалась общей. Все окрестное дворянство стеклось в город – и город заблистал разноцветными огнями освещений. Различные прозрачные картины представляли Россию торжествующей, Александра – милующим преступных, Наполеона – бегущим. Известно стало, что эти картины рисовал тот самый живописец,

который за несколько перед этим месяцев изображал те же лица, только в обратном смысле, для освещения и в честь Наполеону. Так же профессор, который протрубил теперь негромкую оду в честь русским, славил прежде французов. Таковы люди!

Трудно достигнуть человеку до степени славы, какою озарен Князь Светлейший! Но еще труднее быть, как он, столько ж славну, как и любиму. Он позволил офицерам тепло одеваться в морозы и веселиться, где можно, – и очаровал души! Недавно докладывали ему: не прикажет ли запретить офицерам забираться в трактир, находившийся против самых его окон, где они привыкли играть, шутить и веселиться? «Оставьте их в покое, – отвечал Князь, – пусть забавляются, мне приятно слышать, как они веселятся! Люди, освободившие Отечество, заслуживают уважения. Я не люблю, чтоб главная квартира моя походила на монастырь. Веселость в войске доказывает готовность его идти вперед!»

О! Он знает сердце человеческое! Он знает, что одной ложкой меда больше можно сманить мух, нежели целой бочкой уксуса.

18 декабря

Я два раза навещал одного из любезнейших поэтов наших, почтенного В.А. Жуковского. Он здесь, в Вильне, был болен жестокой горячкой; теперь немного обмогается. Отечественная война переродила людей. Благородный порыв сердца, любящего Отечество, вместе с другими увлек и его из круга тихомирных занятий, от прелестных бесед с музами в шумные поля брани. Как грустно видеть страдание того, кто был таким прелестным певцом во стане русских и кто дарил нас такими прекрасными балладами! Мой друг! Эта война ознаменована какой-то священной важностью, всеобщим стремлением к одной цели. Поселяне превращали серп и косу в оружие оборонительное; отцы вырывались из объятий семейств, писатели – из объятий независимости и муз, чтоб стать грудью за родной предел. Последние, подобно трубадурам рыцарских времен или бардам Оссияна, пели и под шумом военных бурь.

21 декабря. На пути в Гродно

Не правда ли, что очень приятно найти прекрасный куст розы в дикой степи? Точно так же радует нас хороший дом в разоренной стороне. Мы испытали приятность такой находки, проезжая из Вильны в Гродню. Гродня есть прекрасный сельский дом сестры покойного короля, графини Тишкевичевой. Везде и во всем виден изящный вкус: в выборе места для дома, в расположении комнат и в уборке их; но более всего понравились

нам картины.

Захочешь насладиться приятным утром – взглянешь на стену – и видишь в картине все прелести его. Как синь и прозрачен этот воздух! Как легки эти дымчатые облака! Как хороши первые лучи солнца! Кажется, видишь, как эти лучи яснеют, как воздух становится светлее; туман редеет, цветки просыпаются, птички стрясают с крылышек жемчужную росу, и все в улыбке! В дополнение видишь невинность. В виде прелестной пастушки, с свежим, утренним румянцем на щеках и с пестрым стадом. Тут же вечер: как хорош! Не волшебник ли какой-нибудь собрал сизые тени вечерних сумерек и бросил их на холст? Они так живо изображены! Вот подлинник лучшего из польских живописцев. Вижу сражение, конный бой или, лучше сказать, жаркую схватку, в которой отличается один человек на дикой лошади, которая скачет через груды тел, бесится и, кажется, стремится опрокинуть и стоптать все, что ни встречает. Кто же этот человек, у которого епанча свалилась с плеч; который в бешенстве ратном растерзал на себе одежду и обнажил до половины тело свое? С длинным ножом в руке, которым бьет лошадь и неприятелей, скачет он, как безумный, сквозь пули и картечи, пена клубится у рта. Ясно видно, что судьба его зависит от выигрыша сражения. Он стремится во что бы то ни стало одержать победу. Герой покоен в бою: победа сама находит и венчает его лаврами; а это, верно, не герой, ибо силится сорвать венец награды; верно, не полководец, ибо, забывая себя, хочет победить одной неистовой храбростью. Кто ж это такой? Картуш! Кисть живописца прекрасна и смела; но краски, кажется, слишком блестящи, и вообще видна какая-то щеголеватость в картине. Нет простоты, свойственной великим художникам.

На стенах других комнат видны римские развалины, прекрасные виды, водопады, которые, кажется, брызжут на того, кто на них смотрит. В этом прелестном доме вижу я живописную Италию – и теряюсь в сладких мечтах о ней. Я вижу страшную Этну, в черной ночи, в красных заревах, с желтыми оттенками; вижу, как блещут изломчатые молнии, как кипит свирепая лава; как огненное жерло стреляет вверх буграми, как трескают на воздухе громады и сыплется камедный дождь! Вижу – и пугаюсь: так это все живо!..

Как прелестны искусства! Они обвораживают смертных; они очаровали и нас, странников!

26 декабря. Гродно

На этих днях графиня Орлова-Чесменская прислала генералу Милорадовичу меч и саблю, подаренную великой Екатериной

покойному родителю ее, графу Алексею Григорьевичу, за истребление флота при Чесме. В то время когда неприятель опустошал окрестности Москвы, генерал Милорадович, узнав, что вблизи находится имение графини Орловой, заслонил его своими войсками и, отразив врага, не допустил расхитить сел ее и попрать гроб знаменитого Орлова. Он сделал это, следуя первому порыву чувства уважения к заслугам Чесменского, убежден будучи, что могила храброго отечеству священна! Но дочь, благоговеющая к праху родителя, приняла в полной цене этот подвиг и, при лестном письме, прислала драгоценный меч герою, которому за несколько перед этим лет благодарный народ Валахский[73] поднес меч «за спасение Букареста». Действительный статский советник Фукс, со свойственным ему красноречием, описал случай этот в нескольких строках, которые тебе и посылаю.

«Двора их императорских величеств фрейлина, графиня Анна Алексеевна Орлова-Чесменская, прислала к генералу от инфантерии Михаилу Андреевичу Милорадовичу саблю, всемилостивейше пожалованную в бозе почивающею императрицею Екатериной Александровною покойному родителю ее, графу Алексею Григорьевичу, за истребление при Чесме турецкого флота, при письме, лестных для него выражений исполненном, за спасение им в нынешнюю войну деревень ее, а особливо той, где погребен родитель ее. Меч сей дарован великою Екатериною герою Чесменскому за истребление оттоманского страшного морского ополчения на водах Азии, в виду берегов древние Эллады и Ионии. Там в первый раз возвеял флаг Российский: гром с севера ударил, флот исчез, и луна померкла. Сей меч, украшенный драгоценнейшими камнями, щедротами бессмертные монархини, есть бесценное знамение величия тогдашней славы России и неистлеваемый памятник в роде родов Орловых. Но дочь, благоговеющая к памяти родителя своего, к священному для нее праху его, подносит блистательный залог сей знаменитому воину, не допустившему нечестивого врага коснуться сей гробницы. Милорадович приемлет оный с глубочайшею, живейшею признательностью; но обещает ей извлечь оный токмо за пределами Отечества на поражение возмутителей спокойствия народов, буде провидению паки угодно будет избирать его орудием, и не прежде возложить на себя, доколе не соделается достойным подарка, полученного из рук россиянки, пламенеющей любовью к Отечеству и отцу».

28 декабря

«Выступил, ушел, вырвался, убежал!» из отечества нашего

новый Катилина. Наполеон за Неманом! Уже нет ни одного врага на земле русской! Александр Первый готов положить меч свой; но Европа, упадая перед ним на колени и с воздетыми к небу руками, молит его быть ее спасителем и, подобно древнему Александру, рассечь мечом новый гордиянский узел тяжелых вериг ее плена. Некогда монарх сказал Кутузову: «Иди спасать Россию». Теперь, кажется, слышен в небесах голос самого бога, вещающий Александру Первому: «Гряди освобождать Европу!» Итак, зачем приходил Наполеон в Россию? Вот вопрос, для разрешения которого будут писать целые книги. «Удача в мире сем священнее всех прав!» – думал вождь галлов. – Так думал и вождь татар! Батый и Наполеон по кровавому морю хотели приплыть к храму славы. Но кровь пролита; а храм славы заперт для них. Их мавзолей – проклятие народов!

Сам Цицерон, если б он воскрес теперь, не мог бы, кажется, лучше изобразить насильственного вторжения врагов в землю русскую, твердости государя, народа и ужасного гнева раздраженного Бога, постигшего эти разноплеменные орды среди торжеств и злодеяний их, как все это изображено в манифесте, обнародованном в Вильне. Он начинался такими словами: «Бог и весь свет тому свидетель и проч., и проч., и проч.».

P.S. Новый порядок устанавливается в дежурстве нашем: всякий будет иметь свою определенную часть.

Храбрый полковник Потемкин, исправлявший должность начальника штаба, произведен в генералы и назначен командиром лейб-гвардии Семеновского полка; а начальником штаба по авангарду определен, по высочайшей воле, флигель-адъютант его величества полковник Сипягин, который еще в капитанском чине отличил себя во всех четырех сражениях при Красном.

1 января. 1813 г. Город Гродно

Наконец, минул сей 1812 год. Каким шумом, блеском и волнением ознаменовалось шествие его в мире! Ежели говорить языком стихотворцев, придавая всему лицо и существенность, то я воображаю, что сей год, обремененный славой и преступлениями, важно вступает в ворота вечности и гордо вопрошает неисчислимые сонмы протекших годов: кто более его обагрен кровью и покрыт лаврами; кто был свидетелем больших превратностей в судьбах народов, царств и вселенной? Встают века Древнего Рима, пробуждаются времена великих браней, славных полководцев, века всеобщего переселения народов… Напрасно! Древняя история, кажется, не найдет в себе года, который во всех многоразличных отношениях мог бы сравняться с

протекшим. Начало его наполнено мрачными предвестиями, томительным ожиданием. Гневные тучи сгущались на Западе. Вслед за пламенной кометой многие дивные знамения на небе явились. Люди ожидали будущего, как Страшного суда. Глубокая, однако ж, тишина и тайна господствовали на земле. Но эта обманчивая тишина была предвестницей страшной бури. Взволновались народы, и все силы, все оружие Европы обратилось на Россию. Бог предал ее на раны, но защитил от погибели. Россия отступила до Оки и с упругостью, свойственной силе и огромности, раздвинулась опять до Немана. Области ее сделались пространным гробом неисчислимым врагам. Русский, спаситель земли своей, пожал лавры на снегах ее и развернул знамена свои на чужих пределах. Изумленная Европа, слезами и трауром покрытая, взирая на небо, невольно восклицает: «Велик Бог земли русской, государь и народ ее!» «Велик Кутузов, полководец мудрый», – говорит история и вместе с именем его пишет на золотых скрижалях своих 1812 год.

2 января. Гродно

Вчера ввечеру было здесь так называемое Касино собрание по билетам. Дом собрания был освещен. Прекрасные патриотки, мнимые любительницы отечества, сначала очень неласково смотрели на пригожих победителей своих – русских офицеров. Они хотели казаться страстными любительницами свободы, огорченными, томными вздыхательницами о потере ее; хотели плакать… но заиграли мазурку – и все пустились кружиться. Кажется, польским женщинам менее всего должно бояться покорения: их ловкость, ум и прекрасные глаза издавна доставляли им победы над сердцами мужчин. Жаль, однако, очень жаль, что и польки поработились парижским дурачеством!

Января 4. Местечко Гонендз

Гонендз, пограничное местечко в области Белостокской над рекою Боброю, имеет около 200 домов. Оно окружено обширными болотами и необозримыми понизовыми местами. Теперь, зимою, здесь вид прекрасный; а летом все должно плавать в воде, кроме местечка, стоящего на огромном каменисто-песчаном возвышении. Большую часть жителей составляют евреи. Здесь-то назначено сборное место всему авангарду генерала Милорадовича. Он состоит из 6-го и 7-го пехотных, двух кавалерийских корпусов и летучего графа Палена отряда. Отряд генерал-майора Васильчикова также к нему принадлежит.

6 января. Гонендз

Завтрашний день переходим мы за границу; завтра ступим на землю, никогда еще России не принадлежавшую. Вся армия выступает в герцогство Варшавское тремя большими колоннами. Сим колоннам дано столь искусное, верное и для нас выгодное направление, что движением их по разным путям в одно время займется вдруг все пространство от Данцига до Варшавы. Самая столица сия, в случае сопротивления ее, будет обойдена и мгновенно стеснена со всех сторон. Кто же есть тайною пружиною этого стройного, искусного движения войск? – Тот же, кто был причиною столь быстрого и для нас счастливого оборота в великих происшествиях протекшего года, – старец Кутузов. Сам государь неразлучен с ним, с войсками и славою.

Гонендз. 7 января поутру

При выступлении за границу генерал Милорадович отдал приказ, чтобы во всех полках служили молебны в возблагодарение Богу, управляющему судьбой браней за счастливое окончание Отечественной войны, моля: да осенит и прославит он и впредь оружие российское, подъемлемое на освобождение царств и народов!

7 января, М. Радзвилово

Мы уже за границей. Порядочные дороги через болота, каменные заборы в полях, изрядные крестьянские дома с прекрасными садиками и прочие заведения уподобляют сторону эту немецким краям. Здешние места вообще наполнены болотами и лесами. Почва земли камениста. От Гонендза до Радзвилова 25 верст. Это также очень небольшое местечко, на высоте, среди болот.

Взгляни на хорошую топографическую карту – и увидишь, что большая часть герцогства занята болотами. Летом, по удобопроходимости мест, сторона сия весьма способна к оборонительной войне. Надобно быть русским и воевать в самую лютую зиму, чтоб проходить везде. – Вся здешняя сторона населена мазурами. Люди сии подобны лесистой природе своей. Мужчины великорослы, сильны, пасмурны и бледнолики; женщины же вообще очень стройны и пригожи. Любимый цвет мазуров – синий. Они синеют с ног до головы. – Не думаешь ли ты, что мы идем по неприятельской земле, как грозные завоеватели; что ужас предшествует нам, а опустошение нас сопровождает? – Нет! Нас, по всей справедливости, можно назвать рыцарями. Их мужество и добродетели стали теперь нашими. Мы угрожаем сильным и защищаем слабых. Вера, законы и собственность народа для нас священны. Государю угодно было

распространить благость свою даже на неприятелей. Изданы приказы и объявления, в которых Главнокомандующий ручается за безопасность народа и приглашает светские и духовные начальства не оставлять ни домов, ни обязанностей своих, обещая всем и каждому помощь и защиту. Солдаты наши в полной мере исполняют волю государя. Львы в боях, они кротки как агнцы в хижинах безоружных поселян.

P.S. Сейчас получено известие об успехах оружия российского на Висле и далее. Кенигсберг и Мариенвердер взяты графом Платовым и генералом Шепелевым.

8 января. Деревня Малый Плотен

Зимняя стужа и здесь весьма ощутительна. Надобно быть детьми Севера, чтоб переносить суровость сего времени года с таким терпением, как ваши войска. Завтрашний день авангард имеет здесь роздых.

9. Оттуда же

Признайся, любезный друг, что до сих пор ты не имеешь еще ясного понятия о нашем движении. Куда мы идем? Как? G каким намерением? – Судя по кроткому обхождению нашему с жителями, кажется, что мы в самое мирное время переходим с квартир на другие. Но, судя до тому, что вошли в неприятельскую землю, должно думать, что мы пришли воевать. Мы берем все должные предосторожности: имеем свой авангард, составленный большею частью из кавалерии, под командою барона Корфа; имеем арьергард и летучий отряд под начальством храброго графа Палена, надежно прикрывающий наше боковое движение. Я скажу тебе еще более: мы имеем перед собою неприятеля. Нередко сталкиваемся с ним, вступаем в переговоры, спорим, шумим, ссоримся – но не деремся! Часто уже и ружья заряжены, и штыки навострены – а сражения нет. Так воюем мы с австрийцами: и это-то называется бескровная, или политическая, война. Но так могут воевать только два народа, сотворенные быть вечными друзьями, одною необходимостью вовлеченные в бурю всеобщего раздора. Однако ж сей род войны требует великой осторожности, терпения и большой способности к переговорам и переписке. Надобно прежде предлагать, потом убеждать, а наконец уже грозить, но чтоб это было все кстати, у места. Получив известие, что австрийцы заступают нам дорогу, тотчас посылают объявить им, что авангард российский идет в больших силах, хотя в самом деле он очень невелик; что вся армия готова подкрепить его; что сопротивление их будет совершенно бесполезно и кровь пролита напрасно и проч. Слова

подкрепляются действием: обходят фланг австрийцев, и они, имея через то достаточную тактическую причину к отступлению, совершают оное, несмотря на упорство надзирателей своих – французов.

P.S. От Радзвилова до деревни Плотска места довольно открытые и холмистые. Остроленко остается у нас слева за Наревою. Около сего городка дремучие леса, известные под названием Остроленской пущи. Извещательные посты наши по сею сторону реки; неприятельские по ту.

Те, которые видели генерала Мидорадовича в огне сражений пылким, неустрашимым, ужасным истребителем неприятельских полков, дивились его хладнокровию, искусству, прозорливости и великому благоразумию в сей новой для него и для России войне. Это подтверждает истину аббата Сабатье[74], что здравый ум может быть способен ко всему.

13. Деревня Худек

10, 11, 12 и 13-го прошли мы чрез деревни: Хлудни, Станиславово, Дрозжево и Худек. Вся сия дорога вообще гориста и покрыта лесом. Здесь генерал Корф имел переговоры с австрийским генералом Фрелихом. Генерал Милорадович посылал также к ним с особыми тайными поручениями начальника авангардного штаба полковника Сипягина. Вследствие сих переговоров австрийцы уступили нам всю дорогу до самого местечка Прасниц; и даже большой магазин в сем местечке, сдав оный во всей целости занимавшемуся на то время заготовлением впереди продовольствия для авангарда Московского ополчения майору Павлову.

14 января, местечко Прасниц

Авангард вступил в Прасниц. Это местечко только в 80 верстах от Варшавы. Все здешние евреи с распущенными хоругвями, хлебом и солью встретили генерала Милорадовича. Их радость неописана. Бедные! Пленение французское не легче было для них, как для предков их Вавилонское!.. Теперь, по причине их повсеместности в Европе, они оказывают нам большие услуги, доставляя отовсюду весьма важные и верные известия.

Прасниц – довольно изрядное местечко на одной из больших дорог из Пруссии в Варшаву.

Но что сказать вообще о герцогстве Варшавском? – В короткое время пребывания своего под властью прусского правительства получило оно самое выгодное для себя образование. Повсюду встречаете вы плоды благотворительности этого умного и попечительного правительства. Везде видите по плану

выстроенные деревни. У крестьян прекрасные светлицы с большими каминами, которые их освещают и греют. – Отчего ж они здесь лучше, нежели во всей Польше? Кто строил их? – Король! Хотите знать средства его? Вот одно из главнейших: каждый поселянин платит в казну от 3 до 5 злотых с избы, что составляет страховую пожарную сумму. В частности это почти ничего, в сложности – много. Из сей-то суммы каждый погоревший крестьянин получает 500 злотых и строит себе прекрасный дом. Таким образом многие уже деревни и города в лучшем и прекраснейшем виде возродились из пепла после пожаров.

Герцогство Варшавское разделено на префектуры и департаменты. В каждом городе, если он не главный в префектуре, находится подпрефект, по-нашему, исправник. Герцогство имеет свои деньги.

Прасниц, 15 января

Сегодня генерал Милорадович осматривал проходившие войска 4-го и 7-го корпусов. Веселый вид солдат, их бодрость и свежесть лиц не показывали, чтоб они перенесли столь много неслыханных трудов, пройдя великое, необъятное пространство от Оки до Вислы в беспрерывных сражениях и победах, среди лютейшей зимы. Седьмой корпус обратил на себя особое внимание. Генерал Паскевич, при громком барабанном бое и веющих знаменах, провел его быстрым и смелым шагом. В остатке этого корпуса виден был тот же жар и дух, с каким истреблял он колонны Нея под Красным. – Артиллерия наша тянулась через местечко бесконечным гужом.

Сегодня получено известие, что Данциг, в котором заперся генерал Рапп, обложен нашими войсками. Кенигсберг, Мариенбург и Мариенвердер взяты; 15 тысяч пруссаков отклонились от французов к нам. Кажется, что Пруссия вся с нами. Ранье с 20 тысячами, составленными из французов, поляков и саксонцев, бродит около Варшавы; может быть, вздумает защищать ее. Но колонны нашей главной армии, ни на что несмотря, обходят Варшаву и спешат занять все герцогство.

16. Прасниц

В авангарде нашем последует некоторая перемена. За два перехода отсюда отделится от него часть издавна в нем находившихся войск; а присоединятся идущие из Венгрова корпуса генерал-лейтенанта Сакена и князя Болконского. Все это вместе составит до 30 000 войск, которые генерал Милорадович, переправив в разных местах через Вислу, введет в Варшаву со

стороны, противолежащей Праге. Модлин, эта вновь сооруженная Наполеоном на выгоднейшем месте, при слиянии Вкры с Бугом и Буга (принявшего у Серотска реку Цареву) с Вислою, крепость будет обложена. Часть польского народного ополчения, называемого коссионерами, находившаяся в Плоцке, поспешно ушла за Вислу Калишской префектуры в городе Пиотрков.

17 января. Прасниц

«Теперь или никогда, в глазах целого света, должны вы показать привязанность вашу к родной стране, любовь к свободе и то, что вы достойны имени поляков: имени, которое предки ваши с такою честью и славою носить умели». – Так восклицает к народу Игнаций Ежевский, генерал и маршал от народного ополчения в департаменте Плоцком. Надобно знать, что в это время поляки, у которых и зимние бури не могли еще остудить голов, задумали сделать во всем герцогстве древнее посполитов рушенье, то есть поголовное народное вооружение. Он продолжает: «Слышите ли, благородные поляки! Звук трубы, зовущий нас под отечественные знамена для защиты родной земли!.. Друзья и братья! Настала минута, в которую должно всем жертвовать, на все отважиться, – минута кровавых боев… Стыд и горе тому поляку, который предпочтет спокойствие и цепи рабской жизни трудам и смерти за спасение растерзанного отечества! Я в третий уже раз приемлю начальство над ополчением народным, и всегда в такое время, когда бури потрясают отечество. Последуйте за мною! И проч., проч.» – Но поздно!.. Это все равно, когда бы кто-нибудь сзывал народ спасать, дом, в котором цела одна только половница, на которой он стоит, а все прочее поглощено пламенем. Теперь уже не время играть рыцарские драмы. Полякам не на кого пенять в утрате государства своего, кроме самих себя. Тем ли думать о свободе, которые, раздвинув прежде на столь обширное пространство пределы земли своей, лежащей по несчастию в самой средине Европы, и огорчив через то большую часть держав, вдруг предались праздному бездействию извне и раздорам внутри? Роскошь, пороки и нововведения нахлынули к ним со всех сторон. Древние нравы истлели. Твердость духа развеялась вихрями нового образа жизни. Народ оцепенел. Вельможи уснули. Но государство, засыпающее на цветах, пробуждается обыкновенно бурями. Нет! Не это земля свободы! Свобода хранится и цветет в области уединенной, немногонародной, за хребтами высоких гор, среди дремучих лесов. Мы любим слушать Галгака или Арминия[75]. Первый на диком острове, под бурями Северных морей, не колеблется даже и в то время, когда варвары гонят его

к морю, а море отвергает к варварам; когда приходится ему умереть или от воды, или от железа. Другой, в древних лесах Германии, дик, грозен, но тверд и величественен, стоит по колени в болоте, под мрачным склоном вековых дерев, и скликает полудикие племена на расторжение неволи. В горах Краковских, в болотистых лесах герцогства Варшавского могли бы еще поляки сберечь свободу свою, но это не теперь, а в давно прошедшем времени.

Заграничный поход русской армии. Битва при Люцене. Художник К. Рехлинг. XIX век

18 января

Случалось ли тебе видеть, как знатные господа, промотавшие все свое имение, по старой привычке роскошничать заказывают еще обеды, пиры и праздники, не имев уже копейки в кармане? Так точно поступает Наполеон. Растеряв всю свою армию, насылает он из Парижа с нарочными курьерами повеления, куда идти корпусам, где зимовать большой армии и проч. Он велит вооружать те области, которые давно уже нами заняты; защищать те города, которые в ваших руках. Все большие дороги наполнены нашими войсками. Везде хватают парижских гонцов и громко смеются над гордыми повелениями великого вождя невидимых сил. Известно, что Наполеон, доехав в Париж под почетным именем Коленкура, объявил Сенату большую часть своей потери,

уверяя притом, что вся русская армия побита им наголову, а ему повредил один только суровый климат. Пусть он говорит, а мы будем делать. История и потомство рассудят.

Пусть он обманывает французов: но надолго ль? Скоро, скоро нежные матери, отцы и друзья, не получая так долго вестей о милых сердцу своему, домыслятся и восстенают о погибели их. Напрасно юные жены под прелестным небом Южной Франции томятся желанием увидеть супругов своих и часто в приятных мечтаниях утренних снов простирают к ним объятия; напрасно отцы наряжают великолепные дома для приезда сынов своих – уже не придут они: мертвые не воскресают. Они пали на кровавых полях от Оки до Вислы, и груды костей их тлеют в чуждой земле. Франция! Наполненная шумом забав и песнями радостей, готовься ныне к ударам смертной горести! Недостанет траура и слез для столь многих потерь. А ты, о Россия, о мое Отечество! Торжествуй великое празднество твоего освобождения, покоясь на лаврах и трофеях спасителей своих! Долго не изгладится из памяти народов ужасная погибель дерзающих на тебя!..

21. Местечко Плонск

Очень порядочное местечко. Здесь можно найти в лавках отличной доброты сукна и прочие хорошие товары; а погреба славятся прекрасными, беспримесными винами. Модлин, находящийся отсюда только в двух милях, решился защищаться. Вчера видно было большое зарево. Комендант сжег предместья и заперся в крепости. Генерал-майор Паскевич с 7-м корпусом пошел окружать ее. Горсть поляков, запершаяся в Модлине, конечно, не принесет никакой пользы своему отечеству, не сделав ни малейшего помешательства и нашим движениям. Но может быть, сии затворники хотят заслужить местечко в истории. Недавно был у них совет. Некоторые предлагали сдать крепость, говоря, что русские могут ее сжечь. «Я тогда разве сдам ее, – гордо отвечал комендант, – когда платок в кармане моем загорится!»

22 января

Мы все в Плонске, и еще, может быть, простоим; а причина? – Австрийцы! Спорят, упрямятся, не хотят отдавать нам Варшавы. Впрочем, они не виноваты: Ранье и поляки не дают им покоя, представляя, что они бегут от горсти русских; что, совокупись с ними, могут защищать Варшаву, что у Милорадовича не более 5000 войск, а их наберется до 30 000. В самом деле, авангард наш, отделив от себя некоторые полки и не соединись еще с Волконским и Сакеном, едва ли имеет 5000.

23 января

Хитрость в войне необходима. Она то же, что механика в общежитии: ею заменяется слабость сил. Сегодня пустили мы порядочно пыль в глаза полякам. Понятовский вздумал прислать к нам своего адъютанта, будто для пересылки писем к пленным, а в самом деле для узнания силы нашего авангарда. Австрийцы намекнули нам о сем из-под руки. Генерал Милорадович приказал тотчас горсть пехоты своей рассыпать по всем деревням, вдоль по дороге лежащим, коннице велено переезжать с места на место, появляться с разных сторон и тем число свое увеличивать. А пушек у нас так много, что их и девать негде было. К счастью, в сей день, как нарочно, заехал к нам генерал Дохтуров, которого корпус неподалеку проходил. Накануне прибыли генерал-лейтенант Марков и князь Горчаков; последний привел с собою не более 400 человек. Тут же находился и генерал Уваров, командовавший кавалерией авангарда. Адъютант Понятовского, белокурый, высокий, бледный, топкий молодой человек, в предлинных ботфортах и в прекоротком мундире, прибыл к обеду. За столом сидело до десяти генералов. К крайнему удивлению, видя между ними четырех, которые, имея по три звезды на груди, всегда командовали тремя большими корпусами и сделали имена свои известными, адъютант Понятовского подумал, что все их войска тут же вместе с ними. Войска авангарда, искусно по дороге расставленные, и великое множество пушек утвердило его в этом мнении. И таким-то образом этот тайный посланник Варшавы возвратился с известием, что генерал Милорадович может устремить против нее, по крайней мере, 30 000 штыков: а русские штыки памятны Варшаве!

24 января

Я забыл сказать тебе, что на сих днях приехал к вам из Главной квартиры известный дипломат, наш барон Анштет. Сегодня имел он переговоры с австрийским полковником Латуром, присланным от князя Шварценберга. Дипломатика есть также война: спором и упорностью, нераздельною, однако ж, с благоразумием, многое можно к пользе своей выиграть. Чтоб быть хорошим дипломатиком, надобно иметь надежную память, острый ум, знать твердо политическую историю своего Отечества, историю Европы и целого света. Разумеется, что знание языков необходимо. Наконец Варшава сдается! Барон Анштет сделал условия сей сдачи. Генерал Милорадович утвердил их. Они весьма выгодны для нас. Все больные и раненые французы,

которых в Варшаве считают более шести тысяч, должны достаться нам военнопленными. Все магазины, арсенал и прочие заготовления сданы будут нам в целости.

Барон рассказывал за верное, что в Вене уже начинают пробуждаться умы. Те, которые верили всемогуществу Наполеона, выходят из заблуждения. Истина осмеливается возвышать голос свой, указывать на раны Германии, на собственные свои, представлять бедствие народов, разорение областей. Уже имя Наполеона произносится с негодованием. Ропот слышен в домах; народ шумит на улицах; общее желание – мир с Россией, война вратам ее. Так мыслит народ; но Двор еще молчит. Насмешники наводняют столицу карикатурами; жители утешаются ими. Некто прибил на вратах Соборной церкви в Вене следующее объявление: «Великий Наполеон по дороге от Москвы к Вильне растерял 350 000 франков: кто найдет и представит в Париж хотя часть оных, будет щедро награжден!»

25. Поутру

Вчера ввечеру переправились мы через Вислу у деревни Вульки, где она в широте равняется с Невой. Берега Вислы в сем месте наполнены оврагами и скалами, высокими елями покрытыми. По тайному условию с князем Шварценбергом нам должно обойти Варшаву, стеснить ее со всех сторон и таким образом принудить его к выступлению, а ее к сдаче. Посему мы продолжаем косвенное направление наше до деревни Бортженцин.

25. Ввечеру. Деревня Бортженцин

И так мы увидим Варшаву, будем в ней и, конечно, остановимся отдохнуть. После столь многих трудов, после претерпения столь многоразличных нужд: стужи, голода и повсечастных беспокойств, как бы приятных для тех, которым в течение нескольких месяцев постелью была влажная земля, покровом – бурное небо, отрадою – дымный полевой огонь, – как приятно, говорю я, успокоиться в большом роскошном городе, в светлых домах, в обществе людей, где цветут еще приятные искусства, где после шума ветров и свиста пуль можно услышать прелестный голос женщины или очаровательные звуки музыки!.. Да! Нам надобно отдохнуть в Варшаве, надобно потому, что все этого хотят. Впрочем, мы часто хотим того, что нам вредно. Все сие зависит от Князя Светлейшего: он наше земное провидение!..

26 рано. – В двух милях от Варшавы

Утро было прекрасно. Уже несколько дней, как зима здесь

ощутительно смягчилась. Солнце великолепно сияло на голубом небе. Снег таял, и в воздухе слышно было дыхание весны. Тайное желание увидеть, хотя издали, столицу Польши щекотало любопытство мое. Я вышел посмотреть на здешнюю природу и на Варшаву. Обширное, ровное поле расстилалось с сей стороны до самого города. Острые верхи башен, церквей и некоторые дома мелькали на горизонте. Дым из тысячи труб свивался в седые тучи. Нам нельзя еще было вступить в Варшаву; но воображение не знает оков невозможности; для него нет ни застав, ни караулов. Без позволения и билета очутилось оно в ней, теснилось в толпах народа, бродило по улицам, заглядывало в Прагу, искало следов великого Суворова, носилось над Вислою и любовалось великолепною мрачностью столицы. О! Воображение – великий чародей! Подивись нелюбопытству здешних поселян: живя в двух милях от Варшавы, они не бывают в ней по целым годам; а дочь хозяина моего, лет пятнадцати девушка, уверяет, что еще сроду в ней не была. Счастливая беспечность! Она есть надежнейшею оградою чистых нравов, для которых столица – гибель!..

26. Около вечера. Мокатово

Прекрасный замок вдовы фельдмаршала князя Любомирского, той самой, которой принадлежит Ландс-Гут. Дом убран с большим вкусом. В нем есть целые зеркальные комнаты, бронзы, мраморы и проч. Сады обширные, с красивыми беседками и домиками. Вот несколько слов собственно о Мокатове. Теперь расскажу тебе о том важном и для истории незабвенном происшествии, которому мы сегодня были здесь свидетелями. Я хочу сказать о покорении Варшавы, приславшей сюда ключи свои. В первый еще раз в жизни был я при таком обряде. Суета, шум и волнение, сопровождавшие оный, имели в себе что-то похожее на свадебные сборы. С самого еще утра начали взаимно пересылаться; конные гонцы скакали взад и вперед. Анштет был в страшных хлопотах. Условливались о месте, часе и порядке вручения ключей. Принять их назначено в Мокатове в два часа пополудни. К сему времени все мы в нарядных мундирах собрались в небольшом садовом домике, где остановился генерал Милорадович. Тут было человек 12 генералов. Пред крыльцом стоял в строю прекраснейший эскадрон Ахтырского полка: зрители пленялись его картинным видом. Ровно в два часа передовой посланный возвестил скорое прибытие депутатов. Любопытство подвинуло всех к окнам. Сперва показались вершники из Польской народной гвардии, и вдруг богатая карета, восьмью английскими лошадьми запряженная, сопровождаемая

отрядом сей же гвардии, загремела и остановилась у крыльца. Эскадрон отдал честь. Вслед за первою подъехала такая же другая. Эскадрон повторил приветствие. Префект Варшавы, мэр, подпрефект, два члена духовенства, бургомистр и еще пять или шесть человек в нарядных шитых мундирах, с разноцветными перевязями через плечо, собрались на крыльце. Двери настежь! – И гости вступили в комнату. Между ними находился тот самый старик, который вручал ключи Суворову. Толпа отшатнулась – генерал Милорадович выступил вперед.

«Столица герцогства Варшавского, в знак миролюбивого приветствия победоносному русскому воинству, посылает сие», – сказал префект, поднося хлеб и соль. «Вот и залог ее покорности знаменитому оружию всеавгустейшего императора Александра Первого», – прибавил мэр, подал знак – и старец вручил генералу золотые ключи. Все поклонились очень низко. У некоторых блеснули слезы на глазах.

Генерал Милорадович отвечал со свойственным ему благородством и красноречием. Он говорил между прочим, что для государя, который подъемлет меч только для расторжения оков, воюет для мира и покорять народы желает одною благостью, ключи сии будут тем более драгоценны, что они не обагрены кровью. «Ваши храмы, законы и самые обычаи, – продолжал он, – останутся неприкосновенны. Пища кроткой души императора – благотворение. Первым доказательством попечения его о Варшаве есть уже то, что он освобождает ее от постоя. Все войска расположены будут в окрестных селениях и на полях около города; но дабы не обременить участи поселян, городские жители постараются доставить войскам нужное продовольствие. О сем сделаем особое постановление. Так действует государь мой, – говорил генерал. – Мщение чуждо великой душе его. Он не желает проливать кровь за кровь и платить разрушением за разрушение; и для самых виновных отложил он суд свой, карая их одною милостью». «Александр Первый хочет жить для истории», – прибавил дипломат Анштет – и все кончилось. Депутаты уехали, назначив завтра в 10 часов собрание в замке Виланов. Ключи тотчас отправлены были к государю с полковником Сипягиным, начальником штаба по авангарду.

Мы пересекли все дороги из Варшавы и Модлина. Беспрестанно приносят с передовых постов в квартиру генерала Милорадовича чемоданы с письмами, отправленные по почте. Воинская осторожность велит читать все, что пишется в Варшаву и из Варшавы. Много есть писем из разных мест Франции, Италии и Германии. По надписям все почти принадлежали знаменитой покойнице – большой французской армии. Много в них есть

смешного, жалкого. Вообще странно в окрестностях Варшавы узнавать все сокровеннейшие тайны семейств, живущих в Париже, Вене или Касселе. Есть много прекрасных писем. Когда-нибудь я тебе пришлю их кучу. Между прочим, попалась мне целая любовная переписка одной Шарлоты, жительницы Наполеонс-гиоге, что близ Касселя, с каким-то Людовиком, капитаном Вестфальской гвардии. Перехватные письма и глаза невидимок, которых рассылаем в разные стороны, доставляют нам весьма нужные сведения: мы узнаем задушевные тайны наших неприятелей. Недавно изумил я одного выходца из Модлина, рассказав ему, сколько в крепости улиц, сколько ворот, имена тех и других; сколько магазинов, с чем именно, чем они крыты; где хранится порох, сколько каких войск и каких полков; сколько у них колодцев, когда и в котором испортилась вода; в какие дни пекут они хлеб и когда терпят большой недостаток в воде. Наконец, рассказал ему свойства коменданта, его занятия, его связи, – даже имя любовницы его! – Все это узнается через некоторые посредства. В войне необходимо иметь свои глаза и свои уши в стане неприятельском: чем вернее видишь и слышишь, тем надежнее разишь. Распознав места и выщупав силы неприятеля, почти можно ручаться за успех.

27. Виланов

Приметил ли ты, как мы, имея Варшаву центром, движением нашим описывали около нее дугу, переходя из одного места в другое, делая приготовления, скрывая намерения свои и в город не вступая? Так ходит темная буря над селами и пугает земледельцев, грозя рассыпать губительный град. Австрийцы уже давно выступили из Варшавы; а мы еще не занимаем ее. «Для чего же мы медлим, скоро ли вступим? Или еще не решена судьба Варшавы? Что будет с нею?» – так все спрашивали, и никто не отвечал. «Что будет с Варшавою?» – спрашивали у барона Анштета. «Один бог и Александр знает про то», – отвечал он с таинственным видом. Поляки все это знали, чувствовали и трепетали. Они видели, что мрачная туча носится над их головами, и не знали, благотворительным ли дождем или палящими молниями разрешится она. Вчерашний день облегчил их от тяжкого бремени сомнений. Все это делано было, однако ж, очень кстати; ибо страх над волнующимися умами народа имеет действие стужи, сжимающей бурные волны рек и озер. Между перехваченными письмами нашли мы одно, в котором уведомляли, что весь арсенал Варшавский роздан народу. К чему бы, например, это? Теперь велено сносить, и сносят все это оружие в Виланов. Офицеры наши не иначе могут въезжать в

Варшаву, как по билетам, и то со строжайшим запрещением в ней ночевать. Впрочем, Варшава, как говорят, очень нам рада и гораздо охотнее желала бы иметь войска наши в себе, нежели около себя. Но покуда отпрошусь в Варшаву, спешу осмотреть прекрасный здешний замок.

Виланов

Древний замок короля Собиеского, который в 1683 г. выручил осажденную турками Вену. Теперь принадлежит он молодому Станиславу Потоцкому. Это подлинно королевский замок! Какое величие в расположении, в зодчестве, в уборах! Стенная живопись прекрасна. Лепной работы множество. Две большие галереи наполнены картинами, в числе которых есть прекрасные, драгоценные, наприм.: Пуссеневы сельские виды; все семейство Собиеского; сам он на коне. Прелестная Собиеского жена представлена здесь в разных видах: в одном месте видишь ее прекрасною пастушкою, сидящей над чистым ручьем и в зеркале вод поправляющею свой цветочный наряд; в другой картине видите вы ее прелестным ангелом, летающим под голубыми небесами. Жаль, что нет здесь картины, представляющей самого Собиеского в торжественный час освобождения Вены. Здесь более всего портретов. Прекрасные женские лица стоят подле усатых, железными латами покрытых и лаврами увенчанных поляков. В таком наряде они были героями. Вместе с латами и кунтушами[76] сложили они с себя древнее мужество и твердость душ.

Варшава

Обширный, садами окруженный и гуляньями наполненный город. Летом может она назваться цветущею. Есть много огромных палат, дворцов; но мало таких, которых бы наружность поражала блеском и великолепием. Следы времени не заглаживаются здесь стараниями людей. Одно только мирное время сзывает искусства для украшения и обновы городов; а Варшава с давних уже лет, как древо на высокой скале, была жертвою бурь и непогод. Лучшие трактиры: Виленский, Гамбургский, Английский и Дрезденский. Все знатные оставили столицу, хотя русские и вошли в нее как друзья. Днем народ толпится на площадях; по вечерам пустота и уныние пугают на улицах.

29 января

Сипягин возвратился с Владимиром на шее[77]. Его служба достойна сей награды. Государь восхищен был сдачею Варшавы.

Он обнимал Князя Светлейшего – войска кричали: ура! – генерал Милорадович получил вензелевые изображения имени государя на эполеты, с лестным правом находиться при особе его императорского величества. Князь Светлейший сопроводил сей монарший дар приятнейшим письмом, в котором, в свойственных красноречию его выражениях, говорит между прочим, относясь к лицу генерала Милорадовича: «Великие заслуги ваши столь много сблизили вас со всеавгустейшим императором нашим, что сие даруемое им вам преимущество, находиться при особе его императорского величества, сделалось необходимым для вас и для него».

Напрасно ожидали мы отдыха в Варшаве: войскам велено выступить в поход; через три дня поспешим мы за ними. Расстаться с Варшавою, не насладясь ее удовольствиями, – это все равно что в жаркий день только прикушать воды из студеного колодца и, не утолив палящей жажды, идти далее в знойный путь.

Вчера генерал Милорадович с великолепным конвоем проезжал Варшаву. Народ теснился в улицах и кричал ему: «Виват!» Приятно было видеть, что в домах, на улицах и рынках все было покойно; никакие занятия, работы и упражнения не прерывались. Сами жители сознаются, что при французах, приятелях их, не так было.

Известный дарованиями своими действительный датский советник Фукс[78] написал по случаю занятия Варшавы несколько следующих строк:

«И так паки повергает Варшава главу свою к стопам Августейшего Александра Первого. Герцогство Варшавское принадлежит России. Те же ключи, которые поднесены были некогда бессмертному Суворову, подносятся ныне знаменитому сподвижнику Италийского Милорадовичу. Суворов, приняв их, возблагодарил бога, что не орошены они были кровью, и Милорадович, по полям, трупами усеянным, по кровавым токам туда притекший, приемлет ключи сии с такими же теплыми ко Всевышнему молениями. Век Екатерины сливается с веком Александра, и пророчество великого мужа свершается. Суворов сказал: “Милорадович будет славным генералом!”»

Понимаю, для чего не оставляют войск в Варшаве. Она могла бы сделаться для нас тем, что Капуя для Аннибаловых. Прекрасные трактиры, театр, лазенки и всякого рода удовольствия могли бы очаровать, разнежить закаленных в боях и заставить их забыть, что война не окончилась; ибо Европа еще не спасена!

Варшава

Я был в театре. Он довольно велик для всякого другого города, кроме Варшавы: она – столица. Ложи в пять ярусов. Лучший актер и содержатель театра Дмушевский. Я был в лазенках. Это бани или ванны, где купаются. Одни из них близ Пражского моста – на судах. Какая роскошь – купаться в лазенках! Входишь в прекрасную комнату, убранную зеркалами и диванами, там изготовлено все нужное: полотенце, гребень, мыло, губка и даже подставка для удобнейшего снятия сапог. Погружаешься в глубокую, внутри свинцом обложенную ванну. Отворяешь кран – льется теплая вода; другой – брызжет прямо из Вислы студеная. Вы можете составить себе ванну, какую хотите: летнюю, осеннюю или зимнюю. Вода станет мутна, потяните за шнурок – и она исчезнет! Свежая льется из кранов. Теплой очень довольно; холодной – хоть пол-Вислы выпустите! И все это стоит 2 злота (120 коп. медью).

Я видел Вислу в прекрасную лунную ночь. Золотые лучи сыпались на хрустальный лед. На другом берегу, за длинным мостом, мелькала Прага. Виола – прекрасная, широкая река, не уже Невы. Жаль, что жители Варшавы менее всего занимались ею. Если б берега сей реки одеты были камнем, как в Петербурге; если б какой-нибудь волшебник, собрав все лучшие 4-этажные дома, рассеянные по всему городу между лачужек и грязных переулков, выдвинул их на набережную; если б высокие холмы, на одном конце Варшавы лежащие, украсились хорошими строениями и садами, то Варшава была бы одним из прекраснейших городов в свете!

Если б Висла, как Волга и Нева, покрыта была торговыми лодками, балками и галиотами, то Польша была бы счастлива. Торговля! Торговля! Сия душа царств не существует в герцогстве Варшавском: Наполеон задушил ее раздором своим с Англией. Бывало, пшеница степной Украины, стада волов плодоносной Волынии и произведения Подолии шли в Данциг, который отплачивал винами, сахаром и прочими потребностями, сделавшимися необходимыми. «Прежде, – говорил нам один обыватель, – нагрузив галиот свой в Варшаве пшеницею и поташом, я ехал по Висле в Данциг и привозил оттуда чистое золото; а теперь все бедно!» Прежде Литва снабжала степи лесом; степи отдаривались лучшими из своих произведений.

Варшава была некоторым образом средоточием торговли. Оттого-то поляки были так богаты, несмотря на все разорения войны, – богаты!.. Все это, однако ж, не так давно. Под правлением прусским торговля цвела – и Варшава благоденствовала. Наполеон все отнял! Жители герцогства стонут о потере своей торговли. Колониальные товары здесь ужасно

дороги.

Как ведут себя русские войска в Варшаве? – Как самые благородные рыцари Баярдова[79] времени. Щедрость офицеров наших особенно удивительна. В трактирах сыплют деньги. Приходит, например, старик с дочерью: он играет на скрипке, она на арфе; сыграла, пропела несколько арий – куча серебра очутилась пред нею! Приходит бедная монахиня, одна из сестер милосердия, просит, чтоб ей заказали какую-нибудь работу – и Милорадович[80] дает ей тысячу рублей и велит сшить себе три манишки!.. Зато поляки дивятся русским: народ полюбил нас чрезвычайно. Подумаешь, что все офицеры у нас богачи; напротив, самая большая часть из них очень небогата – но таровата. Вчера генерал Вильсон[81], провождающий время по большей части у нас в авангарде, угощал прекрасным обедом генералов наших в трактире «Лондон».

Я сказал, что народ нас любит; а вельможи? – Называют северными варварами; а сами любят, чтоб их называли северными французами!!! Но теперь, кажется, то и другое можно почесть бранным словом. Бедные крайне сетуют здесь на богачей. «Они недовольны тем, – говорят они, – что слепое счастье отдало им все преимущества, которые должны быть ровно поделены в обществе людей; они живут, как боги, в великолепных палатах, разъезжают в раззолоченных каретах; а мы гнездимся в дымных лачужках и скитаемся по улицам, как отверженные. Дети их родятся графами и князьями; рождение их празднуется великолепными пирами; их младенчество лелеется в шелках и богатых тканях: вырастут, и все почести, все преимущества, все выгоды жизни – их собственность. А наши дети родятся в горести, возрастают в слезах; нередко умирают от недостатка молока в груди матерей, голодом истомленных. Их удел – нищета; их жизнь – борение с нею! И к довершению всего, вельможи подружились с разорителями Европы, вздумали воскрешать усопший край польский, данными и налогами иссосали из нас последнюю собственность; сами разъехались, а нас оставили горевать, как мух без крыльев!» – Так сетуют бедные на богатых и вельмож, хотя вельможи в Польше и довольно еще благотворительны; ибо они воспитывают на свой счет бедных молодых дворян, часто заменяют место отцов сиротам, не скупы на подаяния и устраивают много богоугодных заведений. На сих днях прибыл в Варшаву министр полиции Александр Дмитриевич Балашев. Для прочности здешнего порядка необходимо присутствие человека с его умом, деятельностью и опытностью.

1 февраля

У вас, конечно, еще тонут в снегу; стены трещат от мороза, и в окна бьет вьюга; а здесь уже весна! Здесь солнце светит в полном блеске, сады начинают оживать, в домах открывают окна, и самый благорастворенный воздух нежит чувства. Варшава находится под 52°14’28’’северной широты. Весна! Весна! Прелесть природы! Какая сладость разливается в мире! Как приятно жить и дышать в это время! Ах! Если б я был на родине, с друзьями!.. Но родина далеко; а мы идем вперед, идем в Калиш, идем в Силезию, на Одер к крепости Глогау.

В Варшаве есть липовая улица, которая в летнее время должна придавать большую красу городу и освежать воздух. Прежняя Королевская улица удостоена ныне названия Наполеоновой!.. Здесь есть люди, которые живут в Новом свете – так называется одна из улиц Варшавских… Костелы Варшавские извне огромны, высоки, но мрачны; внутри красивы и богаты. Церковное служение здесь пышно и затейливо; музыка сильно действует на чувства. На стенах видно много портретов усопших и надписей в честь их. Вот надпись одному вельможе; она заключается сими словами: «Дай боже ему небо, а Польше более таких граждан!»

2 февраля

Итак, едва взглянув на Варшаву, едва коснувшись ее наслаждений, я уже должен сказать ей: прости! – и может быть, навсегда!.. Уже мы выезжаем из Варшавы, удаляемся от ее забав. Уже исчезает она, как великолепное сновидение, из глаз, но не из памяти!.. Все тает вокруг нас. Снега превращаются в воды, воды шумят по необозримым долинам. Мы едем на колесах, или, лучше сказать, плывем в бричках.

Дорожные записки

3 февраля. С восходом солнца услышали мы голос жаворонка – вспомни, что это 3 февраля!.. Мы ночевали в местечке Блоне. Очень порядочная площадь с колодцем и фонтаном: красивые дома, ее окружающие, ратуша, гостиный двор и башня с часами с первого взгляда доказывают, что это местечко не литовское, а той части Польши, которая в соседстве с Пруссиею, и получила уже от мудрой соседки своей некоторое образование. Далее на дороге прекрасно обстроенное село Неборов княгини Радзивиловой. В нескольких верстах оттуда ее же – Аркадия: достойна сего имени. На прекрасном месте прекрасный Английский сад, украшенный развалинами. Из всех подделанных я отроду не видал лучше этих. Они готические, и пусты, и заросли травою, и совы гнездятся в них, и ветры воют.

Кто-то выбрал себе один уголок сих развалин и отделал в нем одну комнатку. Неразбитое стекло, с белою занавескою, делает приятную противоположность с пустотою необитаемых стен. Длинная мостовая в саду, с столпами, пирамидами и триумфальными воротами, представляет бег или ристалище древних греков, описанное Гомером и Пиндаром воспетое. Лучше всего здесь сельский домик во всей простоте. На резных воротах представлены серп, коса и прочие полевые орудия. Войдите в него – первая комната проста: это хижина; но далее видно превращение. Какая-то волшебница, может быть в благодарность за ласковое гостеприимство, захотела преобразить хижину в великолепнейший чертог. Она махнула жезлом – и чудо вполовину свершилось. Явились хрустальные стены, и одна из величайшего цельного зеркала; явились мраморные столпы. Золото, серебро и фарфор украсили все прочее. Но в одном углу, среди зеркал, хрусталей, мрамора и золота, к удивлению, видите вы простые полусгнившие брусья, сквозь которые торчит солома и слышно воркование горлиц. Что бы это значило? – А вот что: богиня или волшебница, превращая хижину в храм, заметила в одном простенке гнездо голубей и – чтоб не обеспокоить сих невинных тварей – оставила гнездо и брусья, в которых оно заложено, неприкосновенными. И теперь, среди великолепнейших предметов роскоши, служит оно напоминанием прежней простоты и неложным знамением совершившегося чуда. – Какова выдумка! Видно, что хозяйка имеет воображение. Такие-то чудеса могут творить богачи! О, если б они делали такие же превращения с бедными хижинами своих соседей! Богач, имеющий вкус, есть уже человек; но богач-благотворитель есть ангел! В одном из здешних гротов можно видеть собрание самых редких древностей из архипелага.

Царь Александр I пересекает границу Пруссии, 1813 год. Гравюра. XIX век

Далее по сей же дороге город Лович имеет также красивую площадь и очень хорошее каменное строение. Хозяин, у которого мы ночевали, рассказывал, что французы, возвращаясь из России, горько жаловались на судьбу свою и ругались над портретом Наполеона. Рассказывают, что король Саксонский, приезжавший в герцогство Варшавское, плакал о погибели стольких тысяч войск польских и своих. Сколько отцов! сколько матерей! сколько невест вместе с ним плачут и клянут войну и завоевателей!..

4 февраля. Получено известие, что граф Платов, обложивший Данциг, разбил сделанную из него большую вылазку. Часть герцогства за Вислою покрыта лесами; здешняя полиста. Почва земли по большей части каменистая. Народонаселение немалое. Много господских домов мелькают около дороги. Город Лович, с целым округом своим, принадлежит, или, лучше сказать, принадлежал, маршалу Давусту. Он сдирал с него 700 000 злотых годового дохода. Почти все герцогство роздано было таким образом маршалам французским, и все серебряные источники Польши поглощались пучиною французской ненасытности. Наводнение здесь повсеместно. Дорога представляется рекою. Едущий из Варшавы примечает склонение плоскости земной к северу по течению Вислы. Может быть, тому причиною близость моря. Все сии места могут называться понизовыми; наводнение же оных происходит от тающих снегов на лесистых горах близ Ченстохова. Весною артиллерии и даже легким войскам проходить здесь очень трудно. Удобнейшее время для войны в

болотистом герцогстве Варшавском есть зима. Во всех, даже беднейших, домах видим портрет Костюшки[82].

5 февраля. Мы обедаем в Пионтке (в Пятнице); а здесь есть среда, четверг и воскресенье. Кому-то вздумалось поместить по этой дороге целую неделю.

5 февраля. Ночлег в Бартковице. Прекрасный дом, окруженный садами и большим разлитием вод, принадлежит графу Залужскому, который живет здесь с семейством своим и очень приветливо принимает русских офицеров. Войска наши беспрестанно идут по сей дороге – и обыватели спокойны.

6. Ночлег в Унеиове. Это местечко при реке Варте. Ранье, бегущий с остатком корпуса своего, сжег здесь большой мост. Лед тронулся, и в переправе великое затруднение. Обозы и полки обходят несколько верст левее на местечко Варту, где мост уцелел. На другой стороне развалины замка Архибискупа Гнезденского. За несколько пред сим лет местечко это было очень богато. Здесь было много людей, живущих и приезжающих; были иностранные конторы, и деньги звенели в каждом доме. Догадываешься, что это было в благословенные времена торговли. По Варте гоняли лес и прочее в Пруссию; барыш с избытком награждал труды и издержки. Прервалась торговля – и местечко опустело; праздность, уныние и пустота заступили место деятельности, шума и движения.

7. Дорога за Вартою через песчаные боры менее наводнена.

8. Город Калиш при реке Просне, очень красивый, по большей части немцами населенный город. Здесь, за 4 пред сим дня, сражался генерал барон Винценгероде. Две тысячи пленных, 8 пушек и два знамя были трофеи в одержанной им над неприятелем победе. После сего сражения Ранье, как говорят, ускакал в Саксонию; а остаток войск его присоединился к Понятовскому, запершемуся в Ченстохове.

9. Движения войск останавливаются. Причиною этому здешние дороги, на которых все вязнет. Корпуса и отряды располагаются на временных, или так называемых кантонир-квартирах.

22 февраля. Местечко Ярочево

Погода была прекрасная, воды шумели, и окрестности расцветали, когда генерал и мы приехали верхами в это местечко. Все обещало нам весну; все надеялись наслаждаться ею. Но надежды обманывают часто. Вот уже десять дней, как мы стоим здесь, и десять дней скучаем. Ветры сливаются в бури; и бури воют в воздухе. Со всех сторон сходятся тучи; то сыплют снег, то льют дожди. Рыхлая здешняя земля везде расступается. Прощайте

прогулки! Грязь не дозволяет выходить из квартир. Я стою в маленькой комнате у ксендза; генерал в довольно большом, на образец голландских построенном господском доме. Железные печи нагревают его. Хочешь знать, как проводим мы здесь время? Довольно нескучно при самой скучной погоде. По вечерам ходим к полковнику или собираемся у генерала. Там читают, рисуют, чертят, говорят, шутят. Снисходительность начальника и приятная свобода в обращении украшают эти вечерние беседы. Не правда ли, что у вас очень часто какой-нибудь статский советник представляет лицо великого человека, требует всеобщего внимания, отличного уважения и холодною важностию застуживает беседы, где сердца хотят раскрыться для искренности и приязни; а здесь полный генерал, генерал саном и делами, славный в России, известный в Европе, так ласков, великодушен, любезен! Зато всякий подчиненный его любит, уважает его в душе и умереть с ним почитает за удовольствие.

Сам генерал Милорадович большую часть времени проводит в чтении. Во все это время перечитывал он Плутарха. Он встречается с великими людьми его, как с давними знакомцами, и много занимается их делами и участию. «Найди мне, – сказал он однажды, – хотя несколько великих полководцев, которым бы отдали полную справедливость прежде смерти и которые умерли бы без огорчений, довольны жизнию и судьбою своею!» Правду сказать, что с таким условием трудно найти и одного. Неблагодарность народов, несправедливость государей, зависть, клевета и происки сопровождают великих от колыбели до гроба. Жизнь их есть беспрестанное борение. Где ж награда? – В потомстве, в истории!..

25 февраля

После десятидневного заключения мы переменили квартиры, и все дежурство наше переехало в Ждуни. Это очень маленький, но очень красивый и чистый городок на самой границе Силезии. Завтра генерал едет в Калиш благодарить государя за пожалованные ему вензеля на эполеты.

26 февраля

Как они красивы, уютны, чисты, все эти польско-немецкие городки. Издали на обширности полей они кажутся беседками; потому что сами здешние поля – точные сады! Черноземные нивы, одетые пушистою сочною зеленью, искрещенные и окруженные просадьми из стройных острых тополей, влекут и очаровывают взоры. Одна площадь, одна или две улицы – вот и весь городок! Смотришь в окно на площадь – видишь ратушу, торг и

торгующих; смотришь из того же дома в другое окно – видишь поля и пахарей. Тут шумит говор людей; там звенит песнь жаворонка. Эти городки можно назвать сельскими. Как опрятны немцы! Чистят и метут городок свой, как комнату.

Трудолюбие и деятельность пробуждаются здесь вместе с солнцем. Встаю нарочно рано, чтоб увидеть утреннюю картину здешней жизни. Подхожу к окну – заря догорает, солнце всходит. Площадь еще пуста; все тихо. Жаворонки свищут за городом. Вдруг распахнулась дверь; за нею другая!.. Начинают растворяться дома. Выбегают прекрасные молоденькие немочки в стройных кофточках, с ведрами и кувшинами, одна перед другою спешат к фонтану. Моются, плещутся и черпают воду; свежи и румяны, как весенние цветочки. Но вот идут почтенные старушки. Расставляют лавочки, столики и шалаши. Сбираются продавцы и купцы. Площадь заселяется и оживает. В одном месте кричат: «По метлы! По метлы!», в другом: «Лучшее свежее масло, сливки, сухари и проч.!» Такая простота в жизни мне нравится, и я невольно срисовал абрис ее. В домах везде найдешь довольство и порядок; услышишь музыку и пение. Дочь хозяина моего, торгующего железом, играет на фортепиано с флейтами и читает немецкие стихи. Разве этого мало!..

Марта 1. Город Фрауштат

Я ездил с генералом в Калиш, где имел удовольствие познакомиться с историком великого Суворова Егором Борисовичем Фуксом. Там же представился мне случай сделаться известным знаменитому графу Матвею Ивановичу Платову. Он удостоил меня особенного внимания и благосклонности своей. Из Калиша проехали мы прямо через красивый пограничный городок Равич в Фрауштат. Прекрасный город! Он, без сомнения, один из лучших в целом Варшавском герцогстве. Большая здешняя улица не уступает в красоте ни Варшавским, ни бывшим Московским; а это даже и не главный, но просто окружной городок в префектуре Познанской. Тут остановится, и, кажется, надолго, главная квартира авангарда генерала Милорадовича. Крепость Глогау отсюда в двух милях. Часть войск под командою князя Волконского и графа Сент-Приеста облегла ее.

Марта 3

Здесь есть и театр! Каждый вечер наполняется он зрителями. Правда, что здешний театр мал, как вертеп; но актеры на нем не куклы. Три актера и две актрисы не испортили бы ни на каком столичном театре в комических ролях. Католический костел по огромности, великолепию и древности заслуживает внимания

путешественников. В сем костеле погребено семейство Гуровских. Против каждой могилы на стене надпись и портрет усопшего.

Таков здешний обычай! Между прочими портретами видите вы прекрасные лица, пленяетесь цветущею молодостию, красотою и невольно вздыхаете, вспомнив, что они уже – в гробе!.. Но от мрачного великолепия костела, пройдя прекрасную площадь и большую улицу, заглянем на мою квартиру. Вот прекрасная чистая комната, украшенная живописью, зеркалами и диванами. Хозяин одет очень опрятно; пьет по утрам кофе, имеет вкусный стол, ходит в театр, читает книги и судит о политике. Кто он таков? – Угадай! – Дворянин? – Нет! – Богатый купец? – И то нет. – Кто ж? – Мещанин-цирюльник! Я предчувствую удивление твое и разделяю его с тобою. Разве у нас нет цирюльников; но они живут в хижинах, часто в лачужках. Отчего же здесь люди так достаточны? Это тайна образа жизни немцев.

P.S. Вчера приехал к нам из Кенигсберга бывший адъютант графа Остермана, молодой Сакен, которого отец состарился и умер в службе.

10 марта

У нас здесь танцуют и веселятся под громом глогавских пушек. Вчера полковник Сипягин удивил и забавил город великолепным балом. Девушек было очень много, и много хороших; угощение прекрасное, и гости веселились до белого дня.

Жизнь авангардная, при всех трудах и опасностях, имеет свои наслаждения. В том месте, где голос смерти, раздаваясь с выстрелами, поражает часто слух и невольно напоминает о краткости жизни, в том месте дружба должна быть искреннее, откровенность непритворнее, все связи надежнее. В авангарде, конечно, более, нежели где-нибудь, спешат жить и наслаждаться, но там помнят также и то, что, как говорит Гораций, хороши только те наслаждения, за которыми не следует раскаяние; иначе в сладких напитках нашли бы горечь и не уснули бы покойно под звуком близкой стрельбы. Всякий день после развода и перед вечернею зарею играет у нас на площади музыка; народ толпится слушать ее. Великодушное снисхождение начальника удаляет строгую взыскательность. Приязнь и свобода украшают авангардную жизнь офицера.

13 марта

Я желал, чтоб ты был у нас вчера и, верно, восхитился бы авангардным нашим празднеством. От хладных стран Сибири до Немана, Вислы и Одера праздновали вчерашний день повсеместно. Это был день восшествия на престол государя

императора.

Войска и жители без всякого предварительного условия приготовились к общему празднеству. С восходом прекрасного весеннего солнца движение и деятельность зашумели в городе. Караул Кексгольмского полка готовился к разводу. В 10 часов сменил он караул Перновского. Прекрасные солдаты того и другого полка обратили на себя всеобщее внимание. Бодро и весело проходили они по улицам, наполненным зрителями. После развода все пошли в особый дом, где генерал Милорадович приказал приготовить великолепный обеденный стол на 200 особ. Русский полковой священник служил молебен. Кроме военных чиновников, и почетнейшие из граждан присутствовали при оном. Я не могу описать восторга, который овладел сердцами, когда священник произнес молитву, чтобы Господь положил всех врагов под стопы государя нашего. «Они уже лежат у ног его!» – думал каждый, и слезы умиления сверкали у многих на глазах. Как сладко тем, которые за год пред сим видели грозные тучи бед на горизонте своего отечества; видели бездну, к которой вихри ужасных случаев влекли его; которые с сердечным стоном предавали в жертву пламени матерь и красу городов своих, позволяя врагу простирать хищность, меч в цепи даже до берегов Оки; как сладко, говорю я, было им мыслить, что отечество их уже свободно, не только мыслить, но и быть в сем увереным – и где ж? – стоя твердою ногою на берегах Одера!.. Все вообще с необычайным усердием преклоняли в сей день колена и молились вышнему блюстителю царей и царств. При пении многие лета государю рота полковника Мерлина палила из всех своих пушек. Глогавцы также сегодня стреляли. Гром их пушек сливался с шумом нашего торжества. Эти осажденные, равно как и модлинцы, не щадят зарядов. Вскоре по отпетии молебна подпрефект, бургомистр и прочие чиновники города, с немалым числом окрестных дворян, вместе с военными сели за стол. Офицеры угощали их. Около двадцати генералов, украшенных блистательнейшими знаками отличия, возвышали присутствием своим сие торжество. Изобилие щедрою рукою потчевало гостей. В продолжение обеда окна в доме были отворены и музыка гремела. Народ большими толпами собрался на улице. Офицеры вздумали повеселить его: наменяли мелких полусеребряных денег и начали бросать, говоря: «Молитесь за здоровье Александра Первого!» – Ура! Громкие восклицания раздались по всем улицам; деньги беспрестанно сыпались, и народ неумолчно кричал: «Ура!» Тут же представили подписку для поддержания здешнего театра. В несколько минут авангардная щедрость ссыпала такую сумму, которая удивила и осчастливила бедных

актеров. Зато ввечеру они утешили нас удачною игрою в драме: «Государь, скрывающий сан свой». Предмет и содержание прекрасны. Переодетый государь, путешествуя с одним из вернейших ему министров, обозревает землю свою. Что представляется глазам его? – Тьма несправедливостей!.. Сильные давят слабых; богачи играют судьбою бедных, добродетель влечется в заключение, порок смеется слезам ее; золото и происки кривят повсюду весы правосудия; невинность стонет; заслуга, покрытая сединами, томится в нищете; праздность отдыхает на шелковых перинах. Добрый государь пылает негодованием, хочет все преобразить – и многое исправляет. Каждый порыв его сострадания, каждое слово его приносит целение недугам государства. Государь, взирающий на народ свой только с высоты престола, есть то же, что лекарь, пользующий заочно. Чтоб излечить раны, должно к ним прикасаться. В заключение драмы появился вензель Александра Первого, лаврами увенчанный и разноцветными огнями освещенный. Молодая актриса говорила поздравление. Беспрерывное рукоплескание одобряло усердие и игру актеров. С наступлением ночи весь город запылал разноцветными огнями. Множество плошек украшало дома и улицы. В разных местах блистали прозрачные картины в честь знаменитого дня. По всем площадям и улицам играла музыка. И немцы, у которых привычка гасить огонь в 10 часов вечера сделалась почти законом, расхаживали толпами по городу и учились у русских кричать «ура!». Сон в сей освещенной ночи уступал место веселости и не прежде одержал над нею верх, как с утреннею зарею.

Барон Торнау Федор Федорович (1810–1890)
Воспоминания кавказского офицера

I

При заключении Адрианопольского трактата, в 1829 году, Порта отказалась в пользу России от всего восточного берега Черного моря и уступила ей черкесские земли, лежащие между Кубанью и морским берегом, вплоть до границы Абхазии, отделившейся от Турции еще лет двадцать тому назад. Эта уступка имела значение на одной бумаге – на деле Россия могла завладеть уступленным ей пространством не иначе, как силой. Кавказские племена, которые султан считал своими подданными, никогда ему не повиновались. Они признавали его как наследника Магомета и падишаха всех мусульман, своим духовным главой, но не платили податей и не ставили солдат. Турок, занимавших несколько крепостей на морском берегу, горцы терпели у себя по праву единоверия, но не допускали их вмешиваться в свои внутренние дела и дрались с ними или, лучше сказать, били их без пощады при всяком подобном вмешательстве. Уступка, сделанная султаном, горцам казалась совершенно непонятною. Не углубляясь в исследование политических начал, на которых султан основывал свои права, горцы говорили: «Мы и наши предки были совершенно независимы, никогда не принадлежали султану, потому что его не слушали и ничего ему не платили, и никому другому не хотим принадлежать. Султан нами не владел и поэтому не мог нас уступить». Десять лет спустя, когда черкесы уже имели случай коротко познакомиться с русской силой, они все-таки не изменили своих понятий. Генерал Раевский, командовавший в то время черноморскою береговою линией, пытаясь объяснить им право, по которому Россия требовала от них повиновения, сказал однажды шапсугским старшинам, приехавшим спросить его, по какому поводу идет он на них войной: «Султан отдал вас в пешкеш, – подарил вас русскому царю». «А! Теперь понимаю, – отвечал шапсуг и показал ему птичку, сидевшую на ближнем дереве. – Генерал, дарю тебе эту птичку, возьми ее!» Этим кончились переговоры. Очевидно было, что при таком стремлении к независимости одна сила могла переломить

упорство черкесов. Война сделалась неизбежною. Оставалось только сообразить необходимые для того средства и отыскать лучший путь к покорению горцев, занимавших новоприобретенную часть Кавказа.

Для того чтобы получить понятие о нашем положении на восточном берегу Черного моря в 1835 году, когда судьба забросила меня в Абхазию, необходимо познакомиться с обстоятельствами, сопровождавшими первое появление здесь русских войск.

Абхазия пребывала под властью турок почти два столетия. В 1771 году абхазцы восстали против турок и принудили их оставить Сухум. Начались длительные междоусобные войны, в течение которых Порта неоднократно получала власть над Абхазией и вновь теряла. Наконец, в 1808 году Сефер-бей принял христианскую веру и отдал Абхазию под покровительство России, поставленной в необходимость воспользоваться его предложением. От занятия нашими войсками Абхазии и от учреждения в ней некоторого порядка зависело спокойствие Мингрелии, признавшей над собою, подобно Грузии, власть России. Кроме того, Сухум, пользующийся единственным удобным рейдом на всем восточном берегу Черного моря, от Батума до Геленджика, обещал доставить нам военные и торговые выгоды, которыми нельзя было пренебрегать, думая о будущности вновь приобретенных закавказских провинций. По этому поводу и согласно с желанием самого владетеля русские войска вступили в 1810 году в Абхазию, вытеснили турок из Сухума и поместили в нем небольшой гарнизон. Это обстоятельство нисколько не изменило существовавшего в Абхазии порядка дела. Владетель по-прежнему оставался полным властелином своего народа. Не думая о новых завоеваниях, русское правительство не увеличивало в Абхазии войск, продолжавших занимать одну сухумскую крепость; не мешалось во внутреннее управление княжества и заботилось только об уничтожении влияния турок на народ, обнаруживавший склонность, по примеру владетеля, возвратиться к христианской вере, которую исповедовали его предки. Турки, бежавшие из Сухума, рассыпались между тем по всей Абхазии и с ожесточением возбуждали народ против русских.

В 1830 году, когда весь восточный берег Черного моря перешел во владение России, отряд из десяти рот 44-го егерского полка, восьми орудий и небольшой команды казаков прибыл морем в Абхазию и занял Бамборы, Пицунду и Гагры. Первые два пункта, находящиеся в пределах Абхазии, были заняты без выстрела, невзирая на старание абхазских дворян возбудить

народ к сопротивлению и, по примеру прежних восстаний, призвать на помощь убыхов и шапсугов.

Гагры, лежащие за Бзыбом, у подножия высокого, скалистого хребта, примыкающего к самому морю, достались нам не без боя. Садзы, убыхи и шапсуги, собравшись в значительных силах, противились высадке и после того несколько раз пытались овладеть новым укреплением открытою силой. Потеряв много людей в своих неудачных нападениях, они переменили образ действий и принялись тревожить наши войска, не давая им отдыха ни днем, ни ночью, нападая на небольшие команды, высылавшиеся за дровами и за фуражом, подстерегая с высоты гор людей, выходивших за стены укрепления, и посылая в них свои меткие выстрелы. Существование гагринского гарнизона сделалось положительно нестерпимым.

Год спустя русский отряд под начальством генерала Берхмана, состоявший из двух пехотных полков, в числе пяти тысяч человек овладел Геленджиком, невзирая на упорное сопротивление натухайцев и шапсугов.

До занятия Гагр и Геленджика мы не имели точного понятия об ожидавшем нас сопротивлении, о дурном климате и о других затруднениях, с которыми приходилось бороться нашим войскам на черкесском берегу. Опыт, которым мы обогатились в этих случаях, заставил приостановить дальнейшие действия на берегу Черного моря. Многочисленный и хорошо вооруженный неприятель, встретивший наши войска с отчаянной храбростью, требовал для отражения его численных сил, какими мы не могли располагать в то время на Кавказе. Кази-Мегмет, первый распространитель мюридизма между горцами, поднял против нас Чечню и весь Дагестан, разграбил пограничные города Кизляр и Моздок и в последнее время стал угрожать Военно-Грузинской дороге, нашему ближайшему, если не единственному сообщению с закавказскими провинциями. Сперва надо было усмирить левый фланг кавказской линии, куда и были направлены все свободные войска, а потом уже думать о новых завоеваниях.

Военные действия тридцать второго года в Чечне и в Дагестане доставили нам полный успех. Главнокомандующий кавказским корпусом, барон Розен, поднялся с небольшим отрядом на гору Галгай, близ Военно-Грузинской дороги, считавшуюся у горцев совершенно неприступною для наших войск, и покорил снова кистинские общества, увлеченные Кази-Мегметом в общее восстание. После того наши войска, под личным начальством барона Розена и Вельяминова, прошли по всей Чечне, разбивая неприятеля везде, где он только показывался; проникли через Ичкеринский лес в Беной и Дарго,

уничтожили эти два селения и поздней осенью спустились наконец в глубокое ущелье реки Койсу, для того чтобы последним, решительным ударом поразить восстание в его корне. Гимры, в которых Кази-Мегмет родился и постоянно жил, были взяты приступом, и он сам убит. Громкие удачи наших войск, и в особенности смерть имама, главы мюридов, сильно поразившая умы горцев, понудили Чечню и дагестанцев покориться безусловно русской воле. Левый фланг кавказской линии казался усмиренным на долгое время; после этого можно было перенести снова военные действия в западную часть Кавказа и заняться предпочтительно устройством береговой линии.

Полагая, что горцы не в силах долго обороняться собственными средствами, без помощи турок, доставлявших им товары, соль и разные военные припасы в обмен на женщин и на мальчиков, все наше внимание обратилось на прекращение турецкой торговли с черкесами. Для этой цели уже в 1830 году черкесский берег был объявлен в блокадном положении, и для наблюдения за ним учреждено постоянное крейсерство. Невзирая на эту меру, турецкие купцы продолжали сообщаться с черкесами. Малый успех морской блокады привел к заключению, что сообщение турок с черкесским берегом прекратится только в том случае, когда все пункты, которые они привыкли посещать, будут заняты русскими укреплениями. Одно из главных затруднений для учреждения береговой линии заключалось тогда в недостатке точных сведений о местности, о количестве неприятеля и о средствах, которыми он располагал для своей обороны. По мнению Вельяминова, для основательного усмирения горцев следовало остерегаться более всего опрометчивости, подвигаться в горах шаг за шагом, не оставляя за собою непокоренного пространства, и заботиться о достижении положительных результатов на будущее время, а не мгновенных блестящих успехов, которые уже не раз влекли за собою целый ряд неожиданных неудач.

Но в 1834 году последовало приказание немедленно положить первое начало устройству береговой линии, открыв военные действия против черкесов с Кубани и с южной стороны гор, из Абхазии; а для пополнения сведений о береге между Гаграми и Геленджиком предписано было произвести усиленные десантные рекогносцировки.

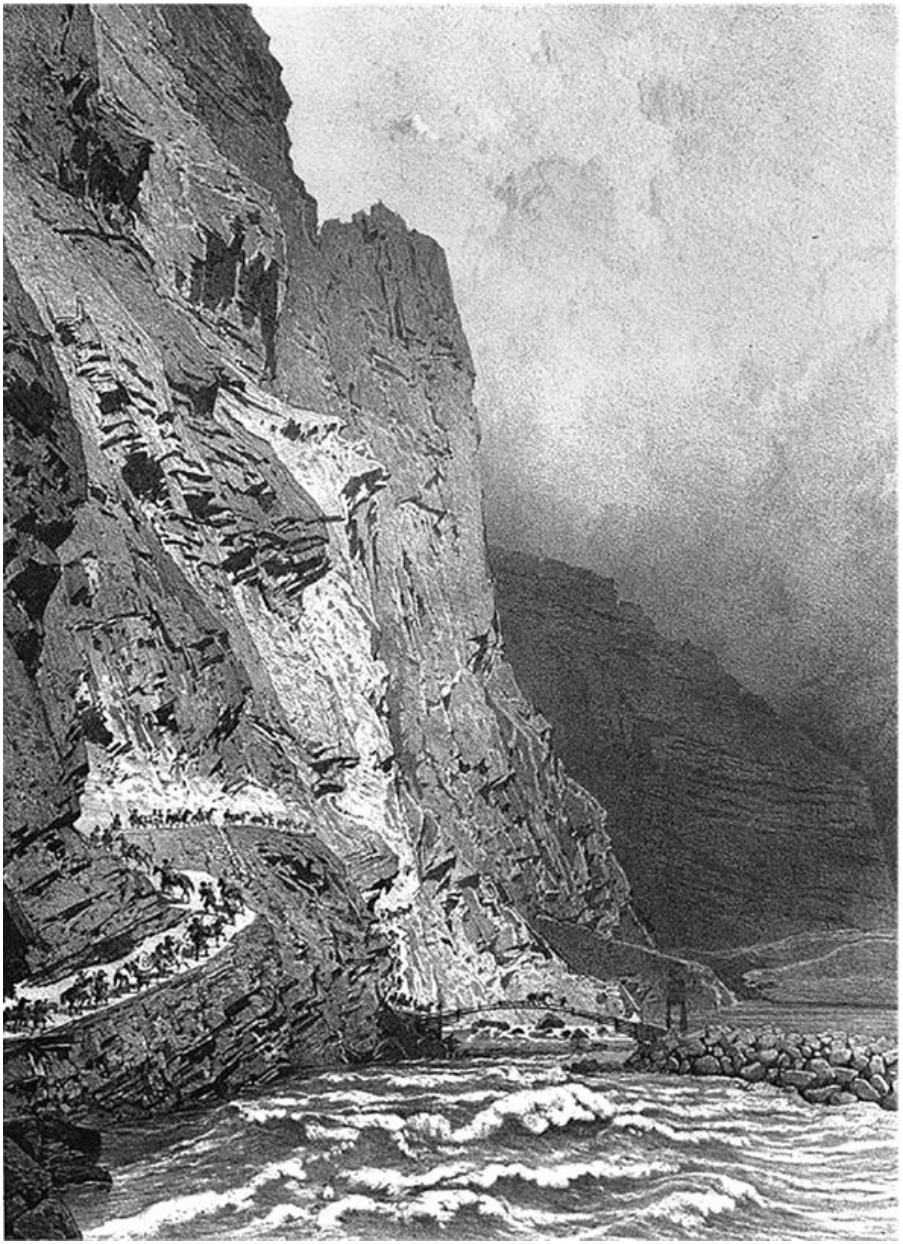
Покоряясь высшей воле, Вельяминов двинулся весной тридцать четвертого года за Кубань из Ольгинского редута с целью открыть сообщение с Суджукской бухтой. Постройка Абиньского укрепления заняла все лето. В Абхазию был послан в том же году под командою генерал-майора N. отряд, состоявший

из нескольких батальонов, для разработки дорог и для постройки укреплений, необходимых для защиты сообщения. Жители не обнаруживали никакого сопротивления; зато наш отряд нашел столько препятствий собственно в абхазской природе, что N. не надеялся проложить дороги от Дранд до Бзыба прежде осени другого года, считая притом совершенно невозможным продолжать сухим путем движение за Гагры, по причине скал, преграждавших береговую дорогу около этого места. Это обстоятельство еще более затрудняло вопрос о пути, который следовало избрать для устройства береговой линии, и побудило военное министерство повторить требование относительно усиленных рекогносцировок, произвести которые давно уже было предписано.

Но как барон Розен, так и Вельяминов в одинаковой мере желали избегнуть необходимости употребить в дело этот способ, который, по мнению их, не мог принести ожидаемой от него пользы. Для производства десантных рекогносцировок в разных пунктах, на протяжении сорока географических миль совершенно нам незнакомого, гористого берега, покрытого сплошным лесом, представлявшим для неприятеля отличную оборону, требовалось употребить несколько тысяч человек и около двадцати военных и транспортных судов. Жертвы людьми и деньгами, которые правительство должно было понести в этом случае, далеко превышали выгоды, какие могли принести рекогносцировки. Места пришлось бы занимать наудачу, платя жизнью десятков солдат за каждый клочок земли, не превышающий пространства, находящегося под огнем нашей артиллерии. Самые важные сведения о дорогах внутри гор, о количестве народонаселения, о его средствах к жизни и к войне оставались совершенно недоступными для войск.

Оставалось одно средство заменить полезным образом малообещавшие рекогносцировки: поручить достаточно сведущему офицеру осмотреть тайным образом морской берег. Благодаря расположению памятного всем старым кавказцам генерала Вальховского выбор пал на меня. На Кавказе находился с начала тридцать второго года, участвовал прежде того в задунайской кампании против турок и в польской войне. Получив довольно значительную рану во время ичкеринской экспедиции тридцать второго года, я был долго болен и через год еще принужден был провести лето на Кавказских минеральных водах для укрепления моих сил. Когда я вернулся в Тифлис, Вальховский встретил меня с предложением отказаться на долгое время от общества и от всех его удовольствий, преобразоваться с виду в черкеса, поселиться в горах и посвятить себя сообщению

сведений, добыть которые предполагалось такою дорогою ценой: он не скрыл от меня опасностей, с которыми я должен был бороться; да и я сам понимал их очень хорошо. Так как возлагаемое на меня дело выходило из круга обыкновенных поручений, то нельзя было требовать от меня его исполнения служебным порядком, без моего добровольного согласия. Поэтому главнокомандующий поручил генералу Вальховскому убедить меня ехать в горы, предоставив мне самому назначить условия, на которых я считал для себя выгодным оказать требуемую от меня услугу. Готовый жертвовать собою безусловно для государственной пользы, но отнюдь не располагая торговать своею жизнью и свободой, я отвергнул условия, которые могли касаться до моих личных выгод, и настоял только на доставлении мне всех тех преимуществ, от которых зависела, по моему убеждению, удача предприятия. Барон Розен согласился предоставить мне право располагать свободно собою и своим временем, вступать в сношения с покорными и непокорными горцами, не стесняясь существующими правилами, и, в указанных мне границах, обещать им награды или прощение за различные преступления, если кто из них станет мне помогать в моих делах. Обеспеченный таким образом против постороннего вмешательства местных кавказских властей, я принялся с охотою и с уверенностью в успехе за мое поручение.



Дагестан, Чертов мост.

Литография. Художники – Гагарин Г. Г., Штакельберг Э. 1847 г.

II

Не стану описывать подробно моего путешествия от Тифлиса

до границ Абхазии; оно было весьма незанимательно. Зимнее время скрывало от меня живописную сторону богатой имеретинской и мингрельской природы. Плохие дороги, дурные ночлеги, холод, грязь и снег попеременно преследовали меня от начала до конца путешествия. До Сурама я ехал на русских почтовых телегах; всем известно, как они покойны. Через Сурамские горы и далее приходилось ехать верхом, на казачьих переменных лошадях. В Кутаисе я остановился на несколько дней, чтобы явиться к управляющему Имеретией, начальнику абхазского действующего отряда, знавшему только о моем гласном назначении находиться при войсках в Абхазии, так как в Тифлисе признано было необходимым никому не поверять тайны моего настоящего поручения, для того чтобы предохранить меня от последствий всякой, даже неумышленной, нескромности. Далее я продолжал свой путь без отдыха.

От самого Кутаиса я не пользовался другим помещением, кроме постовых плетневых хижин, ночуя в них, по кавказскому обыкновению, на земле, окутанный в бурку вместо постели и одеяла; поэтому я немало обрадовался, услышав шум моря, означавший близость Редут-Кале, в котором я ожидал найти некоторое вознаграждение за испытанные мною лишения. Когда мы подъехали к Редуту, совершенно смерклось, и только эта темнота помешала моему преждевременному разочарованию. Редут-Кале – земляное укрепление, построенное на берегу моря, около устья реки Хопи, посреди непроходимых болот, – был в то время забытый уголок, в котором прозябали изнуренные лихорадками несколько солдат, офицеров и карантинных и таможенных чиновников. Внутри укрепления, уставленного небольшим числом деревянных строений, на всем лежала печать скуки, тоски, ветхости и бедности.

На следующее утро я поспешил в Бамборы, где должен был найти генерала Пацовского, командовавшего, за отсутствием N., всеми войсками в Абхазии. Он был единственный человек, имевший возможность помочь мне в моем предприятии делом и советом, зная край и пользуясь хорошим влиянием на абхазцев.

В первый день моего отъезда из Редут-Кале я добрался с большим трудом, поздно ночью, до первого поста, сделав не более двадцати верст. На другой день я переехал в Илори, на границу Абхазии, где в прошедшем году наши войска построили укрепление на берегу Гализги. Настоящая граница Абхазии начиналась на правом берегу Ингура. Гализга служила прежде только для разделения двух абхазских округов – Самурзаканского и Абживского. По причинам, которых я не мог никогда понять ясным образом, Самурзаканский округ был причислен нами к

владениям князя мингрельского, и абхазская граница отодвинута с Ингура к Гализге. Последствием этого отчисления было то, по крайней мере в мое время, что самурзаканцы, избавленные от послушания своему природному князю, отказывались также повиноваться и новому владетелю; а независимое направление своего образа мыслей принялись обнаруживать воровством и разбоями.

Трудно было понять, для какой надобности редут был построен в Илори. Человек полтораста солдат, помещенных в редуте, ни в каком случае не были в силах ни предупредить, ни остановить беспорядков, если б они возникли между жителями.

Для надзора за переправою через Гализгу и для перемены лошадей достаточно было бы иметь здесь казачий пост, усиленный десятками двумя пехотных солдат. К нашему несчастью, в то время на Кавказе делалось множество подобных ошибок. Беспрестанно занимали места без всякой надобности, строили укрепления, не приспособленные ни к местности, ни к роду войны, помещали в них гарнизоны, слишком слабые для того, чтобы держать в страхе жителей, раздробляли таким образом свои силы, войска подвергали без всякой пользы болезням и всевозможным лишениям, а горцам доставляли этими фальшивыми мерами только случай обкрадывать и убивать русских солдат. Причина этому заключалась в невозможности главным начальникам все видеть своими глазами и обсудить собственным умом и в неспособности и неопытности частных командиров, особенно таких, которые, прибыв из России, получали, по своему чину или по какому-нибудь другому поводу, отдельные начальства и, не слушая старых кавказских служивых, принимались распоряжаться в горах или посреди абхазских и мингрельских болот по правилам воинского устава и школьной фортификации того времени.

От Илори до Дранд считали сорок верст, которые я проехал в один день, потому что на этом пространстве встречалось меньше леса, следовательно, и дорога была получше.

Драндская древняя церковь, построенная, как должно полагать, в середине шестого века, в одно время с Пицундским монастырем, лежит в пяти верстах от морского берега, на возвышении, образующем открытую площадь, окруженную лесом со всех сторон.

Выбор этого места под укрепление был весьма удачен, жаль только, что при этом коснулись церкви, заняв ее офицерскими квартирами и складом провианта. В полухристианской-полумагометанской Абхазии следовало беречь подобного рода памятники христианской старины, к которым сами абхазцы-

мусульмане питали неизъяснимое чувство благоговения, основанное на темных преданиях о святыне, осенявшей веру их праотцов. В военном отношении этот пункт представлял весьма ощутимые выгоды: давал твердый базис для действий против Цебельды, занимавшей неприступные ущелья по верховьям Кодора, и представлял, по причине здорового климата и хорошей воды, все условия, необходимые для сбережения войск. Приятно было видеть свежие и веселые лица солдат, ясно свидетельствовавшие в пользу драндской стоянки. Число больных в батальоне Грузинского гренадерского полка, зимовавшего в Драндах, не превышало обыкновенно двенадцати человек из семисот. Это был замечательный факт между кавказскими войсками, которые обыкновенно страдали и гибли несравненно более от болезней, чем от неприятельского оружия.

От Дранд дорога спускалась к берегу через густой лес и, поворотив направо, вела потом до Сухума над самым морем, по глубокому береговому песку.

Не доезжая пяти верст до крепости, лежало на пути абхазское селение Келассури, в котором жил Гассан-Бей, дядя владетеля. Его рубленый деревянный дом, имевший вид широкой четвероугольной башни, стоял на высоких каменных столбах. Крытая галерея, обхватывавшая весь дом, на которую вела узкая и чрезвычайно крутая лестница, облегчала его оборону. Двор был окружен высоким палисадом с бойницами, в котором открывалась тесная калитка, способная только пропустить одного человека или одну лошадь. Довольно было взглянуть на постройку дома, на окружавший его палисад, на эту маленькую, плотно затворенную калитку, чтобы понять всегдашнее состояние опасения, в котором Гассан-бей проводил свою жизнь. Тревожное положение Абхазии вообще, личная вражда, какую он успел возбудить во многих, и несколько покушений на его жизнь, от которых он спасался почти чудом, заставляли Гассан-бея не пренебрегать никакими мерами осторожности.

Против его дома, над самым морем, находился длинный ряд деревянных лавок, принадлежавших туркам, перешедшим из Сухума в Келассури, когда крепость досталась русским. На пороге лавок сидели, по своему всегдашнему обыкновению, турецкие купцы и курили из длинных чубуков с видом глубочайшего спокойствия. Но равнодушие их было очень обманчиво. С одной стороны, они наблюдали за дорогой, пристально разглядывая проезжающих, а с другой – не упускали из виду нашей военной эскадры, стоявшей на сухумском рейде. Турки откровенно нас ненавидели – это в порядке вещей. Прежде они первенствовали в Абхазии и пользовались самою прибыльною торговлей с

черкесами и с абхазцами, от которой купец обогащался в три или четыре рейса; теперь мы их вытеснили из этого выгодного положения и старались, кроме того, совершенно уничтожить их торговлю, захватывая и обращая в призы суда, нагруженные военными припасами и черкешенками. Гассан-бей, управлявший Сухумским округом на правах удельного князя, считался не без причины самым закоренелым покровителем турок, проживавших в Абхазии, и этого нельзя было ставить ему в вину. Религия, привычки молодости склоняли его на сторону турок, и, кроме того, он находил постоянный источник доходов в своем келассурском базаре. Турецкие купцы платили ему значительную пошлину за право торговли и сверх того доставляли ему все редкие товары, которых нельзя было найти в целой Абхазии.

Прибыв с намерением отыскать в Абхазии средство проехать за Гагры, к неприязненным черкесам, я не мог долго оставаться на одном месте; я должен был, делая беспрестанные поездки, знакомиться с краем и с людьми, от которых, по моему расчету, можно было ожидать помощи для моего предприятия. Мне казалось, что лучше всего начать дело с умного и хитрого Гассан-бея, тайного противника русских, имевшего большой вес у абхазцев, недовольных существовавшим порядком вещей. Не рассчитывая даже на его содействие, все-таки было лучше иметь его приятелем, чем врагом; его вражда была бы вдвойне для меня опасна по причине связей, которые он имел в горах. К счастью, предлог для моих будущих странствований по Абхазии был у меня приготовлен, и не только должен был успокоить любопытство Гассан-бея, но даже заинтересовать его самого, касаясь несколько его личных расчетов. Он заключался в цебельдинском деле, о котором мне было поручено собирать при случае самые точные сведения. Упоминая об этом деле, я считаю необходимым объяснить: что такое была в то время Цебельда и в чем состоял, говоря дипломатическим языком нашего времени, цебельдинский вопрос, очень простой для горцев, но чрезвычайно запутанный для нас.

Абхазия, подчинившаяся России в лице своего владетеля, занимала морской берег от Ингура до Бзыба и делилась на четыре округа: Самурзаканский, Абживский, Сухумский и Бзыбский. Самурзаканский округ, как я прежде упомянул, был нами отчислен к Мингрелии. Кроме того, находилось в горах, между источниками Бзыба и Кодора, независимое общество, составленное из абхазских выходцев, именуемое Цебель и долженствовавшее, по своему географическому положению между снеговым хребтом и абхазским прибрежьем, составить пятый округ Абхазии, но которое всегда отказывалось повиноваться

владетелю, находя в неприступности занимаемого им местоположения достаточную защиту от его притязаний.

Малочисленная Цебельда, состоявшая, по нашим тогдашним сведениям, не более как из восьми сот или тысячи семейств, служила неприятною помехой для наших дел в Абхазии. Для усмирения ее силою надо было пожертвовать временем и частью войск, которые, казалось, полезнее было употребить на работы, имевшие предметом скорейшее устройство береговой линии, обещавшей, как тогда полагали, отнять у горцев все способы сопротивления. В то время мингрельский владетель Дадиан предложил свои услуги, обещая мирным путем склонить цебельдинцев жить покойно и даже подчинить себя русской власти, если их навсегда избавить от покушений абхазского владетеля на их независимость. Предложение его было принято с большим удовольствием. Дадиан не имел никакого значения у цебельдинцев и мог на них действовать только через Гассан-бея, которого сестра была замужем за Хенкурусом Маршанием, одним из цебельдинских князей. Оба они сошлись в этом деле, ненавидя в равной степени Михаила, владетеля Абхазии, и имея в виду выслужиться за его счет перед русским правительством и сделать ему чувствительную неприятность, уничтожив окончательно его влияние на цебельдинцев. Между тем и Михаил принял косвенное участие в этом деле, противясь, сколько было возможно, происках Дадиана и Гассан-бея совершенно отвлечь от него Цебельду. Как владетель он был прав, действуя в пользу своей власти, которая одна могла послужить к сохранению в Абхазии чего-то похожего на гражданский порядок. Мы, русские, не имели в ней тогда никакого нравственного значения и могли опираться на одну только силу. Да и в цебельдинском деле он имел возможность более способствовать нашим выгодам, чем его два соперника. Особое расположение к Дадиану мингрельскому и какое-то бессознательное предубеждение против Михаила не позволяли нам ясно видеть истинное положение дел. Из всех этих противоположных интересов сплелась, как водится у горцев, непроницаемая сеть самых хитрых интриг, в которой русские власти запутались наконец, ничего не понимая. Я не имел самонадеянной мысли распутать эту сложную, хитро связанную интригу; но находил весьма удобным воспользоваться ею для моей собственной цели.

Подъехав к дому, я остановился и, не называя себя, послал узнать, желает ли Гассан-бей видеть у себя проезжего. Это одна из выгодных сторон кавказского гостеприимства. Чужого человека принимают, не спрашивая, кто он, откуда и куда едет, пока он сам не сочтет необходимым объявить об этом, иногда только

одному хозяину, имея причины скрыть свое имя и свои дела от посторонних людей. Пока обо мне докладывали, прошло хороших полчаса. В это время рассматривали из дому меня и моих конвойных с большим вниманием. Беспрестанно показывались у бойниц разные лица, вглядывались в меня очень пристально и потом исчезали. Наконец калитка отворилась, и Гассан-бей вышел ко мне навстречу, имея за собой несколько абхазцев с ружьями в руках. Я увидал в нем плотного человека, небольшого роста, одетого в богатую черкеску, с высокою турецкою чалмой на голове, вооруженного двумя длинными пистолетами в серебряной оправе; один из них он держал в руке, готовый для выстрела. Кто только знавал Гассан-бея, не помнит его без этих пистолетов, спасавших его раза два от смерти и из которых он стрелял почти без промаха. Оставив лошадь, я подошел к нему с просьбою дозволить мне назвать себя и объясниться во всем, когда мы будем наедине. Гассан-бей молча ввел меня в комнату, усадил на низком диване против себя, потребовал кофею и чубук, как следовало по турецкому обыкновению, и выслал прислугу. Я назвал себя, сказал о моем назначении состоять при войсках и о причине, побудившей меня одеться по-черкесски; имея, прибавил я, поручение изучить цебельдинское дело, что требовало от меня беспрестанных поездок по Абхазии, я счел благоразумным не обращать на себя внимания народа. Моя откровенность до того понравилась Гассан-бею, что мы через полчаса сделались совершенными друзьями и поверяли друг другу свои самые сокровенные мысли, – разумеется, не теряя должной осторожности. Он не только согласился со мною, по крайней мере на словах, во всем, что я говорил насчет сильно интересовавших его абхазских и цебельдинских дел, и похвалил мое намерение под черкесскою одеждой остаться для народа неизвестным лицом, но снабдил меня, сверх того, множеством весьма основательных советов, касавшихся моей личной безопасности. После многоблюдного турецкого обеда, приправленного красным перцем до такой степени, что я опалил себе горло и нёбо, как огнем, Гассан-бей проводил меня до Сухума с довольно пестрою толпой своих конных телохранителей. В крепость он не заехал, имея от нее непреодолимое отвращение с того времени, когда его схватили в ней неожиданно перед отправлением в Сибирь.

Сухум произвел на меня самое неблагоприятное впечатление. Базар, находившийся перед крепостью, состоял не более как из двадцати грязных духанов-кабаков, в которых были выставлены для продажи без всякого разбора: вино, водка, табак, седла, оружие, говядина, соленая рыба, овощи и самые простые турецкие материи. Только из одного духана раздавались веселые голоса;

в его открытом окне виднелись эполеты и фуражки наших морских офицеров. Это был духан Тоганеса, избранный ими для постоянного пристанища на берегу, единственное место отдыха в Сухуме, доставлявшее им возможность за стаканом портера или марсалы забывать невыразимую тоску, которую он наводил на каждого.

Крепость, построенная из дикого камня в виде четырехугольника, около ста саженей по фасу, с башнями по углам, имела вид развалины. Внутри ее помещались две ветхие деревянные казармы, госпиталь, артиллерийский цейхгауз, провиантский магазин и дом коменданта. Сухумский гарнизон составляли две пехотные роты и команда крепостной артиллерии. Люди имели болезненный вид несчастных жертв, обреченных на вечную лихорадку, от которой половина их ежегодно умирала. При турках считали в Сухуме около шести тысяч жителей; в тридцать пятом году нельзя было насчитать и сотни сверх гарнизона. Прежде крепость была окружена красивыми предместьями, отличавшимися множеством тенистых садов, и пользовалась отличною водой, проведенною из гор далее мили. Турки называли Сухум вторым Истамбулом. Теперь расстилались около крепости болота, заражавшие воздух своими гнилыми испарениями; водопроводы были разрушены, солдаты пили вонючую, тинистую воду, и это было главною причиной болезней. Нас нельзя было нисколько винить в упадке Сухума, он был неотвратимым последствием неблагоприятных обстоятельств, сопровождавших пребывание наших войск в Абхазии. Видя, что мы положительно утвердились в крепости, турки оставили немедленно предместье; абхазцы не имели обыкновения жить в городах; а русское население не могло существовать в соседстве их, при тревожном и неустроенном состоянии, в котором находился край. Впрочем, если крепость и ее окрестности не имели ничего живого и привлекательного, зато рейд представлял картину самой оживленной деятельности. Кроме нескольких десятков турецких чектерм, качавшихся на воде, около десяти русских военных судов разной величины, начиная от красивого фрегата до уродливой толлы, лежали на якоре перед Сухумом. Мне очень хотелось побывать на наших кораблях и познакомиться с морскими офицерами, пользовавшимися уже тогда репутацией образованных людей и отличных моряков, но я должен был на этот раз отказать себе в этом удовольствии, имея в виду доехать как можно скорее до Бамбор.

В Бамборах, где я должен был иметь свое постоянное пребывание, помещались: батальон 44-го егерского полка, полковой штаб и все главные военные заведения и склады для

войск, занимавших Абхазию. Укрепление имело вид большого бастионированного параллелограмма и состояло из земляного бруствера обыкновенного размера. Внутренность его, разбитая на шесть правильных кварталов, обстроенных небольшими, чисто выбеленными домами, длинными казармами и магазинами, была опрятна и не наводила тоски, свойственной другим абхазским укреплениям. Возле крепости находился небольшой форштат с неизбежным базаром, населенным армянскими и греческими торгашами. Сюда абхазцы, а под их покровительством и незнакомые неприятельские черкесы приходили менее для торговли, чем для того, чтоб узнавать новости и высматривать, что делается у русских. Положение Бамбор в широкой и привольной долине реки Пшандры, в трех верстах от морского берега и почти в таком же расстоянии от селения Лехне, или Саук-су, как его называли турки, местопребывания владетеля Абхазии, давало этому пункту значение, которым генерал Пацовский воспользовался весьма искусно для сближения с нами абхазцев и для распространения на них, сколько было можно, нашего нравственного влияния.

Приехав в Бамборы, я, не меняя одежды, пошел явиться к генералу Пацовскому. Его ласковый прием ободрил мен с первого раза и расположил к этому почтенному человеку; впоследствии чем ближе узнавал я его, тем более возрастала моя вера в его душевную доброту. По его приказанию меня поместили в крепости в двух светлых и покойных комнатах, снабженных всем, что могло быть необходимо для отдыха и для занятий. Эта квартира, которую я помню, будто вчера только с нею расстался, редко, впрочем, видела меня в своих стенах. Я спал или изредка занимался в ней, находясь все остальное время в разъездах или в доме у Пацовского, который, по кавказскому гостеприимному обычаю, с первого дня пригласил меня бывать у него и обедать, когда захочу. Жена, трое маленьких детей и две воспитанницы лет десяти составляли его семейство. Кроме нее, находились в укреплении еще три офицерские жены, которых можно было, за неимением других, пригласить на кадриль или мазурку. Во всю зиму Пацовская давала у себя танцевальные вечера по два раза в неделю. Не только вышепоименованные дамы, но и ее маленькие воспитанницы принимали в них участие, а за недостатком женского пола на место дамы становились молодые офицеры и танцевали до упаду. Люди пожилые, нетанцующие, проводили вечер за бостонным столом. Бал кончался ужином, более сытным, чем изысканным, за которым не жалели абхазского вина, которое, право, было весьма недурно. Все это было очень незатейливо, но занимало молодежь, богатую избытком жизни, и отвлекало от

менее невинных удовольствий, неразлучных с военною зимовкой. Гости, жившие в стенах крепости, приходили пешком. Глубокая грязь, затапливавшая все улицы при первом дожде, не допускала обыкновенных калош, вместо которых принуждены были надевать сверх комнатной обуви тяжелые солдатские сапоги. Но главное удовольствие я находил, бесспорно, в обществе самого Пацовского. С удивительным терпением и скромностью, принадлежащими истинному достоинству, он объяснял мне самым подробным образом свои прежние действия в Абхазии и знакомил меня с положением края. Уверившись в его прямом характере и здравом смысле, не подчинявшихся внушениям мелочного самолюбия, я открыл ему в скором времени настоящую цель, которую я преследовал в Абхазии. В скромности Пацовского был уверен, потому что никто лучше его не понимал опасности, которой могло подвергнуть меня одно неосторожное слово. По его мнению, не существовало никакой возможности проехать из Абхазии за Гагры; во-первых, потому, что он не знал абхазца, могущего быть моим проводником, а во-вторых, по причине удвоенной осторожности, с которою неприятель караулил Гагринский проход со времени прибытия в Абхазию действующих войск. Позже я совершенно убедился в справедливости его мнения, но на первый раз не смел отказаться от своего предприятия. Я не скрыл от него моего намерения стараться всеми силами опровергнуть фактом его убеждение, после чего он откровенно пожелал мне успеха, обещая помогать мне со своей стороны, сколько будет возможно. Слово свое он сдержал как следует. Чувство душевного уважения, которое сохранил к его памяти до сих пор, двадцать семь лет после нашего знакомства, побуждает меня указать на его хотя не громкие, но весьма полезные заслуги в Абхазии.

В тридцатом году он высадился в Абхазии с десятью ротами своего полка, с восемью орудиями и с командою казаков, занял Гагры, Пицунду и Бамборы и не переставал трудиться с того времени над устройством порученной ему части. Что он успел в этом более, чем можно было ожидать от скудных средств, которыми он располагал, должен был сознаться каждый человек, видевший Бамборы и понимавший военное дело. Надо было видеть его заботливость о солдатских нуждах и его снисходительность к их недостаткам, не мешавшие ему нисколько поддерживать между ними самую строгую дисциплину, чтоб оценить вполне его практический ум и сердечную доброту. Абхазцев он умел привлечь к себе и овладеть их доверием, приноравливаясь к их понятиям и не нарушая ни в каком случае данного слова. Сами вероломные, они тем более

умели ценить правдивость. Они верили ему безотчетно и приезжали к нему издалека за советом и за помощью. В подобных случаях он помогал им часто своими собственными деньгами, не заботясь, будут ли они ему возвращены правительством. Пильна мельница на Мцыше служила одним из главных способов сближения абхазцев со своими русскими соседями. До Пацовского абхазцы не видывали пильной мельницы и делали доски с руки пилою и топором или получали их морем от турок. Мало-помалу они стали приезжать на Мцышу выменивать и выпрашивать доски у Пацовского, которые он им давал под разными условиями, имевшими в предмете выгоды полкового устройства. Сношения завязались, и скоро возникла из них некоторая зависимость абхазцев от русского изделия. Надо быть очевидцем подобного обстоятельства, чтобы понять, как легко можно сблизиться иногда с необразованным противником с помощью самого простого средства, если оно дает ему материальные выгоды, заставляющие его забывать, хотя на время, нравственный гнет, который всегда лежит на завоеванном народе. Значение, которое Пацовский умел приобрести в глазах абхазцев, отзывалось на всех русских. В Бзыбском округе, где находились Бамборы, не было слышно о нападениях на наших солдат, ходивших поодиночке в самые дальние селения. Абхазцы встречались с ними как с добрыми знакомыми, детьми Пацовского, которого они любили. Говоря о хороших отношениях, существовавших в Бзыбском округе между русскими и абхазцами, надо отдать справедливость владетелю, прилагавшему со своей стороны все старания поддержать эти отношения. N смотрел на вещи другими глазами, и, право, не его вина, если наши дела не приняли в то время более выгодного для нас оборота. Вмешавшись, как начальник страны, в споры Дадиана и Гассан-бея с Михаилом, он принял слишком явно сторону первого, видимо, задел интересы последнего, оскорбил его самолюбие и возбудил в нем неудовольствие, имевшее последствием разлады в других делах, которые по своему существу вели к цели, столько же выгодной для самого владетеля, как и для нас. Пацовский то и дело мирил обе стороны и улаживал их отношения, что не всегда было легко при столкновении русской начальственной власти с владетельскою гордостью, опиравшейся на сан и на свои независимые права.

Вскоре после моего прибытия в Бамборы я поехал с Пацовским в Лехне представиться владетелю, имевшему в то время звание полковника лейб-гвардии Преображенского полка.

Дом владетеля нет причины описывать подробно. Архитектурою он был много похож на дом Гассан-бея и отличался от него только размерами, будучи несравненно выше и

просторнее. Палисад заменялся высоким плетневым забором, огораживавшим чрезвычайно обширный двор. Вместо тесной калитки отворялись для приезжего широкие ворота. Заметно было, что Михаил менее Гассан-бея опасался врагов или более надеялся на своих окружающих. Налево за оградою, в расстоянии ружейного выстрела от владетельского дома, находилась старинная церковь. Въезжая на двор, я рассматривал с большим любопытством дом и его окрестности, представлявшие для меня много замечательного. Здесь две русские роты и двадцать два абхазца, не покинувших своего князя, защищались в двадцать четвертом году более трех недель против десяти или двенадцати тысяч джекетов, убыхов и бунтующих жителей Абхазии. Около трехсот пятидесяти человек, занимавших дом, службы и двор, огороженный одним плетнем, без рва и бруствера, успели не только выдержать осаду, но и отбить удачно несколько нападений открытою силой, пока не выручил их, высадившись в Бамборах, князь Горчаков, командовавший войсками в Имеретии. Во время осады неприятель занял церковь, о которой я выше упомянул, командовавшую над всею окрестностью, и стал обстреливать из нее середину двора. В темную ночь двадцать солдат под командой поручика (не припомню его имени) сделали вылазку, ворвались в церковь и перекололи всех засевших в ней абхазцев, кроме одного, успевшего скрыться на хорах. Очистив церковь, они отступили в ограду владетельского дома, потеряв только четырех человек. Этот урок подействовал на неприятеля так сильно, что он не решался более занимать церкви, стоявшей, как опыт доказал, слишком близко от руки и штыка наших солдат. Человек, уцелевший в церкви от побоища, был известный абхазец Каца Маргани, передавшийся впоследствии всею душой на сторону владетеля, который, кажется, теперь еще жив и пользуется генеральским званием. Об этой защите владетельского дома в Лехне нашими солдатами, кажется, никто не писал, и я слышал о ней только в Абхазии, на самом месте действия. Командовал ротами, принадлежавшими к 44-му егерскому полку, капитан Марачевский, которого Ермолов наградил за это дело орденом Св. Владимира четвертой степени с бантом, что считалось в то время необыкновенным отличием.

Михаил Шервашидзе, абхазский владетельный князь, носивший у своих имя Гамид-бея, был тогда красивый молодой человек лет двадцати четырех, пользовавшийся всеми качествами, имеющими высокую цену у черкесов, то есть был силен, стрелял отлично из ружья, ловко владел конем и не боялся опасности. Как правитель он был, несмотря на свою молодость, далеко не хуже, если не лучше других, много хваленных кавказских владельцев;

понимал простые нужды своего народа и умел заставить себе повиноваться. В отношении русских он держал себя как следует, без особой гордости и без подобострастия, действовал нескрытно и охотно исполнял все наши требования, когда они не находились в совершенном разногласии со средствами и с пользою Абхазии. Я познакомился с ним очень коротко и искренно полюбил его за участие, которое он мне показывал, и за его откровенные поступки со мною. Пацовский понимал его настоящим образом и, как умный человек, защищал против людей, обвинявших его в нерасположении к русскому правительству потому только, что они не находили в нем всегдашнего выражения покорности, которая, в сущности, так редко доказывает истинную преданность. Как настоящий горский князь, Михаил исполнял правила гостеприимства в самых широких размерах; никто не уезжал из его дома без угощения и без подарка. Мне он подарил в начале нашего знакомства прекрасную винтовку, с которою я потом никогда не расставался до моего последнего, весьма неудачного путешествия, лишившего меня и этой дорогой для меня вещи.

Михаил Шервашидзе (1806–1866) – последний владетельный

князь Абхазии с 1822 по 1866 гг. Генерал-лейтенант, генерал-адъютант русской императорской армии.

Портрет. XIX век

Насчет Цебельды Михаил объяснился со мною без всяких хитростей. Все, что он говорил об этом деле, вполне согласовалось с мыслями Пацовского. Он считал не только бесполезным, но даже вредным уговаривать цебельдинцев покориться, когда они сами не находили в этом ни нужды, ни выгоды. Это значило придавать им важность, которой они не имели. Только сила могла их принудить променять свою необузданную волю на подчиненность, тягостную для каждого горца. Прекратить же их набеги и сделать их по возможности безвредными для русских в Абхазии мог только он один, при добровольном содействии своего народа. Для этого он должен был сохранить в полной силе свою власть над абхазцами и то значение, которым он пользовался в Цебельде, зависевшей от него по случаю зимних пастбищ, удобных для них только в его владениях. Он никак не рассчитывал допустить Дадиана мешаться в его дела или предоставить Гассан-бею случай усилить свое личное значение за счет его владетельных прав. Это было ясно и так справедливо, что тут нечего было спорить.

Пацовский, заботясь, сколько было возможно, облегчить для меня сношения с абхазцами, назначил поручика своего полка, абхазского уроженца Шакрилова, находиться постоянно при мне в звании переводчика. Шакрилов говорил равно хорошо по-русски, по-абхазски и по-турецки, знал основательно свою родину и к этим качествам, делавшим из него весьма дорогую находку для меня, присоединял еще большую смелость, прикрытую видом необыкновенной скромности. Он и другой абхазец, Цонбай, первые решились вступить еще молодыми людьми в русскую военную службу. Пацовский, желая этим способом составить новую связь с абхазцами и приманить их выгодами службы, взял Шакрилова и Цонбая к себе в дом на воспитание и в несколько лет образовал из них прекрасных офицеров, ни в чем не отставававших от своих русских товарищей. Шакрилов был женат, имел старика-отца и трех братьев. Отец и старшие братья остались мусульманами; два младших брата, Муты и мой переводчик Николай, продолжавший также носить название Эмина, приняли христианскую веру. В Абхазии нередко встречались подобные случаи, когда в одном и том же семействе бывали и христиане, и магометане, что, впрочем, нисколько не вредило их родственному согласию. С шестого по шестнадцатый век весь абхазский народ исповедовал христианскую веру.

Церковью управлял независимый католик, имевший пребывание в Пицундском монастыре; в Драндах находилось епископство, и, кроме того, вся Абхазия была усеяна церквами, развалины которых я встречал на каждом шагу. Турки, обратившие абхазцев в магометанскую веру, не успели совершенно уничтожить в них воспоминаний о христианской старине. В абхазском магометанстве не трудно было заметить следы христианства в соединении с остатками язычества. Когда Сефер-бей принял христианскую религию, примеру его последовали некоторые абхазцы; другие крестились позже при его наследниках. Новообращенные христиане строго исполняли все наружные обряды, налагаемые церковью, не расставаясь, однако, с некоторыми мусульманскими привычками, вошедшими в народный обычай. Они имели, например, не более одной жены; но зато позволяли себе менять ее при случае. Абхазские магометане не отказывались ни от вина, ни от мяса нечистого животного, противного каждому доброму мусульманину. Христиане и магометане праздновали вместе Рождество Христово, Св. Пасху, Духов день, Джуму и Байрам и постились в Рамазан и Великий пост, для того чтобы не давать друг другу соблазна. Те и другие уважали в одинаковой степени священные леса и боялись не на шутку горных и лесных духов, которых благосклонность они снискивали небольшими жертвами, приносимыми по старой привычке тайком, так как это запрещалось им священниками.

В Бамборах я не терял долго времени. Одна из моих первых поездок была направлена в Пицунду, куда я поехал вместе с Пацовским с целью осмотреть место для постройки укрепления, долженствовавшего обеспечить сообщение Гагр с Бамборами. Пицундский монастырь, занимаемый нашими войсками, лежал на берегу моря, совершенно в стороне от прямой гагринской дороги, загороженный от нее и от Бамбор цепью невысоких, но очень крутых, покрытых лесом гор. Через эти горы вела в Пицунду довольно неудобная вьючная дорога, проходимая только для войск, а не для артиллерии и для тяжестей, которые принуждены были доставлять туда морем. На берегу Бзыба, у поворота дороги через горы в Пицундский монастырь, находилось многолюдное селение Аджепхуне, в котором жили Инал-ипы, считавшиеся, после владетеля, самыми богатыми и сильными князьями в Абхазии. От Бамбор до Аджепхуне существовала уже весьма удобная дорога; далее не встречалось никакого затруднения проложить ее по совершенно ровной местности до самого Гагринского монастыря. Выгоднее Аджепхуне нельзя было найти пункта для предполагаемого укрепления: оно оберегало бы здесь

в одно время дорогу от Бамбор к Гаграм и к Пицунде и переправу через Бзыб, повелевало бы неприятельскими пастбищами и наблюдало за пограничным абхазским населением, имевшим постоянные сношения с приморскими, одноплеменными с ним джекетами. Пацовский одобрил мой выбор во всех отношениях; я прибавил чертеж проектированного мною укрепления, приспособленного к местным обстоятельствам: земляного редута с деревянными оборонительными казармами посреди фасов, от которых выдавались капониры для обороны рва.

Пицундский монастырь занял мое внимание еще более Драндской церкви; положение его было не менее живописно, а постройка отличалась величиною и некоторыми частными достоинствами, которых не было у последней. Церковь чисто византийской архитектуры, воздвигнутая по указанию Прокопа в шестом веке, в царствование Юстиниана, сохранилась довольно хорошо. В одном приделе были видны на стенах и на потолке весьма любопытные фрески, пережившие время владычества турок в Абхазии. На большом ореховом дереве, возле церкви, висел колокол весьма искусной работы, с изображением Мадонны и латинскою надписью, указывавшею, что он был отлит в 1562 году. Уважение, которое абхазцы и джекеты питали, по преданию, к остаткам Пицундского монастыря, не позволило им коснуться этого колокола, принадлежавшего ко времени генуэзского владычества на восточном берегу Черного моря. Пицунда была снабжена отличною ключевою водой посредством древнего водопровода, сохранившегося в полной целости. На Пицундском мысу существовала, кроме того, сосновая роща, единственная по всему абхазскому прибрежью, доставлявшая отличный строевой лес. Две роты егерского полка, занимавшие Пицунду, помещались в монастырской ограде, к которой Пацовский пристроил по углам деревянные башни для фланговой обороны. Они пользовались здоровым климатом, хорошей водой, но находились здесь без всякой особой цели.

До Гагр мы не пытались доехать, так как пространство, лежавшее между ними и Пицундою, было, как я уже упоминал, в руках неприятеля. Это обстоятельство доказывало ясно, что гагринское укрепление, невзирая на свою позицию, вследствие которой оно считалось ключом береговой дороги, вовсе не открывало нам пути в неприятельские владения и не запирало для неприятеля входа в Абхазию. Чего же можно было ожидать от других подобных крепостей на морском берегу?

После того я продолжал, не давая себе отдыха, странствовать по горной Абхазии, осматривать дороги и знакомиться с людьми, от которых надеялся узнать что-нибудь полезное для моего

скрытого намерения. Беспрестанно бывал я в Сухуме, в Келассури у Гассан-бея или в Драндах, не говоря уже о моих частых посещениях владетельского дома.

Николай Шакрилов был моим неразлучным товарищем во всех поездках. Люди, встречавшие нас на дороге в горской одежде, с винтовками за спиною, ни в каком случае не могли принять нас за русских служащих. Это было первое условие нашей безопасности. Зная, что от случайной встречи с Софыджем, с Богоркан-ипою или с другим разбойником и от пули, направленной из лесу, не существовало другой защиты, кроме случая же и счастья, мы заботились только о том, чтоб уберечь себя от засады, приготовленной собственно для нас. С этой целью я менял беспрестанно моих лошадей и цвет черкески; выезжал в дорогу то с одним Шакриловым, то с его братьями или с более многочисленным абхазским конвоем, который мне давали владетель или Гассан-бей. Никогда я не говорил заранее, когда и в какое место намерен ехать; никогда не возвращался по прежней дороге. Эта последняя предосторожность соблюдается постоянно у горцев, из коих редкий не имеет врага, способного выждать его на пути, если он ему будет известен. Моего Николая Шакрилова знали весьма многие в Абхазии. Встречая его часто с незнакомым человеком в горском платье кабардинского покроя и с бородою, усвоенными мною с намерением противно абхазскому обычаю, потому что я не знал языка и не мог выдавать себя в Абхазии за абазина, любопытные стали дознавать, кто я таков и по какому поводу бываю так часто у владетеля и у Гассан-бея. Находя ответы, которые давали им по этому случаю Шакриловы, да и сам Гассан-бей (владетеля не смели спрашивать), недовольно ясными, они начали за мною следить, и я сделался, не зная того, предметом частых разговоров абхазских политиков. Вследствие этих толков и внимания, которого я не мог избегнуть со стороны людей, заботившихся более всего о том, что происходило на больших дорогах, мои поездки не остались без приключений.

В конце февраля сделалась тревога по всей Абхазии. Разнесся слух, будто цебельдинцы, восстановленные против абхазского владетеля происками Дадиана и Гассан-бея, намерены ворваться неожиданно в Абхазию с единственною целью дать явное доказательство того, как они его мало боятся и уважают. Дело было придумано довольно ловко. Одним ударом хотели поставить его на решительно враждебную ногу с цебельдинцами и уронить в глазах собственных подданных, которых кровь и разорение по этому случаю должны были пасть лично на него. Цебельда разделилась на две партии: одна желала сохранить с ним прежние мирные отношения; другая выжидала только случая

нанести ему оскорбление. Для последней все предлоги были хороши. В первом порыве гнева владетель хотел арестовать Гассан-бея и сам напасть на цебельдинцев, прежде чем они успеют спуститься в Абхазию; с этою целью он разослал во все стороны собирать дружину из преданных ему людей. Перед тем он заехал посоветоваться с Пацовским, успевшим уговорить его не предпринимать ничего против Гассан-бея, вероломство которого невозможно было доказать и который явно ни в чем не нарушал своих обязанностей, а, напротив того, воспользоваться им же, для того чтобы покончить дело без кровопролития. Пацовский советовал созвать сперва цебельдинских князей и старшин на совещание в Келассури, предложив самому Гассан-бею принять на себя обязанность посредника в их распре с владетелем. Расчет Пацовского был весьма основателен: если Гассан-бей действительно поднял цебельдинцев, то он имеет возможность и унять их воинственный порыв. Пацовский знал хорошо Гассан-бея и был уверен, что он не решится действовать открыто против выгод владетеля, что, довольный ролью посредника, из одного самолюбия, постарается покончить дело хорошим образом, как для того, чтобы явно обязать владетеля, так и для того, чтобы выказать перед русскими властями вес, каким он пользуется в Цебельде и в Абхазии. Сбор дружины Пацовский одобрил, находя весьма благоразумным со стороны владетеля показать своим неприятелям, что он имеет средства и готов встретить их силою, если добровольно не откажутся от своих враждебных намерений. Это был лучший способ кончить дело, не вынимая ружей из чехлов.

Собрав около пятисот конных абхазцев, владетель отправился к Гассан-бею в Келассури. Пацовский был нездоров и попросил меня ехать в Сухум, с тем чтобы следить за ходом переговоров и немедленно дать ему знать, если какое-нибудь неожиданное обстоятельство потребует его личного присутствия. На другой день я прибыл в Сухум с моим Эмином Шакриловым. Каца Маргани находился в числе дворян, провожавших владетеля. Не знаю, право, за что этот человек меня очень полюбил, и, следя за мною, кажется, один догадывался, что имею скрытое намерение. Каца говорил только по-абхазски, и я очень жалел, что не мог объясниться с ним без переводчика; при его тонком уме и при значении, которым он пользовался в народе, я мог найти у него пособие или, по крайней мере, весьма полезные указания для моего дела; но я молчал, опасаясь поверить мою тайну кому бы то ни было, не исключая даже Шакрилова. Узнав, что я приехал в Сухум с одним Эмином, Каца покачал только головой. «Очень неосторожно, – сказал он мне, – ездить вдвоем в такое тревожное

время; побереги свою голову, она нужна тебе для другого дела; не бойся меня, я тебе искренний приятель и не выдам тебя, а в доказательство моей дружбы скажу, что за тобою уже следят. Богоркан-ипа хвалился тебя поймать и привезти в Цебельду, живого или мертвого, если ты не перестанешь ездить по Абхазии, и прибавил, что он позволяет надеть себе через плечо прялку вместо ружья, если он не сдержит своего слова, только бы ему удалось тебя встретить. Ты знаешь, что значит у горца подобный зарок». Поблагодарив Маргания за совет и за приятельское уведомление, я сказал, что у меня нет никакого тайного намерения, и уверял его, что езжу весьма часто в разные стороны из одного любопытства, а еще более потому, что не люблю сидеть долго на одном месте. Это не удовлетворило Маргания, прекратившего разговор словами: «Ты молодая лисица, а я старый волк, напрасно станем друг друга обманывать».

Скоро съехались в Келассури цебельдинские старшины; владетель послушался совета, данного ему Пацовским. Я остался с намерением в Сухуме и только посылал Шакрилова в Келассури узнавать каждый день, что там делается. В то время, я знаю, партизаны Дадиана обвиняли меня в Тифлисе перед главнокомандующим, будто бы я вмешался в цебельдинское дело и дал ему неблагоприятный оборот. Это обвинение было несправедливо уже потому, что распря владетеля, Гассан-бея и цебельдинцев распуталась самым лучшим образом, без военной тревоги, как требовали тогда наши выгоды в Абхазии. Так называемое усмирение Цебельды путем переговоров была бессмыслица, которой могли верить только люди, решительно незнакомые с положением дел в западной части Кавказа. Кроме того, я никогда не мешался в самый ход дела, а только следил за ним со стороны, изучая его, как я говорил владетелю и Гассан-бею. Изучать дело значило знакомиться с положением Цебельды и с отношениями ее к Абхазии. Для этой цели я мог выслушивать каждого и даже высказывать иногда мое личное мнение, что меня ни в чем не связывало и не обязывало никого действовать, как я думал.

В Сухуме я проводил почти все мое свободное время на судах нашей эскадры или в крепости у доктора К*, с которым я познакомился очень близко, находя у него всегда готовую квартиру, место за столом и постель, как водилось в старину на Кавказе.

Пока я в Сухуме переезжал с одного корабля на другой или проводил целые дни у доктора и, казалось, решительно ничем не был занят, я не упускал из виду Келассури и знал все, что там происходит. Дело не ладилось сначала, и было мгновение, в

которое оно стало принимать довольно раздражительный оборот. Я не замедлил дать знать об этом Пацовскому, который как бы случайно приехал в Сухум инспектировать гарнизон, разумеется, имел при этом случае свидание с владетелем и с Гассан-беем и успел их согласить и дать переговорам более выгодное направление. Сделав свое дело, он уехал обратно в Бамборы, а я остался ожидать окончательного исхода переговоров. Дней через пять все было приведено в порядок, сколько позволяли обстоятельства и нравы переговаривавшихся: цебельдинцы дали обещание не вторгаться в Абхазию, взамен чего Михаил обязался не нападать на них и не обижать тех из них, которые станут приходить в его владения без дурных намерений. Лишь одна частная вражда между каким-то цебельдинским семейством и владетельскими телохранителями осталась нерешенною, потому что первые упирали на право кровомщения, а вторые – на свою полицейскую обязанность задерживать и даже убивать воров и разбойников; сам же Михаил весьма основательно не считал возможным сделать в этом случае уступки. Гассан-бей старался всеми силами дать переговорам как можно благоприятный оборот для владетеля и покончить их в самое короткое время столько же из самолюбия, чтобы возвысить себя в его глазах, сколько, полагаю, и для того, чтобы скорее избавиться от него и от его многочисленной дружины, которую он, как княжеский вассал, был обязан кормить, пока она находилась в его округе. По наружности все остались довольны исходом дела и начали разъезжаться по домам.

Считаю не излишним сказать несколько слов об абхазцах вообще, о разделении их на различные сословия и об обычных правах этих сословий.

Восточный берег Черного моря населен двумя совершенно различными племенами: от Анапы до реки Саше живут натухайцы и шапсуги, принадлежащие к племени, известному у нас под именем черкесского, или адыге, как они сами себя называют; от Саше до устья Ингура морской берег занят абазинами, называющими себя оабсасуап. Последние делятся на джекетов, или садзов, живущих между реками Саше и Бзыб, и на абхазцев, составляющих отдельное владение. Черкесы и абазины говорят на двух различных языках, не имеющих между собою никакого сходства. Трудно определить число абхазского народонаселения: в мое время нам не удавалось еще нигде пересчитать горцев точным образом. Все цифры того времени, которыми означали кавказское население, брались приблизительно, можно сказать, на глаз. По понятиям горцев, считать людей было не только совершенно бесполезно, но даже грешно; почему они, где можно

было, сопротивлялись народной переписи или обманывали, не имея возможности сопротивляться. В мое время, то есть в тридцать пятом году, считали в Абхазии около сорока тысяч голов мужского пола, цифра, которую я повторяю, не позволяя себе ручаться за ее точность.

Абхазцы, называющие своего владетеля «ах», делятся на пять сословий: на «тавад», князей; «амиста», дворян; «ашнахмуа», владетельских телохранителей, составляющих среднее сословие; «анхао», крестьян, и «агруа», рабов.

Владетельская власть была в то время весьма ограничена. Не получая определенной подати от народа и пользуясь только постоянным доходом со своих собственных земель, владетель находился в зависимости от князей и дворян, которые всегда были готовы сопротивляться его требованиям, когда они не согласовались с их сословными интересами. Принудить кого-нибудь из них подчиниться безусловно его воле он мог не иначе, как с помощью тех же дворян, которых он должен был в подобном случае сперва склонить на свою сторону просьбами и подарками. Согласно весьма древнему обычаю, владетель пользовался правом раза два в году навестить каждого князя и дворянина и при этом случае получить от него подарок. Кроме того, ему платилась особенная пеня за убийство, воровство и за каждый другой беспорядок, произведенные в соседстве его дома или на земле, составляющей его родовую собственность. Эти подарки и пени составляли единственную подать, получаемую владетелем от своих подданных.

«Ашнахмуа», владетельские телохранители, составляют особенное сословие, степенью ниже дворянства, но пользуются всеми его правами относительно земли и крестьян. Это сословие образовалось частью из владетельских крестьян, освобожденных от повинностей и поставленных выше своего прежнего звания за разные заслуги. Они не платят никаких податей, и вся обязанность их заключается в охранении владетеля и его дома.

Крестьяне имеют право владеть землей и даже рабами, но сами несут установленные обычаем повинности по отношению к господину, на земле которого поселены. Они обязаны помогать ему в полевых работах, когда их собственные хозяйственные дела то допускают, два раза в год давать ему по полной арбе кукурузы или гомми, по одной скотине и по кувшину вина.

Рабы существуют в Абхазии двух родов: коренные «агруа», рожденные в крае, и новые, добытые грабежом или на войне. Раб составляет неотъемлемую собственность своего господина, обязанного его кормить и одевать или снабдить его землею, подобно крестьянину. Находясь в доме своего господина, раб

обязан исполнять все работы, которые на него будут наложены; если же господин снабжает его землей, то он обязан работать на хозяина три дня в неделю, а в остальное время свободен. Дочери рабов находятся в доме владельца, имеющего право подарить их кому захочет, променять или продать. Жены рабов не могут быть разлучены с мужьями. Коренного агруа господин может продать не иначе, как с разрешения владетеля, который один имеет над ними право жизни и смерти; новоприобретенного раба он продает куда и как ему угодно. Хотя рабы не изъяты от телесного наказания, но оно почти никогда не исполняется над ними, потому что горцы вообще его гнушаются.

Власть родительская неограниченна. Отец не отвечает ни перед кем за жизнь своего ребенка; но абхазцы, как и прочие горцы, так сильно привязаны к своим детям, что случаи злоупотребления родительской властью почти неслыханны.

Обычные законы о наследстве весьма просты. Имение делится после умершего поровну между его сыновьями. Дочери не имеют участия в наследстве, но должны получить пропитание до замужества у своих братьев, обязанных также дать им приданое сообразно их состоянию. Когда умерший не имеет прямых наследников, то имение делится поровну между его ближайшими родственниками, которые равномерно обязаны содержать и выдать замуж его дочерей. Вдова ничего не получает из имения своего покойного мужа, но вправе требовать пожизненного содержания от его наследников. Имение человека, умершего без наследников, переходит к владетелю.

Все спорные дела решаются в Абхазии судом по обычаю; к шариату абхазцы прибегают редко и весьма неохотно, так как исламизм не пустил еще между ними глубоких корней. Тяжущиеся стороны выбирают обыкновенно судей из числа дворян, пользующихся весом в народе. Избранные судьи назначают по своей воле день суда, испросив на то соизволение владетеля. В случае важного дела заседание помещается в ограде одного из древних монастырей, возле развалин церкви или под тенью священных дерев, в местах, уважаемых абхазцами по преданиям христианской и языческой старины. Народ собирается слушать дело, которое обсуживается публично. Судьи, дав присягу, что станут судить дело по совести, по правде и по обычаю, выслушивают тяжущихся и свидетелей и, когда все обстоятельства приведены в ясность, удаляются для тайного совещания. Согласившись между собою, они до объявления приговора берут от обеих спорящих сторон присягу и поручительство в исполнении его, потому что на судьях лежит обязанность не только решить дело, но и выполнить решение.

Иногда тяжущиеся подчиняются суду самого владетеля, который в таком случае разбирает дело на основании общих правил, служащих руководством для обыкновенного третейского суда. Подобным образом разбираются все дела, касающиеся до наследственных споров, до условий, семейных дел, воровства, грабежа, убийства и кровомщения.

Смертная казнь не существует в Абхазии. Князья и дворяне отвечают обиженному только своим имуществом; крестьяне – своею личною свободой, когда их собственности недостанет на уплату пени.

За убийство зовут на суд только люди, не имеющие силы сами отомстить обидчику, или когда кровомщение угрожает сделаться бесконечным.

За бесчестие женщины или девушки отплачивают смертью, не зная в этом случае другого способа загладить стыд. В минуту доказанной неверности жены муж имеет право убить ее. По суду она обращается только в его рабу, что ему дает возможность продать ее. У черкесов, строго соблюдающих правила исламизма, существует совершенно противоположный обычай. Муж пользуется правом продать неверную жену, если он не хочет подвергнуть ее суду шариата, неумолимо наказывающего смертью подобного рода преступления.

В конце апреля приехал в Абхазию генерал N. Мои исследования и предположения не были им одобрены. Место, выбранное мною для бзыбского укрепления, показалось ему неудобным, и он предоставил себе самому отыскать новый пункт. Осмотрев разные места, он нашел его, наконец, возле устья Бзыба, в четырех верстах севернее Пицунды, где он также предполагал учредить переправу. По моему мнению, место было одинаково неудобно для переправы и для укрепления. Заброшенный уголок на берегу моря, отрезанный высоким гребнем от всех населенных мест, в стороне от дороги, посреди густого леса, этот пункт ничем не владел и ничего не защищал.

Как ни противился этому выбору Пацовский, что ни говорил о нем владетель, N. остался непоколебим. Часть отряда под его личным начальством отправилась строить бзыбское укрепление, для которого надо было сперва очистить лес. Полтора батальона получили назначение устроить дорогу через горы между Аджепхуне и Пицундою. Для прикрытия работ на левом берегу Бзыба необходимо было выдвинуть авангард на правый берег реки и устроить для него сообщение с главным отрядом. С этой целью N. вызвал к войскам владетеля с несколькими сотнями абхазских милиционеров, которых он расположил в лесу за Бзыбом, дав им в подкрепление две русские роты. Скоро и

Пацовский отправился из Бамбор на Бзыб, и я остался в опустелом укреплении, один с Шакриловым, преследовать с упрямством цель, для которой я приехал в Абхазию. В Тифлисе я дал слово не упустить никакого случая, сколько бы он ни представлял опасностей, увидать морской берег за Гаграми, чтобы разрешить различные спорные вопросы, и сгорал нетерпением исполнить мое слово, имея в виду одну пользу, какую надеялся принести своим самопожертвованием. Между тем я встречал с каждым днем новые затруднения и все более убеждался в том, что не найду в Абхазии средств исполнить мое поручение. Днем и ночью я работал мысленно, придумывая новые средства и другие пути для моего путешествия. К этой борьбе с враждебными обстоятельствами присоединилась для меня еще новая напасть, угрожавшая разрушить все мои планы. Начальник абхазского отряда, несогласный с моим взглядом на вещи и недовольный тем, что я имел сверх официального еще другое назначение, освобождавшее меня от его непосредственного надзора, начал мне вредить служебным путем, выставляя все мои действия не имеющими положительного основания и не обещающими никакого результата. Получив об этом уведомление из Тифлиса, понял очень хорошо, что могу опровергнуть его заключения не словами, а только фактом, и должен спешить представить его на глаза тех лиц, которым старались внушить против меня предубеждение. Мое положение было в это время незавидно, и я решился освободиться из него, составив следующий план, основанный на сведениях, собранных мною в Абхазии. Не надо забывать, что в то время все эти сведения были для нас еще очень новы, и никто не знал, где именно живут люди того или другого племени и каким языком они говорят. Абхазцы, как я узнал, не имели никакой связи с шапсугами; сношения их с приморскими джекетами были совершенно ничтожны; и так как неприятель караулил гагринскую дорогу день и ночь со времени прихода наших войск на устье Бзыба, то нечего было и думать проехать этим путем. Между тем Башилбай, Шегирей, Там и некоторые другие аулы на северной покатости гор состояли из населения чистого абазинского происхождения, с которым абхазцы поддерживали самые дружеские отношения, находя в этих аулах пристанище, когда им случалось переходить через снеговой хребет с целью грабить черкесов, с которыми они давно уже жили не в ладу. Мое намерение было, пользуясь этим обстоятельством, перейти через горы с абхазцем, имеющим друзей или родственников в одном из означенных аулов, слывших настоящими разбойничьими гнездами, поселиться в нем и, выждав удобный случай, склонить первого решительного

удальца провести меня к морю. Этот расчет был составлен мною обдуманно, и я имел уже в виду людей, к которым я хотел обратиться с моим предложением. На верховье Зеленчука, недалеко от Башилбая, скрывались абазинские князья Ловы, жившие прежде на линии в своем собственном ауле, лежавшем на берегу Кумы. В припадке оскорбленной гордости они убили пристава, поставленного русским начальством над их аулом и принадлежавшего к числу их узденей; после того им нельзя уже было оставаться в пределах, подвластных русской власти. Они бежали в горы с довольно большим числом преданных узденей и более четырех уже лет тревожили нашу границу своими частыми и весьма удачными набегами. Имя их получило некоторую известность на линии и между черкесскими абреками; дела их, согласно горскому взгляду на вещи, шли хорошо; но сами они скучали о родном месте и, не увлекаясь своими удачами, думали только о том, как бы снова сблизиться и помириться с русскими. Об этом я узнал от абхазского дворянина Микамбая, ходившего в прежние времена довольно часто на северную сторону гор. Я познакомился с ним в одну из моих поездок по нагорной части Абхазии и, не зная еще, на что может он мне пригодиться, на всякий случай стал поддерживать наше знакомство, приглашая его к себе и делая ему подарки, которые он очень любил. Не полагаясь на его дружбу, я не открывал ему моих настоящих намерений, решившись поверить их только тому горцу, который бы согласился быть моим проводником. Поэтому я просил только Микамбая переслать от меня к Ловам турецкое письмо, написанное Эмином Шакриловым, в котором я предлагал им мое посредничество, если они действительно намерены покориться, и звал их к себе в Абхазию переговорить об этом деле. Охотник Хатхуа, один из крестьян Микамбая, сходил с этим письмом через горы и принес мне ответ, в котором Ловы с удовольствием принимали мое предложение, но отказывались ехать в Абхазию, опасаясь оставить без защиты свое семейство, на которое русские войска могли напасть в продолжение их отлучки. Они предлагали мне самому приехать к ним для свидания, обещая принять меня как неприкосновенного гостя, кто б я ни был, так как в моем письме я объявил им, что назову себя только тогда, когда наше дело уладится и они удостоверятся в моем праве говорить именем русского правительства. Их приглашение меня очень обрадовало, давая мне весьма благовидный предлог для путешествия через горы. Я решился воспользоваться им немедленно. С письмом Ловов в руке я предложил Микамбаю провести меня через горы, уверив его притом, что я предпринимаю эту поездку единственно для того, чтобы не

упустить случая помирить с русскими таких опасных абреков, каковы братья Ловы, и в то же время вывести их самих из ненадежного положения, в которое они себя поставили. Невзирая на мои убеждения, подкрепленные выгодными предложениями, Микамбай отказался решительно идти со мною на линию, считая подобное предприятие слишком опасным.

Кавказская война (1817–1864). Военное построение. Литография. XIX век

Шакрилов проводил меня к Микамбаю и служил переводчиком в переговорах с ним. Это были последние услуги, оказанные им мне. Вслед за тем генерал N. потребовал его к себе переводчиком, и Шакрилов отправился в отряд, находившийся на Бзыбе, поручив мне не забывать его жены, жившей в небольшом домике по дороге от укрепления в Лехне.

Не уладив дела с Микамбаем, я поехал в бзыбский отряд с намерением упросить владетеля доставить мне другой способ съездить через горы к Ловам. Кроме того, я любопытствовал увидать вблизи работы, производившиеся на Бзыбе, и переправу через эту реку, о которых доходили до меня разные непонятные слухи. Для переправы на другой берег ходил баркас на блоке по якорному канату, перетянутому через реку под острым углом. Устройство этой переправы стоило неимоверных трудов, канаты рвались, баркасы ломало, и надо отдать полную справедливость искусству и терпению, с которыми наши моряки успели наконец

взять верх над бешеною рекой. Я не понимал только цели, для которой все это делалось, и удивлялся, что до сих пор не случилось какого-нибудь большого несчастья.

Укрепление мне показалось также не на месте; его разбили слишком близко к реке, имевшей обыкновение менять беспрестанно свое течение и обмывать берега на весьма большое пространство. В военном отношении не мог не сознавать его положительной бесполезности. Оно строилось в виде бастионированного треугольника для двух орудий и для гарнизона в сорок человек в ста саженях от морского берега, кончавшегося десятифутовым обрывом. За этим обрывом черкесские галеры оставались скрытыми от выстрелов из укрепления и могли, если бы им вздумалось, приставать к берегу у него под носом; а выходить навстречу к неприятелю, не зная числа его, едва ли можно было советовать такому малочисленному гарнизону. К счастью, Бзыб принял на себя труд решить вопрос о выгодах и невыгодах этого укрепления, размыв его следующею весной до основания, так что люди промучились в нем только одну зиму. Жаль было только трудов и времени, потерянных на его постройку.

На другой день я переехал на правую сторону реки в лагерь абхазского ополчения, утопавшего в грязи, между пнями и валежником вновь расчищенного леса. Владетель принял меня в низеньком балагане на мокрой соломе в весьма дурном расположении духа и сообщил мне с первых слов, что абхазцы громко ропщут на скучную стоянку в лесу без всякого дела и что ему самому надоело караулить неприятеля, который не показывался еще, да и вперед не покажется, имея твердое намерение не мешать русским на Бзыбе, а встретить их, только когда они двинутся за Гагры. Сам он намеревался просить начальника отряда уволить его из лагеря с частью милиции, которую, по его мнению, должно было разделить на несколько смен. Михаил рассуждал в этом случае весьма справедливо и нисколько не думал отказывать нам в своей помощи. Но он знал свой народ и предвидел, что милиционеры станут разбегаться, если не будут иметь перед собою достаточно короткий и точно определенный срок службы. С моей стороны, я рассказал владетелю мою неудачу с Микамбаем и просил его помочь мне проехать на линию. Князь Михаил обещал мне взяться за это дело, вернувшись в Лехне.

Не позже как на третий день после моего отъезда из отряда в Бамборы прискакал абхазец уведомить меня о несчастье, случившемся на Бзыбе. Баркас, ходивший от одного берега к другому, опрокинуло напором воды с бывшими на нем двадцатью

человеками, из которых двенадцать потонуло. В числе утопших находился Эмин Шакрилов, тело которого унесло в море, так что его не смогли даже отыскать. Это известие меня чрезвычайно огорчило, потому что я привык видеть в Шакрилове моего неразлучного товарища и любил его за добрый нрав и за качества ума, которыми он отличался перед всеми знакомыми мне молодыми абхазцами. Первым долгом было для меня поспешить к его несчастной вдове. Здесь меня ожидала сцена, которой я не мог предвидеть, не имевши прежде случая присутствовать на абхазском погребении.

В нескольких шагах от дома, около которого толпилось немалое число мужчин и женщин, я сошел с лошади и попросил уведомить вдову о моем приезде. Через несколько времени послышался из дома громкий плач, дверь отворилась, и Шакрилова вышла ко мне, рыдая и заливаясь слезами; несколько молодых девушек, родственниц покойного мужа, окружали и поддерживали ее. Она была одета в длинную шерстяную рубашку черного цвета, босая, с открытою грудью и с распущенными волосами. Лицо, грудь и руки были исцарапаны и избиты до крови не только у нее, но и у всех родственниц Шакрилова. Непритворная скорбь, написанная на ее лице, возбуждала искреннее сожаление; но, признаюсь, язвы, которыми оно было изуродовано, не усиливали этого чувства, а возбуждали только отвращение. В этом случае она исполняла обычай, которого никакая абхазка не смела нарушить под опасением потерять всякое уважение в народе. Выслушав от меня выражение участия, какое принимал я в постигшем ее горе, она ввела меня за руку в шалаш, построенный возле дома и убранный внутри коврами и разными материями, посреди которого стояла на высоких подмостках парадная постель. Вместо неотысканного тела лежало на постели платье Шакрилова, оружие и седло висели над изголовьем. При виде этих вещей, принадлежавших покойнику и как бы заменявших его теперь, плач и рыдания, перемешанные с ударами в грудь и лицо, возобновились с удвоенною силой и продолжались, пока вдова не упала в изнеможении на кресла, поставленные для нее возле подмостков. После нескольких минут отдыха ее отвели в дом. Эта сцена должна была повторяться при появлении каждого нового посетителя, причем все присутствующие женщины присоединяли свои голоса к плачу вдовы с оглушительным рвением.

Между тем владетель призвал к себе Микамбая и, после продолжительных отказов с его стороны, уговорил его проводить меня через горы. Он просил только дождаться для нашего путешествия теплых июньских дней, когда горы очистятся,

сколько можно более, от снега, а до того времени считал необходимым не только о нем никому не говорить, но даже прекратить между нами всякого рода гласные сношения, а мне не оставлять Бамбор, для того чтоб отвлечь от себя совершенно внимание абхазцев.

Время ожидания проходило для меня чрезвычайно скучно и медленно. Кроме обеда в доме Пацовской и вечера за бостоном у нее же да прогулки верхом в ближайших бамборских окрестностях, я не имел других средств подавить нетерпение, с каким я ожидал моего отъезда.

Наконец, Михаил дал мне знать, что Микамбай готов к отъезду и ждет меня у себя. Муты, старший брат покойного Эмина, был назначен ко мне переводчиком и снабжен от владетеля охранным письмом на имя хаджи Джансеида, если бы мы имели несчастье встретить черкесов. В дорогу мне нечего было долго собираться. На маленькой абхазской лошади, ружье за плечами, в саквах одна перемена белья и обуви да часы, бусоль и записная книжка с карандашом за пазухой, выехал в одно утро из Бамбор с Муты Шакриловым, сказав всем знакомым, что я еду в Сухум провести несколько дней в обществе морских офицеров. В Сухуме я пробыл не более одного дня и выехал из крепости по бамборской дороге, распустив на базаре слух, что меня неожиданно потребовали в бзыбский отряд, куда я спешу проехать, минуя даже свою квартиру. Отъехав верст десять от Сухума, мы повернули в лес, прождали в нем, пока смерклось, и оттуда, никем не замеченные, пробрались горными тропинками к Соломону Микамбаю в Анухву. На Кавказе нельзя было в то время иметь довольно осторожности, особенно мне, за которым, как я не раз замечал, следили невидимые глаза. Но в этот раз мой след совершенно пропал в Абхазии для непрошеного любопытства; кроме владетеля, никто не знал, куда я девался.

III

В Анухву, лежавшую в горах, против Анакопии, верст пятнадцать от морского берега, мы приехали поздно ночью. Микамбай ожидал нас каждый час, и наши постели были уже приготовлены в кунахской, как называют дом, назначенный для гостей. Абхазцы, равно как и черкесы, живут обыкновенно в хижинах, крытых соломою или камышом, которых плетневые стены плотно замазаны глиной, перемешанной с рубленою соломой. Весьма немногие знатные и богатые горцы строят рубленые деревянные дома. Микамбай имел такой дом и по этой

причине слыл очень богатым человеком. Дом этот, занятый его семейством, был в два этажа, с окнами, затянутыми пузырем, между которым кое-где проглядывало небольшое стеклышко, добытое от русских. Кроме того, Микамбай пользовался уважением народа еще по другой причине: его меховая шапка была постоянно обвита белою кисейною чалмой, доставлявшей ему вид и титул хаджия, хотя он никогда не бывал в Мекке. На Кавказе нередко горец, задумавший ехать в Мекку поклониться Каабе, надевает чалму, принимает название хаджи и пользуется им иногда всю жизнь, не думая исполнить своего обета; а народ смотрит на него с глубоким уважением, как на избранника веры.

Весь следующий день хаджи Соломон посвятил обсуждению вопросов, касавшихся до нашего путешествия. Горцы не начинают никакого дела, не собрав для совета всех в нем участвующих. Переговоры бывают в этих случаях очень продолжительны, так как старики, излагающие обыкновенно содержание дела, любят говорить много и медленно и, в свою очередь, так же терпеливо и внимательно выслушивают чужие речи. По черкесским понятиям, опрометчивость и нетерпеливость простительны только детям и женщинам, а мужчина должен обдумывать и обсуждать каждое предприятие зрелым образом, и если есть у него товарищи, то подчинять их своему мнению не силою, а словом и убеждением, так как каждый имеет свою свободную волю. Мне нельзя было уклониться от этого обыкновения, и я провел весь день в переговорах и рассуждениях, выслушивая поочередно мнение всех моих будущих путевых товарищей, знавших, что я русский и еду за горы для свидания с князьями Ловами. Всего нас готовилось в дорогу семь человек – трое верхом: Микамбай, я и Муты Шакрилов, и четверо пеших: Хатхуа, двое слуг Соломоновых да Багры, абазин из Псоу или Псхо, женатый на дочери Хатхуа. Последнего вызвал Микамбай из Псхо, для того чтоб он служил проводником при проезде чрез места, принадлежащие этому обществу. Мы не могли обойтись без него, так как в горах опасно путешествовать по незнакомым местам, не имея провожатого из того племени, общества или аула, через которые приходится ехать. Такой провожатый служит перед своими ответчиком за путешествующих и, с другой стороны, обязан защищать их и мстить за них, если им будет нанесена обида. Багры был настоящий горный волк, готовый на все из алчности, подчинявшийся одному инстинкту своей хищной природы, но в то же время бессознательно покорный всему, что повелевал вековой обычай. Микамбай и даже сам Хатхуа мало ему верили и не решились бы взять его в товарищи, если бы не знали за ним слабых сторон, позволявших спутать его по рукам и

по ногам. Багры очень любил деньги, но еще более денег любил он свою жену: через нее-то надеялись привязать его к нашему делу. За это взялись следующим образом. У черкесов существует давний обычай не воспитывать дома детей знатного происхождения. Вскоре после рождения мальчика отдают обыкновенно на прокормление и воспитание в чужую семью, до тех пор, пока он не подрастет и не научится владеть оружием. Весьма часто выбирают для этого совершенно другое племя. Принявший ребенка на воспитание называется «аталык» и приобретает все права кровного родства с семейством своего питомца. Этот обычай много способствует к примирению и к сближению между собою разноплеменных горских семей и обществ; а дети научаются говорить на чужих наречиях, что для них бывает весьма полезно при существующем на Кавказе разноязычии. Женщины заботятся с особенною нежностью о своих питомцах, которые тем сильнее привязываются к посторонним кормилицам, чем менее знают своих родных матерей. Горцы убеждены, что вред, сделанный аталыком своему питомцу, навлекает неотвратимое несчастье на семейство аталыка, падающее преимущественно на кормилицу. Кроме аталычества, существует еще другой род приемного родства, хранить который обычай повелевает так же свято, как и настоящее аталычество. Если два человека согласились составить между собою союз на жизнь и на смерть, то жена или мать одного из них дает другу мужа или сына коснуться губами три раза своей груди, после чего он считается родственником семьи и пользуется покровительством, какое принадлежит действительному питомцу. При этом случае делаются подарки аталыку и кормилице. Жена Багры, пришедшая с мужем погостить в отцовском доме, была налицо, следственно, дело не представляло больших препятствий. С согласия мужа, Хатхуа породнил меня с нею описанным способом, причем несколько кусков бумажной материи, холста, ножницы и иголки, считавшиеся в Псхо неоцененными редкостями, да кинжал с золотою насечкой запечатлели наш союз. Багры, вступив в обязанность аталыка, принадлежал мне вполне. Благодаря его суеверию и привязанности, которую он питал к своей жене, я мог полагаться на него как на самого себя.

Совет, на который мы были созваны, начался торжественною присягой хранить все дело в совершенной тайне, не обманывать и не выдавать друг друга ни в каком случае, даже если б это стоило жизни. Шакрилов и я клялись крестом, абхазцы – Кораном, а Багры – могилою отца и матери. После того сообразили, какою дорогой нам следовало идти через горы, и постановили условия, на которых Микамбай и его товарищи соглашались служить мне

проводниками и защитниками. Дорогу выбрали через Псхо, как потому, что с нами был Багры, так и потому, что на ней менее всего предвиделось для меня опасности быть открытым. Жители Псхо, родом абазины, редко приходят в Абхазию и спускаются на северную сторону гор только для грабежа, не имея другого столкновения с настоящими черкесами; потому между ними и нетрудно было выдать меня за кабардинца. По окончании путешествия, если проводники исполнят добросовестно свое дело, я обязался заплатить: хаджи Соломону – триста целковых, Хатхуа – пятьдесят, двум крестьянам Микамбая – по двадцати пяти; Багры выпросил у мен оседланную лошадь и двух коров с телятами; Шакрилов желал офицерского чина. Владетель, сделавший, кроме того, подарки Микамбаю, вперед поручился за меня в точном исполнении всего, что стану обещать; следственно, сомнения тут не могло существовать, и совет заключился решением выехать на другой день, перед рассветом. Вечером наше спокойствие было нарушено неожиданным конским топотом возле кунахской. Люди засуетились, Микамбай вышел навстречу гостям и через несколько времени вернулся с тремя чужими горцами. На лице его была заметна скрытая досада: гости приехали, видимо, некстати; но ничего не оставалось, как принять их, а наше путешествие отложить до их отъезда. Приезжих расположили довольно далеко от нас, на другом конце кунахской, которая, к нашему счастью, была очень велика и темна. Микамбай, как водится, сам снял с них оружие и, вместо того чтобы повесить его в кунахской, приказал отнести к себе в дом. Это могло иметь, по черкесским обычаям, двоякое значение: или что хозяин берет на себя, из дружбы, всю ответственность за безопасность гостей под его кровлею, или что, не зная их, не очень им доверяет. После того взошел Багры и, увидав приезжих, стал с ними здороваться как с весьма короткими знакомыми. Тогда я понял досаду Микамбая: приезжие были из Псхо. После ужина мы легли спать на тех же местах, где прежде сидели, и провели ночь, как и весь другой день, возле гостей из Псхо, с видом невозмутимого равнодушия, будто не замечали друг друга, и нисколько не заботились о соседях, которых нам бог послал. Между тем, я уверен, они пересчитали все пряжки на наших ремнях и знали, сколько у нас патронов на груди; да и мы, со своей стороны, старались по их одежде, вооружению и приемам заключить, на что можно было надеяться и чего должно было опасаться. Перед вечером они отправились к морю, объявив, что едут повидаться с родственниками в Абживском округе. Долго мы глядели им вслед и с удовольствием видели, как они удалялись от нас на запад.

Было еще совершенно темно, когда хаджи Соломон поднял нас на ноги, уговаривая скорее сесть на лошадей, чтобы выехать из Анухвы до рассвета. Но и ночь, казалось ему, не довольно еще ручалась за тайну нашего отъезда и избранного нами пути: он повел нас сперва под гору, в совершенно противную сторону, потом обогнул по лесу селение и только к утру вывел нас на нашу настоящую дорогу. Она поднималась круто в гору и была так тесна, что мы должны были ехать один за другим. Впереди шел Хатхуа с Багры, потому что они знали дорогу лучше прочих; за ними ехал хаджи Соломон, потом следовали я и Муты; шествие заключали двое слуг Микамбая, тащивших на своих плечах мешки с просом, тулуки с кислым молоком, котел и подгонявших двух баранов, назначенных для нашего продовольствия до первого селения, лежавшего в трех переходах впереди нас. Багры уже описан мною; но я сказал слишком мало о Хатхуа, нашем главном путеводителе. Ему было более семидесяти лет, из коих большую часть провел он не под кровлею, а в путешествиях и на охоте в горах. Высокий, худощавый, закаленный в трудах и опасностях, всегда рассудительный и хладнокровный, стрелок без промаха – этот железный человек не имел в целой Абхазии равного себе охотника, который бы так хорошо знал в горах все тропинки и все скрытные места, представлявшие удобную защиту от врага и от непогоды. Его загорелое морщинистое лицо, казалось, имело самое угрюмое выражение, но, всматриваясь в него поближе, можно было отыскать мягкие черты, позволявшие угадать его настоящий характер. Он был невероятно добродушен. Обыкновенно он молчал; когда его спрашивали, отвечал коротко и отрывисто; но зато находился в беспрестанном движении и делал более других. Его опытность и верный взгляд на все, касавшееся горной жизни, знание зверей, за которыми он привык охотиться с детства, имели такое значение, что никто не смел спорить с ним, и сам Микамбай беспрекословно подчинялся его мнению.

Чем выше поднимались мы в гору, тем тщательнее Хатхуа рассматривал дорогу, лес и траву. В одном месте, где наша дорога сошлась с другою тропинкой, он остановил нас, внимательно рассмотрел каждый куст, прошел несколько сот шагов по боковой дороге и, довольный осмотром, кивнул головой, что значило: ехать дальше. Около полудня он стал опять приглядываться к каменистой почве нашего пути, через который местами протекали небольшие ручьи. Около них земля была несколько размягчена. Возле одного из ручьев он остановился, прильнул к земле и, рассмотрев ее, сказал:

– Недавно лошади прошли!

Осторожный хаджи Соломон встревожился.

– Сколько их было? куда идет след? – вскрикнул он.

– Дальше узнаем, – ответил Хатхуа, и мы продолжали еще несколько времени нашу дорогу.

Вдруг он опять остановился, указал на дорогу палкой, окованною железом, и сказал несколько слов Микамбаю, который тотчас спешился. Мы последовали за ним и начали осматривать землю, на которой даже я, при всей моей непривычке, разобрал легкие следы конских копыт. Собрались в кружок советоваться. Микамбай заговорил первый, объясняя, что открытые нами следы, обнаруживающие не более трех лошадей, принадлежат, вероятно, гостившим у него медовеевцам, – под этим общим названием были известны жители из Псхо, Ачипсоу и Айбоги, – которые кругом обманули нас насчет своих намерений и пробрались объездом на дорогу в Псхо, вместо того чтобы ехать в Абживу, что даром не делают подобных вещей, что тут кроется какая-то измена и что он считает необходимым возвратиться в Анухву. Против этого решения я восстал всеми силами, доказывая, что медовеевцы не могли догадаться, кто я, и узнать о нашем намерении ехать через Псхо, если кто-нибудь из наших товарищей не сказал им об этом, чего я не позволяю себе и думать после клятвенного обещания, которым мы обязали себя. Каждый призывал Бога в свидетели своей невинности. Наконец я обратился к Хатхуа, молчавшему, пока другие громко спорили и рассуждали.

– Здесь небольшая дорога, по которой ездят каждый день, – отвечал он, указывая на след, – три лошади ночевали в Анухве; эти три лошади прошли обратно в Псхо; люди тебя видели: нехорошо!

– Что ж это доказывает? На лице моем не написано, что я русский: они должны были принять меня за кабардинца.

– Для человека из Псхо все равно, что русский, что кабардинец; спроси Багры, можно ли верить его вчерашним знакомым?

Багры покачал отрицательно головой.

Я заметил, что меня удивляет отсутствие по дороге тех следов, которые лошади оставляют обыкновенно за собою.

– Тем хуже! Значит, они заметали след за собою, как заметает его лисица хвостом. В горах дороги тесны, нас только семеро, а в Псхо разбойников много; я говорю: не следует идти в Псхо.

Все присоединились к мнению Хатхуа. Я сам находил его отчасти справедливым, но никак не хотел отказаться от мысли продолжать наше путешествие. Я опять обратился к Хатхуа и настоятельно требовал от него указать другую дорогу, между

Псхо и Цебельдою, если нам нельзя идти по этой. Я прибавил, что над нами станут смеяться, когда узнают, как мы собрались в дорогу за горы, выехали и бежали назад, увидав, что не одни мы такие храбрецы, которые ходят в горы без няньки. Продолжая насмехаться над моими товарищами, возбудил их самолюбие. Хатхуа, наморщившись, объявил, что он знает другую дорогу и согласен вести нас по ней, но предупреждает, что она трудна, продолжительна, неудобопроходима для лошадей и пролегает по совершенно безлюдным местам. На замечание Микамбая, что у нас недостанет съестных припасов для такой дороги, Хатхуа возразил, что с ружьем нечего бояться умереть с голоду там, где есть козы, туры и адомбеи. Абхазцы зовут адомбеем зубра, который водится на северной покатости Кавказа, в глубоких ущельях, около источников Урупа и Большого и Малого Зеленчугов. Микамбай не смел более отговариваться; дело было решено, и все согласились идти по дороге, которую станет указывать Хатхуа. Весь первый день мы провели на безводном гребне, не имея капли воды, чтобы напиться в палящий жар. Два абхазца, которым была поручена провизия, отстали от нас в лесу; невзирая на крики и ружейные выстрелы, мы не могли их дозваться. Во всяком случае, их надо было отыскать, и это дело мы поручили Багры, который должен был идти потом по нашему следу и по знакам, оставленным Хатхуа на деревьях. Измученные трудным переходом и жаждою, мы остановились перед сумерками для ночлега. Часа через два голос Багры известил нас, что он близок, и скоро явились к нашему огню он, слуги Микамбая, бараны и молоко. Оказалось, что абхазцы потеряли нас из виду, гоняясь за баранами, упущенными на дороге в каком-то трудном месте. Перед сном Микамбай распределил очереди ночного караула, без которого можно было, пожалуй, обойтись, так как Хатхуа имел привычку спать только одним глазом. Во время наших ночных бивуаков я имел часто случай видеть, как при самом легком шорохе в кустах Хатхуа, не подымая головы, уже глядел в ту сторону, откуда слышался звук, и рука его машинально ложилась на приклад ружья.

На другой день наша дорога все еще шла по густому лиственному лесу, состоявшему преимущественно из дуба, карагача, клена, чинара и чиндара. Полоса, богатая каштановыми и ореховыми деревьями, лежала уже ниже нас. Подъемы становились круче, ущелья суживались заметным образом. Этот переход обошелся совершенно без приключений; погода была прекрасная, и мы пользовались ею, чтоб уйти как можно дальше. Бедность наших съестных припасов, рассчитанных сначала только на три перехода, заставляла нас спешить.

Четвертый и пятый день мы переходили по скалам из долины Гумисты к началу Чаголты, впадающей в Кодор. Поворотив от начала Чаголты круто налево, к источнику Бзыба, мы только на седьмой день подошли к главному перевалу, покрытому вечным снегом. Жаркое солнце палило наши головы, между тем как ноги не выходили из снега и из холодной воды. Надвинув на глаза мохнатые бараньи шапки и намазав веки пороховым раствором, для того чтобы не ослепнуть от солнечных лучей, ярко отражаемых блестящею снежною пеленой, покрывавшею все видимое пространство, босоногие, потому что наша размокшая обувь не держалась более на ногах, мы подвигались медленным шагом, проваливаясь беспрестанно в снегу. Неудивительно, если мы утомлялись более чем следует. Наши силы заметно упадали от недостатка пищи. Накануне мы съели последний кусок баранины; молока давно уже не было; оставалось в запасе несколько проса, которое Микамбай берег на крайний случай, выдавая скупою рукой каждый вечер не более одной горсти на человека. Багры и Хатхуа уходили от нас беспрестанно в сторону искать дичи, но, к несчастью, не находили ее.

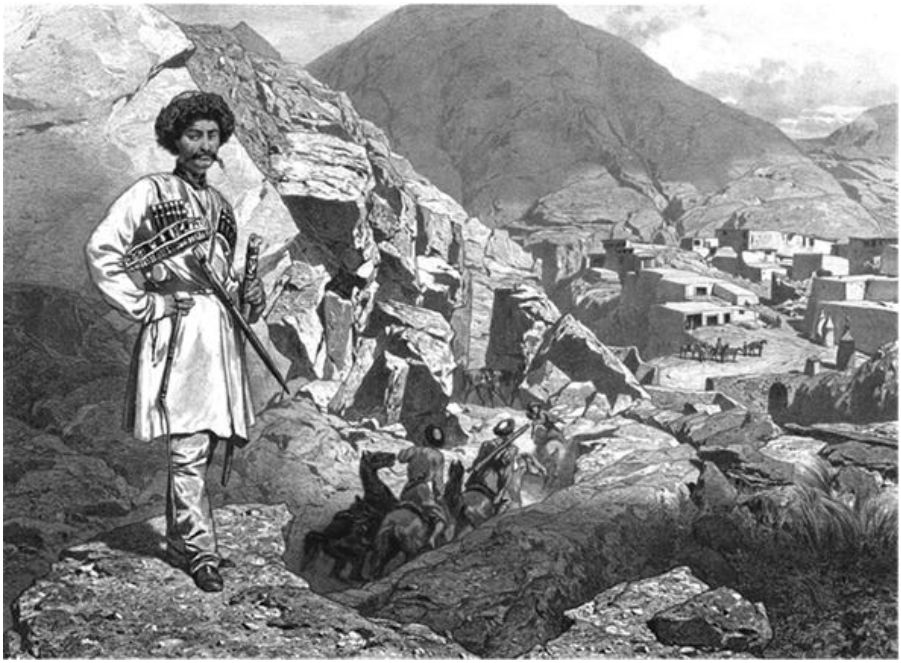
Перед главным снеговым хребтом мы переночевали в котловине, окруженной со всех сторон высокими скалами, покрытой пушистою травой и загороженной от завалов густым сосновым лесом. Хатхуа говорил, что кроме него разве только еще один или два абазинских охотника знают об этом уголке и в состоянии отыскать к нему дорогу. Несколько дней перед нашим приездом на горах выпал в большом количестве свежий снег, не позволявший вести лошадей через перевал. Ждать, пока он осядет от солнца, не зная, чем мы будем кормиться завтрашний день, казалось совершенно безрассудным, и мы решились поэтому продолжать наше путешествие без лошадей, покинув их на месте нашего последнего ночлега и там же зарыв седла. На возвратном пути Микамбай должен был отвести лошадей в Абхазию.

Выбравшись из нашей котловины до восхода солнца, мы стали подыматься на гору по снежной крутизне, перегораживавшей нам путь, подобно неизмеримо высокой стене, без следа дороги и без уступа для отдыха. Абхазцы, вооруженные своими длинными дорожными палками, окованными железом с обоих концов, шли впереди и испытывали снег, под которым нередко кроются расселины, куда можно провалиться безвозвратно. Таким образом мы поднимались не менее пяти часов, медленно ступая и не возвышая голоса, для того чтобы не вызвать снежного обвала, местами грозно висевшего над нашими головами, пока не достигли гладкой снеговой равнины, шириной около пятисот сажен, с которой открывался вид на обе стороны

гор. Погода была прекрасная, на небе ни облака, в воздухе ни ветерка, тишина повсюду, и близь и даль облиты ярким светом. Вид в одно время на Черное море и на степи кавказской линии с высоты верных одиннадцати тысяч футов над поверхностью моря был поразителен своим величием.

Солнце перешло уже за полдень, когда мы подошли к северному спуску. На краю его стояла не покрытая снегом гранитная скала, очень похожая по своему виду на высокий жертвенник. К ее вершине, составлявшей площадь около трех саженей в квадрате, вели ступени, высеченные в граните. Посреди площадки находилось круглое углубление в виде котла. Мои абхазцы поднялись на нее, и каждый из них положил в углубление какую-нибудь вещь: ножик, огниво или пулю. И меня заставили принести в жертву несколько мелких монет, для того чтоб умилостивить горного духа, – иначе, говорили мои проводники, он зароет нас под снегом, когда мы станем спускаться, или не пошлет нам дичи, или отдаст нас в руки наших врагов.

Нам следовало спуститься в ущелье Зеленчуга, но я не видел дороги. Перед моими глазами открывалась одна бесконечная снежная крутизна, белая, ровная, гладкая, на которой, казалось, негде было удержаться ноге. Я остановился над нею и решительно не знал, как мне начать дело. Хатхуа, видя мое недоумение, схватил меня за руку и увлек за собою, крикнув только: «Делай, как я!» Откинув тело назад и смело пробивая пятками тонкую ледяную кору, покрывавшую мягкий снег, мы помчались под гору так скоро, что снежные глыбы, оторванные нашим бегом, не поспевали катиться за нами. В несколько минут мы сбежали с высоты, на которую пришлось бы подыматься несколько часов. Спустившись с вершины главного перевала, мы пошли сначала по обширной снежной долине, потом еще раз сбежали под гору и стали приближаться к высокому сосновому лесу, около которого кончался снег. Хатхуа ушел от нас, после первого спуска, искать адомбеев или туров. Его прежние бесполезные поиски не подавали нам, правду сказать, большой надежды на настоящую удачу, и мы находились в весьма дурном расположении духа.



Коренное население Кавказа.
Литография. XIX век

Мы переходили через реку, по колено в воде, как вдруг недалеко от нас в лесу раздался выстрел, и эхо повторило его в горах громкими перекатами. Все встрепенулись. «Это заговорило ружье Хатхуа! – крикнул хаджи Соломон. – Он пороху даром не теряет! Один выстрел, значит, зверь; если будут еще, значит, он столкнулся с неприятелем». Наше недоумение длилось недолго. Через несколько минут мы услыхали в лесу быстро приближающийся топот, смешанный с треском дерев, ломаемых какою-то непреодолимою силой. Вслед затем выбежало перед нами, в расстоянии хорошего выстрела, встревоженное стадо адомбеев; впереди несся бык огромной величины. Ружья блеснули мгновенно из чехлов, выстрелы загремели, и бык, в которого мы все приложились, как по уговору, сделал высокий прыжок и поворотил в противную сторону. Все стадо, в котором находилось до двадцати коров и телят, ушло за быком. Молча расположились мы спать. Некоторые поглядывали было на мешочек с остатком проса, который хаджи Соломон привесил к своему собственному поясу; но он объявил решительно, что не позволит коснуться его прежде минуты действительного голода, а до тех пор станет его защищать против каждого, если бы понадобилось, даже с пистолетом в руках. Долго лежал я без сна, не имея еще привычки переносить голод, как выучился впоследствии; наконец усталость взяла верх, и я стал забываться; но мне не было суждено

отдохнуть в эту ночь. Микамбай тихонько всех разбудил и приказал залить огонь. Перед нами стоял неутомимый Хатхуа и повел нас с обыкновенным своим молчанием в ту сторону, куда прежде ходил один. Хатхуа нашел, невзирая на темную ночь, след адомбеев, по которому они имели привычку ходить к водопою. С раннею зарей мы заметили на горе несколько темных подвижных точек, которые медленно спускались к воде. Перед стадом двигался, понурив голову, бык огромной величины. Когда он подошел к реке и готовился уже пить, мы спустили курки почти в одно время, и семь пуль попало ему разом в грудь и в голову. Адомбей зашатался и с глухим ревом упал на землю. Можно себе представить, с какою радостью бросились мы к убитому животному, в котором нетрудно было узнать нашего вчерашнего адомбея. Кроме семи пуль, попавших в него спереди, мы нашли в нем еще четыре раны навылет от вечерней стрельбы, не помешавших гигантскому зверю продержаться на ногах до утра, несмотря на весьма значительную потерю крови.

Мы устроили бивуак на самом месте охоты. Абхазцы поспешно развели огонь и принялись снимать шкуру и резать адомбея на части. В полчаса сварили остаток проса и зажарили на углях часть огромной печени. Насытившись, мои абхазцы совершенно переродились, повеселели и снова почувствовали себя способными на всякое дело, сколько бы оно ни было трудно и опасно. Мяса мы имели надолго, недостаток проса и соли нас не тревожил, потому что и без них можно было прожить, не опасаясь умереть с голоду; следовательно, необходимость спешить без оглядки к башилбаевским аулам исчезла. Вспомнили о лошадях, брошенных за горой на произвол судьбы, и стали о них жалеть. Я сделал предложение остановиться на Зеленчуге и попытаться перевести наших лошадей через снег. Обещав подарить по пяти червонцев на человека, мне, с помощью хаджи Соломона, было нетрудно уговорить Багры, Хатхуа и двух крестьян Микамбая перейти за лошадьми еще раз через гору. На третьи сутки привели наших лошадей, до того измученных, что они едва держались на ногах. И людям, и животным отдых был необходим. Поэтому мы пробыли на Зеленчуге еще один день и отправились потом в дорогу не без порядочного запаса вареной и жареной говядины. Я желал сберечь шкуру адомбея с его головой и копытами и привести их на линию, в доказательство того, что зубры существуют не в одной Литве, а водятся еще на Кавказе, чему не хотели верить, слыша об этом от горцев. Между русскими я был первый, имевший случай видеть кавказского зубра и за ним охотиться. Его огромный рост, темно-коричневый цвет, чисто бычья голова, мохнатая, как и грудь, и гладкая задняя часть не

допускали никакого сомнения, что он одной породы с животным, сберегаемым в лесах Беловежской пущи. Мои абхазцы не хотели и слышать о провозе на линию цельной шкуры, говоря, что ни одна из наших лошадей не имеет силы протащить ее даже один день и мы будем принуждены бросить на дороге со шкурой и лошадь. Поневоле я должен был покориться такому весьма практическому заключению моих проводников и не без досады видел, как стали выкраивать ремни из прекрасной шкуры, под которою мы все семеро находили место во время нашей стоянки на берегу Зеленчуга. Еще на южной стороне гор собрал я в ущельях Гумисты и Бзыба большое число камней разных пород, между прочим, и кварцы со следами золотой руды, и наполнил ими саквы, висевшие у меня за седлом. Саквы были спрятаны вместе с седлом там, где мы оставили наших лошадей. Когда их привели на Зеленчуг, дорожные мешки оказались пустыми, невзирая на мою просьбу ничего в них не трогать. «Где мои камни?» – спросил я абхазцев. «Где? В снегу на горе, – ответил один из них. – Лошади стало тяжело, и я выбросил их; а если ты любишь так таскать с собою камни, так в Зеленчуге их очень много, пожалуй, я наберу!» После этого нечего было и говорить. Во время дороги я был принужден записывать и делать мои пометки скрытно от проводников, зная, сколько они ненавидят всякое письмо и как боятся его, считая его дьявольским искусством. Заметив, что я составляю записки, они в случае какого-нибудь несчастья не замедлили бы приписать его грешным знакам, чертимым мною на бумаге, и нельзя предсказать, до чего бы могла их довести в подобном случае суеверная злоба.

От Зеленчуга мы перешли на Кяфир через высокий скалистый гребень, на котором стояли развалины церкви, вероятно грузинской, постройки времен царицы Тамары. Спустившись вниз по Кяфиру, мы вышли из тесного ущелья, по которому он протекает в своем верховье, и вступили на холмистую местность, покрытую небольшими перелесками и высокою сочною травой, в которой конный человек скрывался до головы. Нам следовало с Кяфира поворотить на запад, обогнуть самые крутые контрфорсы главного хребта и потом подняться на юг, вверх по Урупу, на котором жили в то время башилбаевцы, недалеко от его верховья. Чем более удалялись мы от высоких гор, тем осторожнее становились мои абхазцы.

На пятый день, повернув опять к горам, мы сделали огромный переход вверх по Урупу, перед вечером вошли в дремучий лес и поздно ночью остановились на небольшой поляне, которую загораживала с одной стороны высокая отвесная скала. Далее этого места ни хаджи Соломон, ни его абхазцы не

смели идти, жалея свои головы. Верстах в пяти отсюда лежало селение Мамат-Кирея Сид-ипы, из рода Маршаниев, приятеля Микамбая. Башилбаевцы принадлежали к числу девяти небольших абазинских обществ, занимавших северо-восточную покатость гор, между реками Урупом и Сагуашею. Язык и господствующие у них фамилии доказывали их абазинское происхождение.

Микамбай послал Хатхуа в ту же ночь уведомить о своем прибытии Мамат-Кирея Сидова, как его называли русские, вместо Сид-ипа, и забрать у него съестных припасов. Хаджи Соломону и мне самому было желательно повидаться с Сидовым как можно скорее, для того чтоб узнать от него, каким способом могу я проехать далее к братьям Ловам. Хатхуа вернулся перед утром вместе с доверенным слугою Сидова, принесшим корзину, полную разных припасов, и пригнавшим двух баранов от имени жены своего господина, который находился в отлучке. За несколько дней до нашего прихода не только он, но и все другие абазинские и кабардинские старшины, а между ними и братья Ловы, уехали для совещания на русскую сторону в Железноводск к начальнику кубанского кордона. Башилбаевцы покорились русским за полгода перед тем, а Ловы, как мне рассказал башилбаевец, стали ездить на линию несколько недель тому назад; значит, они также были приняты в число русских подданных. Это известие меня нисколько не обрадовало. С той минуты, что они гласно передались русским, Ловы не могли более мне быть полезными для моего путешествия к морскому берегу. Кроме того, их отсутствие, равно как отлучка Сидова и других абазинских старшин, с которыми хаджи Соломон имел связи, ставили меня и моих абхазцев в весьма неприятное положение. Охранное письмо князя Михаила на имя хаджи Джансеида нисколько не успокаивало старого Микамбая. Покоряясь злой необходимости, он просил башилбаевца передать жене Сидова, чтоб она не медлила ни одного часа с отправлением гонца за своим мужем, которому я обещал сверх того от себя хорошую награду, если он скоро доставит мое письмо генералу ***, никому об этом не говоря. В записке, писанной по-немецки, для того чтоб ее ни в каком случае не могли прочитать черкесы, между которыми находились люди, знакомые с русскою грамотой, я объяснил в коротких словах мое положение и просил как можно скорее прислать ко мне одного из Ловов для устройства моего проезда с Урупа на линию. Покончив это дело, мы принялись устраивать для себя безопасную стоянку на довольно долгое время, причем оказалось, что хаджи Соломон был весьма предусмотрительный человек. Место, куда он нас привел, лежало в такой глуши, что

один только несчастный случай или измена могли навести на него наших врагов. Лучше этой самою природой устроенной крепости нельзя было придумать для небольшого гарнизона. В пещеру втащили седла, провизию, двух живых баранов, кроме битой говядины, дров и воды в дорожных тулуках.

На девятый день башилбаевец, доставлявший нам пищу, принес весьма приятное известие, что его господин вернулся и с ним приехали Ловы и другие абазинские старшины, для того чтобы меня проводить на линию по приказанию генерала ***. Сидов просил хаджи Соломона выехать со мною на половину дороги к его аулу. Сначала я не мог понять причину, побуждавшую Сидова сделать мне гласную встречу, которой совершенно не желал и которая могла только вредить моим планам. Письмо генерала ***, переданное мне, когда я прибыл на свидание, объяснило мне это дело. Не зная ни причины, ни цели моего путешествия из Абхазии на линию, генерал *** чрезвычайно удивился моему неожиданному появлению на Урупе. Понимая опасность, которой я подвергался в этом месте, как русский, находящийся притом в товариществе с абхазцами, он на первых порах думал было собрать летучий отряд и идти с ним выручать меня. Но потом он рассчитал, что на это было необходимо слишком много времени и что такой редкий случай, как мой приезд, мог быть с пользой употреблен для того, чтобы принудить вновь покоренных башилбаевцев и кабардинцев, переселенных им на Уруп, дать гласное доказательство своей покорности, а это могло бы поссорить их с неприязненными нам черкесами, с которыми они продолжали иметь тайные связи. Поэтому генерал *** приказал собранным около него в Железноводске Сидову, Ловам и кабардинскому князю Исмаилу Касаеву отправиться немедленно домой и обеспечить мой проезд с Урупа на Кубань, возложив на них полную ответственность за мою безопасность. Все распоряжения он делал гласно, не полагая, чтоб решился на новое путешествие в горах. Этот оборот дела налагал на Мамат-Кирея Сидова обязанность принять меня не как неизвестного путешественника, а как русского офицера, посещающего его дом, чего еще никогда не бывало.

Правила вежливости, соблюдаемые черкесом, когда он принимает гостя, так ярко обрисовывают его гостеприимный быт, что я не могу упустить случай рассказать о приеме, сделанном мне Сидовым. Надо начать с того, что в глазах горца нет такой услуги, которая могла бы унизить хозяина перед гостем, сколько бы ни было велико расстояние их общественного положения. Звание тут не принимается в расчет, и только самые малые оттенки означают разницу в приеме более редкого или

почтенного гостя. Я принадлежал в этот раз к числу не только редких, но и совершенно небывалых гостей. Перед дверьми кунахской Сидов соскочил с лошади, для того чтобы держать мое стремя, потом снял ружье и провел меня на место, обложенное для меня коврами и подушками, в почетном углу комнаты. Усевшись, мне следовало промолчать несколько мгновений и потом осведомиться о здоровье хозяина и Ловов, которых со мною познакомили. У горцев считается неприличным для гостя расспрашивать о жене и детях. От моего приглашения садиться все, как водится, отказались на первый раз. Скоро подали умыть руки, и вслед за умыванием был принесен ряд низеньких круглых столов, наполненных кушаньем. Я пригласил вторично Сидова и Ловов сесть со мною за стол. Хозяин решительно отказался в знак уважения ко мне и все время простоял в кунахской, не принимая участия в обеде; Ловы, будучи сами гостями, сели около стола. Обед состоял из вареной баранины, говяжьего отвара, разных яичниц, молока десяти различных приготовлений, вареных кур с подливкою из красного перца, жареной баранины с медом, рассыпного проса со сметаною, буйвольего каймака и сладких пирожков. Черкесы пьют только воду, брагу или кумыс, так как вино им запрещено Кораном. По правилам черкесской вежливости, никто не касается до кушанья прежде старшего гостя, и когда он кончил, все сидящие с ним за одним столом также перестают есть, а стол передают второстепенным посетителям, от которых он переходит дальше, пока его не очистят совершенно, потому что горец не сберегает на другой раз что было однажды приготовлено и подано. Чего не съедят гости, выносится из кунахской и отдается на дворе детям или невольникам, сбегающимся на каждое угощение. Место имеет большое значение в черкесском приеме. Для того чтобы дать мне первое место и в то же время не обидеть старика хаджи Соломона, гостя из дальней стороны, которому лета давали преимущество надо мною, его поместили в другой кунахской и угощали особенно. Лета ставятся у горцев в общежитии выше звания. Молодой человек самого высокого происхождения обязан встать перед каждым стариком, не спрашивая его имени, уступать ему место, не садиться без его позволения, молчать перед ним, кротко и почтительно отвечать на его вопросы. Каждая услуга, оказанная седине, ставится молодому человеку в честь. Даже старый невольник не совсем исключен из этого правила. Хаджи Соломон вернулся в тот же вечер в лес и ушел со своими людьми в Абхазию. Из старых проводников остался при мне один Шакрилов, от которого мне было мало пользы. Все смотрели на него как-то недоброжелательно и не обижали его только потому,

что он имел поручение к хаджи Джансеиду и находился под моим покровительством. Меня же самого оберегала хотя и дальняя, но весьма положительная сила русского штыка.

Между моими новыми знакомыми я мог совершенно надеяться на Сидова и на Ловов. Сидов властвовал над башилбаевским обществом в две тысячи душ мужского пола. В тридцать пятом году, когда я приехал на Уруп, он находился в числе покорных нам горских владельцев, принимал меня гласно в своем доме и, я уверен, не пощадил бы своей жизни для моей защиты. Несколько лет спустя он заставил много говорить о себе, захватив с шайкою в двенадцать человек, на дороге между Пятигорском и Георгиевском, жену полковника Махина, которая прожила у него в плену более восьми месяцев, пока ее не выкупили за дорогие деньги. Подобные переходы от более или менее шаткой покорности к открытой вражде принадлежали в то время к самым обыкновенным явлениям на Кавказе. Братья Ловы были приняты в число покорных, с преданием забвению всех прежних преступлений, недели за две до моего приезда. Это обстоятельство отняло у меня всю надежду через них достигнуть моей цели, и я должен был думать о других способах. Слух о том, что они покорились, или, как горцы имели обыкновение выражаться, познакомились с русскими, и перешли жить в свой родовой аул на Куме, разнесся везде, и этого было достаточно, чтобы возбудить против них величайшее недоверие между неприязненными черкесами, у которых они после этого не смели показываться. Несмотря на их бесполезность для моих будущих планов, я не мог не обратить внимания на младшего брата, Мамат-Кирея. Двадцати лет, красавец в полном смысле слова, каких даже немного у черкесов, ловкий и смелый, он с первых минут нашего знакомства мне чрезвычайно понравился и внушил мне желание привязать его к себе. Свою первую молодость он провел между русскими и выучился в георгиевской гимназии правильно говорить, читать и писать по-русски, чем я воспользовался, для того чтобы просить его быть моим переводчиком до приезда на Кубань. Тогда мне не приходило на ум, что судьба свяжет нас когда-нибудь еще теснее, положив на одни весы его жизнь и мою судьбу, как это случилось годом позже в абхазских лесах, когда кабардинцы захватили меня в плен, а его спас от смерти только неожиданный случай.

Прогостив три дня у Сидова, я отправился на линию. Человек сто абазин, Сидовых и Лововых узденей, под предводительством своих князей проводили меня до большого Теченя, на берегу которого кабардинский князь Исмаил Касаев начинал тогда строить для себя дома. Он принял меня в шалаше, убранном

коврами, за неимением другой кунахской. Касаев принадлежал к одной из первых княжеских фамилий в Кабарде и был очень богат, невзирая на потери, сделанные им в двадцать первом году, когда он бежал за Кубань. В тридцать пятом году он передался опять на сторону русских и должен был поселиться около Урупа, потому что со времен Ермолова существовало правило не допускать в Кабарду бежавших князей, которые были для нас гораздо вреднее и опаснее простого народа, легко смирившегося, когда они перестали тяготеть над ним. Касаев меня угостил еще с большею пышностью, чем Сидов. У него в доме господствовала старинная турецкая роскошь, обнаруживавшаяся во множестве серебряной посуды, золоченых чаш для кумыса, ковров, парчовых тюфяков, бархатных одеял и тому подобных вещей. Сам Касаев, хромой, с лицом, выражавшим его монгольское происхождение, считался одним из первых молодцов и стрелком, привыкшим бить с седла коз и оленей. Открытое помещение и множество гостивших у него людей, между которыми, я полагаю, были и неприязненные черкесы, заставили его принять для меня особые осторожности. Касаев лег спать с нами в шалаше и, когда все заснули, с помощью Мамат-Кирея Лова переместил мою постель на другой конец шалаша, сказав, что хотя опасности нет, а все-таки лучше быть осторожным и не верить никому, потому что мысль человека не написана у него на лице, а слова всегда лгут. По углам нашего помещения всю ночь караулили касаевские уздени, вооруженные двуствольными ружьями. Касаев проводил меня до Кубани, через которую я переправился против Баталпашинской казачьей станицы. Оттуда я приехал на Кавказские минеральные воды, прогостив короткое время в Тохтамыше у генерала султан-Азамат-Гирея, потомка крымских ханов, и на Куме у моего приятеля Лова. Этим кончилось мое путешествие.

Дмитрий Ерофеевич Остен-Сакен (1792–1881). Отрывок из летописи Елисаветградского гусарского полка

Елисаветградский, прежде конно-егерский, ныне гусарский Ея Величества королевы Виртембергской Ольги Николаевны полк, по случаю отбития казенного ящика в войну 1812 года, имеет в летописи своей пробел несколько десятков лет начала своего существования.

Одаренный замечательной памятью, я остался, может быть, один из давних ветеранов Елисаветградского полка, и, узнав недавно о помянутом пробеле самой занимательной эпохи, считаю обязанностью сообщить многое, что мне известно из славы этого доблестного полка.

В 1804 году записан я был в службу в Елисаветградский гусарский полк, которого шефом состоял отец мой, генерал-майор барон Ерофей Кузьмич Остен-Сакен. Мне был тогда 12-й год от роду, и потому прибавили пять лет: тогда не требовалось метрических свидетельств. Я считался уже прежде в службе сержантом в лейб-гвардии Семеновском полку, имея три года от роду, но, по вступлении на престол императора Павла I, вместе с прочими выключен из списков.

Несмотря на юность мою, я был очень развит, любознателен и одарен редкой памятью.

Из первых шефов Елисаветградского, бывшего тогда конно-егерского, полка был полковник Паленбах, что знаю я из преданий. Под начальством его, в польскую войну 1793 года, полк отличился в сражении под Дубенкою, о чем рассказывали участвовавшие. Потом были шефами Елисаветградского конно-егерского полка: Дунин, Веропойский, по переименовании же в гусарский: Сухарев и барон Остен-Сакен. Полк переименован в гусарский по вступлении на престол императора Александра I.

Отец мой, генерал-майор, шеф Псковского драгунского полка, в 1799 году выключен из службы императором Павлом I и в 1800 году милостивым манифестом вытребованный в Санкт-Петербург, был назначен шефом своего имени полка – Елисаветградского – и обласкан императором. Когда отец мой благодарил за назначение, государь сказал ему: «Вы командовали пятиэскадронным, теперь даю вам десятиэскадронный полк». В то время при представлениях становились на колено. Отец мой,

вставая, запутался в шашку и мог упасть, но государь подал ему руку и помог подняться.

Отец принял полк в местечке Ямполе Подольской губернии и в ту же весну перешел с полком на непременные квартиры в Елисаветград, где оставался до 1805 года. Отсюда полк выступил в Аустерлицкий поход.

Эскадронными командирами при отце моем были полковники: Лисоневич, впоследствии начальник Чугуевской уланской дивизии; Рославлев, убитый под Аустерлицем, человек, замечательный по уму, благородству и блистательной храбрости; Григорович, Шау-Всеволожский, с 1808 по 1812 год включительно шеф Елисаветградского полка. Подполковники: Курдиманов, Адлер-Бау, Шостаков, в 1812 году, по смерти Всеволожского, назначенный шефом полка. Майоры: Мау, Кнабе – замечательного ума и благородства и всестороннего образования. Ротмистры: Томиловский, Турчанинов. Должностные: полковой адъютант Лашкевич, потом Квитка; полковой квартирмистр Смородский; полковой казначей Сугаков – отличный офицер, всесторонне образованный и специалист в математике. Мне это хорошо известно потому, что он на 10– и 11-летнем возрасте преподавал мне с большим успехом геометрию.

Тогда, кроме шефа, были полковые командиры. В пятиэскадронных полках они командовали пятью, в десятиэскадронных – шестью эскадронами. Десятиэскадронные полки были разделены на два батальона: первым батальоном командовал командир пятого эскадрона, вторым – командир шестого эскадрона.

С 1801 по 1804 год полковыми командирами были: полковник, а скоро потом генерал-майор, Мелисино, потомок того Никифора Мелисино, который был женат на родной сестре царствовавшего в XI и XII столетиях греческого императора Алексея Комнена. Алексей Петрович Мелисино был блистательный человек во всех отношениях: замечательного ума и образования, говорил отлично на пяти языках, храбр как лев, но запальчив, красавец. Он был так классически-правильно сложен, что служил образцом знаменитому ваятелю Фальконету для монумента Петра Великого на Сенатской площади, для чего въезжал на одном из прекрасных коней своих на покатый помост, нарочно для сего у пьедестала скалы устроенный. За измаильский штурм награжден Суворовым орденом Св. Георгия 4-го класса; в 1812 и 1813 годах прославился своими блистательными ударами с Лубенским гусарским полком, им самим, посредством вербовки, сформированным. В 1813 году, в сражении под Дрезденом, врубившись с лубенцами во французский гвардейский

каре, Мелисино, к прискорбию всей армии, пал, сраженный тремя пулями.

Вскоре после Мелисино был при отце моем полковым командиром генерал-майор граф Витгенштейн, впоследствии князь, главнокомандующий и фельдмаршал. Он слишком известен, чтобы распространяться о нем.

После графа Витгенштейна, около 1803 года, был полковым командиром генерал-майор граф Ламберт, также известный своими доблестями; он был возведен в звание генерал-адъютанта и, еще в царствование императора Александра I, начальствовал гренадерским корпусом.

Едва ли какой-либо полк имел счастье видеть в рядах своих столько знаменитостей.

После графа Ламберта был полковым командиром, очень короткое время, генерал-майор князь Голицын.

Известный Карл Карлович Мердер, впоследствии попечитель ныне царствующего императора, человек высокого благородства, в 1805 году был выпущен из первого кадетского корпуса корнетом в Елисаветградский гусарский полк и назначен шефским адъютантом к отцу моему, который полюбил его, как нежно любимого сына.

Во время квартирования полка в Елисаветграде был инспектором генерал от кавалерии, маркиз Дотишан – эмигрант французский, знавший по-русски всего несколько слов. Забавны были смотры его. Необходимо внести их в летопись, чтобы видеть, в каком младенческом состоянии была тогда служба и понятие о ней.

Опрос претензий производил он таким образом: каждый эскадрон: «справа и слева заходи», и инспектор делал обыкновенно следующие вопросы: «довольны – ви? Все получаете?» И иногда частный вопрос: «Ви женат?» – «Холост, ваше превосходительство». «А много дети?»

Потом обходил выложенную амуницию.

После того лошадей на выводке.

На другой день у отца моего за длинным столом сидел инспектор, отец мой и все эскадронные командиры. Вахмистры вносили от каждого эскадрона по нескольку конских головных уборов, и маркиз поверял своеручно циркулем ширину ремней, чтобы удостовериться, определенной ли они ширины.

На следующий день полковое ученье с нелепыми, ни к чему не пригодными построениями, например: десятиэскадронный полк идет повзводно: справа «стройся направо и повзводно налево кругом заезжай. Марш-марш». И еще нелепее: десять эскадронов стоят развернутым фронтом. «Перемена фронта и

флангов». «Задняя шеренга отступи», «по четыре направо». «С места марш-марш». Первый взвод делает левое плечо кругом; полк несется во все лопатки; заносливые лошади уносят; пуговицы рейтуз сверх чакчир у правых фланговых отделений рвутся; рейтузы болтаются, а когда 10-й эскадрон заедет: «стой во фронт». И полк стоит задом наперед. Увечных подбирают наряженные пешие, относят к лазаретным фурам и отвозят в лазарет.

Были в ходу и практические походы, обыкновенно следующие: полк выступает из Елисаветграда во взводной колоне чрез миргородскую заставу. «Авангард, арьергард и боковые патруля, выезжай!» Головной взвод отделяется рысью шагов на сто вперед, имея пред собою унтер-офицера с двумя рядовыми; последний взвод делает то же в обратном порядке. Фланговые каждого взвода обеих шеренг отъезжают вправо и влево, и полк следует в деревню Черняковку, четыре версты от Елисаветграда, к гостеприимному, очень симпатичному помещику, Ивану Александровичу Соколову, где приготовлен прекрасный вкусный обед для офицеров в доме и сытный обед для нижних чинов на поле. Полк возвращается тем же воинственным порядком. Этим ограничивались аванпостная служба и маневры.

В том же году отец мой повел Елисаветрадский полк в поход под Аустерлиц, где в этом несчастном для нас сражении, при совершенном поражении союзных русско-австрийских войск, полк находился на правом фланге, под начальством генерал-адъютанта Уварова.

Многие полагают невозможным остановить опрокинутую конницу. Без влияния начальника, приобретенного любовью и уважением, это действительно невозможно.

Но есть исключения.

Отец мой повел свой полк в атаку на французских кирасиров (по тогдашнему обыкновению в одну линию). Французские кирасиры раздались направо и налево, открыли батарею, которая встретила гусаров картечным огнем, и они были опрокинуты. Отец мой, любимый полком, скоро остановил его, привел в порядок и повторил атаку. Французы повторили тот же маневр: опять встретили картечью, гусары снова опрокинуты. Отец мой, во второй раз тщетно усиливавшийся остановить бегущих, преследуемый французскими латниками, остановил лошадь и сказал своему адъютанту Мердеру: «Не стану больше срамиться!» Они были окружены французскими латниками до пятидесяти человек и стали отражать наносимые удары. Кивер отца моего был сбит и отрублена часть затылка, почти до мозга. Мердер получил три раны в голову. Их стащили с лошадей и повлекли

назад. Отца моего тащили за подсумок, и как он, от старости и истощения сил, не мог бежать, то его кололи палашами в спину, нанеся четырнадцать ран; подсумок оборвался, и отец мой упал ниц.

Граф Дмитрий Ерофеевич Остен-Сакен (1793–1881) – русский военачальник, генерал от кавалерии, генерал-адъютант, член Государственного совета, заведующий военными поселениями на юге России, участник походов против Наполеона, Кавказской войны и Крымской войны

Между тем в полку заметили отсутствие шефа. Поручик Сотников, необыкновенный силач, разгибавший две подковы, закричал: «Кто хочет со мною выручать шефа»? За ним поскакали

шесть гусаров и камердинер отца моего. Мгновенно догнали они латников, и началась кровавая сеча: один Сотников своеручно положил на месте шесть человек. Надо заметить, что эпизод этот происходил при общем отступлении войск в беспорядке. Двадцатилетний Мердер пешком добрался до полка; отца моего подняли без чувств. Сотников хотел оторвать висевшую часть затылка, но повредил только ране, и приложил висевший кусок на свое место, вместе с волосами. Отца моего без чувств перевалили чрез лошадь спешенного камердинера и привезли в полк, а оттуда отнесли на перевязочный пункт. Рана на голове несколько дней подвергалась антонову огню; пораженные места вырезывались; чрез много времени рана затянулась, и отец мой, с расстроенным в конец здоровьем и ослаблением зрения, жил еще три года. Этот подвиг чести и самоотвержения шефа, адъютанта его и Сотникова со спутниками не может не внушать читателю полного сочувствия и умиления.

В войну 1806 и 1807 годов Елисаветградский полк служил с особенною честью под начальством храброго и старого шефа, генерал-адъютанта Юрковского.

Елисаветградский полк стоял в г. Вилкомир Виленской губернии, начиная с 1807 по 1812 год, считая и поход в Галицию, под начальством главнокомандующего князя Голицына, против австрийцев, и возврат в Вилкомир. В этом походе полк состоял в кавалерийском корпусе генерал-адъютанта барона Корфа. Не только ни одного сражения, но и ни одной аванпостной перестрелки не было.

В 1807 году, на 14-летнем возрасте, по производстве в корнеты, считался я в ремонтной команде полковника Шау и жил у родителей своих в Елисаветграде, занимаясь деятельно своим образованием. Следовало отправить в полк остальных лошадей – 29, и ремонтную команду – 30 человек, в декабре. Доказательством как я был развит, служит то, что полковник Шау поручил мне, 14-летнему мальчику, вести в Вилкомир зимою лошадей с командою. Когда я представил их шефу, генерал-майору Юрковскому, то он был чрезвычайно доволен сытостью и содержанием лошадей и в самых лестных выражениях благодарил меня. Я поместился вместе с шефским адъютантом, незабвенным другом моим, тем же Мердером. Но, к сожалению, месяца через два его перевели в 1-й кадетский корпус, и я остался совершенным сиротою, со своею любознательностью и стремлением к образованию, в особенности военному. У меня были отличные книги, и я занимался чтением стратегии и тактики, а также осад и оборон крепостей.

К части прежних эскадронных командиров прибавились:

подполковник Чурсов, майор барон Розен, впоследствии начальник бывшей Чугуевской уланской дивизии; ротмистры: Шабельский, Соляников, Керстич и Всеволожский, брат шефа. Еще были в полку отличные образованные обер-офицеры: три Шабельские, Паскевич, брат князя Варшавского, Ползиков, Вельяминов-Зернов, Симонов, Редькин, впоследствии рязанский губернский предводитель дворянства, Всеволожский, сын шефа, Нагель, Тутолмин. Все примерного благородства.

Летопись должна быть правдива в высокой степени и, внося хорошие стороны эпохи, не скрывать сторон слабых ошибок.

Вот образчик тогдашнего младенческого понятия об образовании войска.

Чистота оружия, амуниции и одежды была поразительная. Оружие и все металлические вещи блестели от наведенного на них полира – тогдашнее выражение, что, разумеется, приносило много вреда оружию. При осмотре ружей сильно встряхивали шомполом, чтобы он, ударяясь о казенную часть, производил звук как можно громче. Езда и выездка лошадей были в совершенном младенчестве. Лошади носили, были совершенно непослушны, поодиночке не выходили из фронта. Много было лошадей запаленных и надорванных.

Гусаров учили стрелять из карабинов залпами (!) в цель очень редко, и то глиняными пулями.

Вот забавный образец военных маневров.

На выгоне у Вилкомира был курган. На нем ставили бочку водки для солдат и много вина и разных напитков для офицеров. Полк в пешем строю, с заряженными карабинами брал курган приступом, с беспрестанною пальбой и с криком «ура!» и, достигнув цели, начинал попойку. Тем и заканчивался маневр[83].

Пьянство между офицерами было развито в сильной степени, но не одиночное, которое считалось развратом, а гулянье общее. Напитки менялись. Некоторое время пили шампанское; когда надоест, употребляли жженку, потом липец, ковенский мед – по червонцу бутылка – очень крепкий напиток, пунш, какую-то мешанину с сахаром из портера, рому и шампанского; когда и это надоест, то пили виленскую мятную водку. Каждый напиток употреблялся по нескольку месяцев.

Попойка жженкою принимала всегда воинственный вид: в комнате постланы ковры; посредине на полу, в каком-нибудь сосуде, горит сахар в роме, что представляет костер дров на бивуаках; кругом сидят в несколько рядов пирующие, с пистолетом в руке; затравки залеплены сургучом. Когда сахар растаял, вливают в сосуд шампанское, жженкою наполняют пистолеты, и начинается попойка. Музыканты, трубачи и

песенники размещены в других комнатах или на дворе.

Между нижними чинами пьянство было весьма ограниченное, за которое строго взыскивалось.

Еще одно замечательное явление, которое ясно выражает, что тогдашнее пьянство было действительно ребяческий разгул: когда мода на пьянство прошла, около двадцатых годов, то почти все те, которые пили мертвую чашу, совершенно отрезвились, и некоторые не употребляли вовсе горячих напитков.

Я не могу не упомянуть об одном шутовском занятии в эскадроне ротмистра Турчанинова, расположенном в местечке Шатове, во время квартирования Елисаветградского полка в Вилкомире.

Ротмистр Турчанинов в веселом расположении любил совершать службы как бы в виде священника. Вот его любимое занятие: подпоручика Ицкова напоят мертвецки-пьяным, надевают на него саван, кладут в ящик, ставят в руки свечку. Турчанинов в рогожной ризе отпевает его. Эскадрон с зажженными сальными свечами в карабинах сопровождает покойника на холм близ местечка. Ящик с Ицковым ставят на курган, оканчивают отпевание – бессознательное святотатство – и возвращаются домой. Ицков, проспавшись и отрезвившись к свету и продрогнув до костей, в саване, полным бегом, чрез местечко возвращается домой.

И, несмотря на все эти нелепости, войско, не получившее прямого образования для боя, кроме строгой, достойной войск Густава Адольфа, дисциплины и субординации, производило блистательные, едва вероятные подвиги и благодушно терпело все лишения, скудное продовольствие и недостаточную в зимние походы одежду. Здесь нельзя не припомнить весьма остроумную шутку бессрочно-отпускного, в «Тарантасе» графа Сологуба, который, между прочим, рассказывает приблизительно следующее: «При осаде Силистрии, в глубокую осень, изношенные шинели наши не могли обогревать тела. Ночью, в ужасный холод, бывало ляжешь на живот, да и накроешься спиной».

Была еще одна черная сторона: безжалостное, тиранское обращение с солдатами. Не только за преступления и проступки, но и за ошибки на ученье наказывали сотнями палок. На ученье вывозили палки, а если нет, то еще хуже: наказывали фухтелями и шомполами по спине. Много удушливых и чахоточных выходило в неспособные. И все это против проникнутого благочестием, повиновением, преданностью, готового на всякое самоотвержение русского солдата – идеала воина!

Жестокость доходила до невероятного зверства. При

производстве в офицеры из сдаточных некоторые начальники скрывали полученный о том приказ, придирались к произведенному, наказывали его несколькими сотнями ударов палками, чтобы, по их словам, у него надолго осталось в памяти.

Юнкера были изъяты от телесного наказания, но для них придумали не менее телесные наказания: ставили под ружье или карабины, т. е. на каждое плечо клали по ружью, которые наказываемый держал руками довольно близко от отверстия дула, и за спиной накладывали на эти два ружья еще по нескольку ружей. Я чувствую всегда невыразимую грусть при воспоминании об этом темном времени.

Если бы товарищи мои Елисаветградского полка, из которых остался в живых, может быть, я один, воскресли и взглянули на войско настоящего царствования, то они не поверили бы глазам своим. Войско, одетое покойно, тепло, с отменою ненавистных белых ремней, учебных шагов и ружья на левом плече, с чрезвычайно улучшенным продовольствием, упрощенными уставами, уничтожением всего ненужного для боя, и превосходно образованное для прямой цели своей; в коннице – выезженные лошади, которые в полном повиновении у всадника; отмена унизительного для воина телесного наказания, употребляемого только для малого числа разряда небезукоризненного поведения; войско, окруженное отеческим попечением всех видов; войско, образованное в грамотности…

Блистательных подвигов можно ожидать от подобного войска, в котором развито чувство чести и которое не утратило прекрасных качеств русского православного человека.

В 1812 году Елисаветградский полк состоял в 1-м кавалерийском корпусе генерал-адъютанта Федора Петровича Уварова вместе с полками: лейб-гвардии драгунским, уланским, гусарским и казачьим. Кроме других дел, в которых полк участвовал с честью, корпус Уварова в кровавой Бородинской битве оказал блистательный подвиг и незабвенную услугу. По распоряжению князя Кутузова, в то время когда наш центр и левое крыло под начальством незабвенного героя, витязя без страха и упрека, князя Барклая де Толли, у батареи Раевского, геройски бившиеся с превосходным в силах неприятелем, поражаемые с фронта картечью и с левого фланга ядрами и гранатами, а в промежутках отражавшие многочисленные атаки кавалерии, изнемогали – Уваров, атакою на конечность левого фланга неприятеля, остановил напор на наши центр и левое крыло. Сам Наполеон прискакал на угрожаемый фланг, также и вице-король италианский, который при атаке Уварова въехал в один из французских каре. Тогда только наш центр и левое крыло

могли вздохнуть свободно. Атака Уварова имела, без сомнения, большое влияние на ход битвы, чему и казаки Платова, показавшиеся в тылу неприятеля, способствовали. Елисаветградский полк при атаке отбил два орудия, но не имел возможности увезти их.

Еще одна знаменитость в Елисаветградском полку из простого сословия.

В Отечественную 1812 года войну, во время отступления французов, когда незабвенною заслугою партизана Сеславина, открывшего намерение Наполеона броситься на хлебородную Калужскую губернию, и геройским подвигом Дохтурова, с своим корпусом отстоявшего Малоярославец, который восемь раз был взят приступом неприятелем и девять раз Дохтуровым, Наполеон был отброшен на знакомую ему Смоленскую дорогу, в край, им разоренный, наш авангард, под начальством графа Милорадовича, подошел к Колоцкому монастырю.

Взятый в плен раненым в Бородинской битве, лейб-эскадрона Елисаветградского полка рядовой Самус, высокий, стройный, сметливый и блистательной храбрости, явился к графу как начальник трехтысячного партизанского отряда, им самим собранного из крестьян окрестных деревень.

Бежав из плена, Самус нашел местность близ Колоцкого монастыря весьма выгодною для партизанских действий и предложил крестьянам составить отряд, нападать на проходящие по операционной линии неприятельские обозы и команды, вооружив себя неприятельским оружием и патронами, которые они во что бы то ни стало должны отбить у неприятеля. Сначала нападал он на малые команды, и когда оружия и патронов было достаточно и отряд его возрос до 3000 ратников, то он, сосредоточивая войска свои по звону колоколов, нападал уже на значительные команды и один раз разбил наголову целый батальон. Строжайшая дисциплина была им введена в отряд, и неповиновение не имело места.

Самус имел также свою гвардию в числе одной пехотной роты, шутовски одетую, которую он в строю представил Малорадовичу: французские пехотные мундиры, панталоны со штиблетами сверх лаптей, медные латы французских кирасиров, крестьянские шапки, пехотные ружья и сумы… Я был очевидным свидетелем этой приятной и комической сцены.

Герой Самус просил графа послать с ним доверенное лицо в леса, пересчитать убитые отрядом тела. Поверявший насчитал до 3000.

Граф Милорадович произвел Самуса в унтер-офицеры, наградил знаком отличия военного ордена, и, по представлению

графа, Самус скоро был произведен в офицеры.

Здесь полезно заметить, до какого позора и бедствия подвергается армия, в которой допущен упадок подчиненности и дисциплины: оскорбление жителей, грабеж и в особенности поругание и осквернение святыни довели до крайних размеров ненависть, злобу и чувство мести в религиозном народе, из которого возникли многие герои. Бог напустил слепоту на гордого, надменного Наполеона, и он не мог уже сладить с распущенным войском.

Вот факт отвратительного поведения французов, не исключая и начальников.

Когда, после окончательного взятия Малоярославца, я въехал на площадь, то увидел на церковных дверях надпись мелом: «Ecurie du general Guillemino» (конюшня генерала Гильемино). Войдя в церковь, я ужаснулся, найдя в ней полную мерзость запустения: все переломано, перековеркано и навоз!

В 1813 в 1814 годах Еласаветградский полк служил везде с особенною честию; но подробности мне неизвестны, кроме незабвенной заслуги его в 1814 году при Сен-Дизье под начальством генерала Винценгероде. Когда Наполеон со своей гвардией и отборными войсками в числе 40 000 человек бросился с тыла на нашу операционную линию и император Александр Благословенный своим превосходным стратегическим соображением воспользовался надменным планом Наполеона и направился с союзными армиями на Париж, то барону Винценгероде, с 10 000 отрядом, дана была важная и отважная задача – усыпить Наполеона присутствием всей нашей армии и потом, по обнаружении обмана, удерживать напор его как можно долго. Винценгероде превосходно исполнил свое назначение: послал в Сен-Дизье с передовым отрядом квартиргеров, для занятия квартир государю, прусскому королю и фельдмаршалам Шварценбергу и Барклаю де Толли, и тем выиграл много времени. Но когда Наполеон был ошеломлен известием, что император Александр с союзными армиями на пути в Париж уже отделился от него на несколько переходов, то он с яростью бросился на барона Винценгероде, который, с необыкновенным спокойствием и примерным устройством отступая, удерживал натиск, продавая дорогою ценою крови каждый шаг. Здесь Елисаветградский гусарский полк под начальством генерал-майора Шостакова, находясь в конце арьергарда, оказал огромную услугу, с необыкновенною стойкостью выдерживая огонь неприятельской артиллерии и отражая удары конницы.

Этим подвигом чести и самоотвержения оканчиваю я летопись Елисаветградского гусарского, ныне ее величества

королевы Виртембергской Ольги Николаевны полка, в рядах которого имел честь служить восемь лет.

Александр Васильевич Чичерин (1793–1813)
Военный дневник 1812–1813

1812 год

Печальное предуведомление

Каково бы ни было сочинение, его снабжают предуведомлением, нередко готовящим к смертельной скуке и столь же скучным, разве только по краткости своей менее несносным, либо же восхваляющим достоинства сочинения с усердием, кое слишком явно, чтобы быть убедительным. Что ж, и я не обойдусь без предисловия, но, дабы не наскучить лишними словами, сразу начну свой рассказ.

Едва вступив в свет, я постарался завести себе друга. Каждый день, приходя домой, я поверял ему свои огорчения, свои тревоги и радости, каждый день раскрывал перед ним, как обещался, свое сердце. Вскоре привычка перешла в потребность: я полюбил его, привязанность моя возрастала день ото дня, выражаясь в признаниях, которые я ему поверял, и в нежных заботах. Я старался украсить его. Ведь он… обошёлся мне сначала всего в шестьдесят копеек. Пора признаться, что это был дневник – тайная тетрадь, не открывавшаяся ни перед кем из смертных, куда я заносил то, что хотел уберечь от чужих глаз, а себе сохранить на память[84]. Ещё до нашего выхода из Петербурга[85] я заполнил целую тетрадь рисунками и записями, которые должны были продлить минуты наслаждения, навсегда запечатлеть мгновения счастья, сожаления о совершённых ошибках, интересные беседы – всё, что сулило мне в будущем источник радостей. Как раз когда эта тетрадь закончилась, мы выступили в поход.

Я не обращал внимания ни на дождь, ни на ветер, ни на бивачные неудобства, и каждый день в моей новой тетради появлялся новый рисунок. Вот уже завершился утомительный переход от Комаи через Свенцяны, Друю, Дриссу, Полоцк, Витебск и другие города. Славный день Бородино (26 августа) заставил забыть объятый пламенем Смоленск, а затем последовало отступление, необходимость которого я понимал, отступление неизбежное, но бедственное.

Наконец, 1 сентября я увидел себя у врат Москвы. Мечта

отдать жизнь за сердце отечества, жажда сразиться с неприятелем, возмущение вторгшимися в мою страну варварами, недостойными даже подбирать колоски на ее полях, надежда вскоре изгнать их, победить со славою – всё это поднимало мой дух и приводило меня в то счастливое расположение, когда страсти теснятся, не возбуждая бурь, чувства рвутся наружу, не ослабляя душевных сил, надежда окрашивает все ощущения ровным и мягким, внушающим бодрость светом. За один день я сделал три рисунка, написал две главы и, как никогда, почувствовал привязанность к своему дневнику, столь бережно много хранимому.

В три часа утра было приказано выступать. Мы находились всего в двух верстах от Москвы; мог ли я предполагать, что мы пройдем пятнадцать верст за неё, до деревни Панки?

Когда мы шли через город, казалось, что я попал в другой мир. Всё вокруг было призрачным. Мне хотелось верить, что всё, что я вижу, – уныние, боязнь, растерянность жителей – только снится мне, что меня окружают только видения. Древние башни Москвы, гробницы моих предков, священный храм, где короновался наш государь, – всё взывало ко мне, всё требовало мести.

Я остановился в какой-то крестьянской избе. Мне было отрадно провести среди крестьян этот, казалось, последний день России, отрадно быть среди своих, среди соотечественников, которых, казалось, я покидал навсегда. Я пожирал взглядом прекрасные деревни, ставшие теперь жертвой пламени, словно в России их больше не будет.

Повсюду меня встречало гостеприимство. Никто не возмущался, никто не роптал, наоборот – везде я находил лишь мужество и покорность судьбе.

Крестьянин, пославший двух сыновей защищать Москву, сложивший уже свои пожитки в телегу, чтобы бежать от неприятеля, беспощадность которого он знал, всё же захотел непременно накормить меня; вся семья засуетилась, мою лошадь отвели в стойло, старались предупредить все мои желания, а когда я захотел отблагодарить их, то едва уговорил принять кое-что «на счастье» – по русскому обычаю.

Признаюсь, я пришёл тогда в полное уныние. Напрасно говорили мне, что дать бой перед Москвой было невозможно, что поражение могло бы погубить армию, что теперь, когда мы отошли на тридцать верст от Москвы и прошли уже сорок пять по направлению к Подольску, мы скоро вынудим неприятеля оставить столицу, что он будет отрезан, истреблен. Сейчас я все это понимаю, а тогда мой рассудок отказывался действовать.

Завернувшись в шинель, я провел весь день без мысли, без дела, безуспешно стараясь подавить порывы возмущения, вновь и вновь охватывавшие меня[86].

Всё забывается, и – благодарение небесам! – дурное ещё скорее, чем хорошее.

Три дня тому назад я был в полном отчаянии, а ныне мужество мое возрождается, и я снова горю мщением. Никогда нельзя терять надежды, а я вообще склонен видеть все в хорошем свете. Позавчера, пообедав вместе с моим дорогим и любезным графом[87], я провел с ним день в беседе о событиях, которые всех волнуют. Он говорил без пристрастия, без резкости; я уверенно высказывал то, что думал; к концу разговора мы пришли к убеждению, что не так уж все плохо, ничего ещё не потеряно, что дерзость неприятеля будет наказана, – и я ушел во сто крат спокойнее, вновь утверждаясь в мысли, что никогда не следует плыть по течению и уподобляться тем, кто, дабы скрыть свое невежество, отзывается с неодобрением обо всех поступках других людей.

Но что ж я! Ведь я назвал эту главу «Печальное предуведомление». Увы, так оно и есть!

Когда мы проходили через Москву, моя повозка со всем, что в ней было, где-то застряла и, вероятно, попала в руки французов, которые вошли в город через несколько часов после нас. У меня не осталось ничего, кроме старого платья, которое было на мне, верховой лошади, кучера и тетради, которую я избрал своим спутником в замену той, что находится теперь в руках какого-нибудь бесчувственного и, конечно, равнодушного существа. Пусть бы забрали мое бельё, платье, палатку, посуду – всё на свете, но как же мне не жаловаться на жестокость судьбы, когда я подумаю, что платочек Марии[88], образок, найденный таким чудесным образом и доставивший мне такую радость, письма, которые я перечитывал без конца, письма – моё единственное сокровище, мои краски, карандаши, мой дневник и все те мелочи, которые так приятно иметь при себе, – что всё это погибло в огне или употреблено бог весть на что, или, может быть, поделено шайкой каких-нибудь разбойников, продавших потом за гроши то, что для меня было драгоценнее всего на свете и становилось с каждым днем все дороже.

Вот уже четыре дня, как у меня нет ничего. Нет больше денег, нет удовольствий. Придя на бивак, я должен думать о том, где бы поесть. Мне негде ночевать, у меня нет самых необходимых вещей. Я оказался в положении солдата, не имея его преимуществ[89].

Я могу только делать время от времени наброски, но

совершенно безжизненные и не доставляющие мне никакой радости. Ума не приложу, как мне быть дальше.

Я столько же люблю Броглио[90], сколько уважаю его, и не могу удержаться от удовольствия беседовать с ним часами всякий раз, как мы встречаемся.

После Бородинского сражения мы обсуждали ощущения, которые испытываешь при виде поля битвы; нечего говорить о том, какой ход мыслей привел нас к разговору о чувстве, Броглио не верит в чувство. Я же как раз тогда закончил две главы о рекруте и образке, и мне очень хотелось доказать, что чувство существует и часто действует на нашу душу.

– Всё это химеры, – говорил Броглио, – одно воображение: видишь цветок, былинку и говоришь себе: «Надо растрогаться», – и, хотя только что был в настроении самом веселом, вдруг пишешь строки, кои заставляют читателей проливать слезы.

Я спорил, возражал ему целый час… Наконец, пора было ложиться спать, а назавтра мы прошли через Москву.

Война так огрубляет нас, чувства до такой степени покрываются корой, потребность во сне и пище так настоятельна, что огорчение от потери всего имущества незаметно сильно повлияло на мое настроение – а я сперва полагал, что мое уныние вызвано только оставлением Москвы…

В тоске и печали я вертел в руках несколько ассигнаций – последнее, что у меня оставалось и должно было обеспечить мне все житейские блага, – и раздумывал над тем, чему был свидетелем. Предо мной была Москва, охваченная пламенем, всеобщее уныние и растерянность, мрачное молчание в Главной квартире, перепуганные лица. Я дрожал при мысли о священных алтарях Кремля, оскверняемых руками варваров. Поговаривали о перемирии. Оно было бы позорным… Перемирие, когда я не пролил еще ни капли своей крови! Перемирие, когда оставались еще тысячи героев! Все эти мысли привели меня в полное смятение, и в минуту отчаяния я проклял судьбу, обрекавшую меня на неизбежную смерть и не сулившую славы…

Итак, я держал в руке ассигнацию. Взглянув на нее, я увидел надпись: «Любовь к отечеству»… – Да! – воскликнул я. – Любовь к отечеству должна заставить меня все позабыть: пусть свершаются предательства[91], пусть армия потерпит поражение, пусть погибнет империя, но отечество мое остается, и долг зовет меня служить ему. Прочь печальные и мрачные мысли, прочь позорное уныние, парализующее возвышенные чувства воина! Не хочу верить злым предвещаниям, не хочу слушать досужих говорунов, которые ищут повсюду только дурное и, кажется, совершенно не способны видеть ничего прекрасного. Пусть нас предали, я еще

буду сражаться у врат Москвы и пойду на верную гибель, хотя бы и не для того, чтобы спасти государя. Я не устрашусь никаких опасностей, я брошусь вперед под ядра, ибо буду биться за свое отечество, ибо хочу исполнить свою присягу и буду счастлив умереть, защищая свою Родину, веру и правое дело…

Москва, захваченная французами, 24 сентября 1812 г.
Гравюра. Христиан Вильгельм фон Фабер дю Фор. XIX век

Тут моя мысль отвлеклась в сторону, я вспомнил про ассигнацию и подумал, что нашел хорошее оружие в споре против Броглио. Какая прекрасная тема для главы в сентиментальном жанре, какой счастливый случай, подтверждающий, что довольно безделицы, чтобы совершенно изменить наше душевное расположение! У меня слишком живое воображение. Направляя его на какой-нибудь предмет, я всегда запасаюсь мысленно другим – на тот случай, ежели истощу первый. Так и теперь, хотя на уме у меня был разговор с Броглио, я продолжал вертеть в руках ассигнацию, надеясь обнаружить какие-нибудь другие слова, способные вдохновить меня еще на одну главу. Я прочёл «…50 рублей». Разочарование было ужасно! Напрасно усиливался я предать забвению сию обиду судьбы и вернуться к мыслям, занимавшим меня прежде, возвышенное настроение не возвращалось. Мне стало смешно – пришлось сложить оружие и согласиться с Броглио, что забавное происшествие может иногда породить самую сентиментальную страницу.

9 сентября. Лагерь под Красной Пахрой и Калугой

Беседы

Всё находит возмещение в этом мире – добро и зло, удовольствие и огорчение; это говорилось не раз до меня и будет говориться, доколе существуют счастье и горе.

Мать, потерявшая сына, – самый ужасный пример глубочайшего несчастья! – переносит в конце концов всю свою нежность на оставшееся дитя. Освободившись от заблуждений, коих она не замечала, пока была счастлива, она сосредоточивает всю любовь, все заботы на дитяти, коего небо ей сохранило, и в самой скорби своей благословляет божественное милосердие, не оставившее ее без утешения.

После сдачи Москвы я был очень несчастен. Лишась всего, не имея ни где спрятаться от непогоды, ни чем укрыться, оставшись без всяких запасов, я оказался в положении солдата и даже в гораздо худшем, потому что у меня не было ни начальников, которые бы заботились обо мне, ни необходимых пожитков за спиной.

Родительская заботливость спасла меня. Батюшка[92] помог мне, сколько можно было, – и вот у меня теперь великолепная палатка, хорошее одеяло, я хорошо одет. А главное – я имел счастье получить всё это из рук любимого отца. Когда батюшка давал мне все сии вещи, я думал о том, чего мне еще недостает, и вспомнил про образок, который носил в своей дорожной суме и собирался хранить так бережно. По совести говоря, он не имел для меня особой цены: я нашёл его совершенно случайно. Правда, он охранял, наверное, покой невинности, перед ним возносились молитвы моих соотечественников; но соотечественники эти мне были незнакомы, и я почитал его, лишь поскольку я почитаю всякое изображение божества. В ту минуту, как я сожалел об этой утрате, батюшка достал из своего бумажника образок, коим его благословила мать, и подал мне, советуя всегда носить его при себе.

В порыве чувства я бросился к ногам обожаемого отца и, поцеловав его руки, почтительно принял из них эту священную эгиду, залог счастья, обеспеченного родительской заботливостью, – и казался себе богаче, чем когда-либо.

Вот я и получил возмещение за все утраты и больше не жалею о пропавшем образке, а буду молиться перед батюшкиным – за его благополучие и покой, которые моя привязанность, всё возрастающая от его благодеяний, хотела бы сделать беспредельными.

11 сентября. Лагерь в одной версте позади прежнего
Всё забывается со временем

Сочинитель, дабы запечатлеть свою мысль, нередко выбирает тему, коя не представляет для него никаких трудностей. И меня можно было бы теперь обвинить в том, если бы я писал с иной целью; но я хочу лишь приготовить себе на будущее счастливые минуты и удерживаю в памяти поразившие меня мысли для того, чтобы обдумать их впоследствии.

Разве мог я, стоя у врат Москвы, свыкнуться с мыслью, что она будет сдана без боя, предана пламени, оставлена на поругание неприятелю, который осквернит ее храмы, ее святыни? А теперь меня уже занимают новые замыслы, увлекают новые надежды, предо мною раскрылась светлая будущность, и я не сожалею более о своих утратах. Но если опять, даже победителем, я окажусь в древних стенах этого великого града и увижу следы разрушений и пожара, сердце мое, я знаю, станут терзать неодолимые укоры совести.

Почтенные старцы, поседелые под латами, благородные мужи, заставившие весь свет уважать себя, я мог бы говорить о вас, упрекая людей в неблагодарности и несправедливости. Но если ваши заслуги могли быть преданы забвению – значит забвение вообще свойственно человеческой природе.

Горести, наслаждения – всё проходит, всё забывается, и дар памяти, часто благодетельный, становится иногда несчастьем для людей.

Жители столицы! Вам придется теперь пережить то же, что переживали мы. Воспрянув духом при Бородинской победе, вы вновь потеряли бодрость, узнав о нашем отступлении, но другие наши победы заставят вас ещё не раз поднять голову, а ваши надежды возродиться.

Несколько дней назад я мог видеться с батюшкой, сколько хотел; наслаждаясь счастьем быть вместе с ним без жадности и торопливости, я не тревожился о будущем, словно это счастье могло продолжаться всю жизнь. Теперь батюшки уже нет здесь, я его не вижу более – и всё позабыл, даже то блаженство, которое испытывал, находясь подле него. Словно я и не видел его с тех пор, как оставил Петербург, и только вспоминал о его заботливости и любви ко мне…

Нет, дорогой отец, будь уверен, что хотя всё забывается, но твоя нежность, твоя доброта, твои достоинства, все высокие качества, присущие тебе, навсегда запечатлены в моем сердце.

12 сен[тября]

Главнокомандующий

Я всегда жалел людей, облечённых верховной властью. Уже в 14 лет я перестал мечтать о том, чтобы стать государем; теперь я

даже страшусь высокой власти. Обязанность прислушиваться к желаниям тысяч людей, придерживающихся самых различных мнений, угождать всему свету, когда никто на всем свете не мыслит одинаково, кажется мне отнюдь не легкой.

Юности свойственно вполне достойное, но осуществимое только в мечтах желание – быть всем приятным. И я часто ломал себе голову, раздумывая над тем, как бы мог главнокомандующий поступить в ту или иную минуту, дабы удовлетворить всем пожеланиям. Как я ни старался, ничего не получалось, и мне пришлось признать неисполнимость своих предположений.

Мы потеряли Смоленск и Дорогобуж, Светлейший прибыл к армии, сопровождаемый благими пожеланиями всей империи. Но тут же возникли новые сговоры, стали образовываться новые партии. Только что его хвалили за победу при Бородине, а назавтра стали упрекать за нерешительность. После сдачи Москвы его обвиняли в слабости, равной предательству, а несколько дней спустя те же, кто обвинял, стали находить ему оправдание. Недавний смертельный – без причины – враг теперь хвалит его, потому что светлейший мимоходом бросил ему любезное слово; восторженный сторонник становится его врагом, потому что светлейший прошел мимо, не поздоровавшись. Предатели всем известны, на них указывают пальцами, и никто не смеет их разоблачить; все восхищаются про себя хорошими генералами, и никто не смеет похвалить их; наши успехи преуменьшаются, наши потери преувеличиваются.

Не доверяйтесь восторгу сочинителей, вы, кто станет читать о великих полководцах, не верьте в мнимое величие этих людей; они были такими же смертными, как мы все.

Светлейший, может быть, чересчур был склонен угождать желаниям, ему высказываемым; чересчур доверял мнениям тех, кто его окружал, чересчур боялся рисковать, был чрезмерно нерешителен, опасаясь обвинений, и чрезмерно осторожен, боясь обмануть наше доверие. Теперь он обещает нам верную победу, но она обойдётся слишком дорого…

Что до меня, я не допущу себя следовать за теми, кто знает только порицания либо восторги, и если я в свои годы позволю себе судить о начальнике, то лишь тогда, когда действия его будут завершены и я сумею проверить свои предположения, а не основывать их на предпосылках, быть может, ошибочных.

14 сентября. Новый лагерь фронтом направо
Продолжение «Путешествий Гулливера»

Я только что дочитал интересные «Путешествия Гулливера»[93]. Нечего говорить о том, какое удовольствие я

испытал. Существует, однако, на свете страна, которая может помочь писателю, страдающему недостатком воображения, и ему даже не потребуется прибегать к примеси чудесного – настолько причудливы нравы ее обитателей.

Тысячи мужчин собрались вместе, разделились на отряды, подчиненные одному человеку, исключили из своего общества детей и стариков, изгнали женщин и, хотя они богаты и положение их различно, все живут одинаково.

Оставив свои дворцы и владения и все удобства европейской цивилизации, они поселились под соломенной или полотняной кровлей; из всех средств передвижения оставили себе только верховых лошадей, отказались от всех наслаждений стола, от всех радостей сердца и, тоскуя по городским удовольствиям, твердо решили всё же не покидать своего сообщества; они без конца предаются воспоминаниям о наслаждениях света – и всё более от него удаляются; собираются в кружок, чтобы поговорить о радостях хорошего стола, – а сами часто вынуждены голодать.

Унылое однообразие их занятий, одежды, пищи мало соответствует их тщеславию и честолюбию.

Старейшины их – всегда с нахмуренным челом, мрачным и строгим взором – редко появляются среди прочих. Когда же они выходят, их окружают болтливые и угодливые существа, которые вертятся вокруг них и требуют вознаграждения, всегда находя его ниже своих заслуг.

Все остальные делятся на два неравных класса: один, очень малочисленный, командует другим, наблюдает за ним, заботится о его прокормлении и благонравии и следит, чтобы он соблюдал порядок. Класс подчиняющихся не обременен никакими заботами, и, может быть, это наилучшее положение для людей, кои по своему рождению не имеют ни средств для преуспеяния, ни просвещённости, ни честолюбия и хотят лишь одного – быть полезными, выполняя то, что им предназначено.

Класс командующих несравненно суетней. Хотя все они родом из одной страны, среди них встречаются всякие натуры и характеры. Но как бы ни были различны их мнения, какую бы ненависть ни питали они друг к другу, им приходится жить совместно. Одни стремятся занять место среди старейшин, другие, уподобляясь в своем поведении женщинам, только и мечтают о том, чтобы блистать в своем кругу, угождать и забавлять. Третьи, более уморенные и благоразумные, вынуждены неустанно сдерживать честолюбие первых и легкомыслие вторых. Каких только характеров не встретишь здесь!

Я не собираюсь выступать в роли писателя, я лишь намечаю основные черты произведения, которое могло бы принести славу

своему создателю. И если бы кто решился возражать автору такой книги, обвинять его во лжи, достаточно было бы привести сомневающихся в первую попавшуюся армию, чтобы в любом военном лагере найти подобные лица.

В самом деле, когда я думаю о жизни, которую веду уже восемь месяцев, которую мне предстоит вести, может быть, годы, и сравниваю ее с жизнью моих братьев и с тем, как я жил бы, если бы воля одного человека не изменила ход событий, – я готов ужаснуться страшному различию.

До сих пор я участвовал только в одном сражении, то есть занимался своим ремеслом лишь 14 часов[94]. А всё остальное время я вздыхал по удовольствиям чудесного мира, украшенного прелестным полом, оживленного его остроумием и очарованием.

Товарищи достаточно хорошо относятся ко мне и всегда готовы провести со мной часть дня; но, придумывая искусственные развлечения, чтобы заглушить тоску, истощая все запасы напускного веселья, притворной любезности, – разве я могу закрывать глаза на то, что потерял, оставив столицу, разве могу не сожалеть об этом?

Когда, устав от однообразия наших бесед, я решаюсь, презрев высокий рост обоих моих Трубецких и усы Поля[95], переделать их имена на женские и подать этим повод к шуткам, которые кажутся мне довольно остроумными; когда, например, на обратном пути из бани я развлекаюсь тем, что эскортирую их, словно нуждающихся в защите прекрасных дам – героинь романа, – что не являетесь вы мне, сияя своей прелестью, дабы упрекнуть меня в оскорбительном святотатстве?

Как же нам жить вдали от вас, кого мы, неблагодарные невежи, называем слабым полом? Ведь вы придаете очарование нашей жизни, украшаете всякое собрание и освящаете все радости сердца и духа. Я живу и буду жить в надежде когда-нибудь припасть к вашим стопам и молить о сладостных оковах.

15 сентября

Зимние квартиры

Небо хмурится. Мы прошли сегодня утром восемь верст по Калужской дороге. Утро такое холодное, что, видно, лету уже пришёл конец.

Когда началась моя бивачная жизнь, я не мог себе представить, как буду спасаться от дождя. Легкий ветерок казался мне бурей, и небольшое облачко на горизонте предвещало неизбежное посещение лекаря. Теперь я не боюсь даже самой суровой зимы, и когда мне грозит утрата многих удовольствий, я надеюсь найти новые. Меня влечет к себе уютный уголок в тесной

палатке, у искусно сложенного за четверть часа очага, обед при свечах, среди снега и льда… Признаться ли? Я предпочту это унылой скуке зимних квартир…

Но прежде всего следует думать о солдатах; ради них я охотно пожертвую всеми своими удовольствиями. Я всегда забочусь об их благополучии прежде, чем об осуществлении своих желаний. Сам я предпочитаю бивачную жизнь. Я никогда не скучал ни в Питкунах, ни в Комае, ни где бы то ни было, оказавшись в одиночестве. Правда, там были Кирилл[96] и его семейство, солнце согревало землю, ощущалось уже благовонное дыхание весны. Находясь среди счастливых людей, предаваясь приятным воспоминаниям, волнуемый надеждой, вдохновляемый радостными и милыми образами, я делил время между занятиями и прогулкой. Бредя куда глаза глядят среди плодородных полей, я наблюдал, как тающие снега проливаются бурными ручьями, как пробиваются в бороздах зеленые ростки. Там, разделяя труды Кирилла или посещая могилы его предков, устремляясь взором вдаль, я давал полную волю своему воображению. Возвратившись в дом, я запечатлевал пережитые наслаждения в новых рисунках, открывал книги и перечитывал любимые места. Приходил Дамас или я шел к нему, и день всегда казался мне слишком коротким. Боясь потерять хоть минуту, я вставал с солнцем и встречал своих добрых хозяев. Они рассказывали мне о своих соседях, я принимал участие в их раздорах, тешил себя надеждой, что способствую их счастью; я знал, что время летит, но не замечал его однообразного движения. А теперь чем заменю я все те радости?

Меня поселят в русской деревне. Но в деревне опустелой, брошенной, разрушенной; я увижу раскрытые кровли, развалённые дома – печальные следы войны. Я буду один в чёрной избе, никто не поможет мне устроиться удобнее, никто не придет побеседовать со мной. Изо дня в день я буду следить, как снег всё глубже покрывает поля, и зрелище тоскующей природы усугубит мрачность моих мыслей. Не имея, чем развлечься ни в доме, ни среди природы, я буду проводить тоскливые дни у окна, скрестив уныло руки и взглядывая время от времени на часы, как бы стремясь приблизить заход солнца. Я буду совсем один, и если в моей деревне появится живая душа, это будет, вероятно, обездоленный крестьянин, с трудом узнающий разоренное жилище своих отцов, или осиротелая мать, в слезах разыскивающая своих детей, или мужественный воин, потерявший ногу на службе отечеству и едва доковылявший сюда по снегу…

Нет, не хочу больше об этом думать – эти мысли чересчур

мрачны, а мое воображение слишком охотно идет им навстречу, закрою тетрадь, дабы не предаться окончательно грусти.

18 сентября
Праздник султана

Не познавши скуки, не узнаешь и веселья; своими удовольствиями мы нередко обязаны скуке.

Мы сидим одни в своих палатках, и однообразие наших разговоров и шуток заставило нас искать новых развлечений. И вот важный вид Жоаша[97] и его отношение к нам навели нас на мысль представить султана с его любимой султаншей. Женственный Поль превратился в султаншу, непреодолимая застенчивость Сергея[98] заставила нас сделать из него черного евнуха, строгие и робкие «красивые глаза»[99] получили прозвище Монталамбера, и, занявшись этими переименованиями, мы нашли новый источник забав. Вчера, например, мы устроили праздник султана. Он обедал у своей любимой султанши, палатка была украшена его вензелем.

«Красивые глаза» и Анненков пришли к нам в 9 часов утра. Мы завтракали и обедали вместе и расстались только в 10 часов вечера. Мы так дружны, что нам ни на минуту не хотелось покинуть палатку. Музыка сменялась чтением, мы беседовали, потом Анненков декламировал стихи, Поль вспомнил какой-то музыкальный отрывок; одно занятие следовало за другим, не утомляя и не надоедая, – и так, даже на биваке, мы провели чудесный день. Вот уже пять суток, как мы стоим на месте, но сейчас получен приказ готовиться к выступлению. Говорят об атаках и сражениях; я молюсь об отечестве и о том, дабы нам поручено было достойное дело.

19 с [ентября]
13 верстами ближе к Калуге
Лагерь в [селе] Спас-Купля

Сегодня утром мы прошли 13 верст в отвратительную погоду, дождь и сейчас льёт как из ведра. Вообще, погода уже давно мешает нам, и, хотя по-настоящему ещё не похолодало, она весьма препятствует военным действиям и передвижениям. Грязь ужасная; солдатам, промокшим на марше, приходится спать в воде – дождь просачивается сквозь солому, которой они укрываются. Если б я мог разделить с ними удобства, коими пользуюсь!

Дождь не перестает, земля превратилась в сплошное болото, но моя палатка защищает меня от воды и ветра, толстое сукно не пропускает холодного воздуха, простой и удобный камелек

согревает и очищает воздух, подсушивает землю под моей постелью. Здесь я укрыт от всего, и чего же мне ещё желать? Я ненавижу излишества и роскошь. Богатые дома приятны мне лишь тем, что сулят отдохновение и удовольствия. Но теперь, когда долг вынуждает меня оставаться здесь, а мои вкусы побуждают никуда не ходить (я не люблю бродить из палатки в палатку), когда мне приходится прогонять от себя все желания и наслаждаться лишь воспоминаниями, – разве не довольно мне палатки, хорошо поставленной, достаточно просторной, в коей я могу, уютно растянувшись у огня, мысленно переживать прежние удовольствия?

Мне жаль людей с холодной душой, которым нужен внешний повод, чтобы возбудить воображение. Мне жаль тех, чьё воображение обуздывают цепи, сковывающие тело.

Когда, например, я переношусь мыслью к вам, очаровательная А…[100], разве могут самые роскошные палаты сравниться с прелестью вашего будуара? И разве меняются мои чувства от того, моя ли палатка или какой-нибудь дворец превращаются пред моим мысленным взором в это святилище граций? Облако, нисходящее на меня от твоего небесного образа, скрывает все окружающее: я возле тебя, я вижу тебя, говорю с тобою…

Проклятая капля дождя, зачем ты прервала мои мечты? Проклятая капля, случайно упавшая на меня, – ты погубила мою радость! Вот чего стоят все наслаждения человеческие – ничтожная малость прерывает их и губит. Только что я был на вершине блаженства, и вот в одно мгновение скатившаяся капля вновь повергла меня в тоску. Проклятая капля! Зачем ты не помедлила хоть немного?..

22 сентября. Лагерь в Тарутине, за Нарой

Всё одно и то же

Всё одно и то же, скажете вы, опять восхваление лагерной жизни. Но отчего же не хвалить то, что доставляет мне тысячи наслаждений, и почему не умножить их, вновь переживая их мысленно?

В начале похода, совершенно неопытный, я терял попусту часы, столь драгоценные в нашей быстротечной жизни; теперь же, когда я почти всего лишился, всякое мгновение приносит мне радость.

Мы отступили ещё на 15 верст, дабы сохранить за собой позицию, надёжную во всех отношениях. Едва мы стали лагерем, как мой уютный уголок был готов, мы собрались вместе и провели без скуки остаток дня – позавчера, как вчера, как обычно.

У Сергея теперь будет своя палатка, я останусь один; вот когда мне будет совсем хорошо! Что поделаешь, я люблю уединение; как бы весело мне ни было с друзьями, я предпочитаю предоставить воображению выбор своих собеседников. Я люблю размышлять, возвращаться мыслью к прошлому, предаваться мечтам – ведь так приятно переноситься душой в дорогие края, так радостно подчинять себе движение крыльев времени, понуждая его возвращаться вспять, и в счастливых воспоминаниях черпать новые силы.

Если мне суждено вернуться в столицу, то, радуясь счастью быть среди друзей, радуясь приветам, поздравлениям, ласкам, которые посыплются на меня, я не раз, наверно, вспомню бивачную жизнь; украшенная исполнением долга и людьми, разделявшими ее со мной, она всегда будет мне мила. Вы, верно, станете смеяться этому – да, конечно, вы посмеётесь! – среди ваших роскошных садов я осмелюсь поставить свою скромную палатку и, устроившись в ней по-походному, буду больше наслаждаться воспоминаниями, чем вы в ваших раззолоченных палатах.

26 сентября

Неопределённость

Я всегда ненавидел неопределённость в своей судьбе. Когда приходилось ожидать какого-либо события, я не мог продолжать обычных занятий. Мне всегда хотелось знать заранее, как будет распределено мое время. Уже третий день в наш лагерь непрерывно прибывают парламентеры. Идут разговоры о мире[101]; орудий более не слышно; в лагере раздаются песни, играет музыка, прогуливаются любопытные; прекрасная погода и желание лучше ознакомиться с позицией побуждают нас разъезжать верхом по окрестностям. Все исполнено оживления, всё дышит весельем, я сам отдался хорошему настроению… Но когда мне говорят о мире и я задумываюсь над тем, какие же преимущества можно извлечь из этой длительной кампании, и вижу, что мир, заключенный теперь, унизит наше могущество, что переговоры сии весьма выгодны для неприятеля, поелику обеспечивают ему выигрыш во времени, что он может нас обмануть, – тогда меня охватывает тоска, а сознание неопределённости, неуверенность в ходе событий и опасения предательства отнимают у меня всякую радость. Наконец, сегодня все это кончилось! Мы вновь берёмся за оружие, и хорошее настроение возвращается ко мне.

27 сентября

Добрый малый[102]

В нашей жизни так перемешаны огорчения и радости, добро и зло, что мы не можем полностью наслаждаться ею. Более того, мы сами по собственной вине отягощаем её по-разному; например, оковами предрассудков, боязнью чужого мнения, на которое мы всё время оглядываемся и которое парализует наши душевные порывы и замораживает весёлость. Добродетельный, честный, достойный человек не нравится нам, если он чем-либо подает повод к насмешкам. Он горбат, например, и вы избегаете его. Вы можете глубоко уважать его, восхищаться в глубине души силой его характера, постоянством его привязанностей, но стесняетесь объявить себя перед светом его другом, боитесь показаться смешным из-за своей близости к нему. А вот человек, легкомыслие которого вам хорошо известно, который, как вы знаете, замаран многими бесчестными поступками, который втайне отвратителен вам и не может нравиться, поелику нисколько не стремится заслужить уважение… И всё же он оказывается вашим приятелем, и вы не решаетесь высказаться вслух против него – всё потому, что его называют «добрым малым».

Как я ненавижу это прозвище, сколько недостатков оно покрывает!

Человек вызывает презрение, но он – «добрый малый»; человек глуп, зол, скуп, порочен, но он – «добрый малый», этим все сказано, его терпят в обществе.

Сколько я видал молодых людей, которые, погнавшись за этим ложным титулом, прощали себе всякие проступки, позволяли развиваться в себе порокам, закрывали глаза на многие недостатки, растущие с каждым часом, – и всё потому, что не жалели труда, лишь бы заслужить у окружающих обманчивую кличку «доброго малого».

Есть вещи, противные разуму; среди них я числю понятие «доброго малого». Если при мне так называют молодого человека, он сразу падает в моём мнении. Как унизительно быть в обществе только терпимым, как позорно напрашиваться на такую холодную и двусмысленную похвалу!

Молодые люди, вступающие в свет, мне жаль вас. Я разделяю ваше смятение, вы долго не решаетесь преступить границы этого необъятного ристалища, робко раздумываете, какую роль могли бы сыграть там. Свойственная молодости неопытность, неуверенность в своих силах, нерешительность перед выбором, который вам предстоит, недоумение перед смущающим вас неравенством заставляет вас искать золотой середины, пытаться заслужить всеобщее одобрение, избегая дружбы одних, опасаясь

ненависти других, а по сути дела, домогаться лишь того, чтобы стать «добрым малым» в глазах света.

Но зачем так спешить? Остановитесь, помедлите мгновение у входа, всмотритесь в тех, кто оттуда возвращается, следуйте за самыми разумными, стремитесь более заслужить уважение, чем одобрение; чуждайтесь близости с некоторыми людьми, но не избегайте их: умейте отстранить от себя ненависть, не пренебрегая ею, и старайтесь лучше заслужить – пусть после долгого ожидания – звание доброго, честного и порядочного человека, чем сравнительно легко достающееся, но лишенное нравственного достоинства пустое звание «доброго малого». Если вас так прозвали – значит, от вас уже ничего не ждут, на вас смотрят просто как на удобную вещь, нечто пригодное для развлечения; но если вас признали честным и добродетельным – сколько бы вам это признание ни стоило, – вы можете рассчитывать на всеобщее уважение и будете столь же нужны и полезны обществу, сколь бесполезны для него «добрые малые».

Тарутинский лагерь.
Рисунок А. В. Чичерина. Военный дневник. 1812–1813 гг.

3 [октября] (В оригинале ошибочно 3 сентября)

Теперь, когда мы столь долго стоим на месте и у всех было время наговориться, каких только предположений не вызвала неподвижность событий, каким только неразумным суждениям не подало повода наше бездействие! Я столько наслушался разных

мнений, смутных слухов, что не знаю уж, кому и чему верить.

Когда, судя по всем сведениям, неприятель терпит страшный недостаток в продовольствии и в фураже, а наши запасы растут изо дня в день, – как же можно думать, что мы боимся нападать? С другой стороны, каковы же силы неприятеля? Почему, терпя во всем недостаток, задержанный холодами в пустынной местности, где силы его тают все более, он не решается одним дерзким ударом решить свою участь?

Зима уже совсем близка. Теперь тщетно было бы ожидать больших маневров: недели через две снег покроет поля и затруднит передвижение армии.

Возможно, мы уйдем на зимние квартиры; это заранее пугает меня. Я предпочел бы остаться здесь, в своей палатке, в окружении друзей, чем оказаться в отдалении от них, разбросанных по разным селениям. С тех пор как мы выступили в поход, дни, проведенные здесь, были самыми приятными. Друзья собираются вокруг меня в моей удобной и уютной палатке. Мы вместе отдыхаем, читаем, развлекаемся, все сообща, и сутки так заполнены, что я едва нахожу минуту для беседы с моим другом-дневником; дни следуют один за другим, не сливаясь и не повторяясь, и каждое мгновение кажется драгоценным.

Меня могут обвинить в непостоянстве: эта тетрадь заполняется медленнее, чем прежняя, в ней меньше подробностей.

Ах, к несчастью, сравнение невозможно – разве только она попадет в те же руки, которые перелистывали предыдущую[103]. Вернись она, да еще мои краски ко мне, – насколько я был бы счастливее! Одна мысль о том, что какой-нибудь равнодушный и бесчувственный человек станет читать мои записи, отнимает у меня всякое желание изливать в дневнике задушевные мысли.

7 октября

Как все, я жаловался на наше бездействие. Как все, я не мог удержаться от сравнения отличного состояния нашей армии с тем, что мы узнавали о французской от перебежчиков и пленных; я терялся в предположениях и не мог понять, почему мы словно робеем неприятеля.

Наконец, вечером 5-го числа вся армия выступила в поход. Причины, мне неизвестные или слишком позорящие наших генералов, помешали совершить это ранее. Мы перешли Нару. Французы стояли в пяти верстах от реки. Десять кавалерийских полков атаковали их с тыла, а Багговут – с левого фланга; панический ужас овладел неприятельскими войсками, они побросали весь свой обоз; канавы забиты различными экипажами,

овраги и кусты завалены снарядными ящиками и лазаретным снаряжением. Захвачено 33 орудия и множество пленных. До самой ночи мы преследовали бегущих в беспорядке, а затем наша армия немедля вернулась на свои позиции.

Мы находились все время в пяти верстах от огня. Сражение ни разу не достигло такого напряжения, чтобы можно было опасаться за его исход. Французов было навряд ли более 75 тыс. Можно, пожалуй, сказать, что наши 100 тыс. человек были способны на большее, что атаки были плохо согласованы, корпуса подходили с опозданием, что за блестящим началом не последовало подобающего продолжения, но все эти обвинения я могу обернуть в нашу защиту.

Мы стоим теперь там же, где стояли раньше, наши потери весьма невелики (только генерал Багговут был поражен пулей), время нами использовано не так уж плохо, а главное – дух наших солдат поднялся от сего удачного нападения; неприятельская же армия, должно быть, пришла в полнейшее расстройство. Пользоваться артиллерией французы уже почти не смогут. И – что всего важнее – их солдаты, привыкшие к тому, что мы отступаем, теперь так поражены неистовством нашего нападения, в такой ужас пришли от ярости, увлекавшей вперед наших храбрецов во время атаки, что теперь дух неприятельских войск, надо думать, совершенно упал.

10 октября

Великий спор

Я всегда очень любил споры. Не те, что возникают по пустякам, вызывая ссоры и досаду, но посвященные философским вопросам и способствующие размышлению.

Сколько раз я рисковал вызвать неудовольствие моей божественной графини[104], стремясь позаимствоваться ее мудростью; сколько наслаждений я испытал, записывая беседы, которые она прелестью своего остроумия и силой своего разума умела делать такими интересными.

С тех пор как мы выступили в поход, я лишился этого наслаждения. Дамас, мой добрый и верный советчик, готов был бы пойти иногда навстречу моим вкусам, но нелепая необщительность бивачной жизни, шум и сутолока лагеря мешали беседовать. Если интересная тема и увлекала нас в длительный разговор, обычно какой-нибудь несвоевременный визит прерывал его, и Жоаш, привыкший в обществе молодых людей к рассеянию, а не собиранию мыслей, не поддерживал нас. Вчера он получил приказание отправиться к партизанам; мы с Полем остались вдвоем и сначала ощущали неприятную пустоту.

«Вот каков человек, – сказал я, – привычка в нём сильнее чувства. Недолгое отсутствие нашего ментора никак не повлияло на наши чувства, но нарушило наши привычки, вызвав то ощущение пустоты, которое вы испытываете».

Мы собрались было начать большой спор, как приехал Сергей. Целый час мы смеялись и шутили. Сергея смешил Орлов, потом другие гости; вечер прошел так же оживленно, как всегда. Наконец, часам к десяти палатка моя опустела, остались только Анненков и мы с Полем.

Я всегда восхищался последовательностью мышления и всегда упрекал себя в неумении сохранять её, не отвлекаясь, не позволяя воображению подставлять вновь приходящие в голову мысли и уводить меня в сторону от предмета разговора.

Целый вечер в спорах – тут есть что записать! Сначала мы говорили об А.Г.[105], о его положении и положении его брата, потом о Николае[106] – о его образовании, о превратностях жизни в светском обществе, об опасностях и западнях, которые нам угрожают, и о том, как предохранить себя от них; обо всем этом мы были одинаковых мыслей.

– Как слаб человек, – сказал Анненков, – как страсти господствуют над его разумом! Сегодня вы склонны прислушиваться к доводам рассудка – и счастливы, но вскоре те самые страсти, которые вы недавно подавили, опять увлекают вас, вы вновь поддаетесь слабости, прощаете себе свои недостатки, потворствуете им, ищете обманчивых удовольствий – пока, наконец, новый порыв не заставит вас обратиться к разуму, чтобы через некоторое время опять изменить ему.

– Вот, – ответил я, – самая большая опасность, таящаяся в современном обществе. Все молодые люди, составляющие его, по своей натуре похожи на нас. Исключая немногих, кого пятнают ужасные пороки или украшают высокие добродетели, у всех вы найдете доброе сердце, честные стремления, но у каждого они прикрыты личиной, расписанной разными красками – смотря по тому, чем бы ему хотелось быть в глазах общества. Молодой человек, вступающий в свет, не старается освободиться от этой личины – наоборот, он спешит натянуть ее покрепче, охотно уподобляясь тем, кто его опередил в свете. Если бы он мог мелкие триумфы тщеславия принести в жертву прочному наслаждению чистой совестью, он был бы, несомненно, гораздо счастливее.

Но разве светская любезность не источник всех пороков? Разве не в обществе, которое должно было бы отшлифовать мой характер, придать ему ровность и дружелюбие, освободить от мизантропической угрюмости, вызванной дурным знанием людей, разве не в обществе я приобрел порок лживости? Как я

старался придумывать небылицы, чтобы повредить такому-то за то, что он имел больше прав, чем я, чтобы привлечь на свою сторону мнение общества, чтобы успешнее заронить в невинное сердце отраву любезности! Разве не приходилось мне двадцать раз краснеть при мысли о низких средствах, к коим я прибегал, чтобы приблизиться к женщине? Разве не решал я сто раз отказаться от удовольствия нравиться и увлекать, дабы не давать пищу отвратительному пороку лживости, и разве из угождения своему тщеславию я стократно не отступал от решения исправиться?

– Вот почему следует удалиться от света, – сказал, входя, Якушкин.

Мы с Анненковым по внезапному движению чувства сразу соединились против него. Дело в том, что он молод, но слишком рассудителен для своего возраста и настолько сумел освободить свой дух от всех принятых в обществе предрассудков, что теперь получил большую склонность к мизантропии, а сие может сделать его совершенно бесполезным государству человеком. Он уже несколько раз начинал споры на ту же тему, и я охотно вступал в них, надеясь переубедить его.

– Вы пришли, – сказал я ему, – с уже известным нам мнением, но оно допускает двоякое истолкование, и я найду два способа его опровергнуть. Во-первых, мы говорили сейчас о большом свете, о гостиных, и если я изобразил вам опасности, которые нас там поджидают, то указал также, как их можно избежать. Когда мне удавалось страшиться со своим самолюбием, я приходил в собрание как зритель и, скрестив руки, развлекался зрелищем проходящих предо мной масок. Там я научился понимать человека, видеть все его хитрости, наблюдать, как он сгибается под давлением предрассудков и обстоятельств.

– Так, значит, – сказал Якушкин, – вы там не развлекаетесь, вы не получаете никакого удовольствия, а только ищете пользы.

– А где же можно найти удовольствие и счастье?.. В деревне, удалившись от света? Но и туда за вами последуют ваши страсти, а в ваших соседях, в семье, в домочадцах вы найдете в малом виде ту же картину, какую видите в свете. Конечно, имея возможность действовать свободно, вы будете питать свою гордость, уподобляясь всем, кто господствовать, но разве сие достойно разумного человека, не проявление ли это скорее чрезмерного самолюбия?.. Вы не сумеете ни обойтись без несправедливости в своем доме, ни избавиться от скуки и по-прежнему будете бессильным свидетелем всяческой неправды, творимой в этом мире, оставаясь совершенно бесполезным для своих ближних.

Если же вы говорите не о свете, но о человеческом обществе, об общественном договоре, то уже тем самым вы признаете, что человек рожден, дабы жить среди себе подобных. Ведь об этом свидетельствует его естественная склонность учиться у других, пользоваться их помощью; а когда это ему уже не будет нужно, не должен ли он сам стараться быть полезным тем, кому может?

А вы, получив образование, неужели окажетесь столь себялюбивы, что не захотите возместить полученное? Разве такая неблагодарность обеспечит вам счастье?..

Вы говорите, что можете найти счастье только в деревне, делая людей счастливыми. А разве другие поприща, которые перед нами открываются, ничего нам не обещают?.. Ведь каждая ступень, на которую поднимаешься, позволяет дать счастье еще одному разряду людей, каждый шаг вперед делает нас более полезными всей земле и помогает заслужить всеобщее благословение.

Конечно, всякое величие – вещь пустая. Разумный человек, о котором вы все время твердите, не может считать разумной власть, подчиняющую его государю, такому же человеку, как он сам, или генералу – тысяче разных начальников, которые выше его чином, но равны ему по человеческому праву.

Но разве не для того небо дало нам способности, чтобы мы могли, получая образование, развить их и расширить?

Ведь все находит возмещение в этом мире: добро и зло, разум и страсти, совесть и пороки; так не лучше ли с риском для себя пройти через бездны, чтобы творить добро, чем, испугавшись опасностей, остановиться в пути, перестать приносить пользу?

Что такое наша жизнь? Она полна превратностей. Нам всем суждено служить одни другим; возвышаться и падать, гоняться за обманчивыми призраками, неустанно стремиться к счастью, хотя мы не знаем, каково оно, и никогда не сумеем достигнуть его…

– Так зачем же, – сказал Якушкин, – его искать? Не лучше ли сразу, не сопротивляясь, уступить своим склонностям?.. Стоит ли готовиться к путешествию по стране, куда не попадешь?

– Какой неподходящий пример! – воскликнули мы оба. – Разве мало ступеней между полным счастьем и его отсутствием? Разве наши желания не разнообразны? Поднявшись на одну ступень, я ведь постараюсь взойти на следующую, а осуществив это, буду стремиться все дальше.

– Но ведь на второй ступени вы не более будете счастливы, чем на первой?

– Разумеется. В настоящем счастья вообще не бывает. Едва достигнув, мы перестаем его ощущать, ибо тут же устремляемся к чему-то лучшему.

– Почему же счастье невозможно в настоящем?

– Потому, что между большими горестями и большими радостями всегда находится множество мелких, так что все мгновения нашей жизни дробятся. Я забрал у вас книгу, вы будете этим огорчены не долее, чем сколько радовались, надеясь ее иметь; вы потеряли друга, эта утрата будет вас печалить довольно долго, но всё-таки менее, чем вы радовались бы его дружбе; огорчения и радости продолжаются лишь до тех пор, пока что-нибудь их не прервет и не рассеет. Мы дольше сохраняем память о хорошем, чем о дурном, и всегда недовольны своим настоящим положением. Воображение рисует нам тысячи радостей в будущем, ибо нашим желаниям свойственно опережать настоящее. Вот почему счастья в настоящем не существует.

– Нет, оно существует для того, кто сумел победить и подавить свои страсти, кто подчиняется внушениям разума – то есть сознанию в союзе с чувством.

– Вовсе не так. Разум действует размеренно, а чувство мгновенно указывает нам путь; человек, наиболее покорный разуму, не сумеет достигнуть счастья раньше других людей.

– Но разве разум не помогает нам избегать страданий и находить радости, разве не учит он нас творить добро, а не зло?

– Нет, разум только указывает нам, где зло и где добро. Если бы он действительно руководил нами, мы непрерывно творили бы добро, но он лишь помогает нам отличать добро от зла, мы же часто увлекаемся ко злу, ибо страсти наши оказываются сильнее разума, а в конце концов именно они определяют наше поведение.

– Итак, когда обуздаешь и победишь страсти, единственным господином остается разум.

– А разве вы не видите различия между действительным совершением дурных поступков и намерением совершить их, подавлением этого намерения, уничтожением его, раскаянием в нем? Одно без другого не существует. Вы говорите, что возможно и полное счастье без страданий; объясните же мне, каково оно?.. Мы надеемся найти его на том свете, но почему мы не угадываем его? Не потому ли, что понять что бы то ни было можно только в сравнении? Вы наслаждаетесь хорошим обедом, поскольку вам приходилось есть плохие; вы радуетесь солнцу, поскольку вам приходилось страдать от холода; вы испытываете удовольствие, поскольку раньше вы испытали огорчение. Справедливые небеса даровали нам наши способности, дабы ни одна не оставалась втуне.

В чём же вы не правы в нашем споре? Вы говорили о светском обществе, а мы – об общественном договоре; вы говорили о

совершенном счастье, не умея дать ему определения; вы не признаёте никаких ступеней между этим совершенным счастьем и его отсутствием; вы надеетесь наслаждаться этим счастьем, не испытав прежде горя; вы, наконец, отказываетесь от радостей, даруемых нашими чувствами, тогда как самое сладостное на свете – это движение сердца. Ведь еще до того, как разум сумел все определить и решить, мы познаем наслаждение творить добро; неужели вы отнимете все радости у того, кто беден разумом? Почему вы не хотите признать, что для такого человека его удовольствия, какими бы ничтожными они вам ни казались, значат не менее, чем ваши для вас? Я радуюсь крестику за храбрость; генералу же, который сам придет в восторг от подобного украшения, я покажусь жалким мальчишкой лишь потому, что полученный им орден считается гораздо почетнее.

И наконец, во всём, что вы говорите, вы исходите из понятия о совершенном человеке; вы хотите, чтобы человек не упорством и длительным стремлением подымался выше, а мгновенным взлётом достигал ему неведомых вершин, кои он, конечно, не знает даже где искать. Что до меня, я могу от него требовать только, дабы он двигался вперед медленно, постепенно, без внезапности и попутно наслаждался самыми несовершенными радостями, ибо другие нам не доступны.

Мы расстались: Якушкин – продолжая упрямо твердить свое, Анненков – как обычно, рассуждая здраво, а я – упрекая себя за свою обычную слабость – за то, что слишком поддаюсь воображению, хватаюсь за все доводы, кои оно мне подставляет, и сбиваюсь из-за этого с темы спора.

12 октября. Лагерь в семи верстах от Малого Ярославца

Позавчера еще я занимался украшением нашего бивака под Тарутином: устроил печку, набил диван, дабы удобнее было спорить об истинном счастье, мысленно подобрал себе собеседников для воспоминаний о прошлых радостях, привел в порядок свое хозяйство и попытался устроить получше свой скромный уголок; приготовил даже план конюшни, позади которой должен был стоять дровяной сарай, впереди – кухня, направо – погреб (чтобы сохранять на холоде молоко и сливки). И вдруг четыре удара барабана в одно мгновение разрушили все мои планы. Прощайте, конюшня, сливки, споры, философия! Ядра, батареи, раны, слава вытеснят из моего воображения мирные картины.

Французская армия отступает к Боровску, Дохтуров уже выступил вдогонку, он будет теснить ее с тыла и, где возможно, перерезать ей дорогу.

Мы следовали позади в шести верстах, повернули вправо, прошли еще четыре версты и остановились на ночлег под открытым небом, всякую минуту ожидая приказа двигаться дальше. Однако ж наши колонны двинулись лишь в 8 часов утра. Переход был в двадцать пять верст. Подходя к Малому Ярославцу, мы услышали сильную канонаду и провели остаток дня и всю ночь в версте от города. Шесть раз французы двумя корпусами пытались его взять. В полночь канонада еще продолжалась. Наконец, ночью, потеряв от 7 до 8 тыс. человек, они отступили вправо, а мы, понеся почти такие же потери, отошли на семь верст влево. Нами захвачено одиннадцать пушек, четыреста пленных; двенадцать человек утонуло, убито много лошадей.

Сегодня вечером мы продолжаем преследовать неприятеля. Прощайте, покой и сибаритское существование; усталый, грязный, полуголодный, без постели, я всё-таки готов благословлять небо, лишь бы успехи наши продолжались.

Теперь у меня нет даже палатки. Сегодня утром светлейший в весьма учтивых выражениях попросил ее у меня, а я не так дурно воспитан, чтобы отказать. И вот я перебрался к Вадковскому, где очень неудобно; а в моей палатке укрыты судьбы Европы[107].

13 октября. Лагерь за Гончаровом в Детчине

Мы двинулись в поход только сегодня утром и прошли двадцать верст по Калужской дороге. Полагают, что мы останемся здесь и завтра. Теперь неприятель решает, когда у нас будут дневки, а когда марши. Пока что я рад отметить, что все нам благоприятствует: ночи теплые, дожди очень редки и не сильные, дорога прекрасная. Главное же – это желание победить и счастье, что наступаем наконец мы.

15 октября. Лагерь в Полотняных заводах

Вчера вечером мы вышли из Детчина и свернули с Калужской дороги направо, а сегодня утром стали лагерем у дороги, которая идет на Медынь, перед селом в 3 тыс. домов, богатым и, к счастью, не тронутым неприятелем. Возможно, мы останемся здесь на ночь, хотя говорят, что мы надобны в ином месте.

С недавнего времени похолодало, и сегодня утром, когда я вернулся в лагерь, первое, что мне бросилось в глаза, была канарейка, которую мне принесли в подарок.

«Вот поступок из тех, что совершаются так охотно и производят впечатление дружелюбия, а на самом деле бывают внушены себялюбием», – подумал я, принимая этот подарок.

«Вы нашли это бедное существо, которое какой-то жестокий бездельник, дабы доставить себе минутное наслаждение видом

освобожденного узника, выпустил из неволи, где, по крайней мере, оно жило беззаботно; вы нашли это существо измученным, с обвисшими крыльями, закоченевшим на морозе – жестокая расплата за мгновение счастья! Прежде всего приходится подумать, что с ним станет. Благодетельное тепло вашего дыхания возвращает ему жизнь, но вы не можете постоянно заботиться о нем, укрывать его от снега и холода и дать ему ту теплую атмосферу, в коей оно единственно может существовать. И вот огорченные своим бессилием что-либо сделать, более того – раздражённые, раздосадованные тем, что не можете обеспечить навсегда счастье даже канарейке, вы обратились ко мне, увлекая меня мыслью хотя на минуту быть полезным этому невинному созданию; теперь птичка у меня на руках, а ваша совесть чиста; передо мной вы доказали себя людьми благодетельными, а неизбежная гибель птички окажется только на моей совести».

В палатке было довольно тепло, канарейка вскоре ожила под моим одеялом, стала летать и порхать; я отбросил заботу о том, что делать с ней завтра, как обеспечить ее существование, и предался удовольствию минуты.

Несколько часов я проспал, а когда проснулся, то увидел, что птичка задохлась у меня в постели. «Таковы благодеяния большинства людей, – подумал я, – похваляющихся тем, что от них зависит жизнь окружающих, о коих они заботятся, лишь поскольку к этому влечет тщеславие:…Все это химеры. Человек – жалкое существо, недостойное тех…»

Если бы мне не так хотелось спать, я подробнее рассказал бы о чувствах, которые испытываю, пока же прошу вас самих припомнить приличествующие в сем случае рассуждения, а когда я проснусь, мы, может быть, запишем их.

22 октября. Лагерь в Дубровной

Вот мы и в двадцати восьми верстах от Вязьмы. Форсированные марши – не лучшее, что может быть на свете. А при движении двумя колоннами по обходным дорогам не удается делать более двадцати – тридцати верст в день, хотя выходим мы в 3 или 4 часа утра и останавливаемся лишь в 6 часов вечера.

Когда приходишь на место, измученный скукой еще больше, чем усталостью, единственным счастьем представляется растянуться и заснуть. Зато какую цену имеет это счастье в наших глазах в настоящую минуту! Чего бы мы не отдали сейчас за наслаждение лечь в хорошую постель, мягкую, тёплую, с хорошим одеялом, выпить кофе со сливками – хотя бы в 8 часов вечера, пообедать хорошенько – пусть в полночь, прервав сон ради столь необходимого подкрепления наших сил, – а все остальное время

нежиться, поворачиваясь с боку на бок, на ложе… из сена.

Да, пожалуйте к нам на бивак, пожалуйте сюда! Я приглашаю вас не для того, чтобы вы разделили наши трудности: наоборот, я был бы рад уберечь вас от этого, но для того, чтобы вы научились ценить самые малые радости.

Сегодня утром, как обычно, мы вышли ещё до рассвета. Предполагалось, что мы встретимся с неприятелем в Вязьме, но, как видно, он движется гораздо быстрее нас. Я думал уже с тоской о том, что нам придется скоро войти в местность пустынную, разоренную, разграбленную, а увидел изобильную и благоденствующую. Мы проходили через деревни, в которые неприятель не заглядывал, и через другие, где храбрые жители сумели отбиться от него, а теперь, выйдя нам навстречу, рассказывали о своих подвигах, о своём желании воевать, сообщали нам о движении французов и провожали нас благословениями.

Пока что мы дальше не движемся, пушки где-то застряли, как бывает и на больших дорогах; никаких приказаний ещё не поступало, и я пользуюсь первой минутой отдыха, чтобы продолжить записи в этом дневнике, который когда-нибудь с интересом перечитаю.

27 октября. Лагерь при деревне Белый Холм

Французы продолжают бежать, а мы после дневки под Вязьмой продолжаем двигаться форсированным маршем. Сейчас мы находимся в восьмидесяти пяти верстах от Медыни, по дороге к Ельне. Уже три дня идёт снег, и хотя я сижу пред большим костром, руки у меня совсем окоченели.

28 [октября] . Квартиры в Ельне

Квартиры – понимаете? – квартиры! Не бивак, не лагерь, а настоящие квартиры, чертог, рай! – в тестом бараке, куда мы набились так, что нельзя повернуться, но где зато тепло.

После долгой разлуки с другом так радуешься встрече, что не знаешь, с чего начать разговор. Такое же смущение я испытываю перед своим дневником, писать который мне долго мешали холод и марши. В голову приходят привычные мысли, но они кажутся новыми, предстают в новом свете, и мне опять хочется сетовать об утрате той моей тетради, проклинать французов, которые её забрали, хвалить мою палатку и бивачную жизнь, описывать досадное жужжание надоевших разговоров и утомительное стеснение, которое испытываешь в комнате, хотя и теплой, но полной людей, коих не хотелось бы видеть.

Теперь, вынужденный либо медленно двигаться на марше,

либо бездействовать, я оплакиваю положение линейного офицера, но неужели ты подумаешь, что я способен тратить время на пустые разговоры, глупую болтовню, бестолковые рассуждения? Уныло склонясь к холке моей верной Арапки, следя взглядом за идущими впереди солдатами, я стараюсь приучить себя к страшной мысли о моей бесполезности, о том, что мне придется вернуться в Петербург из такой славной кампании, не приняв в ней деятельного участия, не нанеся вреда себе подобным… Мысль ужасная, несомненно, но нет такой жестокости, какой бы не выдумали во время войны, чтобы нанести вред неприятелю. Беда тем несчастным, которые возбудили вашу жалость, добродетельные люди, паче всего, если они оказались в числе ваших неприятелей.

Я вспомнил советы Дамаса. Я знал, что мне предстоит испытание противоборствующих чувств. Ах, сколько раз я ловил себя на вспышках гнева… Сколько раз, краснея, пытался подавить их…

Когда человек остается наедине со своими мыслями, он ещё не несчастен. Я хотел бы всю жизнь иметь такие минуты, когда поневоле приходится заниматься только размышлениями.

30 октября. Квартиры в Балтутине

Человек не только не знает границ своим обязанностям, но придумывает всё новые, часто нелепые и безрассудные. Иногда одно желание противоречит другому, высказываемое теперь – высказанному раньше! Эта странная черта представляет, без сомнения, предмет, любопытный для философа, который совлечет с нее все покровы, обычно на нее накидываемые в обществе, и, рассмотрев её, среди прочих предрассудков обнаружит всю ее претенциозную и забавную ничтожность.

Уже три недели мы бездействуем в Тарутине. Наша армия укомплектовывается, кавалерия ремонтируется, – и это время отдыха и неподвижности также ускоряет окончательную гибель неприятеля. Оставив Москву, он отступает, он бежит, и нам приходится гнаться за ним по пятам. Часть его войск уже за Вязьмой – нам нужно сделать сорок верст, чтобы отрезать их. Я сгораю от нетерпения, я хотел бы придать нашей армии крылья, я охотно отказываюсь заранее от всякого отдыха. И в то же время, растянувшись на постели, я даю волю своему воображению, которое ищет предлогов продлить дневку.

Неизбежная медленность нашего движения на маршах не позволила задерживаться в Вязьме долее полудня. Мы спешно вышли на Ельню, а наш авангард – 40 тыс. – деятельно преследовал неприятеля.

Нас ставят на квартиры, и лень возвращается ко мне, мне хочется отдыхать, и я призываю на помощь сверхъестественные силы, чтобы они приостановили, хоть ненадолго, движение армии. Вечером 28-го Платов сообщил, что преследует французов по дороге на Духовщину, что он захватил 62 орудия, 3,5 тыс. пленных, двух офицеров и генерала Сансона. Охваченный восторгом, я благодарил небеса, пел, ликовал. «Вперёд, вперёд! Надо преследовать неприятеля! Надо кончать с ним как можно скорее!» – кричал я. Улёгшись, я долго не мог уснуть от радостного волнения, перебирал в уме все, что можно было бы сделать, упивался славой, как никогда прежде, гордился своим отечеством. Убаюканный радостными мыслями, незаметно я перешел наконец в объятия блаженных сновидений.

Офицер и солдаты в походе, октябрь 1812 г.
Рисунок А. В. Чичерина. Военный дневник. 1812–1813 гг.

Вы знаете, как нетерпеливо я стремился в поход, как жаловался на нашу нерешительность, а сегодня утром, когда мои желания осуществились, было назначено спешное выступление, и меня будили, я долго протирал глаза и повторял: «Как жаль, здесь было так хорошо!»

Если подумать, то можно, пожалуй, пополнить мифологию, по-иному представив отношения между Марсом и Морфеем. Один дарует нам славу, а другой покой, сей сулит блаженство, тот жалует постоянное наслаждение; и хотя они часто враждебны друг другу, воин равно зависит от покровительства обоих.

Вчера мы прошли только 25 верст, и нас – всего десять человек, дружных между собой, – поставили в большой, очень

удобной избе, где мы весьма сносно провели день и прекрасно спали ночью, пока барабан не заставил нас проснуться ныне утром.

Но и третьего дня я был доволен, а ведь нас было 30 человек в одной избе, очень низкой и тесной. Я проснулся ночью, чтобы понюхать табаку (еще одно наслаждение, о котором я когда-нибудь расскажу). Вокруг меня все спали. Только хозяйка избы что-то искала, держа в руке лучину, освещавшую всю картину, словно Морфей, охраняющий покой своих верных поклонников; может быть, это его божественное покровительство позволило мне вновь уснуть через пять минут.

31 октября. Квартиры в Лобкове

Опять новые победы. Вчера светлейший, перегоняя нас, сообщил, что взято еще 29 пушек, 3200 пленных, 130 офицеров из корпуса генерала Ожеро.

Вчера вечером мне сказали:

– Ещё одна хорошая новость: захвачено восемь орудий.

– Восемь орудий, подумаешь, – отвечал я, – на такие пустяки теперь уже не стоит обращать внимания.

И действительно, победы даются нам теперь так легко, что я не знаю даже, как оценить силы неприятеля.

Увы, чем больше мы продвигаемся вперед, тем постыднее положение нашего полка; чем быстрее уменьшаются силы неприятеля, тем бесполезнее мы становимся и тем ближе минута, когда нам придется отделиться от армии.

Сегодня у нас дневка, я стою на хорошей квартире, окружён друзьями, по всей видимости, счастлив, но жестокая тоска терзает мне сердце, и хотя в порыве досады я приписываю ее своему тщеславию, но не могу не понимать, что, в сущности, ее вызывает благородное стремление быть полезным. Ведь я охотно пожертвовал бы всеми наградами, которые могу заслужить в этой кампании, ради опыта, который мог бы приобрести, ради чести послужить своему отечеству. Но судьба враждебна всем моим желаниям; даже если они вызваны не тщеславием или непостоянством, все равно им далеко до осуществления…

2 ноября. Квартиры в Щелканове

Вчера мы прошли только 15 верст к Красному и остановились здесь, в 35 верстах от Смоленска. Прибыв сюда, мы узнали, что наш батальон назначен в охрану Главной квартиры.

Все в одной избе, солдаты в тесноте, вещи в беспорядке… Эта картина так меня пугала, что я велел заложить сани и проездил целый день. Как это всё-таки надоедает! Насколько лучше свой

уголок. Сегодня предстоит пройти еще 20 верст. Надеюсь, что на следующем ночлеге мне повезет более.

Жители этой губернии не разорены. Они добровольно все предоставили французам, устроили для них магазины фуража и продовольствия и большею частью сохранили свои дома и скот. Некоторые из нас сурово упрекали этих несчастных крестьян за то, что они хорошо приняли французов. Но разве не следует обвинять в этом скорее дворянство? Жадные и корыстные помещики остались в своих владениях, чтобы избежать полного разорения, и, волей-неволей содействуя замыслам неприятеля, открыли ему свои амбары; проливая неискренние слезы и рассуждая о патриотизме, они верности отечеству предпочли удовлетворение своего корыстолюбия[108].

Эта война закончится, без сомнения, почётно для нас. Но как возместим мы все наши потери? Благородные крестьяне из-под Юхнова[109], покинувшие свои очаги и нивы, принесшие в жертву и семьи, и спокойное существование ради чести служить отечеству, – не посмотрят ли они, когда война кончится, а они будут совершенно обездолены, с завистью на смоленских крестьян, живущих в избытке, сохранивших все, что им дорого, и благоденствующих, не зная добродетели патриотизма. Идеи свободы, распространившейся по всей стране, всеобщая нищета, полное разорение одних, честолюбие других, позорное положение, до которого дошли помещики, унизительное зрелище, которое они представляют своим крестьянам, – разве не может все это привести к тревогам и беспорядкам?.. Мои размышления, пожалуй, завели меня слишком далеко. Однако небо справедливо: оно ниспосылает заслуженные кары, и может быть, революции столь же необходимы в жизни империй, как нравственные потрясения в жизни человека… Но да избавит нас небо от беспорядков и от восстаний, да поддержит оно божественным вдохновением государя, который неустанно стремится к благу, все разумеет и предвидит и до сих пор не отделял своего счастья от счастья своих народов!

3 ноября. Главная квартира в Юрове

Вчера мы прошли 20 верст до этого села, а сегодня у нас здесь дневка. Мы хорошо размещены в чистых и теплых комнатах и не можем похвастаться тем, что испытываем все тяготы войны.

Вчера мне было поручено выбрать дома для постоя нашего батальона, который несёт караульную службу при Главной квартире. Тепло одетый, удобно растянувшись в санях, запряженных парой резвых лошадей, я проехал эти 20 верст по-барски. Но только я начал удивляться, как можно жаловаться на

усталость от кампании, как увидел группу пленных. Обмороженные, почти нагие – среди них было много раненых, брошенных на дороге, – они пытались согреться, разложив большой костер; я подумал, что, может быть, мои родные испытывают то же самое и не находится ни одной сострадательной души, которая бы им помогла… Меня охватило самое тяжелое чувство, я готов был выйти из саней – будто возможно помочь ближним, разделив их страдания…

Сердце так черствеет за время походов, что вид людей, замерзших на дороге, умирающих от холода и голода, с неперевязанными ранами, на которых заледенела кровь, почти уже не волнует. Отвернешься в сторону, вздохнешь, быть может, и ловишь малейший предлог забыть об этом скорбном и отвратительном зрелище. Только что привели новые тысячи пленных, но нам неизвестно, где сейчас находится неприятельская армия, и это меня тревожит. 2 тыс. тут, 5 тыс. там, а где основные силы французов – мы не знаем.

Мне кажется всё же, что, несмотря на нашу медлительность, эта война закончится успешно для нас. Признаюсь, будь у меня крылья, я перенёсся бы сейчас в Петербург, в одну из петербургских гостиных – в вашу гостиную, прелестная графиня[110], чтобы разделить с вами радость, которую вы должны сейчас испытывать. Ничто не кажется столь прекрасным издалека, как война. Победы, слава – всё это приводит в восторг, электризует душу. Но печальное зрелище стольких смертей смутит философа и раскроет глаза сострадательным людям.

6 ноября. Лагерь за Красным

4-го утром нас поставили на биваки. 5-го армия имела сражение, а мы разбили лагерь здесь, в пяти верстах от Красного. Вчера утром, когда началось дело, мы шли полями. Сегодня мы оказались на том же месте, в нескольких верстах от Красного. Пленных берут партиями непрестанно, они складывают оружие без боя, сами выходят сдаваться и идут к нам, не дожидаясь нападения.

Наше счастье кажется невероятным; судить можно будет только по последствиям, но до сих пор все события, без исключения, клонятся к нашему успеху.

7 ноября

11-тысячный корпус Нея сложил оружие сегодня утром. Вчера светлейший объявил нам, что после Смоленска мы захватили 157 орудий и 4 знамени. Громкое «ура» приветствовало эту славную весть, и в лагере воцарилось величайшее веселье.

9 ноября. Квартиры в Красной Слободке

Табакерка

8-го мы прошли 25 верст до Романова, а сегодня утром столько же до сей деревни. Мы опять стали на квартиры, но здесь очень тесно, мне неудобно, и, чтобы разогнать походную скуку, я езжу из селения в селение и пытаюсь развлечься, изучая нравы жителей и сравнивая их образ мыслей. Одни, ожесточённые своими несчастьями, безжалостно отказывают в гостеприимстве; другие, мучимые страхом, стараются не показываться на глаза тем, кто их освободил; третьи, наконец, заражены идеями свободы; а некоторые ещё не вышли из отупения, в которое поверг их перенесённый ужас. Но есть и такие, кто сумел сохранить спокойствие духа и чистоту нравов среди военных бурь словно нарочно для того, чтобы служить примером соседям.

Вчера, например, я зашел в одну хижину. Мы находимся уже в Могилёвской губернии; я питал предубеждение против ее жителей. И вдруг я нашел в сей хижине одного из тех мужественных воинов, которые, давно уже выйдя в отставку, теперь вернулись в армию, чтобы споспешествовать успехам нашего оружия. Его почтенный вид заставил меня забыть о его звании. Он завтракал; хозяин избы с двумя невестками ухаживал за ним.

Как я ни был предубежден, я не мог не любоваться тем, с каким уважением хозяин относится к этому, видимо, достойному и добродетельному человеку. Панютин, который был со мной, стал расспрашивать хозяина о французах. Этот крестьянин пострадал больше всех в деревне. У него оставалось на неделю только две ковриги, и казаки забрали их под видом контрибуции. Я начал смягчаться и был, пожалуй, рад окончить скорее дознание, чтобы послушать его рассказ.

Он охотно отдал хлеб, потому что это было для своих; он говорил о собственных несчастьях без ропота. Его спокойное, открытое лицо придавало еще большую красоту его речам. Не прошло и получаса, как я был совершенно очарован и вдвойне радовался предупредительности, которую он проявлял ко мне. Вся его семья казалась мне мила, в словах его я обнаружил глубокую печаль в соединении с рассудительностью. В этом почитаемом своими домочадцами старце не было ни суровости патриарха, ни развязности человека заурядного. Я провёл, наслаждаясь беседой с ним, два приятнейших часа.

В путешествиях немалое наслаждение доставляет табак. Он разгоняет черные мысли, рассеивает дурное настроение, возбуждает остроту ума, и каждая понюшка наводит на новую

мысль. В тот день я проехал вёрст 20, и, когда вошёл в избу моего старика, в табакерке у меня почти ничего не оставалось; мне захотелось понюхать, а я не мог набрать и щепотки… Внучка крестьянина, увидав мою табакерку, не могла оторвать от нее глаз, а старик вытащил свою.

– Простите, – сказал он, – что я предлагаю вам табаку из такой грубой коробки. Возьмите его как знак благожелательства, и пусть извинением моей навязчивости послужит ваша потребность в нем.

Не знаю почему, мне пришла на ум табакерка Стерна[111], и я был так поражен этой мыслью, что охотно обменял бы на тавлинку старика свою, если бы она не была подарена мне Дамасом и дорога как память. Я подумал о своем прежнем предубеждении, о достойном обхождении старика и был в отчаянии, что у меня не оказалось при себе денег, чтобы отдать их ему и оставить себе его тавлинку. Этот добрый старик совершенно пленил меня, я еле расстался с ним, желая ему всяческого счастья в ответ на его благословения.

10 ноября

Сегодня дневка. Мы в большой тесноте, я очень недоволен. Вообще, как подумаешь, от каких странных вещей зависит мое благополучие! Говоря без шуток, при всем отвращении, которое внушает мне корыстолюбие, деньги необходимы мне, дабы чувствовать себя уверенно. Даже когда они не требуются немедленно, мне надобно иметь их, чтобы вперед рассчитать свои удовольствия. И хотя по натуре своей я склонен к мотовству, но готов беречь деньги, потому что они обеспечивают спокойную, правильную жизнь и свободу действий. Я всегда замечал, что весёлость покидает меня, как только мой кошелек пустеет, и упрекал себя тогда в жадности, обвинял в мотовстве. Мне случалось даже забрасывать все занятия, все удовольствия в ожидании денег.

Сие вступление, вероятно, уже заставило вас догадаться, что в настоящую минуту я не при деньгах и это наводит на меня тоску.

Но – увы! – есть другая, гораздо более важная причина моей тоски. Неприятель бежит в беспорядке, наши армии вот-вот должны соединиться в одном пункте: присутствие нашего полка, прежде бесполезное, теперь становится прямой обузой, и мы должны вернуться в Петербург. Опять войти в темные, мрачные корпуса и в дома к своим близким, возвратиться с барабанным боем в конце блестящей кампании, решившей судьбы Европы, не приняв никакого участия в боях, почти не слышав свиста ядер.

Как же мне не везёт – все совершается наперекор моим желаниям. Страстно желать боя, мечтать, как о высшем счастье, о том, чтобы пожертвовать покоем и самой жизнью – и что же? – вернуться к мирному существованию и уныло влачить свои дни среди городских удовольствий. Рассудок говорит мне, что это эгоизм и тщеславие заставляют меня мечтать о боях и сражениях, ибо и счастье быть полезным для меня не полно без известности, без славы, что кресты и чины имеют свою долю в чувствах мужества и патриотизма. Но разве тщеславие не участвует во всех наших поступках и разве не похвально желать наград, когда они служат свидетельством мужества и отличают тех, кто оказал услуги отечеству? Чины и награды никогда не прельщали меня. Однако тщеславие ли увлекает меня видением славы или желание быть полезным электризует мою душу, но воевать мне необходимо, как дышать, и день нашего отъезда из армии будет для меня траурным днем[112].

11 ноября

Главная квартира в Романове.

12 [ноября]

Переход в 15 верст до Погульева, Главная квартира в Морозове.

13 [ноября]

Переход в 12 верст до Копыся, где мы остановились сегодня, чтобы навести мост через Днепр.

Приходится благодарить небо за божественное покровительство, потому что правительство отнюдь не стремится споспешествовать нашим победам. Уже несколько недель войска не имеют хлеба…

Мы подошли к Днепру, мост еще не наведён, начинают его наводить; он обрушивается, и армия теряет два дня, – а французы пока что от нас убегают.

14 ноября 1812 г. Данино

Новый Дон-Кихот

Богданович, уже 12 лет как вышедший в отставку, на 45-м году жизни покидает своих домочадцев, бросает без призора свои имения, оставляет всю семью в слезах и, оседлав своего верного Мавра, в сопровождении единственного слуги пускается в путь; проехав сотни деревень, испытав всяческие приключения, попавшись однажды в плен к какому-то французскому солдату, побитый палкой, ограбленный, он наконец добирается до армии,

является к начальству, и его зачисляют на службу в наш полк. Окруженный молодыми людьми, он сохраняет флегматическое, холодное безразличие среди их развлечений и веселья и почти все время проводит, уныло сидя у палатки с саблей в руках и глядя на своего Мавра; он мрачнеет, когда конь ложится, и оживляется, когда тот заржёт и поднимется. Он все время придумывает какие-то чародейские способы уничтожения французской армии; Муравьев неотступно пристаёт к нему и старается вывести его из задумчивости, но тщетно – ничто не может отвлечь его от этих мыслей. Он поклялся в смертельной ненависти к французам и стойко выносит все тяготы, мечтая лишь о битвах. Злодеи украли у него коня, и мрачная меланхолия окончательно овладела им. Он поклялся, что не поставит ноги в стремя, пока не вернется в своё имение, где у него остался еще один такой же конь; здоровье его заметно ухудшилось, он перестал разговаривать, совершал множество неразумных поступков и, наконец, наотрез отказавшись идти на Медынь (арену его первых геройских подвигов и печальных приключений), остался один позади, и больше мы о нём ничего не знаем. Может быть, бедняга погиб от холода и нужды. Как жаль, что такому любезному и приятному человеку пришлось столько пережить и что на него нападали минуты безумия, бывшие причиной всех его несчастий.

15 ноября. Главная квартира в Староселье

Сегодня мы переправились через Днепр и, пройдя восемь вёрст, заняли квартиры здесь (в деревне Борково). Я был довольно весел утром, когда мне вдруг сообщили о прибытии в армию его высочества. Великий князь слишком меня преследовал всегда, чтобы я мог этому обрадоваться; не без опасения предвижу неприятности, которые он мне может причинить.

15 [ноября]

Главная квартира в Круглом, наши квартиры в Слободе.

16 [ноября]

Сегодня после утомительного 35-вёрстного перехода квартиры в Заречье*.

* В приказах по полку деревня именуется Заозерье.

17 ноября. Квартиры в Белавичах

Нет предела благодеяниям неба, и нельзя перестать восхищаться ими; разве не должен я быть счастлив уже тем, что мне следует непрестанно возносить хвалы за блага, которых мне

столько было даровано?

Наши огорчения рассчитаны заранее в соответствии с тем удовольствием, которое нам дает их отсутствие; печали наши возмещаются радостями гораздо большими, и мгновения нашей жизни так распределены, что мы недолго остаёмся без утешений.

Вчера, когда усталый, замерзший, выбившийся из сил, проделав 35 верст в сквернейшую погоду, я вошел в грязную и переполненную избу, она показалась мне дворцом. Сегодня вхожу в комнату после 20-верстного перехода – и всё меня радует. Я устраиваю себе постель, заказываю обед, раскладываю свои бумаги, обдумываю удовольствия завтрашнего дня, – на тот случай, если мы проведём его на квартирах, – строю множество воздушных замков и совсем не вспоминаю о том, что нахожусь в походе, что испытываю множество невзгод, что я бесконечно далек от средоточия всех наслаждений и от прекрасного пола, составляющего единственное истинное счастье нашей жизни.

Только в походе познаёшь настоящую цену мелочам. Если мы не знаем здесь больших радостей, если ни слава, ни воинские успехи не могут нас заставить забыть об удовольствиях жизни в обществе, в свете, то всё же неприятности и невзгоды стократно возмещаются счастливыми мгновениями.

Случаются, конечно, в доходе и трудные и печальные минуты; ежели временами бываешь доволен сам собой, то иногда хочется проклясть свою судьбу. Но нет в жизни ничего, что могло бы сравниться с минутами отдыха, когда на досуге свободно думаешь и выбираешь себе, как захочется, свои занятия и развлечения.

Я весел и доволен, но дела наши идут вовсе не хорошо или, верней, не завершаются так, как следовало бы. Наполеон, говорят, убежал от нас; прекрасный манёвр трех армий, соединившихся, чтобы раздавить и совершенно уничтожить одну деморализованную и обессиленную армию, не удался по воле одного человека в силу несчастной привычки, кажется, им усвоенной, – задумывать блестящий маневр и не осуществлять его как раз тогда, когда успех особенно вероятен[113].

18 ноября. Дневка

Предположения

Я решил рассказать здесь о победах, про которые мы сегодня услышали, пожаловаться на интриги, царящие среди наших генералов, и только не мог придумать, как бы озаглавить мою запись; ход моих мыслей навел меня на это заглавие.

Граф Ожаровский прислал донесение, что Наполеон с 30 тыс. человек сумел уйти от нас, а прибывший сегодня курьер

подтвердил эти сведения и сообщил нам об успехах, одержанных Витгенштейном: взято 9 тыс. пленных, множество генералов, французская армия уже за Березиной, австрийцы побиты Сакеном, и наши дела в наилучшем возможном состоянии. Между этими двумя сообщениями Беннигсен уехал в Калугу. Очень вероятно, что, будучи уже давно настроен против светлейшего, он ухватился за момент, когда все наши замыслы, казалось, рушатся, чтобы бросить армию, утверждая, что невнимание к его советам навлекло на нас все несчастья.

Я давно уже так думаю, я заранее предсказывал это и предвидел даже с болью сердечной тот разлад, который вносит теперь тревогу в наши ряды.

Интрига вмешивается во все действия; счастлив тот, кто, как светлейший, сохраняет, по крайней мере, видимость спокойствия и поддерживает перед армией престиж власти, которую у него все время пытаются отнять – и при дворе, и в его собственной ставке[114].

Я гордился, признаюсь, всеми предсказаниями (и мог бы сочинить на эту тему прекрасное нравоучение). Особенно одно из них оправдалось в такой степени, что я чуть не написал об этом целую главу – чтобы похвастаться…

Ничего не поделаешь, добавлю еще в скобках: возможно, я слишком уж верю в осуществление своих предположений, но это, должно быть, потому, что все мои рассуждения вызваны чувством патриотизма, здравым смыслом и желанием, чтобы все шло так, как мне хочется.

Я уже взялся было за перо, чтобы написать заглавие, когда подумал, что собираюсь выносить решение, не имея на то полных оснований, что хочу запечатлеть здесь суждения, которые сохранятся навсегда, но могут в силу дальнейших событий оказаться ошибочными; что, может быть, тот, кого я теперь обвиняю, окажется покрытым славой в глазах потомства. Признаюсь, эта мысль заставила меня покраснеть, я устыдился своей поспешности и не смог найти утешения в том, что разделяю свою ошибку с большинством, что плыву по течению, всех увлекающему и побуждающему делать предположения.

Хорошо ещё, когда в основе построений, воздвигаемых этими любителями догадок, лежит какое-нибудь действительное событие; гораздо чаще они сами выдумывают происшествие, вокруг коего сплетают свои измышления, рассыпающиеся в прах от одного луча света. Как забавно наблюдать этих особ, цепляющихся за слово, за подслушанное выражение, волнующихся, сопоставляющих разные вести, рассуждающих, собирающих вокруг себя кружок и, смешивая все в кучу, громко

провозглашающих вслух свои представления о событиях, предсказывающих исход их, вред или пользу, возможные последствия. Вдруг входит какое-то лучше осведомленное лицо, и одного его слова довольно, чтобы выбить этих краснобаев из седла. Напрасно, не смущаясь мгновенным переходом, они бросаются поддерживать точку зрения того, кто защищает истину, напрасно перескакивают от одного мнения к другому и пытаются заставить общество забыть нелепые суждения, так недавно ими высказанные; слушатели покидают их и собираются в кружок вокруг вновь пришедшего, а наши болтуны остаются в неловком одиночестве. Я часто развлекался насмешками над другими, подмечая чужие ошибки и неудачные речи; а теперь досадую, что сам не раз делал неразумные предположения.

19 ноября. Переход в 19 верст. Лагерь в Ореховке

Вчера Главная квартира была на восемь верст впереди нас, сегодня она ещё продвинулась вперед и находится на другом берегу Березины. Сегодня опять говорят, что Наполеону удалось бежать.

20 ноября. Лагерь в Величанах

Новый знакомый

Сегодня, переправившись через Березину, мы прошли 20 верст. Завтра, наверное, будет дневка.

Марш был очень утомителен, и в пути я развлекался только своими мыслями. Говорят, что мы пойдем на Вильну; я заранее радовался, обдумывая свои удовольствия, распределяя занятия, выбирая себе знакомых.

Поскольку я упомянул знакомых, надо рассказать об одном знакомстве, которое я завязал совершенно случайно и которое до сих пор поддерживаю, несмотря на то что походные условия не допускают частых встреч.

Когда мы в первый раз стали лагерем, в расположении нашего полка не оказалось питьевой воды. Я отправился искать воду и возвращался огорченный. Немного впереди меня шло несколько солдат, и я, от природы не лишенный любопытства, прислушался к их разговору. Среди них был один кавалерист из гвардейского полка с мужественным лицом и громадными усами, поддразнивавший наших солдат, страдающих от голода.

– Это вина ваших начальников, – говорил он, – плохо они о вас заботятся.

Возмущенный этим неприличным упреком, я подъехал к нему.

– Слушай, приятель, – сказал я, – разве мы можем отвечать за

все, что делают высшие начальники? Неужели ты думаешь, что интересы наших молодцов не дороже нам наших собственных?..

– Вас самого я не обвиняю, – сказал он мне, – но признайтесь, что начальники могли бы больше стараний приложить, а то, наевшись сами, вы не очень-то заботитесь о своих подчиненных…

Тут у нас завязался разговор, продолжавшийся, пока мы не доехали до моей палатки. Кавалерист говорил смело, но разумно и учтиво.

– Простите мою откровенность, – сказал он, – но ведь вы сами вызвали меня на разговор.

– Вот тебе, братец, – сказал я, давая ему монету, – скажи мне спасибо да помалкивай.

– Спасибо-то вам, спасибо, сударь, – сказал он, – только своего права правду говорить я не продаю. Ваша доброта показывает, что не вы виной тому, что солдаты терпят нужду, но тем больше приходится жалеть, что не все начальники таковы.

Я хлопнул его по плечу и простился с ним, любуясь его простодушием и честностью.

С тех пор всякий раз, как я встречаю его, он мне кланяется и улыбается; надеюсь, что мне удастся сохранить это знакомство до конца моих дней.

21 [ноября]

Дневка.

22 [ноября]

После перехода в 22 версты пришли в Пильно.

26 ноября. Квартиры в Колонницах

Трёхдневное путешествие[115]

Бывают минуты, когда я так недоволен собой, что останавливаюсь, скрестив руки, и – догадайтесь… – и смотрю, до чего может дойти моя лень. Когда мне захочется, я бываю то книголюбом, то светским человеком, то военным. И всё же я боюсь более всего, как бы меня не отнесли к тем людям, которые бывают добродетельными лишь от случая к случаю.

Светлейший князь во главе войск.
Рисунок А. В. Чичерина. Военный дневник. 1812–1813 гг.
«Светлейший, спеша вперед, перегоняет наш полк,
31 октября 1812 г.»
(А. В. Чичерин)

Я веду дневник, это мне нравится, я готовлю себе таким образом запас тем для будущих размышлений, но бывает, когда следовало бы записать какое-нибудь значительное событие, лень пересиливает, и я бросаю перо, едва написав две строки, тогда как мог бы посвятить этому занятию более двух часов.

И это предисловие, это обращение к моему рассудку вовсе не означают, что я исправляюсь: как раз в настоящую минуту я опять уступаю своей прирожденной слабости.

Я мог бы подробно рассказать о своих приключениях в течение последних дней, написать интересный рассказ о путешествии – однако набросаю лишь канву возможной повести.

23-го армия выступила в 25-вёрстный переход между Минском и Борисовом, остановиться предполагалось в Дейнаровке. Едва мы вышли, как полковник приказал мне остаться, чтобы принять припасы, и вот я один со своей лошадью остался в тылу. Я думал, что задержусь минут на пять, а пришлось пробыть целые сутки. Тут начались мои приключения, как у Вер-вера[116]. Моим товарищем по ночлегу оказался драгунский капитан, направлявшийся в авангард. Подумайте, каково пробыть целый день в обществе человека необразованного, когда надеялся провести время приятно. Не лишенный

природного ума и честный, но настоящий служака, он пытался рассуждать о политике и образованности, все переиначивая на свой лад, пока я умирал с голоду и бесился от досады. Сочинителю, который возьмет на себя труд вышивать по этой канве, предоставляю изобразить наш разговор и мое нетерпение. Если бы этот сочинитель мог последовать за мной во главе обоза с припасами к генералу, увидеть меня, с моим робким обхождением, и этого начальника, уже полупьяного, окруженного плутами-поставщиками, которые обманывали его кто во что горазд!

Наступила ночь, я лег спать. Все меня раздражало, единственной утешительной мыслью было, что завтра я догоню своих, пообедаю и, утолив голод, возмещу невзгоды миновавшего дня.

Едва начало светать, как я уже был на ногах, оседлал свою лошадь и через пять минут выехал на большую дорогу. Новое несчастье: было 20 градусов мороза, и я не мог оставаться в седле. Арапка, ленивая, как ее хозяин, не хотела идти впереди, и, чтобы заставить ее следовать за собой, мне пришлось поступить с ней так, как не принято обращаться с особами ее пола; я мог тащить ее, только прибегая к силе.

Убедитесь, прошу вас, в том, что благородные сердца встречаются повсюду. Накануне я учтиво обошелся с одним лекарем, с которым другие офицеры обращались очень грубо. Сейчас он ехал в Смолевичи, чтобы устроить там лазарет, и, как раз когда я воевал с Арапкой, перегнал меня в санях, запряженных тройкой добрых лошадей. Он узнал меня раньше, нежели я его, а так как благодарность есть первое движение чувствительной души…

– В такую погоду плохо ехать верхом, – сказал он мне.

– Ужасно, – отвечал я ему.

– Так что ж, поезжайте со мной.

И с его помощью я быстро оказался рядом с ним в санях.

Вы, конечно, подумаете, что моим несчастьям наступил конец: я сижу в хороших санях, быстро мчусь вперед, через два часа догоню полк… Мог ли я предвидеть, что после такой удачи на меня свалится тысяча новых невзгод… Не проехали мы и двух верст, как наткнулись на целую груду артиллерийских и обозных повозок, через которую невозможно было пробраться. Пришлось выйти из саней. Лекарь мой, поразмыслив, решил провести ночь в ближайшей хижине, но я слишком горел нетерпением приехать к своим и, с сожалением распростившись с ним, влез на свою Арапку и дал шпоры. Но толку от этого не было. Мороз усилился, дорога так обледенела, что Арапка чуть не падала на каждом

шагу и в конце концов свалилась с пригорка; я оказался под ней, одна крага у меня соскользнула, и я покатился в снег. Было от чего прийти в отчаяние. До ближайшей деревни оставалось не менее десяти верст, а лошадь совершенно не могла идти за мной. Много раз мы падали, сто раз скользили, тысячу раз я терял терпение, и наконец увидав издалека эти несчастные Смолевичи, от которых было ещё пять верст до наших квартир, я без всяких на то оснований почувствовал себя счастливым. Удвоив усилия, я добрался, наконец, до какого-то полуразрушенного дома.

В этом местечке скопилось до семисот больных и раненых. Войдя в комнату, я застал там одного пажа и нескольких армейских офицеров, догоняющих свои полки. Они были так добры, что предложили мне мякинного хлеба и стакан пустого чаю. Но это было не все. Я ждал от них еще одного благодеяния: я надеялся, что они подвезут меня в своих санях, и не ошибся: они имели учтивость пригласить меня с собой. А я, чтобы отблагодарить их за любезность, велел открыть бутылку скверного вина, которое принесла маркитантка. До Дейнаровки мы добрались без дальнейших приключений. Каково же было мое отчаяние, когда я узнал, что армия не остановилась здесь на отдых, а ушла на 15 верст вперед к Городку. Я решил переночевать с этими господами и вновь попытать счастья завтра. Среди них был некий майор Аракчеев, человек с виду порядочный, предупредительный и спокойный; затем производивший страшный шум полупьяный поручик; довольно хорошо воспитанный молодой офицер, поправлявшийся после болезни; и этот паж – отвратительное животное, с которым мне пришлось провести весь следующий день. Все мы стеснялись друг друга, непринужденный разговор, обычно возникающий на ночлегах, никак не завязывался. Мы даже не успели еще сообщить друг другу, куда и откуда мы едем, как к нам присоединилось новое лицо: артиллерийский офицер, зашедший погреться. Он извинился за свою бесцеремонность, и мы сразу поняли, что он из тех людей, которые расплачиваются за причиняемое ими беспокойство забавными историями. Говорил он очень хорошо, но с заметной аффектацией; выражения были так хорошо выбраны, периоды так стройны, паузы так точно рассчитаны, все было так складно и гладко, что видно было: ему не раз уже приходилось греться у чужого огня.

Он много рассказывал о Польше, мы не могли не посмеяться двум-трем анекдотам, так же как его аффектации.

– Прощайте, господа, – сказал он, вставая, – пора уходить, делу время, а потехе час. Покойный Кутайсов всегда соблюдал это правило…

Слово за слово, он стая говорить о Кутайсове и просидел еще добрый час. Трижды он подымался, собираясь уйти, и трижды возвращался, чтобы докончить еще один анекдот. Наконец, наговорив нам уже в дверях тысячу любезностей, наш словоохотливый гость распрощался с нами.

Тут я без церемонии сказал этим господам, что навряд ли кто-нибудь из нас сумеет так же блистать красноречием и потому нам лучше всего отправляться спать. Мое предложение было единодушно принято; принесли соломы, и вскоре послышался храп.

Пока я спокойно сплю, подумайте о благодетельности сна. Лежать было жестко, дверь ежеминутно открывалась, впуская сильную струю холодного воздуха, из большой щели в стене страшно дуло – а все-таки я сладко спал, позабыв все свои огорчения, и даже не грезил о хорошем обеде, столь мне необходимом; нет, я видел во сне ваши дорогие черты, бесценный друг, радость моей жизни. Ночь тихо распростерла свои крыла, потом сложила их, а я все спал.

Разбудил меня отчаянный вопль: «Караул, грабят!» Драгунский патруль, проходивший мимо, украл поросенка у нашей хозяйки, и крики её подняли на ноги весь дом. Я утешал её, как мог, рассказав, что то же самое произошло накануне в другой деревне.

Армейские офицеры уселись в свои сани, а я занял место рядом с пажем, только что произведенным в офицеры. Это был один из тех часто попадающихся дураков, которые не могут увидеть крестьянина, чтобы не остановить его и не расспросить, без конца справляются о дороге, пристают ко всем встречным и надоедают до смерти, требуя объяснений обо всем на свете. Нам оставалось только пять верст. Солнце садилось; накануне целый день ушел у меня на то, чтобы проехать десять верст с бесконечными остановками. Теперь приходилось разговаривать с дураком, отвечая на его бесконечные вопросы; а я три дня уж не обедал и сгорал нетерпением догнать своих.

«Слава богу, – подумал я, – вот деревня, от которой остается проехать только версту».

– Остановимся здесь, – говорит мой дурак. – Мне надо привести в порядок туалет. И давайте пообедаем здесь, я проголодался.

– Но послушайте, мой друг, – говорю я, – вы пообедаете у нас. Меня ждут. А что касается вашего вида, то вы прекрасно выглядите, и ваш наряд вполне приличен, тем более для путешественника.

Мне лишь с большим трудом удалось убедить его, приведя

ему множество примеров и невольно выказав свою досаду. Около каждой избы он делал попытку остановиться.

– Как же мне явиться к начальству? Не отправиться ли мне прямо в полк? Где мы будем обедать? Надо ли будет снимать шинель? – и ещё сотня вопросов один глупее другого[117]. Я задыхался от злости и, кажется, выскочил бы из саней и поехал дальше верхом, если бы нам не встретился солдат.

– Где стоит наш полк?

– Вот в этой деревне. Нынче дневка.

Слава богу, наконец, я у своих.

25 человек разместились в одной комнате. Было уже поздно. Мне дали отвратительного супу без хлеба, но, улегшись, я забыл всю усталость предшествовавших трех дней и был счастлив тем, что утомительное путешествие пришло к концу.

Сегодня утром мы прошли шестнадцать верст за четыре часа, рано прибыли на место, хорошо пообедали, я получил письма, написал ответы, отдохнул, внес эту главу в свой дневник и теперь ложусь спать до завтра, довольный прошедшим днем, и – в доказательство умеренности своих желаний – объявляю себя счастливым.

– Ну что ж, остановимся, – сказал я ему, – если вы считаете это необходимым.

Мы как раз подъехали к какой-то избе, и я вышел из саней. Страшное зрелище потрясло все мои чувства, едва я повернул голову. Перед домом на снегу виднелись остатки догорающего костра, около него лежало кучами около полутораста обнаженных трупов; в их лицах и позах читались следы величайшего отчаяния и страдания. Я ощутил такой ужас при виде их, что хотел отойти в сторону, как вдруг услышал стоны возле костра. Трое или четверо несчастных, сохранивших еще достаточно сил, чтобы сознавать всю меру своего бедствия, наполовину обмороженные и окруженные мертвецами, как видно только что испустившими последний вздох, совершенно обнаженные, буквально не имевшие даже чем прикрыть стыд, пытались поддержать в себе жизнь, которая не сулила им ничего, кроме страданий; они протягивали свои окоченевшие члены к угольям, уже не дававшим тепла. Еле слышными голосами они просили у нас защиты; едва внятная мольба и глухие стенания, выражавшие их боль, терзали мне сердце дотоле неведомым чувством мучительного сострадания. На одном из них оставался еще жилет, которым он пытался прикрыться… Два солдата, гнусные злодеи, – надеюсь, единственные, кто так позорит нашу армию, – два солдата, повторяю, отнимали у него этот жилет, и он без жалоб, без сопротивления отдал свое единственное одеяние, растянулся на

угольях и простился с жизнью. Сознание того, что я не имею сил быть им полезен, переворачивало во мне душу. Отчаяние охватило меня; отвернувшись, я поспешил отойти. Тут другая жестокая картина бросилась мне в глаза: мой дурак завел беседу с одним из этих несчастных.

– Подите сюда, – сказал я ему, – как вам не стыдно! Оставьте этих бедняг, чтобы в довершение всех мук они не испытали еще терзаний зависти, не стали кощунственно проклинать судьбу. Они уже свыклись с мыслью, что им не на что надеяться; разве вы не понимаете, что испытывают они при виде вас, сытого и тепло одетого, вынужденные отвечать на ваши праздные вопросы? Неужели вам доставляет удовольствие это страшное зрелище? Уходите скорее! Пожалейте несчастных и не усугубляйте понапрасну их отчаяние.

Мне пришлось оттащить его силой, мое внушение заставило его на время забыть заботы о туалете, и мы молча поехали дальше. Вот деревня. Мне же надо переодеться.

27 ноября. Козельщина

Сегодня мы прошли 22 версты. Прежних густых лесов уже нет, местность стала такой холмистой, что равнины почти не встречаются. Прелестные пейзажи украшают дорогу, часто попадаются изрядно выстроенные и красиво расположенные местечки.

28 ноября. Ершевичи

Мы сделали ныне едва 15 верст. Несколько дней стоял сильный мороз, но сегодня значительно потеплело, и переход был очень приятен.

Как подумаешь, в походе можно многому научиться; только тут привыкаешь переносить всяческие лишения. Мне случалось обходиться без хлеба, без припасов, без обеда, который стал теперь для меня необходим, и всё-таки я чувствовал себя счастливым. Уж восемь месяцев, как я лишен всякого общества и все-таки не совсем утратил свою обычную веселость и при всех неблагоприятных обстоятельствах сохраняю способность мужественно переносить невзгоды. Но всегда что-нибудь мешает мне чувствовать себя совершенно счастливым. Сейчас, например, меня очень тревожит тяжелое положение нашей армии. Гвардия уже двенадцать дней, вся армия целый месяц не получает хлеба, тогда как дороги забиты обозами с провиантом, и мы захватываем у неприятеля склады, полные сухарей. В чем же дело? Да в том, что артиллерийский обоз, столь же громоздкий, сколь бесполезный, загородил дорогу, что, находясь в 150 верстах от

неприятеля, у нас не умеют устроить этапы.

Разве нельзя извинить солдата, измученного голодом, знающего, что, придя на место, он должен будет ночевать на открытом воздухе у разведенного им самим костра, если он попытается задержаться в деревне, где всего изобильно? Пожалуй, мы и сами отстали бы от полка, если бы терпели такую же нужду и были убеждены, что сумеем догнать армию на первой же дневке.

Когда мы вышли из Петербурга, в наших ротах было по 160 человек. Ранеными и убитыми в Бородинском сражении выбыло не более десятка на роту. А теперь в каждой остается едва 50–60 солдат.

Вы, на кого ложится бремя командования, прочтите это и подумайте, сколь мало людей было бы потеряно, – даже если не жалеть жертв, приносимых на алтарь отечества, – когда бы вы позаботились и приняли должные меры, чтобы армия имела всё необходимое, чтобы в ней не подымался ропот – опаснейшее из бедствий.

30 ноября.
Дневка в Константиновке после вчерашнего 22-верстного перехода. В 150 верстах от Вильны
Упрямство

То ли я слишком философ для моих лет, то ли слишком заношусь мыслями, то ли – и это самое вероятное – у меня в голове царит полная путаница, но бывают минуты, когда мне кажется так просто переделать человечество, что даже удивительно, как никто до меня не додумался до этого.

Давно уж, например, меня удивляет упорство людей в суждениях и, ещё более, переменчивость их мнений. Молодой человек вступает в свет; все, что он видит, производит на него впечатление, и эти впечатления определяют его образ мыслей, который, однажды приняв, он твердо соблюдает, сопротивляясь всему, что с ним разнствует. Напрасно пытаются переубедить его разумнейшие и старейшие; он упорствует в своих заблуждениях, пока опыт наконец не откроет ему глаза. Когда же изменившиеся обстоятельства производят перемену в его образе мыслей, он, просветившись, с жадностью хватается за новые доказательства правоты своих новых мнений. Вы можете тогда прийти к нему в надежде восторжествовать, напомнить ему прежние ошибки, дабы доказать, что он может впасть в подобные же и по другому случаю, но тщетно – он не слушает ваших советов, отвергает вашу дружбу; лишь впоследствии опыт покажет ему, где истина.

Так я рассуждаю и не могу понять, как же это получается, что

сам я не менее слеп, чем другие? Увлекшись этим философским размышлением, я решился было принимать с благодарностью все советы, какие мне станут давать, отказываться от собственных убеждений, дабы следовать чужим мнениям, и изменять свой образ мыслей в угождение моим друзьям; я возгордился уже своей властью над собой и, как новый преобразователь, возымел надежду, что мой пример послужит к исправлению других; но… в завершение своих мечтаний услыхал вдруг, что меня считают ужасным фанфароном.

– Да что вы? – возразил я. – Напротив, я очень скромен.

– Нисколько. Разве не вы рассказывали мне об А.Г.[118], смеясь над его хвастливостью, а сами ведь ничуть не лучше его.

Я возражал, спорил, и мы расстались, не придя к согласию.

Сегодня утром, перебирая в памяти пережитое, – занятие всегда приятное, – я вспомнил об этом споре. Как я был тогда не прав; ведь минутные радости скоропреходящи, и удовольствие, которое я испытал, похвалившись, уже давно растаяло. Теперь я смотрю на вещи хладнокровно, и это помогает мне искренне признать свое прежнее ослепление.

«Как! – подумал я. – Я мечтаю подать пример совершенствования, а сам до сих пор не могу освободиться от упрямства, которое по натуре присуще человеку и вкупе с тщеславием заставляет его предпочитать свои собственные, пусть ложные, мнения благодетельным лучам истины. Есть слабости, от коих, как и от страстей, не бывает свободно наше существование; к числу их, несомненно, относится упрямство. Правда, некоторые смешивают этот недостаток с постоянством или с энергией, коим упрямство, бесспорно, придает силы; но ежели оба эти качества способствуют нашему собственному счастью и счастью тех, кто нас окружает, то упрямство лишь взращивает в нас ложные взгляды, совращает нас с пути истины и удаляет от совершенства, всячески препятствуя его достижению.

2 декабря. Город Боруны

Зимние квартиры

Наконец, решено как будто, что мы здесь остановимся. Неприятель так ослабел, что нашим объединенным силам нечего делать; решено остановиться в Вильне. Вчера мы прошли 15 верст до Новоселок и сегодня столько же до этого местечка; остается только три перехода, и каждая минута приближает нас к отдыху.

Мы остановимся на отдых. Вы знаете, как месяц тому назад я сетовал на скуку зимних квартир. Вы видели, как меня пугала тоска унылого одиночества. Ну что ж, невзгоды и трудности похода не изменили меня. Более чем когда-либо я боюсь остаться

один, потому что тогда буду лишен всех удовольствий. Мои привычные занятия невозможны, друзья далеко, а с ними все радости; я не жду ничего хорошего от перспективы отдыха, которая приводит других в восторг.

Только что написал я эти строки и хотел продолжать, как ко мне подошел Окунев и спросил:

– Что вы там пишете? О чем можно столько рассуждать? Какая-то непонятная чепуха!

– Вы правы, – отвечал я.

И действительно, может быть, он в эту минуту дал справедливую оценку моему дневнику.

Впрочем, Окунев вообще не способен понять, как можно чем-то заниматься. Он из тех людей, которые, обладая благопристойной внешностью и умением держаться, необходимым в свете, отвращаются от всех истинных радостей, домогаясь лишь тех, кои обещает им свет. Он не понимает, как можно наслаждаться чтением, не находит удовольствия в том, чтобы набросать несколько строк, вести легкую беседу, – словом, он прозябает, чуждый радостям бытия. А я обречён проводить время в его обществе, что, разумеется, не сделает для меня зимние квартиры приятнее.

Толстой, наш новый офицер; это молодой человек, довольно хорошо для своих лет узнавший жизнь, избалованный родителями и малообщительный; над ним можно посмеяться, и это все. Вы понимаете, конечно, что не с ним я сумею приятно проводить время. Поль своей кротостью и дружеской беседой украсит немного время отдыха, которое для меня будет тянуться так долго; но Поль поручен мне, и сия ответственность скорее тяготит меня, чем укрепляет. Всегда хочется видеть безупречным того, кого надеешься сделать таким, и потому всякое надзирание неприятно.

У Якушкина есть все, что нужно хорошему товарищу, и если, несмотря на Поля и Якушкина, я все же предвижу, что мне придётся скучать, если я глубоко убежден в этом, то потому лишь, что отсутствие занятий всегда наводит на меня тоску и я не могу быть счастлив без красок и кисти.

3 декабря

Квартиры в 14 верстах перед Ошмянами. Переход в 28 верст.

4 декабря

Сегодня прошли 30 верст. Главная квартира в Рукойнях.

Сегодня второй день, как мы вышли на большую дорогу, и если желание славы может поднять дух, то зрелище, которое

представляет эта дорога, вызывает сильнейшее отвращение к войне.

Я родился, чтобы погибнуть на службе отечеству, и заранее приготовился не бояться ни ядер, ни опасности, но не могу свыкнуться с ужасами и терзаниями, непрестанно предстающими взору на этой дороге.

Нам предстояло пройти 28 верст, погода была скверная – страшный ветер и мороз, идти было очень нелегко. Но как передать ужас, охвативший нас при виде наваленных кучами одни поверх других замерзших трупов, застывших в позах, выражающих мучительную агонию. Отворачиваешься от трупа, во всех членах которого запечатлено страдание, раздирающее сердце, отворачиваешься – и видишь ещё более страшный; напрасно глаза ищут менее скорбного зрелища; чтобы дать им отдых, приходится устремлять взор на отдалённые поля. И радуешься, увидав хоть малое пространство, покрытое только снегом, свободное от ужасных мертвецов.

Все деревни разрушены, сожжены; от них не осталось и следов. От постоялых дворов, стоящих вдоль дороги, сохранились лишь развалины печей, возле которых видишь сотни скелетов, жалкие останки несчастных, которые погребли своих близких и сами нашли смерть на пепелищах своих домов.

Мне случалось слышать рыдания. Они исходили от таких же несчастных, сидевших на трупах у полупогасших костров и едва поддерживавших существование лошадиной падалью.

Вид этих людей настолько огрубляет сердце, что в конце концов перестаешь что-либо ощущать вообще. Страшное отвращение подавляет все мысли. Признаюсь, эти картины так перевернули мне душу, что я почувствовал облегчение, только улёгшись в постель, в десяти верстах от Вильны, в надежде назавтра прийти туда и там отдохнуть от всего пережитого.

Вильна, 6 декабря

Что это за предмет, поражающий вас издалека, удивляющий и пугающий? Подойдите к нему поближе – в нём нет ничего странного, и можно спокойно смотреть на него… Что это за радостная минута, которую вы ожидали с таким нетерпением? Неужели та самая, которую вы встречаете столь равнодушно? Что это за тяжелое положение, которого вы так опасались? Неужели оно наступило и вы переносите его так бодро? В перспективе все кажется преувеличенным; воображение и надежда обезображивают или украшают то, что смутно виднеется вдалеке; когда же подходишь ближе, все подробности различаются яснее, присутствие истины показывает нам вещи в их истинном свете,

она разгоняет пар воображения, затмевавший действительные очертания вещей.

Вчера утром меня разбудили, чтобы я прочел приказ по полку: всем велено быть одетыми во всей чистоте и исправности и соблюдать на марше величайший порядок и т. д. Наконец мы войдем в Вильну! Мы были всего в десяти верстах от нее, а на два часа пополудни было назначено торжественное вступление.

Сердце у меня забилось, я забыл обо всем. «Наконец-то, – подумалось мне, – я отдохну от всех невзгод походной жизни, хорошо пообедаю, побываю в театре, погуляю по бульварам, приведу в порядок свой гардероб…» Все эти планы до такой степени заполонили мой ум, что я ни о чём другом не мог думать, пока наконец издалека не показалась Вильна.

Так вот он – сей эдем, сей приют покоя, сия обитель отдыха! – совсем уж близко, рядом с нами. Я не досадовал более ни на трехчасовое утомительное стояние в строю, ни на парад, в течение коего мы все закоченели из-за неуместного щегольства. Оказавшись наконец в своей комнате, я первым делом потребовал подать мне кофею и позвать фактора.

Когда мы первый раз стояли в Вильне, и тот, и другой мне пришлись по нраву; я твердо запомнил, что за семь копеек можно получить чашку прекрасного кофею; помнил также, что довольно призвать фактора – и можно дать полный простор своему воображению.

Какой вкусный белый хлеб! Какой прекрасный кофе! Шесть чашек, семь булочек проглочено в одну минуту. Вот уже постель моя поставлена и полог натянут, письменный стол мой устроен и тетради разложены в порядке.

– Ну, фактор, – сказал я, – тут все можно достать? – Да, сударь. Двенадцатого будет бал, и поэтому можно будет купить любые предметы туалета.

Двенадцатого будет бал! Я буду танцевать! Скорее достаньте мне сукна на мундир! Есть тут шали? А золотое шитье? Можно ли купить сани? Велите принести клавесин! Достаньте посуду! Отдайте в стирку мое белье! Пусть накормят лошадей! Где квартира моего любезного графа? Где помещается господин Пассек? Добудьте мне сапоги! Велите вышить парадный воротник к мундиру! Доставьте хороший обед! Достаньте писчей бумаги! Живее! Скорее! Отправляйтесь! Идите! Чтоб все было готово тотчас же! Немало поручений, не так ли? И каждое вызывало рой приятных мыслей, каждое обещало удовольствия. Желания громоздятся одно на другое, обгоняют друг друга…

Посмотрите же, сколь счастлив оказался человек, обещавший себе все эти удовольствия; узнавши его мечты, посмотрите, что

его встретило в действительности!

Сегодня утром мне принесли прекрасного кофею, но дороговизны несусветной. По золотому каждое утро – это уж прямой грабеж; придётся вернуться к прежнему обыкновению закупать все по отдельности.

– Напрокат клавесинов не дают, можно только купить.

Ну что ж, обойдусь без музыки.

– Сани в продаже есть, но цена их весьма высока.

Ну что ж, буду ходить пешком.

– Хозяйка не хочет взять белье в стирку.

Ну что ж, потерплю.

– Нельзя достать ни охапки сена.

Ну что ж, придется поехать за ним за 20 верст.

– Готовых сапог нет.

Ну что ж, несколько дней нельзя будет выйти из дому.

– Шитый воротник стоит 20 руб. серебром.

Это слишком дорого, придется обойтись старым.

Обед принесли сквернейший. Ну что ж, завтра велю приготовить лучший.

Про писчую бумагу забыли. Ну что ж, сегодня не буду никому писать.

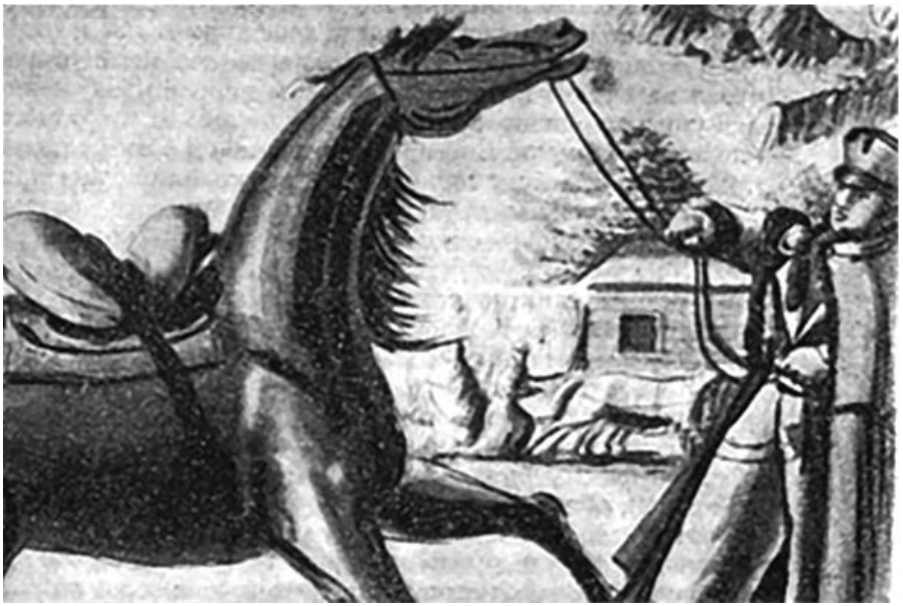
Вечером я прошу чаю – нет ни сливок, ни хлеба. Ну что ж, завтра велю запасти.

Выйти на улицу мне не в чем. Ну что ж, останусь без денег – я рассчитывал занять их у господина Пассека.

Сукно тут есть прекрасное, но денег у меня нет. Ну что ж, ну что ж, увы – не придется мне идти на бал двенадцатого, проскучаю этот день один. Все буквально так и было. К несчастью, это чистая правда. Увидев, что все мои планы так быстро рухнули, я приготовился проводить вечера так же уныло, как в Тарутине, как на биваках, как в походе, а не как в столице, находя величайшее утешение в беседах с Якушкиным (сегодня мы проговорили до 11 часов). И все-таки я счастлив – счастлив сознанием, что истинное наслаждение состоит отнюдь не в исполнении прихотей, ставших привычными, а в душевном покое, дружеской привязанности, увлекательной беседе, которые всегда доступны и которых ничто не может от нас отнять.

Но что я говорю! Для чего отказываться от благ, которыми небо нас одаряет? Для чего ограничивать наслаждения, ожидающие нас в самых различных обстоятельствах нашей жизни? Во всем, что нас окружает, можно найти приятность. Для чего же бояться прихотей, для чего гасить огонь воображения, для чего гнать от себя мечты и подавлять увлечения ума, чреватые столькими радостями? Ведь даже ошибки могут стать источником

удовольствия: приятно обнаруживать их, приятно размышлять о том, что их произвело и как избежать их в будущем.



Со своей лошадью Арапкой, 30 ноября 1812 г.
Рисунок А. В. Чичерина. Военный дневник. 1812–1813 гг.

Умы, ожесточенные чрезмерным тщеславием, которое требует, чтоб вы были выше всех, – послушайте меня, вы, мрачные философы, беспрестанно опасающиеся впасть в ошибку и (тоже из тщеславия) повсюду видящие опасность и пугающиеся радостных красок, которыми воображение расцвечивает все кругом! Возблагодарите лучше вместе со мной провидение за то, что оно так печётся о наших удовольствиях, и признайте, что ваши заблуждения гонят вас прочь от общества, отнимают у вас вкус к жизни, унижают в ваших глазах подобных вам и приучают вас не верить самим себе, не развивать свои способности, – тогда как мои заблуждения привязывают меня к обществу легкими и приятными узами, открывают мою душу всем радостным впечатлениям, прогоняют от меня черный яд зависти, учат любить жизнь и находить цветы там, где вы встречаете только тернии, уколы коих кажутся вам столь болезненными!

Но городские часы бьют полночь. Я хотел встретить новые сутки, а вовсе не из-за бессонницы засиделся так поздно. Все мои планы разбились, я провёл день почти в одиночестве, из того, что я задумал, ничего не вышло; может показаться, что я писал эти страницы, чтобы излить свои жалобы. Но день уже кончился, и вот уже начинается следующий, а я ещё не скучал, я доволен и

счастлив – счастлив тем, что беседовал с другом, что писал дневник, и особенно счастлив тем, что способен чувствовать беспредельную благость провидения.

8 декабря

Чувствительные души, не знающие предела благородной чуткости, последуйте за мной, побудьте со мной в течение суток среди страшных зрелищ, и вы испытаете чувства, которые можно счесть проявлением слабости. Но что я говорю! Это вы должны прийти сюда, честолюбцы, опустошающие землю, вы, чьи прихоти стоили жизни тысячам людей, вы, кто, командуя великолепными армиями, думает только о своих победах и лаврах! И ты, гордый завоеватель, обездоливший всю Европу, ты, Наполеон, войди сюда со мной! Приди, полюбуйся на плоды дел твоих – и пусть ужасное зрелище, которое предстанет твоим глазам, будет частью возмездия за твои преступления. Войди со мной во двор этого величественного храма: слышишь глухие стоны, повторяемые эхом его сводов, обоняешь чумное зловоние, которым заражен воздух? Тебе страшно? Ступай осторожнее, смотри, как бы твои дрожащие ноги не споткнулись о трупы, наваленные на твоем пути. Видишь этот коридор, эти проходы, где блуждают тени, бесплотные призраки, уста которых едва могут прошептать слабую мольбу о хлебе? Скорее пройдем эти длинные сени, где множество несчастных задерживает наши шаги; отвернись от них – их вид взывает о мщении; выйдем во двор, взглянем, что там. Но что же – сие обширное пространство, окружённое великолепными зданиями, являет сцены еще более скорбные. Остановись, взгляни на эти окна, у которых толпятся пленные, с покорностью ожидающие смерти; видишь, как оттуда сбрасывают тела тех, чьи страдания пресечены смертью? Видишь тех, кто валяется на снегу, не в силах шевельнуться, не в силах произнести последнюю мольбу, но еще дышит? Видишь телеги, наполненные трупами, которые будут ввержены в пламя? И это еще счастливейшие среди сих отверженных судьбой. Оглянись вокруг, насыться этим страшным зрелищем смерти, оно должно быть приятно тебе, ведь это дело рук твоих, ведь ты принес сих несчастных в жертву твоему честолюбию.

Должно быть, у меня сильно закружилась голова, когда я проходил по коридорам и помещениям этой тюрьмы, где был сегодня в карауле, ежели я вздумал искать Наполеона в тех краях, куда он теперь бежал, чтоб обвинить его во всех преступлениях.

Поистине я не в силах передать ужас, охвативший меня сегодня утром. Страшное зловоние, которым был полон двор, заставило меня броситься прочь. Я вошел в кордегардию. Там

находился по приказу коменданта бедный молодой немец (он волею судеб оказался во власти французов), ожидая, пока для него найдут другое помещение. Владелица дома, которой, пожалуй, стоило бы посвятить целых две главы за её болтовню, была небогатая женщина, ещё довольно свежая, очень недовольная своими постояльцами; она 15 дней, как овдовела, и четырнадцать, как утешилась. Она принимала гостей, сама отправлялась в гости, уходила и приходила, смеялась, ужасно бранилась со всеми, ругала немца, который занял ее кровать, прогнала солдата, просившего воды, приласкала старика, прося его затопить печь; её нелепые выходки перебивали мрачные мысли, овладевшие мной при виде пленных.

Надо было видеть, с какой жадностью французы оспаривали друг у друга сухари, которые им принесли. Тщетно пытался я усладить участь молодого немца, выслушав повесть его несчастий и надежд; ежеминутно какой-нибудь несчастный протискивался к окну, прося хлеба, со двора слышались ужасные вопли, каждую минуту проносили мертвецов, кругом вспыхивали ссоры, выворачивающие душу, – и я страдал так, словно сам был в положении этих несчастных. В этой же кордегардии находилась молодая голландка с обмороженными ногами; она была маркитанткой в армии и попала в плен к казакам, которые ее ранили; какой-то генерал хотел взять ее к себе, а пока что она оставалась здесь, завися от милости хозяйки и оплакивая мужа, умершего десять дней тому назад той страшной смертью, примеры которой я видел окрест. Надо было видеть ее благодарность, когда я дал ей поесть; волнение ее сердца излилось слезами, она целовала мне руки, называла меня самыми лестными именами на своем языке.

Мне пришлось бы исписать много страниц, если бы я хотел рассказать обо всем, что видел и слышал. Поскольку я сумел сохранить ясность мысли среди стольких ужасов, в беспорядочности этих записей следует обвинить хозяйку, непрерывно болтавшую и рассказывавшую мне, – гордясь своей ролью покровительницы и немало привирая, – как она приютила у себя голландку и как жила раньше, до французов, какие у нее были наряды и уборы, какие ожерелья и как теперь ей даже стыдно показаться на люди; и среди этого отчаяния, среди этого ужаса она вдруг заявила, что если ей встретится подходящий офицер, она попросит его заменить супруга, утраченного две недели тому назад.

– Я и кофей по утрам пить перестала, всё мне постыло – надо скорей выходить замуж, хоть бы за офицера.

Я заканчиваю эту главу, потому что хозяйка не дает мне

покою; но не воображайте, что в завтрашней главе я объявлю вам о своем обручении. Несмотря на ее красноречие и повадки знатной дамы, я постараюсь сохранить свое сердце для Дульцинеи более высокого полета; пока я слишком счастлив своей свободой, чтобы думать о цепях супружества.

13 декабря

Видите, как я развлекаюсь? Не знай вы меня, вы бы, пожалуй, подумали, будто я только и знаю, что ездить на балы да спектакли, по утрам ходить в гости, а вечером в концерты и предаваться всем удовольствиям общества до полного забвения моей любви к уединению и моего лучшего друга и наперсника – моего дневника.

Но вы ведь знаете мои привычки, знаете, что как раз когда я весел и счастлив, когда у меня много наслаждений и развлечений, я отдаю многие минуты уединению, размышлению, серьезным занятиям; что каждый вечер я собираю мысли, рассеянные удовольствиями дня, привожу их в порядок, заношу в свою тетрадь. Вы знаете также и то, что когда я печален, озабочен, тоскую и когда, к несчастью, я без денег, тогда – полюбуйтесь, как влияет корыстолюбие на наше поведение, – тогда любимейшие занятия становятся немилы мне, и самое дорогое из них кажется несносным бременем… Войдите в мое положение, посочувствуйте моему страданию и пожалейте того, чьи радости и огорчения зависят от таких ничтожных причин и навряд ли сохранятся в памяти людской, когда его не станет.

Вильна для меня все равно что деревня: в театрах я не был, вчерашний бал прошел без меня, я не хожу ни на парады, ни на учения, гулять тут негде… Ах, позабыл: вчера я пошел смотреть иллюминацию, но как философ – наблюдая толкотню зевак, бродя вместе с толпой по улицам и разглядывая непонятные мне надписи.

Однако движение, происходящее в Главной квартире, втягивает, так сказать, и меня в свой обыденный поток: утром я одеваюсь, еду навестить графа или поскучать у своих товарищей, потом обедаю – и день проходит; завтра – то же самое. Каждый день я обещаю себе что-то предпринять и не сдерживаю слова.

15 декабря 1812 г. Вильна

Так что же мне нарисовать?

«Так что же мне нарисовать?» – подумал я сегодня утром, вернувшись с прогулки. Все, что я вижу кругом, наводит на меня еще большую тоску. Я один у себя в комнате, меня одолевают неприятные мысли и неосуществимые мечты, беседовать мне не о

чем; я встаю, одеваюсь и выхожу на улицу, чтобы развеять свою тоску видом прохожих.

Но что за странные кучки, издающие зловоние, встречаются мне на каждом шагу? Это предохранительные меры против эпидемии. Кто этот горемыка, умоляющий вас о помощи? Скорее прогоните его, он может передать вам болезнь, коей сам заражен. Видите несчастного, который испускает дыхание около того самого костра, дым коего должен предохранять от болезни? Бегите скорее или – если вы милосердны – вонзите ему в грудь кинжал – это единственное благодеяние, коего он может ожидать от вас. Вот что вы встречаете на улице на каждом шагу.

Пройдите теперь по самым шумным улицам, и вас встретит другое отвратительное зрелище – вся суетность мира сего. Тут бегают, волнуются, ждут у дверей, толпятся под окнами; генерал первый заговаривает с чиновником, рассыпается перед ним в любезностях, какой-то писарь грубо расталкивает толпу – он спешит, его перу предстоит решать судьбы отечества.

Чего не увидишь, когда живешь близ Главной квартиры, и какую грусть наводит это зрелище! Неужели чудовище, отравляющее воздух своим ядовитым дыханием, примешивая его к аромату прелестнейших цветов, скрывающее под маской дружбы предательский кинжал, навсегда сохранит свою власть над людьми и будет волновать их постыдными страстями? Неужели любовь к отечеству и к истине, разум и справедливость, даже соединясь, так и не смогут преградить дорогу этому чудовищу, которое врывается повсюду, несмотря ни на что, и невидимо распространяет свою тлетворную отраву!

Вы, конечно, хотите утешить меня, когда говорите, что и в прошлом столетии это чудовище властвовало над миром; но как же мне не огорчаться при мысли, что оно сохранит свою власть и в грядущих веках. Видеть порок и не быть в силах бороться с ним – это ужасное состояние, не правда ли? А видеть страшное зло, раздирающее землю, узнавать его мельчайшие приметы, замечать его во всех, кто им сколько-нибудь заражён, чувствовать себя волей-неволей вовлекаемым во всеобщее бедствие – это значит очень дурно думать о людях и унижать себя в собственных глазах.

Вчера вы говорили о господине N; почему вы так настаивали на том, что он храбрый человек? Вы говорили и о светлейшем, осуждали его нерешительность, указывали, что никто его не поддерживает; чего же вы хотите – принизить его славу или урвать от неё кусочек для себя?..

Я бы еще многое сказал, но человек рождается со слабостями, которые не оставляют его всю жизнь, таков закон природы;

я пытаюсь бороться с ними, подавлять их, отрекаюсь от них. Интриганство же всегда казалось мне настолько отвратительным, что я никогда бы не мог унизиться от него.

«Бедный философ! – говорит мне разум. – Бедный философ, как жалка твоя горячность! Спроси своего друга, ведь ты поверял ему когда-то свои сомнения. Правда, в то время ты не боялся признать многое неясным, ты даже нередко раскаивался в сделанном, а теперь твоих признаний больше не видно. Разве ты безупречен? Трепещи, как бы такое самообольщение не сделало тебя добычей всех пороков».

Интрига, слов нет, распоряжается действиями людей, особенно при дворе, где ей поклоняются более, чем где бы то ни было, – но зачем же приписывать ей все легкомысленные слова, все поступки, вызванные тщеславием и равнодушием, все мечты об успехах, ещё более эфемерных, чем разговоры о них?

Ты склонен сейчас к критике, потому что тебе кажется необходимым унизить такого-то: это придаст убедительность твоим мнениям. Ты готов превознести такой-то поступок, потому что тебе сейчас хочется опорочить другой. Твои мнения всегда зависят от того смысла, который ты хочешь придать своим речам, и при всем этом, я знаю, ты не хочешь никому причинять зла, яд зависти ещё не отравил тебя. Так послушай меня: сдержи свою желчь, не теряй надежды на нравственное исправление твоих ближних; дураки никогда не переведутся, а истина имеет свои алтари, кои нельзя осквернить; зло всегда преувеличивают, а благо преуменьшают. Бывает, что достоинство подвергается преследованию, а порок пользуется уважением, но весы справедливости все-таки остаются верными; истинное счастье, состоящее в чистой совести и всеобщем уважении, столько же доступно людям добродетельным, сколько недостижимо для злых.

16 декабря 1812 г.

Друг детства

Как сладостны и прочны дружеские связи, образовавшиеся в самом нежном возрасте, как сильны чувства дружбы, давно соединяющей два сердца! Алеко Стурдза был лет восьми, когда я впервые встретился с ним. Мы подружились почти сразу же, как встретились; этому способствовал и наш возраст (мы были почти одних лет), и дружба, связывавшая наших родителей; самые нежные годы нашего отрочества прошли вместе, в дружеской близости.

Наконец, я расстался с ним, уехав к своему отцу[119], и на четыре года потерял его из виду. Поступив в полк, я вновь

встретился с ним в доме его матери. Она была весьма добра и внимательна ко мне, но я не каждую неделю посещал её; Алеко же был очень занят и почти никогда не бывал дома, я мало искал его общества и, уходя в поход, оставил в Петербурге в лице г-жи Стурдза и её дочери истинных друзей, а в Алеко – человека, который был мне любезен только ради его родных.

Тебя ли я вижу? Верить ли глазам? Да, это Алеко, мой нежный друг! Его я сжимаю в своих объятиях. С ним я проведу счастливейшие мгновения в этой кампании.

У меня есть здесь друзья, они неоднократно доказывали мне свою дружбу в разных обстоятельствах; есть у меня здесь и знакомые, не раз проявлявшие интерес и внимание ко мне; привычка и уважение связывают меня с ними; после разлуки мы всегда рады видеться, – всё это так, но почему же я никогда не был так счастливо взволнован, как теперь, при встрече с моим любезным Алеко?

Мы провели вместе три часа, а мне всё было мало. Мы говорили о его семье, о событиях; ни прошлого, ни будущего мы не касались; мне трудно пересказать здесь нашу беседу, хотя она продолжалась целых три часа подряд и доставила мне величайшее наслаждение.

«Вот, – подумал я, прощаясь с ним, – вот торжество детской дружбы, торжество связей, упроченных временем. Если б всегда я мог испытывать такую же радость при виде тех, кто любит меня с детства; если б всегда я мог сохранить чувства дружбы и уважения, в коих поклялся Алеко, и к нему, и ко всем его добрым родным»[120].

Воспоминания

Я написал предыдущую главу, а внизу страницы оставалось еще место; тут ко мне пришел докучный гость, и, держа перо в руке, я подумал: «Что ж делать, дай-ка нарисую что-нибудь, чтобы заполнить это место».

– Нарисуйте то, что соответствует вашим мыслям, – сказал мой посетитель.

– Я бы рад, но мои мечты слишком неопределенны.

– Ну что ж, нарисуйте тогда голубятню или детей.

– Детей? Прекрасно! Я нарисую наши частые блаженные путешествия на остров дружбы, я изображу здесь невинное счастье, которое мы тогда уже знали; я попытаюсь изобразить черты Елены, теперь такой худощавой, в облике толстенькой пятилетней девочки. Мария стоит рядом с ней. Не знаю, удалось ли мне сходство, но воспоминания мои живы. Вот Алеко правит легким судном, которое несет нас вперед, я помогаю ему одной

рукой, а другая… её надо опереть на что-то, нужна ещё фигура… Я попытаюсь воскресить черты Николая. Ах, как это больно! Мне кажется, я нарушаю его покой, вызывая его образ, я не могу удержаться от слез, передавая на бумаге его черты. Я не люблю горевать и потому не люблю говорить о нем, хвалить его, превозносить его достоинства. Я редко решаюсь даже доверить бумаге скорбь и тоску по нем и, вспоминая детские годы, стараюсь о нем не думать, хотя тогда он главенствовал над всем в моей душе; я уже не представляю его себе в человеческом образе – словно это могло бы его оскорбить, – а думаю о нём как о моем ангеле-хранителе, как о звезде, руководящей моей судьбой.

Обожаемый брат, вот уже скоро пять лет, как мы расстались, и с тех пор я ни на мгновение не мог вообразить себя счастливым без тебя. Все, что кажется прекрасным большинству смертных, утрачивает для меня всякую прелесть, как только я вспомню, что мы не можем радоваться вместе; все горести, которые я испытываю, поражают меня тем больнее, что я знаю, как ты стремился бы облегчить их; всех, кого я вижу, я невольно сопоставляю с твоим небесным обликом и переживаю самые счастливые мгновения, когда другие думают, что я плачу по тебе.

Кто не эгоист в этом мире? Я плачу, это правда, – но я не скрываю от себя, что умею побеждать свою печаль, я знаю способ: тогда я воображаю себя рядом с тобой. Моей душе не хочется, я уж сказал это, придавать тебе человеческий образ; но я и себя не ощущаю в эти минуты, я чувствую только божественную благую силу, которой подчиняются все мои чувства, я исполняюсь восторга, и моя душа, поддержанная твоей, устремляется к чему-то более великому и более благородному, чем все окружающее. Тогда я действительно с тобой, мой добрый брат, мой обожаемый Николай. Тогда, увы, тогда я один, совсем один, оплакиваю тебя еще горше, чем прежде, и нахожу еще более бессмысленным то, что другие называют счастьем, сравнивая его с тем, чем я наслаждался, когда ты был в живых.

Отдых

Отдыхать надобно и от удовольствий, и от скуки, и от всего, чем мы занимаемся в жизни. Воин откладывает в сторону свой шлем, чтобы насладиться мирной жизнью. Судейский оставляет свои бумаги, чтобы в объятиях дружбы отдохнуть от хитросплетений человеческих интересов; придворный находит отдохновение в своем тесном кружке; светский человек бежит из города в деревню; ремесленник отдыхает в лоне своего семейства. Ну что ж, и я в беседе с моим другом отдохну от удовольствия

исписать 24 страницы: сегодня утром я наконец получил от матушки письма[121], которые ожидал с таким нетерпением, и чтение их, а потом писание ответов доставило мне величайшую радость. Как сладостно беседовать с любимыми родными, передавать им свои мысли, как легко писать, когда отвечаешь нежной матери! В ее объятиях отдохну я от военных невзгод, когда кончится этот поход, и там, среди безмятежных удовольствий, созреют мысли, рожденные этой славной кампанией.

Но что же вы подумаете о моем друге, который ничего не сообщает вам о событиях кампании? Я как раз предполагал отдохнуть за приведением в порядок размышлений, вызванных пережитыми событиями, я собирался подготовить историю этой кампании; но разве все наши планы сбываются? Составлять их – даже те, которые не удастся осуществить, – это тоже вид отдохновения. Тот, кто не решается позволить себе это удовольствие, не будучи уверенным в возможности осуществить задуманное, лишает себя одного из сладостнейших наслаждений – строить воздушные замки, возводить дворцы на крыльях своего воображения, легчайший трепет коих все мгновенно обрушивает.

Я собирался посвятить отдыху целую главу, почему же я этого не сделал?

Я уже рассказывал вам о голландке, которую встретил среди французских пленных, когда был дежурным на гауптвахте. Так вот, я взял её к себе. Как бы мне хотелось изобразить её комнатку, её скудный гардероб и то, с каким наслаждением она все это устраивала и как она заботится о моем белье, как она благодарна мне, как я пытаюсь каждый день разговаривать с ней на ломаном голландском языке, как она проливает слезы благодарности, когда меня видит! Невозможно описать ее чувства, когда я сказал ей, что хочу выручить ее из того неудобного и нездорового места, где она находилась, одеть и накормить; я бы очень хотел рассказать вам, как она выражает свою благодарность и преданность, как старается всячески мне угодить, но я всё откладывал это удовольствие и так ничего и не написал об этом.

Так вот, эта женщина может служить подтверждением того, что всякое занятие служит отдыхом. Она всё время просит работы; когда ей нечего делать, берет работу у хозяйки и успокаивается только с иголкой в руке. Я вздыхаю всякий раз, как вижу ее. Как было бы приятно сохранить около себя на всю жизнь человека, столь мне преданного! Но долг мой влечет меня в отдаленные края, и эта бедная женщина останется, как прежде, без всякой поддержки, счастливая хоть тем, что на время нашла

избавителя.

Пусть вас не возмутит, что, уезжая, я оставляю её без средств. Только в романах у героя всегда при себе кошелек, полный золота, которое он швыряет, кому угодно. Я не стыжусь признаться, что, расставаясь со своей голландкой, смог дать ей очень немного денег; если бы тщеславие увлекло меня к похвальбе, я имел бы право гордиться даже тем немногим, что сделал для неё.

18 декабря

Всё суета в этом мире

Не прошло и двух недель, как Осипов заходил ко мне. Он говорил о кампании и, как это ему было свойственно, очень много говорил о себе: рассказывал о сражениях, в которых он участвовал, о мужестве, которое проявил, о наградах, которые заслужил, и о тех, которые получил, о том, как лестно отзываются о нем генералы, и как хорошо они к нему относятся, и какие доказательства этому дают… И вот сегодня я присутствовал на его похоронах. Никто даже не пришел отдать ему последний долг – священнейший, самый бесспорный и наименее обременительный. Неужели дружбе человеческой приходит конец вместе с окончанием нашей жизни? Можно ли надеяться на место в памяти, уйдя из сердца?

Осипов любил хвалиться, тщеславие до такой степени ослепляло его, что он говорил только о себе; мечты, внушенные ему самолюбием, и тайные огорчения, самолюбием же вызванные, он переживал как действительные события, тревожившие его беспрестанно. И в то же время это был честный, добрый, мужественный, достойный человек, с приятнейшими манерами и прекрасным характером.

Как я ненавижу людей, которые, начавши словами «Господи, приими его душу», считают, что это дает им право затем сплетничать сколько угодно. Я не смею употреблять это выражение всуе, не решаюсь даже его повторить; если я говорил здесь о недостатках Осипова, то потому, что они у него были, потому, что о мёртвых можно лучше судить, чем о живых, так как странное, безрассудное чувство – будто они страдают и несчастны, сие чувство, которое всегда испытываешь, заставляет умолкнуть тайную ненависть, всякое пристрастие, и наши суждения оказываются более справедливыми.

Я сказал, что умерших считают несчастными; такое убеждение свидетельствует о душе слабой и заурядной, а все-таки оно встречается вновь и вновь. Что же привязывает нас к жизни так сильно, что мы не можем расстаться с ней без сожаления?

Какие чары заставляют нас так упорно цепляться за жизнь, что, даже когда она невыносимо тяжела, мы жалеем тех, кто с ней расстается? Стыдишься этой мысли, говоришь, что несчастны те, кто остались жить, – а в конце концов всё-таки жалеешь тех, кого мы потеряли.

Итак, его больше нет, этого Осипова, который в 20 лет сделал такую блестящую дипломатическую карьеру и безумный поступок которого обернулся в конце концов улыбкой судьбы, кто был украшен столькими орденами, чья храбрость всем была известна, кто пользовался уважением своего генерала. Итак, его нет в живых – тот, кто так спешил пользоваться каждой минутой, кто так любил блеск славы и в 20 сражениях отпугивал смерть своим мужеством; того, кто уже мечтал о победах и успехах в будущих кампаниях; того, кто был еще слишком молод, чтобы заслужить своими добродетелями место в раю, и слишком стар, чтобы иметь на него право по отроческой невинности; он был как раз в том опасном возрасте, когда человеку приходится больше всего себя упрекать, когда приходится бороться со столькими недостатками, подавлять столько страстей, – Осипов, можно сказать, обладал всеми качествами своего возраста, но не добродетелями христианина. И вот он умер, исчез весь внешний блеск, всё, что наружно его украшало, и нам остается только оплакивать его… Все суета в этом мире. И ты когда-нибудь вспомнишь эту истину, глубокую и разящую, трогательную и скорбную; ты будешь ее повторять, и слезы заглушат твои последние слова. «Какой прок в почестях, к чему привели все победы и успехи», – подумаешь ты с горечью; ты предпочла бы видеть его бесславным, но подле себя, чем орошать теперь слезами лавры, стоившие ему жизни.

Вот как бывает в жизни: счастье и несчастье идут бок о бок. Ныне мать радуется успехам своего сына и наших армий, не верит в несчастье, полна блаженства, не хочет даже представить себе опасности, кои грозят ее сыну, – а через несколько дней она будет низвергнута с вершин счастья в бездну отчаяния.

О вы, забывающие обо всем среди своего благополучия, помните, что горе всегда близко. Меч висит над нашей головой и в любую минуту может упасть. Тот, кого рука провидения спасала из тысяч опасностей, гибнет от безделицы, от непредвиденной и не вызывавшей опасения причины. В ту самую минуту, когда вы мечтаете о благодеяниях, которые дарует вам небо, вспомните, что все в руках провидения и что счастье не вечно. Любите славу, гоняйтесь за этим призраком, столь прельстительным в молодости, но стремитесь к счастью более надёжному, более спокойному, ибо неожиданный поворот в любое мгновение может показать вам, что всё суета в этом мире.

19 декабря

Ложь

Я никогда не стремился в своем дневнике заниматься порицанием страшных пороков и прославлением великих добродетелей; меня привлекают менее сильные страсти, более мягкие чувства, мне нравится разглядывать причуды и особенности характеров различных, но не блистающих яркими красками.

Ложь – я имею в виду мелкую ложь (я для того и сделал это предисловие, чтобы вы поняли, о чем пойдет речь) – принята и допускается в обществе. Люди, всегда говорящие правду, нередко бывают глупы; смешно класть на весы справедливости пустяки и безделицы. Нередко удачный вымысел вносит веселье в круг собеседников, откуда холодная точность изгнала его; малая ложь позволяет избежать крупных неприятностей, спастись от огорчения, отвести беду. Человек, который рассказывает забавную историю с такой же добросовестностью, с какой обсуждают серьезное дело, смешон и несносен в обществе.

Но почему же, когда мой любезный граф, к которому я пришел, чтобы разогнать мрачные мысли, внушенные похоронами, в конце шутливого разговора сказал мне: «Ну, а вы, молодой человек, уж, конечно, написали полный журнал нашей кампании?» – почему я ответил ему «да», хотя это противоречило истине?.. Если бы я сказал: «Я дурак, лентяй, за многое хватаюсь и ничего не довожу до конца, – это было бы чересчур; но мог же я сказать ему чистую правду. Ведь я все-таки думал об этом, даже приготовил некоторые материалы, и это составляет уже некоторую заслугу; почему же мне понадобилось прибавлять к ней незаслуженное и говорить, будто я уже все сделал? Мне не хотелось рассказывать ему в подробностях о том, что мешает выполнению моего замысла, и потому я солгал. Пусть это ложь невинная, никому не повредившая, но мне-то самому она вредна, поскольку приучает меня к неправде.

Вступление гвардии в Вильну 5 декабря. 6 декабря 1812 г.
Рисунок А. В. Чичерина. Военный дневник. 1812–1813 гг.

О, сколько раз я ловил на ошибках это ничтожное существо, которое считал таким совершенным, этого идола, которому доныне поклоняюсь, имя которому «я»! Тут позволяешь себе немножко солгать, там прощаешь себе другой проступок – и знаете, что самое досадное? – то, что большая часть этих проступков вызывается тщеславием. Да! Всё ради того, чтобы показаться достойным, чтобы блеснуть, и в этом-то кроется опасность, потому что, когда говорит самолюбие, прощай разум, ничего не поделаешь… Как жаль, что у меня нет с собой моего петербургского дневника, я бы перечитал его, и может быть, прошлые заблуждения послужили бы мне противоядием против нынешних; может быть, увидев, как я без конца ошибался, обнаружив ослепление даже в том, что мне тогда казалось разумным, я сумел бы совсем исправиться!.. Но этого дневника здесь нет, а воспоминания так тесно сплелись с тщеславными мыслями, что воображение с готовностью представляет мне мои прежние успехи и удачи, но отказывается помочь мне, когда я хочу вспомнить свои дурные поступки.

19 декабря 1812[122]
Размышления о кампании[123]
Когда я вернусь в Петербург, то, прочитав все книги,

которыми завалят лавки после этой войны, справившись со всеми рассказами о ней, побеседовав с теми, кому известны тайны политики, я, быть может, напишу историю этой кампании. Пока же я могу лишь заносить от случая к случаю на бумагу размышления, ею вызываемые, и, дабы привести их хоть в какой-то порядок, я начну с тех, которые возбудило во мне начало войны, и изложу их в той последовательности, в какой они возникали.

Я считал войну с Францией делом вполне естественным. Предыдущие кампании показали нам, что мы, по всей вероятности, сможем противостоять ей, прекрасное состояние наших войск придавало нам смелости[124]. Насильственный и невыгодный мир, который был недавно заключен, настоятельные просьбы нескольких правительств, деспотическое давление на нас французского двора, лживость его послов, недовольство всего нашего народа привели к разрыву, политические поводы которого остаются от меня скрыты.

Очень возможно, что у нас был план кампании; еще более вероятно, что никакого плана не было. Прежние испытания, показавшие мужество наших войск, познакомили нас также с искусством французских военачальников, и в тот момент я испытывал странную боязнь. Сам государь, объявив войну, хорошо сознавал, что рискует своим венцом[125]. Он долгое время колебался, армии стояли на границе; Витгнештейн и Эссен – на севере, мы – возле Вильны, Багратион – ниже, возле Гродно, и армия Тормасова должна была, как только Чичагов заключит мир с Турцией, двинуться туда, где в ней более будет нужды.

Таково было расположение наших армий, когда неприятельские войска вступили в наши пределы сразу в нескольких пунктах, из которых, как мне представляется, Гродно и Ковно были самыми важными по значению операций, совершившихся там. Если бы у нас было намерение вести войну по ту сторону своих границ, мы успели бы еще сосредоточить свои силы, но не оставалось сомнения, что было решено пожертвовать Польшей и, превратив ее в театр войны, рассеять и немного проучить ее жителей, преданных французам, бесчестных и мятежных[126].

Сила неприятеля не была нам известна наверное, и, когда вся великая его громада предстала перед нами, мы были устрашены. (Я говорю только о нашей армии.)

Мы сошлись у Свенцян 14 июня – нас только и было, что одна гвардейская дивизия да несколько армейских, – и, не дожидаясь неприятеля, отступили до Дриссы, по которой добрались до знаменитого Дрисского лагеря. Говорят, что там предполагалось

соединиться с Багратионом, но французская армия, едва войдя, вынудила наши два арьергардных корпуса совершить фланговую диверсию почти перевернутым фронтом, и Багратиону пришлось отступать к Минску с большой осторожностью, так как его теснила армия, почти столь же огромная, как та, что угрожала нам.

Через несколько дней мы оставили Дрисский лагерь. Не говоря уж о том, что большая часть укреплений была дурно расположена, что батареи не могли действовать в некоторых направлениях более чем на двести шагов, что завалы были сделаны в той части леса, которая пришлась на нашей стороне, что вся позиция была чрезмерно растянута и наши силы, и без того уже вынужденные разделиться и растянуться, оказались бы еще более ослабленными, не говоря и о том, что всегда опасно иметь позади реку, особенно когда отход за нее плохо обеспечен, – этот пункт не представлял никакой важности для неприятеля. Дриссу можно перейти вброд в любом месте; а обойдя нас, неприятель мог двинуться совсем в ином направлении, и мы не сумели бы его остановить.

К тому же тогда думали лишь о том, чтобы выиграть время, и отступали, чтобы скорее закрыть дорогу на Петербург и осуществить соединение обеих армий. Ежели в тот момент французская армия не пошла на Петербург, то потому лишь, что боялась наших сил[127], – притом же мы действовали все время по внутренним операционным линиям, а французские коммуникации оказались совершенно без прикрытия[128].

Мы переправились через Дриссу у самого Дрисского лагеря и пошли на Полоцк, все время стараясь соединиться с армией Багратиона. Прибыв в Витебск, мы ждали, что Багратион пробьется к нам через Оршу.

В Дриссе у нас было 80 тыс. человек. Вместе с армией Багратиона наши силы могли составить до 150 тыс. Багратион действительно выслал сильный авангард под командой Раевского, пытаясь открыть себе путь, но, видя, насколько это предприятие рискованно и непосильно, отступил, а это заставило и нас отступить к Смоленску[129]. Раевский прикрыл движение Багратиона, которому вследствие этого удалось обогнать противника на два перехода; наш же авангард под командованием графа Остермана[130] тоже сдерживал неприятеля, пока мы не совершили отход перед лицом неприятельской армии, достигавшей 150 тыс. человек. И только в Смоленске второго или третьего августа мы, наконец, столь удачно соединились.

80-тысячный корпус под командованием Макдональда

угрожал Витгенштейну в Друе, но этот генерал, столь же удачливый, сколь предприимчивый, повсеместно отразил атаки, прикрыл и спас таким образом дорогу на Петербург и вынудил неприятеля занять выжидательную позицию, чтобы прикрыть коммуникации своей действовавшей против нас армии.

Настал самый критический момент. Смоленск – ключ ко всем дорогам. Наши армии соединились там, они требуют боя; генерал Барклай, прославившийся своим благоразумием и порядком, который он сумел сохранить в отступлении, готовит диспозицию. Неприятельская армия разделена, растянута почти на сто верст. Барклай не решается наступать. (Последующие события показали, что окружавшие его предатели скрывали от него движения неприятеля.) Несколько дней он теряет в бесполезных маневрах. Обманутый ложными слухами, он бросает армию к Поречью, северо-западнее Смоленска, затем возвращается, идет на запад, удаляется на 28 верст и не знает, что французская армия уже соединилась, что она атакует Смоленск, защищаемый ополчением и прикрываемый корпусом Раевского, наименее удаленным (в 14 верстах) от города[131].

Наша армия поспешно идет к Смоленску, останавливается позади города, подступы к которому защищают два корпуса; мужество наших войск несколько раз уступает силе, но все-таки превозмогает; сражение продолжается два дня, город все еще в наших руках; но момент для наступления упущен, силы неприятеля значительно превосходят наши; Барклай видит, что в конце концов нам все равно придется отступить, но потерявши перед тем половину армии; наконец он решается, и вечером 7-го числа мы оставляем позицию и отходим к Дорогобужу.

Сначала мы прошли четырнадцать верст в направлении Поречья, а затем вышли на большую дорогу. Третий корпус, который следовал за нами на расстоянии половины дневного перехода, двигался в беспорядке (день был очень жаркий, и пыль стояла над землей густой тучей, скрывавшей все из виду); вдруг голова колонны натолкнулась на передовые части неприятельской армии, выстроившейся в боевом порядке, и только мужество наших солдат, пример и бесстрашие Барклая помогли исправить допущенную им в этом случае неосторожность. Тот, кто прославился своим отступательным маневром, не знал о существовании рокадной дороги, позволившей неприятелю появиться вдруг там, где его не ждали.

Наши колонны бегут, спасаясь от опасности, почти неминуемой; эта большая ошибка имела тяжелые последствия – бесполезную гибель многих лучших полков, ничего не изменившую в ходе военных действий. Мы подошли к

Дорогобужу и остановились среди огромной равнины; Багратион предлагает сражаться, Барклай все колеблется; армия в смятении: она хочет боя, но боится его последствий, неприятель кажется страшнее, чем когда-либо. Возможно, Барклай уже предвидел свою отставку; да и позиция не представляла особых преимуществ; как бы то ни было, Барклай неожиданно оставил город и, не пытаясь дать сражение, продолжал отступать, пока, не доходя Гжатска, не был сменен фельдмаршалом Кутузовым, коего дворянство и государь избрали верховным главнокомандующим и чьё имя внушало солдатам больше доверия, чем имя молодого генерала, не имеющего прочной репутации и своей чрезмерной осторожностью, своим планом ведения войны и совершёнными ошибками навлекшего на себя всеобщую ненависть.

Лица, окружавшие его, вызывали подозрение; а все его маневры были так плохо согласованы, что многие обвиняли его в измене, в которой были с очевидностью виновны некоторые его адъютанты.

Итак, прибыв к армии, светлейший был встречен как спаситель. Дух армии сразу поднялся, и там, где Барклай не мог рассчитывать на свои войска, Кутузов с уверенностью полагался на храбрость солдат.

Но и он, приняв командование, продолжал отступление, так как ему нужно было время, чтобы оглядеться, познакомиться со своими силами и силами неприятеля, а главное, чтобы подойти к Москве-реке, у истоков которой имелись выгодные позиции – условие, которое нам было очень трудно встретить раньше.

Наконец, 22-го или 23-го мы стали лагерем под Бородином. Это село находилось справа от нас у реки, прикрывавшей наш фронт; наши егеря заняли его, образуя крайний правый фланг. Позади реки, на холмах, господствовавших над нашими передними рядами, были поставлены батареи; левый флаг прикрывался батареей, выдвинутой перед лесом, на опушке которого находилось 20 тыс. человек центра; большая часть их была очень далеко за лесом, потому что они были оставлены в резерве на все время сражения, и их поместили там только затем, чтобы внушать страх неприятелю.

19 декабря

Многие черты создали нашему доброму государю репутацию милосердного и сострадательного человека. Мне приятно привести здесь пример, подтверждающий доброту его сердца. Он теперь торжествует – но ведь французы сожгли Москву, разграбили богатейшие области, ввергли в нищету любимый им, драгоценный его сердцу народ. Судьба пленных не должна была

бы его интересовать, ему должно было бы казаться естественным мстить за жестокости, в которых они повинны. И если великодушие побуждает его простить, забыть все их страшные вины и отплатить лишь благодеяниями, то разве не мог он удовольствоваться тем, чтобы отдать приказания, облегчающие участь этих несчастных?

Я уже пытался изобразить ужас, пережитый мною в битком набитых пленными страшных казематах, исполненных зловонием вследствие нечистоплотности узников, где на лестницах валялось столько трупов, что невозможно было пройти. Я уже пытался описать здесь облик этих несчастных, униженных бедой, не выражающий ничего, кроме отчаяния и страдания. Но я не мог описать внутренность тех помещений, где они влачат и завершают свое жалкое существование, я не мог даже войти туда; а те, кого долг вынуждал туда заглядывать, выходили, шатаясь, отравленные страшным зловонием.

Государю всё это рассказали. Его охватил ужас, когда он узнал об этих отвратительных подробностях, и, дабы показать, как он умеет побеждать и прощать, он один, без свиты, завернувшись в шинель, прошел по самым зачумленным углам сего храма смерти. Дважды он пересек из конца в конец огромные залы, где смерть предстает в тысяче мучительных образов, его кроткие и ласковые слова, подобно благодетельному бальзаму, воскресили несчастных, которые не знали, кто сей великодушный, вносящий покой в их душу, кого им благодарить за расточаемые благодеяния. Он всё сам увидел, обо всем распорядился, все смягчил своей кротостью и в ту минуту, когда его имя стало переходить из уст в уста, сопровождаясь самыми высокими эпитетами, в ту минуту, когда какой-то офицер узнал его, он покинул сию обитель скорби, куда внёс радость и довольство, покинул ее, оставив всех пленных исполненными восхищения перед его милосердием, его добротой и всеми добродетелями, которые украшают его царствование не менее, чем блеск военных успехов, – добродетелями, кои побуждают его подданных видеть в нем отца и друга.

22 декабря 1812 г. Вильна

Продолжение «Размышлений о кампании»

26-го [августа] произошло это сражение – бессмертное, ибо давно уже не было случая, чтобы две такие грозные армии (двенадцать сотен пушек и беспримерное мужество с обеих сторон) столкнулись в генеральной битве впервые после долгого уклонения от боя.

Подробности этого дела известны другим лучше, чем мне:

я был в рядах и поэтому не могу судить о нем сам. Когда наступила ночь и утихла канонада, потери обеих сторон были равны, каждая считала себя одержавшей победу и в то же время, видя свою слабость, опасалась противника.

Французы были поражены тем, что значительно уступавшая им армия, которую они видели в смятении и дурно управляемой, твердо противостоит их армии, одушевленной нашей ретирадой и значительно превосходившей наши силы.

Французы атаковали по всему фронту и повсюду были отбиты; на следующий день они почувствовали себя слишком слабыми, чтобы вновь атаковать нас. Русские подошли вплотную к этому колоссу, увидели все части его, и он стал гораздо менее страшен: многие говорили, что надо на него напасть, его разбить… Но как? После такой неопределенной победы вся армия пришла в беспорядок, осторожное отступление представлялось благоразумнее всего: мы могли затем сосредоточить наши силы и дать сражение, ничем не рискуя, тогда как неприятель, удаляясь от своих тылов, понимал большую опасность второго столкновения. Атаковать было невозможно, ибо неудача погубила бы империю; в армии не был наведен порядок, а решительный удар нельзя наносить, не зная хорошо своих сил. Впоследствии мы доказали, что наша армия могла бы выдержать два таких сражения, как Бородинское, и продолжать кампанию, но в тот момент и два небольших дела подряд могли привести ее в расстройство, которое трудно было бы исправить и которое могло бы иметь весьма дурные последствия. Утром 27-го мы отступили на Можайск и продолжали отходить в наилучшем порядке до самых врат Москвы, куда подошли 1 сентября. Подходящей позиции для боя не было: обрывы, узкие овраги; поражение же было бы слишком опасным. Сдача столицы без боя могла проистекать из наших планов, сдача ее после проигранного сражения означала бы подписание позорного мира, упадок духа и гибель всей армии[132]. Почему, спрашивают некоторые, мы ничего не вывезли из Москвы? Но ведь её древние сокровища были главной приманкой для французов: пока они навьючивали на лошадей богатства, взятые в домах, и опустошали винные погреба, мы совершили, да ещё в полной тайне от них, самый искусный маневр. Если бы Москва была подожжена, Наполеон не задержался бы в ней, он догадался бы, что мы можем выиграть от этой потери, – тогда как, сделав вид, что сдача столицы была непреднамеренной, мы заставили его надеяться на мир и бросили ему приманку, на которую он, как мы этого хотели, попался.

Мы вышли на Рязанскую дорогу. Если бы Наполеон выдвинул свой правый фланг, он мог бы перерезать Калужскую дорогу, и

ему достались бы огромные запасы продовольствия. Он рассчитывал приобрести с Москвой слишком многое и потерял голову от своей необычайной удачи. А пока он только и занят был тем, что радовался своему успеху, мы уже осуществляли фланговый марш. Обойдя Москву слева и выйдя на Калужскую дорогу, мы приблизились к нашим житницам.

За нами шел сильный авангард неприятеля, следивший за нашим движением, но всем его атакам мы давали отпор и, наконец, 22 сентября встали лагерем у Тарутина, в Леташевке, за Нарой, где позиция, довольно удобная сама по себе, была искусственно укреплена, так что сделалась неприступной. Французы, плохо осведомленные, считали эту позицию ещё более сильной, чем она была на самом деле. Правда, в течение тех 20 дней, что мы там находились, наши полки были так хорошо укомплектованы, что армия приняла совершенно другой вид, резервы были превосходные, кавалерия сосредоточилась, воинский дух был высок, и, наконец, сама местность нам благоприятствовала – батареи могли стрелять так далеко, что для нападения на нас требовалось бы значительное превосходство сил, а наши 130 тыс. человек представляли страшную угрозу для французов.

Наполеон стал предлагать мир, я видел его прокламации, о мире заговорили кругом; я достоверно этого не знаю, но прошел слух, будто и фельдмаршал склоняется к тому же, и сие завлекло в западню гордого победителя, опьяненного в Москве сладостью своей удачи.

В это время множество партизан находилось на коммуникациях неприятеля, беспокоя его. Москва уже не могла поставлять ему продовольствие, крестьяне захватывали фураж, неприятельская армия терпела во всем недостаток, а мы находились в восьми верстах от Калуги, откуда получали съестные припасы и всякого рода пособия.

Наконец, 6 октября светлейший уступил настояниям всех генералов, и мы атаковали следовавший за нами корпус численностью до 30 тыс. человек. Второй и четвертый наши корпуса наступали с фронта и левого фланга, Орлов с 10 тыс. казаков обошел его с тыла, а мы находились в центре, стоя в резерве, дабы поддерживать оба действующих корпуса. Сие дело проведено было не столь успешно, как могло быть. Неприятель был осведомлен о нашем маневре, были случаи запоздания. Но тем не менее исход предприятия был блестящим. Взято было 20 орудий, весь обоз, целый корпус бежал в беспорядке, и в тот же день французы оставили Москву.

У неприятеля уже почти не было конницы – она не могла

получать фуража из-за сопротивления, ей оказываемого, и какое бы то ни было пополнение конского состава было для нее совершенно невозможно. Сама армия тоже значительно уменьшилась и не имела припасов. Часть артиллерии тащили быки, а остальную – крестьянские лошади.

Отступление Наполеона не может рассматриваться иначе, как пример полного поражения. От самой Москвы и до того места, где он находится сейчас, когда я пишу, это был сплошной ряд неудач, сплошной затянувшийся разгром, и ни разу, нигде мы не замечаем ни искры той гениальности, которая отмечала прежде каждый шаг Наполеона.

Светлейший ожидал этого. Ибо что мог он (я имею в виду Наполеона) поделать в такой войне, как эта, когда народ, армия и даже погода – все было против него? Он захватил Москву, он мог бы захватить и Петербург – и всё-таки был бы побит.

В Москве оставаться ему нельзя было, так как он терпел там во всем недостаток, наше нападение 6-го числа показало ему, что мы не дремлем; ему приходилось опасаться всего, и он надеялся удовлетворить нас, удалившись из Москвы, чтобы спокойно занять зимние квартиры в тех губерниях, которые были ему преданы и в которых у него были громадные магазины. Узнай мы об его отступлении двумя днями позднее, он мог бы спастись. Его корпуса отходили бы безопасно, и он вступил бы – правда, после очень трудного марша – в такие области, где мог бы легко нас остановить.

Но он плохо знал нашу страну, её климат и людей, с которыми имел дело. И хотя большинство генералов далеки от того, чтобы восхищаться поведением светлейшего, все маневры его, несомненно, блестящи. Вероятно, он не раз мог бы уничтожить полностью неприятельскую армию. Но зачем же было терять без пользы людей, когда, лишь тревожа ее, он мог быть уверен, что зима и голод её погубят?

11-го мы оставили Тарутино и пошли к Малому Ярославцу. Неприятель отступал, и мы направились туда, чтобы не пустить его к Калуге и заставить вернуться на прежнюю дорогу. Когда мы подошли к городу, там уже завязалось дело. Приди туда Наполеон несколькими часами раньше и прояви больше решимости, он мог бы свободно идти на Калугу, ибо мы были очень удивлены, застав французов в Малом Ярославце: этого мы никак не ждали. К тому же другие наши корпуса уже отошли отсюда, и атаки тех двух, кои были налицо, хотя и живо проведенные, имели столь малую поддержку, что исход дела представлялся сомнительным – оно оказалось скорее диверсией, чем действительной попыткой дать сражение[133]. У нас было

только четырнадцать пушек. И все же вечером неприятель отступил, а мы тоже отступили, ибо город нас не интересовал: мы должны были охранять дорогу и от взятия города отказались.

Тем временем французская армия намного нас опередила, и, несмотря на грязь, стеснявшую ее движение, нам нелегко было ее догнать. Наш авангард вел параллельное преследование, казаки беспокоили неприятельские тылы, а мы, двигаясь обходными дорогами, перерезали путь на Вязьму. Это было 23 октября. Наш марш был недостаточно быстр, и поэтому успех был только половинный. Неприятель покинул город, мы поспешили к Ельне, чтобы прикрыть дорогу; 40-тысячный авангард продолжал преследовать французов. Мы еще не сознавали всей нашей удачи и предполагали, что неприятель остановится в Смоленске. Но его отступательный маневр с каждым днем становился для него все более опасным, и он бежал, бросая пушки, снаряжение и все тяжести; его армия была совершенно рассеяна, а мы стремились более всего догонять его передовые отряды.

5 ноября мы подошли к Красному, где находилась неприятельская армия. Наш авангард должен был атаковать ее с тыла, шестой и третий корпуса – с левого фланга, а мы ждали в конном строю на дороге перед городом. Этот маневр доказал и правильность расчетов светлейшего, и его благоразумие, вследствие чего он свой план не осуществлял, так как с Наполеоном были гвардейские полки и те части, которые ему еще удалось сберечь, и незачем было идти на риск генеральной битвы, когда малые бои давали нам столько преимущества, а погода – ужасная грязь и холод – с каждым днем заметно подкашивала силы французов. К тому же у светлейшего был втайне намечен пункт, куда он хотел оттеснить противника; если это ему и не удалось, то этим нисколько не умиляется слава, которую он заслужил.

14 ноября мы оказались за Борисовом и Минском, недалеко от Березины, переправу через которую чрезвычайно затрудняют болотистые и лесистые берега.

Витгенштейн, одержав ряд побед, пошел на Полоцк и оттуда непрерывно двигался на сближение с нашей армией. Чичагов делал то же самое, но с меньшим усердием. Он разделил свою армию, бывшую в превосходном состоянии: оставил Сакену 45 тыс. человек, с которыми тот сдерживал австрийцев, не имевших слишком большой охоты нападать, а сам с 15 тыс. человек присоединился к Витгенштейну. Но как ни мало он был склонен действовать, дух Кутузова восполнил этот его недостаток, и Чичагов оказался на противоположном берегу Березины в то самое время, когда мы гнали французов на него,

так что им невозможно было ускользнуть.

Это столкновение было, однако, счастливей (чем, разумеется, могло быть) и для Наполеона, ибо хотя Витгенштейн, согласовав свои действия с нашими, обрушил на него все свои силы – до 80 тыс. человек, сие не сделало еще положение французов совершенно отчаянным.

22 декабря. Вильна

Вот опять я не знаю, что мне нарисовать. И что тут удивительного? Жизнь, которую я веду здесь, так однообразна, что если не рисовать без конца мою комнату и соседнюю улицу, то вообще не найдешь сюжета. Ну что ж, нарисую рынок, где торгуют французскими обносками. Может быть, изображение это меня позабавит, и то хорошо.

Ах, как я должен быть теперь благодарен, что немного умею рисовать; в Петербурге я жаловался, что это упражнение отвлекает меня от других занятий. Зато как рисование пригодилось мне теперь: ведь мне нечем более заняться, разве только читать «Дон Кихота» и вновь перечитывать, когда закончу. Боюсь, однако, как бы я не был скоро наказан за свои жалобы. Мы тронемся в поход, придется стоять и в других городах, и, возможно, я там буду скучать еще больше. Вот как создан человек – вечно недоволен. Здесь мне спокойно, я получаю письма, хожу развлечься на базар, рисую, пишу – и все-таки жалуюсь.

23 декабря 1812 г.
Прощай, Вильна!

Вот уже 18 дней, как мы здесь; завтра мы выходим поближе к границе. Прощай же, Вильна, место, столь приятное на расстоянии, столь разукрашенное издалека воображением, где я, однако, не мог, как ни старался, найти себе развлечения.

Надо же все-таки записать что-нибудь на память, чтоб можно было хоть о чём-нибудь пожалеть. Попробую порыться в памяти и отыскать, на чём же может остановиться мысль? Чтобы вернее это сделать, я переберу свой день с самого утра; может быть, я найду среди своих удовольствий нечто, чем обязан Вильне.

Я встаю с постели – она очень хороша, слов нет, – но следует со мною повсюду и везде одинаково хороша, так что не она заставит меня пожалеть о Вильне. Мой завтрак также хорош – но я всегда так завтракаю с тех пор, как началась кампания. Я сажусь рисовать. Нет, ни одним рисунком я не обязан пребыванию в Вильне! И что тут можно перенести на бумагу: улицу или мою комнату? Как я уже вчера говорил, в ней нет ничего, что говорило

бы воображению. Время от времени я встречаюсь здесь с графом – но на биваках я видал его чаще. Обед у меня отвратительный, трактирный ещё хуже моего; нет, и наслаждений вкуса я в Вильне тоже не испытал. После обеда я пишу – но писал и раньше и буду писать повсюду, где бы я ни был; мысли мои рассеиваются здесь беспокойством, в котором я нахожусь, их омрачают зрелища, которые непристанно открываются моему взору, их парализует сознание, что я нахожусь в столице, где нет даже тех удовольствий, кои встречаешь в уездном городке. С тех пор, как я здесь, у нас не было ни одной беседы, подобной тем, какие мы вели прежде, когда мечты, веселье, рассуждения, все вместе радовало сердце, так что совсем незаметно было, как движутся крылья времени[134].

Отъезд из Вильны.
Рисунок А. В. Чичерина. Военный дневник. 1812–1813 гг.

Но что же? Вот уже пора спать, а я еще не нашел причины пожалеть о Вильне. Что я делаю, когда мне становится скучно? [135] Выхожу из дому, заглядываю к Кашкарову, беру несколько аккордов на клавесине, таком скверном, что его не сравнить с хорошим спинетом. Встаю, иду в гостиную…

Ах да, вот о ком я могу вспомнить – прелестная Розалия, тебе я посвящу прощальный вздох.

Розалии ещё нет 20 лет. Она очень свежа, по наружности настоящая полька, каштановые волосы оттеняют ее оживленные голубые глаза. У ее тётки есть приличное состояние, но Розалия

занимается хозяйством, шьет, сама делает себе платья. Десять офицеров заняли все комнаты в их доме, и все видят её всегда на одном месте с шитьем в руках, достаточно скромно и весьма равнодушно принимающую лестные, но мимолетные любезности легкомысленной молодежи; кажется, она пытается отыскать среди них хоть одно чувствительное и более постоянное сердце. Она не сурова, нельзя также сказать, чтобы она кокетничала; женщины, готовые нападать на чужие слабости и не видящие своих собственных, вы не найдете повода придраться к ней! Не раз, когда мне нечего было делать, я повторял ей в шутку, что хотел бы жить только ради нее, а она в шутку отвечала, что хотела бы жить для меня. Закончив эти объяснения, я обычно подходил к клавесину, чтобы взять несколько минорных аккордов. Она, кажется, находила в этом признаки страсти, а я как будто немного догадывался о её мечтах; в этих невинных шутках проходили минуты, которые мне удавалось украсть у тоски. Итак, Розалия, тебе я посвящу прощальную мысль, тебя вспомню, когда мне вздумается пожалеть о Вильне. Дай бог тебе никогда не встретить молодого человека, любовь которого окажется менее скромной, чем моя, дай тебе бог никогда не испытать чувства более сильного, чем то, которое я мог тебе внушить, если ты хочешь быть истинно счастливой! Может быть, найдется честный жених, который даст тебе богатство и счастье, – тогда люби; но я знаю по собственному опыту, что стоит любви войти в наше сердце – и прощай покой, прощай радость на веки веков. Итак, я повторю: прощай, Вильна, прощай навсегда.

24 декабря, Свионтники, в 21 версте от Вильны

Артиллерия осталась в Вильне, выступили только наши четыре полка, которые идут вместе, поэтому нынешний день был не так утомителен, как я предполагал, судя по парадам, предшествовавшим нашему выступлению.

А вообще, хотел бы я знать, как может скучать философ, который из всего извлекает тему для размышлений и развлекается, осуждая речи и поступки других людей?

Сначала я шел на своем месте совсем один. Мне нравилось это уединение: столько мыслей посещало меня одна за другой. Затем я перешел в голову батальона, где были все наши. Мы шутили, болтали, повторяли городские сплетни, веселость оживляла наш разговор, а изредка и остроумие бросало туда свой цветок. Мало-помалу я уединился, находясь в толпе; мне нравилось прислушиваться к чужим словам и угадывать чувства, руководившие говорящими. Тем временем полк остановился, а я, продолжая идти вперед в рассеянности, не давшей мне заметить,

что делается кругом, оказался впереди музыкантов; только крик, поднятый нашими офицерами, заставил меня очнуться от мечтаний.

Во главе полка обычно идут избранные остроумцы. Близость других полков привлекает сюда самых красноречивых говорунов; но так как всегда опасно слишком свободно говорить перед незнакомыми людьми, то беседа становится чрезмерно осторожной, искусственной, все держатся принужденно и оттого кажутся смешными. У каждого есть своя любимая история, своя шутка, свой анекдот или каламбур, но ничего не удается как следует рассказать. Вот одна группа обсуждает всю кампанию, начиная с Дрисского лагеря, противоречит всем общепринятым взглядам и нападает на известные мнения. Немного далее какой-то офицер рассказывает о своих любовных похождениях. Я бы тоже мог, взяв за основу любезничанье с Розалией, сочинить историю, может быть, более согласную с истиной, чем те, какие слышишь в этом кружке. Но я предпочел быть слушателем. Все так и сыпали каламбурами, шутками, острыми словами – в этих спорах все шло в ход… Некий Поджио уже целый час удерживал внимание собравшегося вокруг него кружка весьма забавной историей, которую он рассказывал; дьявол зависти подтолкнул меня, я захотел поддержать честь нашего полка: у меня был уже готов рассказ, я начал было говорить – и, конечно, оказался бы сам в числе тех людей, которых нахожу нелепыми, но, к счастью, отдых окончился, и я покинул этот кружок, стыдясь того, что чуть не стал его членом.

25 декабря. 63 версты от Вильны. Захары

Сегодня мы, выступив задолго до рассвета, прошли 42 версты. Когда солнце зашло, мы были еще в пяти верстах от квартир. Я шел всю дорогу пешком – почему же я совсем не устал? Потому что идти было очень приятно и разумная беседа скрашивала долгий переход. Погода была прекрасная, наш полк шел один и поэтому очень быстро, мы довольно часто останавливались на привал, местность тут разнообразная. Вот почему я чувствую себя свежим, пройдя 42 версты. Предполагалось сначала сделать только 28 верст, но завтра будет дневка; к армии прибудет государь; ему понадобится 100 квартир, и нас отправили вперёд, дабы мы не занимали деревень вокруг квартиры его величества. Итак, хотя прибытие государя должно радовать его верных воинов, хотя он сам надеется доставить нам удовольствие, разделяя наши труды, на самом деле его присутствие приносит нам неудобство, и солдат вынужден проклинать его благие намерения.

26 декабря (на отдыхе)

Продолжение «Размышлений о кампании»

Так оно бывает в этом мире. Нельзя нравиться всем сразу, даже самые похвальные поступки находят критику, по всей видимости, разумную. Я вспоминаю, что когда-то мечтал так рассчитывать все свои действия, чтобы никому не мешать, чтобы никто не мог меня ни в чём упрекнуть. Как же это могло быть, когда я сам так часто ловил себя в то время на ошибках? Чем больше я старался угодить одному, тем вернее восстанавливал против себя других.

Останемся такими, каковы мы есть, будем неустанно стремиться образовать свое сердце и украсить ум чувствами и размышлениями, вытекающими из созерцания мира; будем руководствоваться своим эгоизмом – не для того, чтобы давать пищу тщеславию, но для того, чтобы удовлетворить требованиям совести; что же касается всеобщей любви, то откажемся от нее, как от мечты, за которой можно гнаться лишь к собственному ущербу.

Объединённый маневр трех армий, наступающих с трех разных сторон, столь труден, что нельзя было ожидать успеха. Я не имею полного представления о местности, но, нет сомнения, Чичагов плохо следил за неприятелем. Наша армия не могла догнать французов, несмотря на ускоренные марши; Чичагов же имел в поле зрения только Борисов. Наполеон проходит ниже, наводит мосты и начинает переправу; Чаплиц гонится за ним, но действует только двумя орудиями, неприятель бросает весь свой обоз, но Наполеону и большей части его армии удается спастись.

Он продолжает бегство до Немана, переходит границу чуть не один, без обоза и без орудий. Платов его преследует и сообщает в своих рапортах, что больше нечего делать. Теперь наши армии находятся на границе и собираются её перейти, а наш корпус, как говорят, должен здесь остановиться, хотя очень возможно, что мы тоже пойдем вперед, сопровождая государя.

Вот история этой кампании. Как видите, читать ее будет очень скучно хорошенькой женщине, которая захочет дать себе труд ознакомиться с военными событиями; и даже для людей, мало осведомленных, эта история слишком неполна. Еще раз повторяю: эти страницы я писал лишь для того, чтобы привести в порядок свои мысли, по возможности ясно изложить то, что знал, а заодно разобраться в плане кампании, высказать свое мнение о действиях армий – нашей и одной из тех, что действовали вместе с нашей…

Я уже очинил перо, как случайно открыл Жомини[136]. Он

говорит, что всякое изучение военных действий должно начинаться со знакомства с местностью. Мне очень понравилась его книга, я с удовольствием поглощаю ее страницы; и когда отсутствие карты заставило меня прервать чтение, я тут же отказался и от своего замысла. Только в Петербурге, хорошенько изучив карты, внимательно прочитав Жомини, я возьмусь за это предприятие, которое и тогда будет очень трудным, но все же не невозможным, как теперь. Ибо у меня нет здесь карт, у меня не бывает ни одного полностью свободного дня и нет места для занятий – кругом слишком шумно, слишком многое (и, к несчастью, глупое) меня отвлекает. И почему бы не признаться, что мне даже и не очень хочется серьезно заниматься этим сейчас? Однообразное и утомительное времяпровождение отучает от самых любимых занятий.

27 декабря. 88 вёрст от Вильны. Талькуны

Истинное счастье

Сегодня переход был тоже очень приятным. Облачно, дорога хорошая, шли мы вольно, хорошо отдыхали, хорошо позавтракали; по окончании марша меня ждали скромный, но сытный обед, приятный и оживленный разговор; а сейчас у меня удобная постель, перо и кисть при мне… Что же ещё нужно для счастья? Вы, может быть, скажете: «Какие жалкие искорки счастья!» А я вам отвечу: «Какое прекрасное рассуждение!»

Разве мог бы я найти удовлетворение, если бы желал сейчас славы, чинов, богатства? Чем больше пищи получает честолюбие, тем ненасытнее оно становится.

Если бы я даже мог рассказать здесь о той, которая заставляет меня вздыхать, разве нашел бы я в этом истинное счастье? Один взгляд опьянял бы меня, одно слово приводило бы в восторг, но черные змеи недоверия очень скоро превратили бы восторг любви в тревогу и сомнения, и я тщетно пытался бы искать в каждом слове залог своего счастья. Любовь дарует нам наслаждение, но она же примешивает к нему тайную отраву, оставляющую в глубине сердца горечь.

Я убежден, что быть счастливым в этом мире можно, лишь находя наслаждение во всякой малости, уступая различным увлечениям, наслаждаясь самыми разнообразными впечатлениями, обдумывая в подробностях свои занятия, стараясь из каждого извлечь приятность – и так заполняя свой день, чтобы оставлять место лишь для советов рассудка и приятных воспоминаний.

Вы меня знаете: я дал клятву служить отечеству, сколько хватит моих сил; я не принадлежу к числу тех, кто считает, что

выполнил свой долг, проведя несколько лет на государственной службе, и смотрит на эти годы, как на потерянные, поелику не мог в то время предаваться лени и бездействию. Я много раз мечтал о богатстве, воображал себя вельможей; видите, я далеко не достиг такого совершенства, чтобы отречься от суеты мира сего! Я забыл ещё сказать, сколько времени я отдал воздыханиям (кои – о жестокая! – были совершенно бесплодны), сколько раз одно слово, казалось, делало меня счастливым. Но даже если мои мечты бывали близки к осуществлению, день был мне хорош, лишь когда я мог располагать им вполне по своему усмотрению. Я не мог быть счастлив, если сутки не держал в руках кисти, если книга, которую мне хотелось прочесть, оставалась нераскрытой на столе, если мне не удавалось побеседовать с вами, прелестная графиня, поучиться мудрости, внимая вашим изящным и разумным речам, если мне не удавалось видеть ту, чьи черты запечатлены в моей душе. Как мне бывало грустно, если в течение дня не удавалось ни разу перенестись мыслью к моим любимым родным, вообразить себя среди них; если у меня не оставалось времени, чтобы записать вечером прожитой день.

Вот в чём я вижу для себя истинное счастье.

Я решил непрестанно стремиться к тому, чтобы быть полезным, и предоставляю судьбе заботиться об успехе моих честных намерений; я хочу верить в ее справедливость и в свои силы, но предпочитаю мечтания, не слишком удаляющиеся от действительности; другие видят истинное счастье лишь в далеком будущем, а я согласен находить его в мелочах жизни, в скромных радостях, украшающих и услаждающих наши дни. Это счастье недолго длится, но зато непрестанно возобновляется, и наши дни протекают в мирном довольстве.

28 декабря. В 105 верстах от Вильны. Мерич

Ещё один приятный переход сегодня. И почему бы ему не быть таким? Добрый командир[137] не только не отталкивает нас, как его предшественники, но привлекает своими хорошими манерами и любезностью. Погода прекрасная, пройти надо было всего восемнадцать верст – как же этому маршу не быть приятным?

Теперь, когда наш полк идет один, я с удовольствием занимаю место впереди. Генерал[138] всегда принимает участие в разговоре, мы шутим. Иногда же я ухожу совсем один вперед, к музыкантам.

Берега Немана холмисты и представляют самые разнообразные пейзажи, коими я с удовольствием любуюсь; пока мои глаза наслаждаются этими прекрасными видами,

воображение воскрешает счастливейшие минуты моей жизни, и сердце раскрывается для самых нежных впечатлений. Марш продолжался недолго. Отдых был кратким, но в удачно выбранном месте, и солнце ещё стояло высоко над горизонтом, когда мы увидели издалека этот городок, дома которого рассыпались по берегу Немана.

На главной улице нас встречала толпа. Подойдя ближе, мы увидели, что это были евреи, вынесшие свой ковчег навстречу его величеству, а рядом стояли монахи из соседнего монастыря с хоругвями. Немного спустя прибыл государь и при многократных криках «ура» освятил своим присутствием границу, осквернённую неприятелем, чья дерзость понесла достойное наказание.

29 декабря

Нас разместили здесь в большой тесноте, и так как мы остаемся здесь ещё и завтра, я очень недоволен. Я люблю уединение и ненавижу шум, нарушающий мои занятия. Вспоминая о том, как по-разному мне случалось жить с тех пор, как я стал сам распоряжаться собой, я вижу, что шумные развлечения никогда не доставляли мне радости. Я любил балы, спектакли, прогулки, поскольку эти удовольствия позволяли мне отдохнуть от моих занятий. В тот день, который я посвящал шумным удовольствиям, утро всегда принадлежало книгам. Если я обедал в обществе друзей, то потом уходил к себе, дабы провести несколько часов в уединении перед камином, вызывая в памяти образы дорогих мне людей, или же давал отдых своему воображению за приятным чтением. Шумное веселье бала сменяло тихие наслаждения моих утренних занятий.

Но когда моя комната заполнялась шумным сборищем товарищей, когда шутки и каламбуры так и сыпались, веселье не смолкало ни на минуту, а голоса становились всё громче, – я чувствовал себя не в своей тарелке и нередко, для передышки, брался за краски или открывал клавесин. Я вовсе не поклонник той свободы, которая лишь утяжелит наши цепи; но в повседневной жизни я хотел бы полнейшей свободы. Когда я один (это я и называю: свободен), я не знаю скуки, я всегда могу найти себе интересное занятие. Но к чему бесполезные разговоры? Пребывание в Иказни доказало мою любовь к одиночеству, а самые приятные минуты за весь поход я провел в Питкунах, в семье любезного Кирилла.

30 декабря

Сегодня любопытство, словно нарочно, чтобы испытать и возбудить мою способность чувствовать, сделало меня

свидетелем раздирающего душу зрелища, – и я все еще вижу перед собой сию страшную картину. Молодой драгунский офицер в начале кампании дезертировал и уехал в Вильну к своей сестре; когда наша победная армия вступила в этот город, его нашли, судили и приговорили к расстрелу[139]. Казнь должна была совершиться сегодня. На улице замечалось сильное движение, все наши ушли смотреть казнь. Облака затянули небо, и я не мог рисовать – на меня нашла тоска, я оделся, вышел из дому и последовал за толпой, как идут, чтобы увидеть нечто любопытное, не ожидая себе приятности, но не испытывая волнения!

На берегу Немана перед ямой столбом выстроился отряд в 600 человек, впереди стояли 16 лучших стрелков. Я оказался в толпе любопытных и заговорил с Вилье, когда услышал, что ведут преступника. Повернув голову, я увидел его в сопровождении стражи. Он опирался на руку своего духовника, читавшего молитвы. Перед ямой он остановился, исповедался, выслушал приговор и высказал свою последнюю волю. Наконец, религиозная церемония окончилась, стрелки сделали шаг вперед, на него надели саван, подвели и привязали к столбу.

«Что должен сейчас испытывать этот человек, – подумал я, – как драгоценны должны ему казаться последние минуты жизни! Он мой ближний, и ведь я его приговорил; этот человек, в котором запечатлен образ божий, должен погибнуть по воле человеческой. Его называли трусом, а он выдержал все эти муки и в момент расставания с жизнью ещё нашел в себе силы, ускоряя казнь, сам надеть повязку, которая навсегда скроет от него свет, и прислониться к столбу – последнему предмету, ощущая который, он будет сознавать, что ещё способен чувствовать».

Сердце мое разрывалось, страшная дрожь охватила меня всего… Раздался роковой выстрел, за ним последовал залп, кровь брызнула из ран, предсмертные муки сотрясли тело преступника… Мои терзания окончились: этого человека больше не было на земле, оставался лишь труп – холодная и безжизненная материя. Мое сердце привыкло уже и к более жестоким зрелищам, но страшные приготовления к этой казни, мрачное молчание всей толпы, ужасные мысли о том, что должен был испытывать сей несчастный, сдавили мне грудь, чёрные мысли вызвали слезы на глазах. Душевные страдания кажутся мне невыносимыми, физическая боль мне не страшна. Несчастного отвязали, тело еще подёргивалось, и, чтобы прикончить его, в него ещё несколько раз выстрелили в упор, словно это была просто мишень, а не человек, подобный тем, кои его убили. Наконец, тело бросили в яму; я прошёл мимо нее, даже

не вздохнув.

2 января. В 28 верстах от Мереча.
Главная квартира в Лейпунах

Вчера мы начали год сквернейшим маршем. В 8 часов утра собрались на берегу Немана. Перед выступлением отслужили молебен. Реку переходили с музыкой и многократными криками «ура». Наконец, берега Немана остались позади, я вступил в чуждую страну и ощутил невольное волнение. Перекрестившись по окончании перехода – в последний раз на родной земле, я вспомнил друзей, подумал о своих дорогих родителях и первые восемь верст шел словно среди них, мысленно прощаясь с ними. Но потом поднялся сильный ветер, идти становилось все труднее, и мало-помалу я забыл обо всем, кроме тягости перехода в такую дурную погоду.

Мы прошли 28 верст, мне они показались пятьюдесятью. Солнце уже село. Я сказал генералу: «Я слишком быстро утешаюсь. Как это досадно. Сейчас мне кажется, что нужно бог весть сколько услаждений, чтобы заставить меня забыть обо всех трудностях пути, а на самом деле потребуется очень мало». И действительно, когда мы прибыли на место, мне подали обед, и, утолив голод, я уже не помнил о тягости марша и заснул до утра.

Барабан зовёт, я встаю совсем еще сонный в предвидении неприятного дня и думаю, что год начался для меня весьма дурно.

[2 января] Загары, в 56 верстах от Немана

Я шёл сегодня рядом с генералом Лавровым, и он мне сказал между прочим, что для моего собственного блага мне необходимо повидать чужие земли, ибо там только я научусь любить свое отечество. Я не стал спорить с ним, только сказал, что уже довольно люблю отечество и не нуждаюсь в новых впечатлениях, чтобы укрепить свою привязанность.

На подходе к этой деревне нас встретил русский крестьянин. Он принес нам сметаны, обед, просил нас оказать ему честь остановиться у него и, когда мы предпочли дом одного поляка, не утешился, пока не доставил нам все, в чем мы могли нуждаться. Вы помните моего доброго Кирилла в Питкунах, теперь едва выйдя за пределы родной страны, я опять встречаю предупредительного и заботливого соотечественника; каждый сделанный мною шаг побуждает меня еще больше любить дорогой мне край, где сосредоточены все мои привязанности.

Я вспомнил сейчас, как расставался с Россией, переходя Двину. Теперь я могу по-настоящему попрощаться с ней. Каждый шаг удаляет меня от её равнин, покрытых снегом, огромных, но неживописных лесов, гор, разбросанных так редко, от мест, которые, несмотря ни на что, всё-таки имеют волшебную прелесть для меня. Я любуюсь хорошей дорогой, проходящей по разнообразной местности; окрестные пейзажи пленяют мой взор. Но на каждом шагу я вспоминаю, что я уже далеко от своих близких, на каждом шагу клянусь ещё больше любить мое дорогое отечество и нахожу все больше причин для этой любви.

Сегодняшний переход был утомителен. Мне казалось, что мы прошли не более 16 верст; очень неприятно в таких обстоятельствах узнать, что придётся еще продолжать путь. Я думал было, что мы уже прибыли на место, но оставалось еще три версты; солнце уже давно село, предстояло перейти громадное озеро, лошадь всё время скользила, мороз был жестокий… Было отчего прийти в отчаяние, и только очень хороший чай да добрый русский крестьянин утешили меня и заставили забыть всю усталость.

Местность, по которой мы идем уже два дня, очень неровна. Она не годится для крупных военных действий, но представляет удобные возможности для мелких авангардных стычек. Тут сколько угодно оврагов, чередующихся с холмами, лесов с полянами и просеками, долин, имеющих форму амфитеатра, и всего, что может задержать неприятеля.

Вдоль дороги встречается довольно много деревень, но все они очень бедны, жители помещаются вместе со скотом, некоторые хижины настолько покосились, что подперты внутри столбами, – все дышит нищетой и невежеством.

Говорят здесь не по-польски, а по-литовски; это довольно непонятное наречие, которое на слух кажется смесью финского и польского.

Кое-где в деревнях встречаются уже пруссаки.

3 января. Главная квартира в Краснополе,
18 верст от Загар

Так неприятно покидать хорошую постель, когда знаешь, что предстоит неприятный переход. Так огорчительно вставать до света, чтобы медленно тащиться целый день вплоть до солнечного захода. Вот почему уже пробили общий сбор и сигнал к выступлению, а я всё ещё потягивался в постели; солнце уже зажгло снега на горах и позолотило вершины деревьев вокруг дома, когда я уселся в хорошие сани вместе с обоими Вадковскими и мы поехали догонять полк, место сбора которого

было назначено в Лимви, в восьми верстах от места ночлега. Мы очень быстро доехали до этого городка, и так как ожидали еще один батальон, я зашел пока погреться в ближайший дом. Это оказалась корчма[140], где можно было получить прекрасный обед; народу было полно, люди все время входили и выходили, трактирщик едва поспевал служить; наконец, я увидел образчик удобств, которые нам обещают в чужих краях.

Вышли мы, предполагая сделать большой переход, но получилось иначе: едва мы сделали 4 версты, как нас остановили в Стабещине, где нам определили квартиры. Солнце ещё не прошло и половины своего пути, как я оказался в удобной комнате, со своими красками и бумагами, довольный, счастливый, а главное, вопреки всякому ожиданию.

Нельзя судить по наружности

«Невозможно, – говорил я три месяца назад Якушкину, – невозможно, чтобы Мишель Чаадаев был умен. Самое большее, что я могу признать за ним, – это доброе сердце и, если угодно, некоторую образованность, но он просто туп и совсем говорить не умеет. И действительно, и он, и его брат, поступив в наш полк, произвели весьма невыгодное впечатление. Педантическая резкость и равнодушная небрежность тона роднят его брата с московскими щёголями, кои образуют совсем особый класс смешных чудаков, столь же странных, сколь и нелепых.

Мишель также оставляет неприятное впечатление. Движется он медленно и вяло, всегда молчит, весь переход совершает пешком вместе со своим взводом, не отставая от солдат ни на шаг и таща на себе тяжелейший ранец; прибыв на место, сейчас же забирается в угол, по-прежнему не говоря ни слова, устраивается на скамье и не встает с неё целый день, словно погруженный в глубочайшую апатию; можно видеться с ним целые месяцы и ничего от него не ждать. Он всегда был для меня загадкой, и я не мог поверить, что он обладает умом, который ему приписывают.

Но за последнее время несколько раз случилось, что наши квартиры оказывались рядом, и я имел возможность наблюдать его вблизи. Трудно поверить, но он оказался не только прекрасно образованным, очень умным, очень рассудительным, но даже приятным и нередко весёлым собеседником. Если его расшевелить, он шутит, бывает очень любезен; если разговор зайдет серьезный, его речь отличается здравомыслием; поведение его отмечено благоразумием и обдуманностью; так что сколько ни ищи, не обнаружишь тех черт, кои прежде так бросались в глаза.

Всякому человеку приходится себя в чём-нибудь упрекать.

Моя главная слабость – стремление быть физиономистом; случай столько раз благоприятствовал мне, что я укреплялся в этом заблуждении.

Но Мишель Чаадаев доказал, как обманчива внешность. Когда три месяца тому назад я утверждал, что он глуп, я не мог думать, что теперь обнаружу у него прекрасный характер, ровный, разумный и приятный, какой я хотел бы видеть у своего друга, что он будет вызывать теперь моё восхищение[141].

5 января. Главная квартира в Сувалках, за 20 верст до Краснополя

Вчера у нас была дневка, а сегодня нам с Жоашем поручено быть дежурными при государе. Итак, утром мы уселись в сани, чтобы догнать первый батальон, который должен нести охрану, и через два часа оказались в восьми верстах от квартиры его величества.

Мы остановились позавтракать в маленьком трактире, который держал уже пруссак. Новые картины явились перед моими глазами. Очень скоро мы опять пустились в путь, и не прошло и трех часов, как на горизонте показались колокольни Сувалок. Множество деревень, замки, монастыри, четыре больших озера, горы, прелестные фермы сделали дорогу очень приятной.

– Давайте войдём в этот дом, – сказал я Жоашу, сходя с саней, – мы совершили приятнейшее путешествие. Каким лёгким было бы военное ремесло, если бы все дни были бы не более утомительными, чем для нас позавчерашний и сегодняшний.

Мы вошли не в комнату, а в какой-то узкий подвал. Три немца, два поляка, три польки и две старухи с кучей детей занимали почти все помещение, и мы лишь с большим трудом нашли, где усесться.

Полк стоит в семи верстах отсюда; багаж мой чёрт знает где; вот уже три часа, как я жду, и никто не является; никому не известно, когда подойдет полк; и я очень недоволен окончанием этого дня, так хорошо начавшегося.

Вот он и кончился, сей день, так хорошо начавшийся; солнце завершило свой путь, теперь луна освещает улицы городишки, от мороза снег скрипит под экипажами; мне дали нечто вроде обеда сквернейшего качества, потом я пил чай, потом кофе, затем рисовал, зевал, написал несколько писем… Так мало нужно, чтобы прозябать, и, увы, так много, чтобы жить. Я списал эту фразу из какого-то объяснения в любви, но теперь понимаю ее совсем в другом смысле. Ведь для того, чтобы жить, надобно иметь возможность хорошо обедать, не тратить время впустую, ходить и ездить туда, куда хочется, располагать собой свободно, а

все эти блага не так уж общедоступны. Чтобы прозябать, достаточно утолять как-нибудь голод, заниматься чем попало и кое-как, не зная, куда девать 12 часов из 24.

Однако пора поговорить о жителях этой страны. Вы читали остроумного сочинителя, который говорит, что народы подобны кучам зерна: в середине – чистосортные, по краям – смешанные. Уже в Смоленской губернии я начал забывать настоящую Россию. В Минске, в Вильне я не видел никого, кроме поляков. Они стоят так низко, так неумны, что, мне кажется, сей народ весьма обделен природой. Гордости у польского крестьянина не меньше, чем у дворянина. Он и упрям, и угодлив, а на здравомыслие его нельзя рассчитывать. Пугается он прежде, чем услышит угрозу. Он вечно жалуется. Имения, принадлежащие часто пяти господам сразу, приучили его к такому рабству, коего не знает наш народ. Русский крестьянин боится своего барина, подчиняется своему барину и служит ему. Польский же боится всякого помещика, никогда не знает, кому принадлежит; вынужденный прятать свое достояние от жадных глаз господина, он ютится в грязном и нищем жилище. Между собой они все время ссорятся, завидуют друг другу. Когда заговоришь с ними, они не знают, как ответить на простой вопрос. Можно подумать, что они совсем не способны рассуждать, потому что не имеют никакого представления о расстоянии, совершенно не умеют считать, нелюбопытны, едва знакомы даже с соседними селениями[142]. Это отупение народа вызвано, несомненно, жадностью господ, но всё же резко поражает контраст польских крестьян с русскими, кои честны, откровенны и прямы, знают своего господина и своего бога, служат им и любят их.

Переправа армии через Неман.
Гравюра. Середина XIX века

За Неманом характер поляков как будто меняется к лучшему. Угнетение, кое они испытали от французов, и великодушие нашего государя – вот, как мне кажется, главные причины того, что они стали немного откровеннее и, если так можно сказать, сообразительнее. Поляк из герцогства Варшавского держится немного свободнее, да и чувствует себя свободнее. Иногда встречаешь, по крайней мере, крестьянина, более гостеприимного, чем другие. Попадается тут и примесь пруссаков, в городах их очень много; но всё же какая разница с нашими крестьянами! Тут поблизости есть целые русские деревни. Одно имя русского заставляет их дрожать от радости. Они вооружились против французов ещё прежде, чем наши войска вошли в эту страну. Совсем на днях 12 человек захватили несколько фургонов, против них поднялось более 200 поляков, и все же эти 12 русских сумели продержаться целые сутки, пока не подошли казаки и не выручили их. Русские сохранили здесь свой характер среди окружающей низости и раболепия, и, хотя их очень мало, их боятся и уважают тысячи, испытывающие к ним зависть.

6 января. Воронин. Главная квартира в Рачках,
в 20 в [ерстах] от Сувалок

Сегодня в 9 часов утра окончилось мое дежурство; караул

собрался, и я уехал догонять полк вместе с Костомаровым и Дамасом. Переход всегда кажется гораздо короче, когда отряд невелик; 22 версты, которые я сделал в седле, показались мне ничуть не утомительны. Днём мы остановились на отдых в прусской деревне; одежда, убранство домов – все было для меня ново. В Рачках мы не нашли махальных, но каким-то чудом попали прямо в ту деревню, куда надо было, и безмерно обрадовались, прибыв на место еще до захода солнца. Я был в полном восторге при виде своей постели, своего уголка, а главное, прекрасного обеда. О друзьях я не говорю; так утомительно жить среди случайно собравшихся молодых людей, что только привычка поддерживает дружбу.

7 января. Скоментзее

Счастье человека зависит от немногого

Это общая истина, подтверждение которой встречаешь в жизни ежеминутно. Говорить ли о счастье спокойной жизни, о счастье, достигнутом трудами многих лет, подготовлявшемся целыми десятилетиями? – ведь все, знающие жизнь и общество и хотя немного размышлявшие о том, что происходит вокруг, убеждены в его непрочности. А минутное счастье, кое я так люблю, кое вносит столько прелести в каждый день нашей жизни, – разве оно надежно, разве оно бывает прочным?..

Сегодня утром мы вышли в поход еще до света. Сухой мороз при восходе солнца предвещал хороший день, и действительно, не прошли мы и пяти верст, как солнце сияло уже вовсю. 14-вёрстный марш до этой деревни более походил на прогулку. Прекрасная погода, весьма живописное расположение деревни, изрядно построенные дома, ворота с нишами, что считается большой роскошью у жителей здешних мест, подымавшийся из труб видный из далека дым – все сие позволяло ожидать приятной дневки.

Ещё не наступил полдень, как экипажи главной квартиры заполнили улицы, а наши заняли все дворы, солдаты разошлись на отдых – это весёлое и приятное зрелище открыло мою душу радостным впечатлениям и направило воображение на приятные картины. Старый верный Кашин, ведь ты не виноват, что, увидав тебя в нашем дворе, я словно окаменел; не твоё появление испугало меня – твой возраст внушает только почтение. Кашин – слуга одного из офицеров 3-й гренадерской роты; его появление во дворе служит знаком того, что его господина поставили на одну с нами квартиру. И действительно, нас оказалось 12 человек в очень маленькой комнате, и все мои надежды, все замыслы удовольствий полетели к черту; целый день пришлось таскаться

по гостям, а теперь, чтобы добраться до своей постели, надо идти по головам. Какая разница между днем, который я обещал себе, и тем, который я провел на самом деле, и от чего эта разница зависит? Ещё бы одна комната, и я был бы счастлив. Только потому, что во всей деревне не нашлось еще одной свободной комнаты, я проскучал целый день и так и не смог взяться за свои любимые занятия.

Вот удар, показывающий, от чего зависит счастье. Будь у меня слугой больше, я стоял бы отдельно, как прежде, мне было бы совершенно удобно и покойно, я мог бы делать все, что захочу, и вообще был бы столько счастлив, сколько возможно в моем положении; а теперь, только потому что не хватает слуги, я нахожусь в неудобной комнате с целой кучей совершенно безразличных мне людей (ведь и троих много, если они не внушают уважения), мне неуютно, неловко, меня каждую минуту отвлекают, мне мешают, короче говоря, нужно быть очень неприхотливым, чтобы удовлетвориться тем, что я имею.

8 января

Сегодня мы прошли менее 20 верст, миновали хорошенький городок Лик на берегу озера, весь выстроенный из камня, и заняли квартиры в Мончене.

10 января. Конопки. Квартира полка в Грухене

Вчера была дневка, сегодня мы сделали 22 версты, на послезавтра нам опять обещают дневку. Австрийцы находятся неподалёку, но, мне кажется, их присутствие не опасно, и наши армии могут двигаться во всех направлениях, не боясь внушить ужас, – только потому, что наш государь хочет быть освободителем стран, которые он завоёвывает.

Мы находимся теперь в Пруссии, но немцы тут еще очень перемешаны с поляками, одежда прусская, а язык польский; нередко жители говорят на обоих языках, но по характеру они все совершенные поляки.

Как несправедлив человек, приходило мне не раз на ум: он готов придумывать какие угодно причины важных следствий и даже не стремится отыскать истину.

Теперь, например, наши расходы очень невелики, так как все, что нужно из провианта, мы берем у крестьян бесплатно. Каждый раз, как требуется гусь, его смерть сопровождается слезами и воплями. Я говорю пруссакам, что они всё сожгли и залили кровью в России, так что с нашей стороны очень великодушно мстить лишь смертью курицы или овцы. Так я говорю и считаю себя правым.

Но если контрибуция – сама по себе вещь справедливая со стороны одной нации по отношению к другой, то совсем иное дело, когда один человек отнимает имущество у другого, никогда не покидавшего своей хижины, не желающего ничего знать о спорах государей, никоим образом не способного влиять на поведение армии и оказывающего гостеприимство тем, кто попадает в его селение.

Жаловаться всегда начинают женщины. Чем больше в доме женщин, тем больше слез и плача – эта неоспоримая истина настолько общеизвестна, что все военные имеют предубеждение против женщин, и я сам не один раз дерзал святотатственно отзываться о них, приписывая прекрасной половине рода человеческого, – в том числе и вам, красавицы, волновавшие мое сердце, – всякие дурные свойства: сварливость, непостоянство, надоедливость. Но разве это суждение справедливо? Разве не потому женщины начинают говорить первыми, что превосходят мужчин, что их красота и прелесть дают им право говорить нам правду, не прикрашенную лестью и страхом, что им присущи откровенность и благородство чувств, порождающие бесстрашие, что они верят в справедливость, долженствующую руководствовать нами и нашими поступками? Нет ничего зловреднее вялости духа, мешающей отыскивать истинные причины того, что перед нами; она входит в привычку, и вот мы уже начинаем судить обо всем по внешнему виду, по первому впечатлению, так что нередко случайное отклонение от общего правила определяет наше мнение о целом. Наконец, мы с удивлением обнаруживаем у себя запутанные и противоречивые понятия и не знаем, чему приписать свои заблуждения; а ведь исправить эти ошибки было бы гораздо легче, если бы мы с самого начала следили за основательностью своих суждений.

11 января. Миттель Погобин.
Главная квартира в Иоганесбурге

Хорошая погода меня немного избаловала. Стоит появиться облачку или туману, и переход уж внушает мне страх; потому я так легко потерял терпение сегодня, когда, прибыв на квартиру генерала, услышал, что надо пройти еще полмили. Мороз крепчал, дул сильный пронизывающий ветер. Арапка, чья лень сводит на нет все ее моральные достоинства, расковалась. Я сделал в этот день уже 24 версты; полмили у поляков значит три, четыре, а то и пять верст, всякое значительное расстояние они называют милей, а все, что меньше семи верст, – полумилей. Все эти соображения побудили меня остаться обедать у генерала и просить Вадковского прислать за мной сани. Меня ожидал

прекрасный обед, поездка в санях – следовательно, удобная, и я надеялся, что весь день будет очень приятным. Солнце уже давно зашло, мы пообедали, побеседовали кое о чем, и разговор уже угасал, когда я решил, что пора совсем его закончить и пуститься в путь. Вам приходилось, наверное, оказываться в таком положении. Сидишь вместе с человеком, которого часто встречаешь и с которым не знаешь, о чем говорить, и который не находит нужным стесняться с вами, так что, когда покончено с политикой и сплетнями, беседа прерывается и угасает сама собой. Четверть часа мучишься, отыскивая, что бы сказать, наконец, выжимаешь из себя какое-нибудь общее место, на которое не следует отклика, опять напрягаешь ум и, наконец, уходишь, чтобы не заснуть.

Когда я вышел от генерала, саней не было. Я справился по карте, да мне и сказали, что до деревни, куда я должен был добраться, только полторы версты, дорога идет прямо озером, добавили и другие утешительные и ободряющие объяснения, соответствующие случаю. Я сел на лошадь и, спустившись с горы, выехал на дорогу, которая, как я думал, приведет меня к месту ночлега. Две версты в полной темноте по очень скользкому озерному льду – это не шутка. Я почувствовал себя счастливым, увидав, наконец, противоположный берег. Прямо у берега начинался редкий лесок, я проехал по нему еще версту, не видя ни зги; лес становился все гуще, и, наконец, придя в отчаяние, я повернул назад и с большим трудом добрался опять до озера, решив возвратиться к генералу. Эти две версты показались мне двадцатью, отчаяние мое уже достигло предела, когда я вдруг вспомнил, что, судя по карте, следовало взять правее. Надежда вернулась: ведь моя деревня где-то на берегу озера, и счастливый случай, конечно, поможет мне достигнуть её. Я повернул голову вправо и увидел в лесном мраке слабый и дрожащий огонек; надежда моя укрепилась. Не пытаясь отыскивать дорогу, я ослабил поводья и предоставил Арапке выбор пути; она словно поняла мою мысль и, несмотря на лед, сразу пустилась рысью. Огонек мерцал у меня перед глазами. Он был так мал, что я ежеминутно боялся потерять его из виду, но не терял надежды и всеми мыслями, всеми чувствами стремился к нему. Арапка бежала прямо на огонь, но когда казалось, что мы уже у цели, чуть левее зажегся другой, словно отделившийся от первого. «Да это блуждающий огонек!» – воскликнул я, хотя некому было меня слышать. И действительно, он совсем исчез, и все мои надежды угасли.

В эти минуты я не стал упрекать судьбу, а занялся философскими размышлениями. Вот что такое счастье, подумал

я. Создаёшь себе в воображении какой-то идеал, преклоняешься перед ним, стремишься к нему приблизиться, и вдруг ничтожный пустяк срывает покров, и перед нами встает жестокая действительность. Блуждающий огонек может служить эмблемой всей нашей жизни. Как далеко от осуществления то, что мы называем счастьем, в чем видим радость… Ведь только когда надежда украшает наши цели, они радуют нас, только иллюзия придает им очарование; разве не гоняется человек всю свою жизнь за блуждающими огнями, кои увлекают и притягивают его, сбивают с пути, а потом исчезают. Нас манят слава, богатство, почести, сотнями путей мы стремимся достичь их. Это желание гонит нас вперёд, подстегивает, ослепляет, и мы, как зачарованные, неустанно стремимся к цели. А когда цель достигнута, что нас ждет? – стыд унижений, несколько мгновений суетной радости и страшная мучительная пустота, заполняемая только тяжелыми воспоминаниями.

Наполеон стремился к славе. Убийства, несправедливые войны, угнетение – вот средства, коими он надеялся ее достичь. Наконец, он вошел в Москву гордым победителем, казалось, он поднялся выше всех, завоевал весь мир. Но я не завидую ему: что должен был он чувствовать в те минуты, когда оставался наедине со своей совестью или когда проезжал по полям, покрытым трупами тех, кто пали жертвой его честолюбия?

Львов несметно богат, он швыряет деньги направо и налево, любые его прихоти мгновенно исполняются, но счастлив ли он? Если даже ему удалось заглушить свою совесть, не мучит ли его ревность?

Чего стоят все блага этого мира без надежды, ее единственного украшения? Наслаждение – ведь это облако, которое ловил Ясон, погнавшийся за нимфой. Чего стоит величие без кратковременных и летучих наслаждений, которые оно нам дает; чего стоит счастье, если мы ищем его не в покое и чистой совести?.. Не более, чем блуждающий огонек, сбивающий странника с пути.

Но мой огонек оказался не таков; за этими размышлениями я незаметно проехал с полверсты, предметы стали приобретать более четкие очертания, – да это же огни бивака, это моя деревня. Я пустил лошадь вскачь. Арапка проголодалась, я мечтал об отдыхе, и мы прискакали на место, я – благословлять провидение и радоваться чистой, уютной комнате, а она – хрустеть охапкой сена и, может быть, тоже по-своему благодарить провидение, ибо кто решится утверждать, что животные не обладают разумным инстинктом.

13 января. Деревня Цадель

Сегодня наш батальон разбросали по разным деревням, я проехал 28 верст в санях и прибыл сюда еще засветло, так что можно было рисовать. Я уже давно задумал этот рисунок.

Каждому хочется своего. Какой-нибудь глупец, перебирая наброски, возмутится, не найдя в них изображения крестьян, портретов, пейзажей. «Как же не сохранить воспоминаний о чужих краях?» – скажет он. «Но леса и озера везде одни и те же, – отвечу я, – потерпите немного; вот уже двое суток, как мы стоим в лесу и не уйдем отсюда до завтра; тут ничего нет, кроме замерзших озер, просек да варварских вырубок. Подождите немного, пока я не ознакомлюсь получше с местностью, будут вам тогда и виды, и описания».

Вступив в Пруссию, я увидел крестьян таких, как на этом рисунке. С тех пор я больше не встречал их. Так дело обстоит везде. Граница украшена селениями, представляющими обычаи и нравы страны в чистом виде, а немного подале в деревнях население уже смешанное, и только в городах снова обнаруживаешь характер нации. Здесь в деревне говорят почти всюду по-польски, костюмы и нравы смешанные, и чисто немецких селений мы пока не встречали.

14 января. Переход в 25 верст.
Квартира в Колбицене

15 января. Переход в 30 верст до Рацович, Главная квартира в Вилленберге.

16 января

Я всё ещё в дурном настроении. Вчера нам оставалось пройти только две мили до Вилленберга, но Посников, не ознакомившись как следует с картой, плохо выбрал место сбора. Мы сделали несколько лишних вёрст, места отдыха были назначены неудобно, так что одни батальоны вошли в Вилленберг совершенно измученными, проделав более 20 верст без отдыха, а другие имели по три привала.

Во всех городах государя приветствуют возгласами радости. В Иоганесбурге, где он пробыл три дня, вывесили транспаранты, гвардия была в парадной форме, музыка играла, не переставая, и пруссаки страшно гордились своими выдумками и сюрпризами, воображая, что государь от них в восхищении. Даже самые маленькие деревушки украшены хвоей, так что мы нисколько не удивились ни очень изящной триумфальной арке, ни заполнившим улицы пруссакам, которые вышли нам навстречу, ни их офицерам, стоявшим под знаменем и отдававшим честь

всем русским офицерам, проходившим мимо. Больше я ничего не увидел, так как махальный сообщил, что до нашей деревни еще 10 верст. Было уже около пяти часов. Ноги у меня промокли, я был слишком тепло одет, чтобы идти пешком, и слишком устал, чтобы медленно ехать вслед за полком; я дал лошади шпоры и проскакал за полчаса шесть верст до деревни, где стал Преображенский полк. Терпение моё давно истощилось, а тут ему совсем пришел конец. Махальных нигде не было, никто не знал дороги, и мне пришлось скакать дальше почти наугад, руководствуясь лишь жестом какого-то солдата, ткнувшего пальцем в сторону, куда направился обоз третьего батальона, и словами какого-то крестьянина, что через полмили будет ещё деревня. Поверите ли, я не очень устал, проехав сорок верст, последние же четыре показались мне двадцатью. Куда ехать, я не знал. Уже совсем стемнело, поднялся сильный ветер, и дорогу заволокло туманом; там, где я ожидал увидеть селение, показалось что-то вроде рощицы. Я решился ехать прямо по дороге до первой деревни, какая попадется, там переночевать, а наутро продолжать путь. Наконец, в этом лесу показался огонёк, я пустился к нему вскачь. По мере того как я приближался, всё отчетливее различались предметы; вскоре я был в своей деревне и в своей постели. Недавно я пожаловался, что слишком быстро утешаюсь; сегодня мне никак не удается утешиться, как я ни убеждаю себя, дурное настроение не проходит; вот доказательство того, что человек никогда не бывает доволен.

17 января

Я переменил квартиру. Полку дали отдых, и часть его перевели в другие деревни. Я воспользовался этим перемещением, чтобы занять более просторную и удобную комнату. К чему упускать самые малые удовольствия, если они ничего не стоят, а окрашивают собой весь день. Вчера, позавчера и сегодня утром мне ничего не хотелось делать. Три раза я принимался за рисунок и бросал его, начинал писать и закрывал тетрадь только потому, что я плохо уселся, что стол завален вещами. Теперь у меня свой стол, и все вещи разложены в порядке, свой уголок, что всегда так хорошо действует на меня, я весел и счастлив, и все занятия кажутся мне приятными. Что ж, теперь, когда я удобно устроился и мои мысли пришли в некоторый порядок, пора, пожалуй, подумать о морали. Дамас много говорил мне о моем честолюбии. Мы вместе отыскивали проявления этого чувства, искали средства сдерживать их, а оставшись один, я старался вспомнить случаи, когда оно особенно проявлялось, чтобы вызвать у себя отвращение к нему.

А разве не честолюбие заставляет меня часто слишком много говорить? Если подобает стыдиться своих пороков, то мне надлежит это делать вдвойне, потому что я знаю о них, я всегда обнаруживаю в своих поступках внушения честолюбия. Так, например, я недавно писал здесь о тех общих беседах, которые возникают на марше между офицерами двух полков, о кружках, в которых отличаются остроумцы. Я рассказал о том случае, когда сам чуть не вступил в словесный поединок и только в самую последнюю минуту почувствовал нелепость этого и раскаялся в своем намерении.

Когда генерал Потемкин принял командование нашим полком, переходы стали гораздо приятнее, похожими скорее на прогулки, погода была прекрасная, все меня веселило. Генерал шел во главе полка в сопровождении целой толпы офицеров, среди которых был и я. Я острил и шутил. Генерал нередко вступал в беседу, весело отвечая нам. Я чувствовал, что слишком увлекаюсь, но столько уже повредившая мне привычка видеть у других меньше такта, чем у себя, заставила меня думать, что генерал может презирать меня за робость и неотесанность, но не станет упрекать за болтливость. Уже назавтра все знали, что я чрезмерно говорлив; когда дошло это до меня, я получил полезный урок.

Госпожа Ансельм[143] говаривала, что я слишком болтлив, но что на меня за это невозможно сердиться. Может быть, она говорила так потому, что я угождал ей, критикуя других и дурача ее соперниц. Трудно ожидать, чтобы другие люди были столь же снисходительны ко мне.

К чему я тогда стремился? Хотел, конечно, вызвать восхищение своим остроумием и больше ни о чем не думал, не замечал, что меня находят болтливым, что я слишком раскрываюсь, слишком показываю свои мысли и настроения, так что не только разумная проницательность, но и простое злорадство легко обнаружит мои недостатки, которые остались бы незамеченными, если б я молчал. Правда, не годится огорчаться, что люди знают о твоих недостатках, раз уже они есть у тебя; гораздо прискорбнее то, что они есть. Но ведь я хочу создать себе хорошую репутацию, я хотел польстить своему честолюбию, заставив других хорошо думать обо мне, а в результате прослыл болтуном и насмешником.

Нужно помнить, что я слишком молод, чтобы говорить в обществе; молчание – самое простое и самое приличное украшение молодого человека; следует размерять каждый шаг, рассчитывать каждое слово, особенно когда чувствуешь в себе склонность слишком увлекаться в беседе. Если бы можно было

заставить замолчать честолюбие, раз навсегда отказаться от пустого обманчивого желания блистать в обществе, тогда можно было бы без боязни высказывать то, что думаешь. Все споры были бы тогда разумными, и никто бы не боялся выказать случайно недостатки, кои могут повредить репутации. Но всякий человек пристрастен, всякий готов пожертвовать всем минутному успеху, никто не может укрыться от коварной змеи, отравляющей и загрязняющей все наши поступки, от проклятого честолюбия, кое нередко отнимает всякое достоинство у наших добрых поступков; а следовательно, всякому приходится быть осторожным в речах и прежде всего как можно меньше говорить о себе.

Зачем вы мне рассказываете, Дорант, со всеми подробностями, как протекает ваш день, зачем все время, и часто вовсе не к месту, говорите о себе, все время возвращаетесь мыслью к самому себе? Я с удовольствием рассматривал ваши рисунки, но с какой стати вы без конца изображаете в них себя самого, то справа, то слева, то пешком, то верхом; вы же не натурщик, чтобы принимать все новые позы. Откуда эта привычка любоваться собой, вглядываться в свои поступки и находить в них пищу для тщеславия? О, суета сует!

Начиная это отступление, я обращался к Доранту, а кого же обозначить этим именем? Я рылся в воображении, напрягал все силы памяти, чтобы отыскать натуру для моего Доранта, искал всюду, оглядывался вокруг, лишь бы оттянуть минуту признания, – ведь мне с самого начала следовало обратить взоры на себя самого. Тщеславие, честолюбие ослепило меня, и лишь с трудом истине удалось сбросить обман; потребовалась вся моя прямота, потребовалось призвать на помощь совесть, дабы признаться самому себе, что я бы вполне мог побороть недостаток, который обнаруживаю в себе и который мне так неприятен.

Соболезнование

Князь Голицын скончался. Это сын особы[144], от коей я не видел ничего, кроме добра; это человек, который всегда был очень любезен ко мне, который честно служил, успешно занимался литературой, первый сбросил позорное ярмо недостойных пристрастий и искал наслаждение только в русских сочинениях. Он был любимым братом графини, этим все сказано, – братом женщины, которая может служить образцом всех прелестей, которую я люблю и обожаю, которую я почитаю, как родную мать[145].

Он умер, и мне следовало, конечно, написать соболезнующее письмо. Кому же было мне писать, как не младшим из его

родных, и разве не ясно было заранее, о чем я напишу? Ведь я любил и уважал князя, я бы охотно согласился один терпеть тоску и горе, лишь бы спасти от печали тех, кто мне так дорог. Но что же?.. Едва я взял перо в руки, как почувствовал смущение, всегда охватывающее тех, кому приходится выражать соболезнование; я не мог собраться с мыслями, и чувства мои были немы.

Скорбь проходит со временем; письмо дойдет через месяц, когда боль утраты уже ослабеет, мое сочувствие будет неуместным; письмо прочтут, перечитают вслух перед всеми, оно вновь откроет источники слез, может быть, уже закрывшиеся. Все эти соображения так смутили меня, что я с величайшим трудом сумел написать коротенькие три странички[146].

Философ сказал бы: вот еще одна неприятная сторона светской жизни, даже скорбь должна принимать определенные формы, даже горе приходится выражать искусственно, сдерживать его, когда требуется, и каждый шаг затруднен отягощающими нас цепями. Но философ, мечтающий об осуществлении иллюзий, навряд ли знает, чем заменить мучительные для нас оковы. Человек сам сковал эти цепи, стремление к удовольствиям придало им тяжести, а он хочет уничтожить то соединение добра и зла, среди коего мы живем, хочет, чтобы воцарились радость и разумность, мечтает о полной свободе, т. е. об освобождении от тех предрассудков и условностей, кои служат основой общественному спокойствию и общественной свободе.

18 января. Главная квартира в Янове,
полк в Рожере

Я думал, что пробуду какое-то время в Вилленберге, и составил было план своих занятий, но радости гораздо большие заменили сии привычные удовольствия.

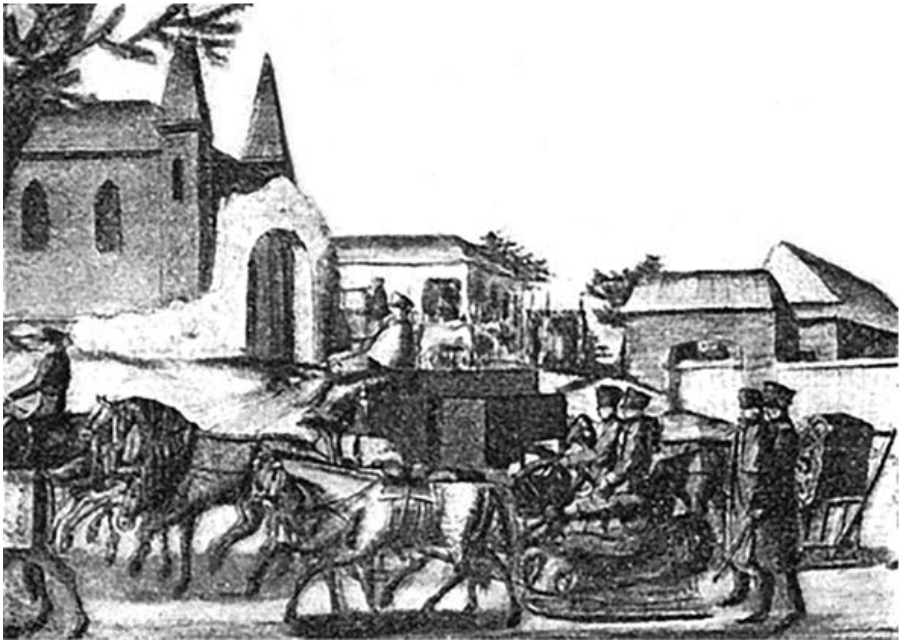
Сегодня утром мы вышли в поход. Колонна направляется к Плоцку. Меня разбудили еще до семи часов. Завтра, как говорят, будет очень трудный переход. Но зато я получил письмо от матушки, одно это письмо может возместить самые большие неприятности. Может ли быть лучшее употребление искусства письма, чем облегчение обмена мнениями? Расстояние и огорчения уменьшаются, когда можно разговаривать на бумаге; одно маленькое письмо может дать величайшее счастье. Матушка прислала мне письма от г-жи Стурдза, и на минуту мне показалось, что я в Бессарабии, где находится мой друг[147]. Трудно передать, какое наслаждение доставляют мне письма. Я двадцать раз перечитал их, двадцать раз пожелал счастья этому прекрасному семейству и двадцать раз проливал слезы радости и благодарности.

Завтра нас станет меньше. Мы с Вадковским отделимся от других; у меня будет больше возможности оставаться одному, я буду счастливее и довольнее.

20 января. Дневка. Главная квартира в Млаве.
Полк в Оремницах

Вчера мы сделали чуть не полсотни верст, но беда не в этом; самое скверное, что я проехал сорок с лишним из них в ужаснейшую погоду. Что такое переход к Вилленбергу по сравнению с этим? Даже говорить не о чем. Была страшная метель, дул холодный пронизывающий ветер, давно уже стемнело, а мы шли и шли. Я все еще в дурном настроении; два таких марша подряд могут погубить целую армию. Сегодня, к счастью, велено отдыхать, и солдаты сумеют прийти в себя от усталости, а я высплюсь всласть и завтра с новыми силами примусь за то же.

После того как мы в течение 10 месяцев встречаемся с крестьянами, внушая им страх, слыша речи, продиктованные робостью и унижением, и нигде не встречая сопротивления, неудивительно, что я проникся таким уважением к мельничихе, в доме которой мы стоим; ведь она решается отвечать отказом на неразумные требования. Она живёт в достатке со своей большой семьёй, и дом и хозяйство у нее – полная чаша, но когда мы появились, она не бросилась подавать нам все, что было в доме, не выставила на стол всё сразу; её бережливость привела меня в восторг. Она держит все ключи при себе, не отказывает нам ни в чём, но все даёт мерой; наши люди получили прекрасный обед, она дала нам белого хлеба, яблок, кофею и, хотя мы получили больше, чем обычно удается взять силой, ее хозяйство и порядок, царящий в нем, пострадали очень мало. Эта славная женщина разговаривает с нами безбоязненно, возражает и даже читает нравоучения со спокойным достоинством, внушающим уважение. Мне легко дышится здесь; что может быть мучительней, чем знать, что все твои желания осуществляются в силу страха, который ты внушаешь, что каждый твой шаг заставляет кого-то трепетать, чем видеть вокруг себя угнетение и подобострастие.



Русские войска входят в г. Лик.
Рисунок А. В. Чичерина. Военный дневник. 1812–1813 гг.

24 января

Сегодня я должен быть в карауле при его величестве. Полк ушёл, я догоню его только в Плоцке, но на это я не жалуюсь. Гораздо приятнее совершать переход одному, воображению льстит мысль, что ты совсем свободен. Мысль о возможности заболеть улыбается мне гораздо меньше. Я кашляю уже несколько дней. Вчера вечером меня разбудили и без дальнейших объяснений приказали явиться на Главную квартиру (в Рожаны). Саней не было, я долго искал ночью какой-нибудь экипаж и лишь через два часа нашел один, такой элегантный, что моя простуда увеличилась в нём втрое.

17 февраля. Плоцк

Мог ли я предвидеть, что эта неприятная простуда доведёт меня до края могилы и что я со своим хваленым здоровьем покорюсь, как и прочие, жестокому велению судьбы, приговорившей всю армию к тому же?

Когда мое дежурство закончилось, мне стало ещё хуже. Возвращался я в санях и не мог обедать в тот день, но вечером разговоры развлекли меня, и я не придал значения своему нездоровью. Так продолжалось несколько дней. Прибыв в Плоцк, я почувствовал себя совершенно больным. Восьмого полки ушли, а я, лежавший почти без сознания, остался вместе с Кашкаровым.

Через несколько дней я был при смерти. Кашкаров, не терявший сознания, ждал уже моей кончины, но счастливый кризис спас меня.

Теперь я поправляюсь, силы понемногу возвращаются ко мне, прекрасный аппетит оживляет мои парализованные члены, но я ещё не могу держаться на ногах, колени подгибаются, когда я пытаюсь сидеть, ноги безжизненно болтаются; целый день приходится лежать, и страшная скука меня одолевает. У меня нет даже силы писать, и эти 15 строчек совершенно меня измучили.

23 февраля

«Болезнь приходит галопом, а уходит шагом», – сказала несколько дней тому назад моя квартирная хозяйка. Увы, теперь я почувствовал всю справедливость этой поговорки; хотя силы понемногу возвращаются ко мне, день всё-таки кажется невыносимо длинным. Когда я прибыл в Плоцк, я еще держался на ногах. Мне указали ужасную квартиру. Чтобы прогнать болезнь, я поставил ноги в горячую воду и выпил стакан пунша – это меня совсем доконало. Виллие, посланный его величеством, пришел в ужас как от моего состояния, так и от моего жилья. Мне было уже очень скверно. Крикливая хозяйка ежеминутно выводила меня из терпения. Я решил занять квартиру Бирта, и так как полк должен был уже уходить, я туда перебрался. Никогда не забуду, что мне пришлось пережить в течение двух дней, пока Бирт еще оставался в Плоцке, устраивая госпитали. Непрерывный шум с утра до ночи, непрестанно входившие и выходившие люди, приказания, крики, ругань – от всего этого я совершенно потерял голову, так что, когда он уехал, я уже был без сознания, и Кашкаров удивляется, как мне удалось вернуться к жизни. Воспаление в горле душило меня, я горел в жару и бредил без конца. Много раз мне виделось одно и то же и так врезалось в память, что, уже придя в себя, я всё верил тем видениям и думал, что действительно стал адъютантом е[го] в[еличества]. Я так глубоко был убежден в этом, что когда Кашкаров, которому я в бреду рассказывал, что у меня шесть верховых лошадей и восемь упряжных, имение под Петербургом стоимостью в 80 тыс. руб., что я помог отцу и матери и задарил шалями Марию, – когда Кашкаров не верил мне, я решил писать генералу, прося его справиться у государя, назначен ли я адъютантом или нет.

Пока что хозяйка очень заботилась обо мне. Она варила прекрасные бульоны, подавала мне лекарства и следила за поведением слуги, которого ко мне приставили. Мне дали солдата, который, напившись пьяным, что случалось с ним каждый день, проникался такой нежностью ко мне, что не

отходил от моего ложа и засыпал на моей подушке или у меня в ногах. Между тем мне становилось лучше. Я уже мог разговаривать, отвечать, понимать то, что мне говорят. Хозяйка каждый день приходила беседовать со мной. Она вышла замуж за мужа своей сестры и растила двоих её детей вместе с двумя своими. Скоро я понял из ее речей, что это женщина лживая, болтливая, для которой нет больше удовольствия, как перемывать косточки своим родным и соседям, и которая никого не пожалеет, чтобы придать себе достоинства, которых у нее на самом деле нет. Она невыразимо утомляла меня, комната была сырая, да к тому же в ней нуждались, так как надо было сыграть свадьбу племянницы хозяйки, которая уже давно была помолвлена; эта милая и кроткая девушка отвечала заботой и нежностью на грубость мачехи. Итак, мы с Кашкаровым решились перейти в нашу нынешнюю комнату, она меньше, но удобнее; правда, это не спасло меня от преследований хозяйки, которая приходит каждый день и просит меня вернуться (она живет в том же доме), но всё-таки здесь мое выздоровление пойдет быстрее, воздух тут здоровее, я уже встаю с постели, уже могу сидеть за столом.

26 февраля

Когда я ещё был в Петербурге, я нередко забавлялся, марая бумагу, большей частью стихи получались не слишком безобразные, отвращения они не вызывали, а только усыпляли. Я едва связывал рифмы, почти не заботясь о смысле: «Toujours» – «jours», «malheur» – «bonheur»[148] – этим жалким рифмам предшествовало несколько слов (8 или 10 слогов), и я считал это стихами. Обычно я в конце концов смеялся над своими попытками сочинять стихи, но иногда чувствовал некоторое довольство собой. Демон злоречия подзуживает тебя, Дорант, вспомни, как ты отличался перед судом тех, кто, ничего не делая сам, только критикует и осуждает других. Жалкий Орфей, ты навлек на себя неудовольствие тайного судилища, кое из ревности и зависти повторяет во всеуслышание свои приговоры. Бывало так, какое-нибудь событие поразило меня, и вот уже готовы стихи, еще четверть часа, и я подобрал к ним музыку, и занял, таким образом, минуты, которые иначе пропали бы в тоскливом бездействии. Кто не вздыхал в своей жизни! Не страсть, не мечта о свадьбе, не проекты будущей жизни, не клятвы и уверения, а всего лишь одно словечко вдруг зажигает чувство, один взгляд усиливает чары, разлука раздувает огонь; дня три не видишь своего предмета, и вот – приносят письмецо; ты один, перед тобой лоскуток бумаги, перо в руке, тут же сочиняешь куплет или два, записываешь их как попало, мысли

приходят одна за другой, и вот уже появился на свет новый романс. Надо подобрать несколько аккордов в миноре, ведь минор утешает влюбленных. Подхожу к клавесину, беру один аккорд за другим, и вот уже я нашел выражение избытку страсти и занял эти свободные минутки, которые так часто мучили меня в Петербурге. Проходит немного времени, страсть улетучивается, и романс адресуется какой-нибудь другой красавице, какой-нибудь Хлое или Зелии, а то и вовсе забывается. Все это бесконечно развлекало меня. Ну вот, через 11 дней минет год, как я иду к победе, и, что касается меня лично, настолько успешно, что ничуть не приблизился к ней. Вот уже год, как я пытаюсь собирать лавры, но корзина моя пуста, и только березы да сосны утомляют зрение своим однообразием. Эта бродячая жизнь, с виду такая разнообразная, а на самом деле такая одинаковая, как будто заполненная происшествиями, а на самом деле текущая вяло и однообразно, придала моим мыслям такое оживление, такое разнообразие и бодрость, что 20 раз, 100 раз я пытался сочинить грустную элегию на подобранные рифмы, придумать стихи о черных или, – если того требовало созвучие, – голубых глазах, но увы, мне едва удавалось произвести на свет какое-нибудь жалкое четверостишие, продолжение которого я откладывал на завтра и которое так и оставалось неоконченным. Думаю, что если бы я взялся за прозу, то едва мог бы вымучить хоть какую-нибудь мысль; я говорю «вымучить» потому, что это очень тяжелый труд для меня. Хотите пример? Сегодня вечером я потратил два часа, исчертил довольно большой лист бумаги, во всех уголках которого торчат по два, три и даже по четыре стиха, а связи между ними нет.

28 февраля
День выздоравливающего

Я придумал это заглавие еще позавчера; пусть сия глава послужит примером изменений, которые двое суток могут произвести в состоянии больного. Я намеревался изобразить невыносимую тоску и скуку, одолевавшие меня, собирался рассказать, как уныло встречал начало каждого дня, когда лишь утренний кофе слегка развлекал меня. А что было делать дальше, с шести утра до двух? Мы немного беседовали, потом я ходил по комнате, брал несколько аккордов на клавесине, опять ложился. Лежать было невмочь, я поворачивался с боку на бок, посылал в кухню справиться об обеде, скучал и досадовал; наконец, наступил обед и час послеполуденного отдыха – удовольствие для того, кому недоступны никакие другие наслаждения. Затем партия в пикет, но очень скоро у меня устает спина, а ещё только

четыре часа. Я томлюсь от скуки до девяти и укладываюсь, а ночью сплю плохо. Вот что я собирался описать.

Но вчера, едва проснувшись, я почувствовал себя лучше и, вместо того чтобы взяться за перо, решил одеться как выздоравливающий, а не как умирающий. Часов в 11 я решился выйти на балкон (первый раз на воздух) – что это? Драгуны царской гвардии в двух шагах от меня! Среди них мой кузен, неужели я с ним не увижусь? Я накинул шинель и, еле-еле волоча ноги, поднялся по лестнице, повидался с ним и вернулся к себе; это меня совсем не утомило, и в семь часов я пошел к нему обедать. Потом Гурко нанес визит мне, я оживился, день прошел чудесно, и вечером я не мог уже по совести жаловаться на тоску и писать главу, которую задумал накануне.

Сегодня я чувствую себя еще лучше. После хорошего завтрака и небольшой партии в пикет я оделся и вышел на улицу. Я прошел почти две версты, посмотрел наш госпиталь, повидался со своим лекарем и одним больным товарищем; пробило два часа, мой аппетит заговорил самым энергичным образом; вот я уже у себя. После дневного отдыха я опять вышел на улицу и вернулся лишь в девять часов, проведя приятный вечер у Гурко. Не правда ли, прекрасный день, не правда ли, я совсем счастлив и поправился?

Честность не позволила мне солгать, и я счел своим долгом истолковать совсем по-другому прежде задуманное заглавие. Теперь я должен выразить благодарность врачу, который спас мне жизнь. Как изобразить его радость?.. Но для этого потребуется особая глава.

Благодарность

Когда я заболел, ко мне пришел доктор Полляк (крещеный еврей), но только в первый день у меня были силы говорить с ним. Потом целых десять дней я был на краю могилы, он лечил умирающего, скелет, а не пациента, который может говорить и ценить заботу о себе. Поправляясь, я совсем потерял память о том, что было, так что знал лишь первые дни своей болезни, и переход от смерти к жизни казался мне пробуждением от долгого сна. Нелегко больному подружиться с врачом, коего он видит по-настоящему впервые; я не успел, придя в себя, познакомиться по-настоящему с Полляком, как он сам захворал. Потом Кашкаров рассказал мне о ходе болезни; по мере того как я поправлялся, память возвращалась ко мне понемногу, а вчера я почувствовал себя таким счастливым, что живу, дышу свежим воздухом и могу благодарить небо за все блага, кои оно мне дарует, что ноги сами понесли меня к дому моего маленького доктора. Представьте себе

радость молодого человека, недавно начавшего практиковать в Плоцке, когда к нему приходят пешком два офицера в добром здоровье, а всего две недели тому назад один из них был приговорен к смерти. И все это при свидетелях, при его соперниках, и притом всего несколько дней тому назад у него уже побывали двое других офицеров, которые были так же тяжело больны, как я, а третий, которого Полляк нашел уже окоченевшим и вернул к жизни после апоплексического удара, лишившего его возможности наслаждаться напитками, собирался через три дня нанести лекарю визит, не менее приятный, чем наш.

Но какое же чувство овладело мною, когда я вошел к нему в дом, что заставило меня броситься в объятия молодого Полляка, почему я не выпускал его руки из своей в течение получаса? Если бы я пробыл и целый час, мне не надоело бы смотреть на него, расточать ему самые лестные похвалы и выражения благодарности; мне хотелось еще и еще говорить с ним; неодолимые чары удерживали меня, ведь я видел перед собой своего спасителя, человека, который вернул меня к жизни; всего меня охватило чувство благодарности, сие неповторимое чувство, которое одно может служить истинным вознаграждением неоплатных услуг.

Мне нравилось его лицо, его речи; каждое его слово доходило мне прямо до сердца. Искренняя радость, осветившая все его черты, волнение, охватившее его при нашем приходе, показали мне глубокое сочувствие, кое он питал к нам. Мне пришлось сделать усилие, чтобы расстаться с ним, и всю дорогу домой, довольно длинную, я размышлял о божественном чувстве благодарности, столь долго скрывавшемся во мне без проявления, и о трогательной чудесной сцене, которая пробудила во мне это чувство.

Надо послужить в полку, чтобы разделять мысли, меня сейчас занимающие. Человек, которым восхищаются в обществе, может быть нелюбим однополчанами. Я вовсе не имею в виду неприятных и дурно образованных офицеров, я говорю о нашем полку и о Гурко. Многие его не любят, терпеть его не могут, хотя он любезен, предупредителен, образован, богат, принят в хорошем обществе; его ненавидят за один-единственный недостаток – чрезмерное самолюбие и честолюбие. В обществе к нему относятся прекрасно, ибо там он не может задавать тон. Даже вскоре после свадьбы он держался очень скромно; и теперь я провел с ним много приятных минут, наши вечера были заполнены дружеской беседой, он был чрезвычайно внимателен ко мне, и мы оба не наскучили друг другу. Но когда в полку среди

множества молодых людей один начинает красоваться, хвалиться, важничать, отворачиваться от тех, кто его превосходит, и пренебрегать теми, кто стоит ниже, его не любят, его начинают ненавидеть.

Но не все же время философствовать, надо рассказать и об удовольствии, которое я испытал, вновь начав рисовать; надо рассказать о свадьбе девушки, которую столько мучила мачеха, об огорчении, которое я испытал, неосторожно захлопнув тетрадь с еще непросохшим рисунком, когда старался дотянуться до чернильницы. Все эти мелочи развлекают меня. Надо бы рассказать и о моем визите к аптекарю, мужу моей милой сестры милосердия, и о дурном настроении моей противной хозяйки, которая в настоящую минуту развлекается, проливая слезы по своей скончавшейся матери. Мои мечты, прогулки, визиты, обеды – все это когда-нибудь в более спокойное время послужит материалом приятных воспоминаний.

5 марта

Воспоминания о Плоцке

Плоцк, несомненно, навсегда останется в моей памяти, я буду возвращаться к нему мыслью до конца моих дней; но ведь тысячи мелочей, которые могут стать в будущем предметом приятных воспоминаний, которые сейчас доставляют мне радость, забудутся, если я не запечатлею их здесь. Надо написать и о тех приятных минутах, которые я пережил здесь, и о том, что меня окружает; моя комната, партия в пикет, г-жа Нейфельд, мало ли что, – все это может представить интерес.

Плоцк – довольно красивый город. Он расположен у самой Вислы и господствует над противоположным берегом; когда я стою у реки, далекие деревни, окружающие Плоцк и рассеянные по обеим сторонам реки, кажутся такими маленькими, что я с почтением обращаю свои взоры к городу. Он кажется мне целым царством. Правда, в нем только три порядочные улицы, но они очень длинные, хорошо проложены, и площади хорошо расположены. К тому же, когда Плоцк еще принадлежал пруссакам, его непрестанно украшали. Тут есть весьма красивые дома, почти все горожане – немцы. (Сравнительно недавно в уездах появились польские префекты, и украшение города прекратилось).

Военных надо было забавлять. В Плоцке есть старинные церкви, их развалины образуют чудесный контраст со сравнительно новыми аккуратными жилыми домами. Недавно, прогуливаясь, я был поражен величественным зданием недавно реставрированного храма, только его почему-то уродовали какие-

то дверки и пристройки. «Что это за церковь» спросил я у префекта. «Это театр. Не так давно здесь устроили театр, потому что в городе нет большого зала, а тут всё время стояли войска». Есть в Плоцке две довольно хорошие гостиницы, это вещь, необходимая для гусаров-гуляк гораздо более, чем для прочих военных. Тут все есть: немного дворян, чиновники, наезжающие по временам из своих деревень помещики.

Меня удивило, что на вывесках всех лавок сообщается прежде всего о продаже вина, тогда как хозяин лавки далеко не всегда им торгует. Неужели вино так неудержимо привлекает жителей Плоцка?

Что бы я не говорил, как бы плохо мне не пришлось в Плоцке, всё-таки я научился еще более, чем в походе, ценить здесь самые маленькие развлечения. День у меня так заполнен, что хотя я встаю в шесть часов, а постель мне готовят не раньше одиннадцати ночи, у меня всегда остаются на завтра невыполненные замыслы.

Последние дни моей болезни были ужасны. Г-жа Нейфельд без конца надоедала мне разговорами, то и дело стучала в окно, доводила нас своими разговорами до тоскливой зевоты, так что даже унылая партия в пикет казалась счастьем и развлечением. Потом, когда врачи ещё запрещали нам выходить на воздух, мы ходили к ней в гости. Что поделаешь, скука нас донимала, а я не мог ни писать, ни читать. Но когда приехал Гурко, когда я первый раз вышел на улицу и особенно когда я смог, наконец, писать и рисовать, когда каждый день мог заказывать обед по желанию и после доброй прогулки (следовавшей за хорошим полдником) с наслаждением утолять часа в три-четыре волчий аппетит своими любимыми блюдами, – тогда я почувствовал себя совершенно счастливым, и теперь я счастлив.

Честолюбцы, избегайте Плоцка, вам не удастся блистать здесь; талантов здесь не ценят; я видел, как зрители восхищались балетом, который исполняла одна-единственная актриса в домашнем коричневом платьице.

Вы, кого снедает тщеславие, спешите сюда: вам тут станут целовать руки, людей благородного происхождения среди горожан немного, и вы несомненно будете играть тут заметную роль.

Я не видел тут ни одной женщины моложе 50 лет; г-жа Нейфельд собирается снова выйти замуж, а ей, по её признанию, 42 года; молодые особы все безобразны, так что избегайте этого города, молодые щеголи, не приближайтесь сюда вы, пестрые мотыльки, заполняющие бульвары и театры, порхающие туда и сюда в погоне за безделицами, одна ничтожнее другой, пока

суровость погоды не заставит вас искать приюта; вы, бесполезные люди, не являйтесь сюда. Тут все спокойно, рассчитано, все занимаются каким-то делом. А вы, скупцы, приезжайте сюда, прошу вас; попробуйте доказать, что в Плоцке можно жить и не разориться; тогда я со стыдом признаюсь, что 20 дней болезни обошлись мне в 1300 руб.

6 марта

Воспоминания

Я закончил два рисунка[149] и стал искать себе занятия на завтра. Я мог бы изобразить ссоры нашего хозяина (мы уже пять дней как живем в другой комнате, хотя в том же доме), наши разговоры с Кашкаровым, но ведь все это происходит в одном помещении. Ну что ж, подумал я, поищем тему в городе, и сегодня утром во время прогулки я подошел к театру, имея при себе бумагу, и был так поражен открывшимся передо мною видом, что нарисовал его. Мне удалось изобразить только часть старинных зданий, угол госпиталя, но я наслаждался зрелищем куполов и разрушенных церквей, столпившихся у края живописной реки, и доволен, что сохраню память об этом. Рисование – такое приятное занятие, что я теперь ежедневно посвящаю ему два утренних часа и не сумел бы лучше употребить их.

Я знаю, правда, ещё более приятное занятие, но боюсь слишком пристраститься к нему; стоит мне остаться одному, как я предаюсь своим воспоминаниям и лишь с трудом могу оторваться от них, чтобы ответить назойливому посетителю.

Я хотел воевать, я и теперь еще хочу воевать. Кампания продолжается уже целый год, а я не имел ещё ни разу счастья быть в деле, хотя бы на четверть часа; кампания продолжается уже целый год, а я испытал только тягость и скуку военного быта, а врагов видел, лишь когда их приводили пленными в штаб; четырнадцать часов я пробыл под пулями, не двигаясь с места, разве всего этого недостаточно, чтобы желать конца войны, в коей мне так не повезло? Разве не следовало бы мне проникнуться навсегда отвращением к военной службе?

А я все-таки люблю её, люблю еще больше, и все неприятности только увеличивают мой пыл.

После тяжелой болезни, долго казавшейся смертельной, обессиленный, обескураженный, совсем одинокий, я решился, наконец, высказать то, что все говорят уже давно, я решился признаться, что хочу мира. Сейчас же мне пришли в голову тысячи соображений, показывавших, что война необходима, дабы обеспечить прочный мир; потом нахлынули новые,

опровергающие эти; наконец, я решил предоставить все воле провидения.

Как же мне было утешиться? Я стал рассказывать Кашкарову о своих друзьях. Вы все, к кому я питаю сыновнее почтение, вы, графиня[150], к кому я всегда приближался с обожанием, как к образцу всех добродетелей, украшенных всеми прелестями; вы все доброе семейство Стурдза, в котором я получил столько уроков мудрости и слышал столько приятных речей, – Кашкаров знает вас, восхищается вами, хоть и вчуже. Как-то вечером я рассказывал ему о моем друге гувернере[151], который служит доказательством того, что чужестранец может заменить родителя. А на следующий день я подробно описал ему вечер, проведенный у достойной княгини[152]. Я изобразил ему трогательное зрелище трех поколений, собравшихся вместе, представляющих образцы совершенств, неизвестных прочим смертным. Наконец, я мысленно повёл его на придворный бал. Мы остановились у дверей, и я заставил всё общество пройти перед нами в польском. Потом я показал ему летние балы 1811 года, и когда он уже заснул после ужина, а я по привычке всё еще бодрствовал, в моем сознании снова возник этот последний бал, я вспомнил, как вздыхал там, и, наконец, вздохнул уже наяву. Так приятно испытывать склонность к существу, достойному нежной привязанности, так приятно навсегда запечатлеть в глубине сердца образ, который постоянно витает передо мной и вносит успокоение в душу в те тяжелые минуты, когда тоска или огорчения прогоняют все мысли и наполняют глаза слезами.

Вы, не знающие меня, случайно открывшие эту тетрадь и прочитавшие из любопытства эти две страницы, наверно сочли меня дурным сыном. Правда, я никому не говорил еще о своих родных: в мире столько равнодушных людей, и опыт учит благоразумной сдержанности в речах, я не хочу говорить с посторонними о моих дорогих родителях. Как рассказать о моей привязанности, об их доброте и заботливости? Слова слишком бледны, чтобы поведать о моей любви к ним; их достоинства и моя благодарность останутся между нами, всякую минуту моей жизни радуя меня, изо дня в день запечатлеваясь все прочнее в моей душе; только ради них я живу и дышу, и сие мое счастье слишком драгоценно, чтобы делиться им с людьми, навряд ли знающими ему цену.

7 марта

Во время выздоровления самые счастливые часы наступают, когда возвращаешься к полному здоровью. Невыносимо скучны запреты врача, диета, чувство голода, слабость, всякие

предосторожности. К счастью, всё это уже позади. Только ноги напоминают мне о болезни. (Правда, кошелёк мой напоминает о прошедшем гораздо основательнее.) Но отъезд мой всё откладывается. Вот ещё одно доказательство того, что если не интерес, то деньги правят миром. Хотите знать, что говорит мне сейчас рассудок? Он твердит: «Зачем писать, у тебя сейчас нет никаких мыслей в голове, ты много гулял в течение дня, ты устал, Гурко только что вышел от тебя, уже двенадцатый час, а ты все не хочешь ложиться». Советам рассудка должно следовать, я беру несколько аккордов на клавесине и ложусь. Но нет, у меня в голове есть еще небольшая глава. Надо перенести её на бумагу.

Как заставить полюбить себя

«Я же не ученый, напрасно ждать от меня полного курса морали», – так я отвечу, если вы станете упрекать меня в том, что я затронул лишь маленький кусочек темы, коей посвящена эта глава.

Ну что ж, как-нибудь в другой раз я поговорю с вами об искусстве заставить любить себя в обществе, в свете (и тогда я вас же возьму в образец); а теперь я буду говорить о том, как вызвать к себе любовь солдат. Об этом я размышляю с тех пор, как стал служить.

В начале похода мне удалось сравнительно многого добиться. Нужно так немного, чтобы тебя полюбили, гораздо меньше, чем чтобы тебя возненавидели, хотя многие этого не понимают. Пошутите с одним солдатом, двадцать других услышат вашу шутку и посмеются, а тот, кто веселит людей, любим ими. Будьте внимательны к нуждам солдата, к тому, что может доставить ему удовольствие, соблюдайте строгую дисциплину, не допускайте пристрастности, делайте только лаконичные нравоучения, говорите всегда дружеским тоном – и солдаты вас будут любить.

Скука бивачной жизни в дурную погоду, когда дух ослабел, заставила меня нарушить обычай, строго соблюдавшийся мною на марше, беседовать с солдатами и стараться узнать их. И все же, как ни мало я успел сделать, мне наверняка удалось сохранить не одного друга. Теперь, едва поправившись, я посетил госпиталь, обошел все палаты, в каждой поговорил с тремя или четырьмя солдатами, ободрил их, попробовал их похлебку, пошутил немножко, и, когда я, пробыв там несколько минут, прощался с ними, все они единогласно пожелали мне здоровья. Через два дня я опять туда пришел и теперь хожу в госпиталь каждый день, соблюдая тот же порядок. Это мне ничего не стоит, даже развлекает меня. И что же, я уверен, что все солдаты там меня любят из-за этих пустяков.

Среди них находится один из наших лучших музыкантов[153]. Он болеет уже третий раз, ему 18 лет, он, кажется, чахоточный, да и привык хорошо питаться; вот почему я считаю необходимым заботиться о нем больше, чем о рядовых, с детства не знавших ничего, кроме черного хлеба и самой грубой пищи. Я послал ему лимонов, сахару. Ежедневно ему приносили от меня супу. Но каждый раз, как я вхожу туда, я чувствую угрызения совести, что не могу делать то же самое для других больных. А рядом лежат два прекрасных унтер-офицера и гренадер, прослуживший 27 лет; разве они не имеют права требовать от меня такой же помощи? Без сомнения, они недовольны мною. Но ведь этому гренадеру нужен не лимон, не лёгкий бульон; для него, загрубелого в походной жизни и привыкшего к однообразной пище, требуется денежная помощь, чтобы он мог купить себе масла в кашу или чего-нибудь повкуснее поесть, или – с позволения врача выпить чарочку. Может быть, эти люди ненавидят меня. Они правы. С каждым днём я все больше чувствую, что они должны так думать… Значит, я не сумел добиться любви всех этих людей… Но разве я виноват, что в полку про меня позабыли? Привези курьер завтра деньги, достаточно будет одного золотого на троих больных да нескольких шуток, чтобы они все стали дружелюбно ко мне относиться. (Это требует длинных пояснений. Я вовсе не хочу сказать, что наш солдат корыстолюбив. Но сейчас очень поздно, я уже ничего не соображаю, я совсем засыпаю и иду ложиться.)

9 марта

Вчера я еще рисовал, когда мне сообщили о приезде Дамаса; я бросил все и побежал к нему; целый день я провел в разговорах с ним и в писании писем, которые уйдут с ним.

Офицеры в крестьянской избе, 20 января 1813 г.
Рисунок А. В. Чичерина. Военный дневник. 1812–1813 гг.

Сегодня утром, проснувшись позже обыкновенного, я ощутил страшное нежелание вставать с постели и долго ломал голову, чем оно вызвано. Наконец, я запомнил, что мне совсем нечего делать.

В Плоцке много живописных видов – один лучше другого, но я не приготовил накануне эскиза, а в доме рисовать мне нечего: у меня перед глазами только однообразные и надоевшие мне сцены и безразличные для меня люди. Писать еще рано, гулять я хожу позже, визиты, обычно столь докучливые, были сегодня досадно краткими. Что же мне придумать, чтобы не провести утро в безделье? Пойду прохаживаться по улицам и дышать чистым весенним воздухом, благо погода хорошая.

10 марта

Сегодня утром Гурко получил жалованье и уехал на два месяца домой. Терпение и надежда скоро уехать самому подавили во мне чувство зависти. Я искренне порадовался за него и за его жену и пожелал им счастья. Сегодняшняя запись будет совершенно бессвязна, я только набросаю в беспорядке мысли, приходившие мне в голову в течение дня.

Прогулка ныне была приятнее, чем обычно, я рисовал с большим удовольствием, но новую группу мне начинать не хотелось. Я вышел ещё до полудня, а вернулся после трёх. Каждый раз, как я прихожу в госпиталь, я вижу всё меньше

знакомых лиц; во всякое время я встречаю теперь выздоравливающих и совсем поправившихся после ран и болезней солдат, которые сотнями возвращаются в армию, окрепшие, в новом обмундировании, очень довольные. Я заплатил свой долг старому гренадеру и, вернувшись вечером в госпиталь, увидел, что он уже употребил часть моих денег, чтобы подкрепиться.

Мне удалось обнаружить прелестные виды, солнце посылало свои яркие лучи, столь благодетельные для недавно оправившегося от болезни человека, и, только вернувшись домой, я заметил, насколько устал.

Почему же я так мало пишу о Дамасе? Должно быть, я очень устал вчера от писем и потому не успел выразить свою радость от встречи с ним; следовало бы лучше описать удовольствие, которое я испытал, увидев его, чем намарать вчера эти глупые полстраницы.

Он велел разыскать меня. «Вам нужны деньги, вот 200 руб.», – сказал он мне. У него было в кармане 4 тыс., но я понял по малости дайной мне суммы, что он с дружеской предусмотрительностью рассчитал мои потребности. Я уверен, что он дал бы мне больше, что он мне все бы отдал, будь это нужно; хотя это было бы чересчур даже для моей широкой натуры. Двухсот рублей вполне должно хватить мне на дорогу, и он оказал мне большую услугу, постаравшись как можно меньше обременить меня долгом. Этот добрый Дамас так хорошо знает мой характер, более того, так старался изучить его, что рассудок, а не только благодарность приказывают мне любить его.

У Дибича совсем другой характер (их с Дамасом часто сравнивают): вспыльчивый, откровенный, решительный, твердый, рассудительный, хорошо образованный, хорошо разбирающийся в военных делах, уже генерал-лейтенант или скоро должен стать им, герой дня, вполне заслуживший свою славу; я восхищаюсь им так же, как Дамасом, но не отдаю ему предпочтения за то, что ему больше везет; я люблю его так же, как Дамаса, не будучи ему обязан благодарностью; но мне кажется, что отечество должно получить от него пользу, пока он молод. Он может много сделать, стать полезным, заслужить высочайшие похвалы, но когда возраст охладит его пыл и усыпит его воображение, он будет просто весьма образованным человеком. Так как я пишу только для себя, я решаюсь высказать это суждение и сделать такое предположение.

Я люблю Фредерикса, потому что я всех люблю, кроме порочных людей. Это прекрасный молодой человек, но я ведь и не бываю в обществе людей, мне неприятных. Я знаю его больше,

чем других, потому что он очень обязателен; но я знаю его слишком мало, чтобы привязаться к нему. Он заболел и остался (1 января) в Мериче, теперь я получил известие о нем: ему лучше, этого мне было довольно. Почему же теперь, когда я выглянул из окна, сидя у Тулубьева после обеда, мне захотелось, собравши все силы, броситься бегом на улицу, чтобы как можно скорее, не теряя ни секунды, сжать в своих объятиях товарища? Почему мое сердце так забилось при виде синего воротника? Эти чувства особенно меня радуют, когда возникают сами собой, внезапно, непредумышленно, без участия рассудка.

Я писал, что нахожу себе развлечения в Плоцке; но самые приятные минуты здесь кажутся скучными по сравнению с теми, кои я провел вместе с Фредериксом и его братом. Они оба возвращаются в армию, но завтра я еще буду иметь счастье видеть их у себя.

Я предложил Фредериксу повести его в госпиталь, я был там сегодня уже два раза и с удовольствием пойду туда в третий раз. Я уверен, что солдатам приятно видеть меня. Больные убеждаются, по крайней мере, что о них думают, что офицеры следят за тем, чтобы служащие выполняли свои обязанности, и больным становится легче, а выздоравливающие испытывают такое же удовольствие, какое испытывал я при виде своих товарищей; потому что если образование и развило во мне утонченные чувства, которых не знает рядовой солдат, то этому последнему не менее, чем мне, доступно ощущение благодарности и чистая радость добрых чувств[154].

Я беседую с солдатами, шутка для них больше значит, чем лекарства; веселье, развлечения – вот единственное пособие для выздоравливающих. Мы с Фредериксом разговаривали о своих болезнях, о том, как приятно встретить на улице солдата, и больные с интересом прислушивались к нашей беседе, тема которой была так близка и понятна им.

– Мы счастливее вас, – сказал один из солдат Фредериксу, – когда видим, что наши начальники поправляются после долгой болезни нам на счастье.

– Мы только и молили бога, – сказал другой, – чтобы вам поправиться.

– Наш поручик приходит каждый день справляться о нашем здоровье, словно отец родной, и мы за него бога молим.

Я покраснел, потому что терпеть не могу похвал, и постарался отблагодарить их шутками, а внутренне был вне себя от радости. На этот раз слова прощания послужили сигналом для хора благодарностей, и этот приятный гул стоит до сих пор в моих ушах. Нет, это не тщеславие, это сердце говорит, только

сердце может испытывать такую радость. Значит, я верно догадывался, что доставляю им удовольствие, и может быть, сумею заслужить привязанность солдат, половина которых даже не знает меня по имени, и всего за десять дней, и всего посвящая им полчаса в день, отнятых от прогулки и доставляющих мне приятное рассеяние. Я бы хотел растянуть эти посещения как можно дольше за счет других моих занятий.

11 марта

Я пишу для себя

Зачем эти постоянные обращения к читателю? К чему эти разговоры, когда пишешь для самого себя?

В этой тетради сосредоточены для меня все удовольствия, плоды которых я буду пожинать в будущем; эта тетрадь только для меня; я не собираюсь ни поучать, ни просвещать кого бы то ни было, никому не хочу давать советы; все, что написано здесь, пишется только для меня самого; вот почему я часто позволяю себе резкости, вот почему я высказываю тут иногда мысли, кои долго пытался скрывать от самого себя; тут изложены мои самые тайные размышления, и в этом смысле я имею право сказать, что пишу только для себя.

Но неужели я откажу своим родителям, своим лучшим друзьям в удовольствии познакомиться с моими ошибками и с тем, как я исправлял их; неужели я не позволю им прочитать некоторые главы, содержащие запечатленные мною для памяти веселые или трогательные происшествия? Значит, у меня всё-таки будут читатели, и это к ним я обращаюсь; а всё же я пишу только для себя.

Мои друзья, даже просто знакомые, тоже перелистают этот дневник, посмотрят рисунки, протрут некоторые страницы и без лести выскажут мне свое мнение о моих заблуждениях и недостатках, а дальше увидят, как я преодолевал их.

Не знаю, доставит ли им это чтение удовольствие, но они, наверное, познакомятся с моим дневником. А все же я пишу только для себя.

Но хотя я пишу только для себя, мой дневник может попасть в руки равнодушным или нескромным людям, которые случайно или из желания покритиковать прочтут какие-то страницы; вот и ещё читатели.

В конце концов, вся эта глава с начала до конца целиком обращена к читателям, и заголовок, и мысли – всё рассчитано на них, и всё же, поверят они мне или нет (мне всё равно), я пишу только для себя.

12 марта

Романс об единственном экю[155]

Любителям музыки и театра часто приходится расплачиваться несколькими часами скуки за наслаждение послушать один хороший музыкальный отрывок или посмотреть одну хорошо сыгранную или действительно смешную сценку. В Петербурге, куда со всего мира стремятся люди, чтобы составить себе состояние, – ведь Россия – это золотые прииски Европы (одни только её жители не умеют извлекать богатства своего отечества), – особенно часто приходится смотреть пьесы-однодневки, которым аплодируют из-за нескольких плоских шуток или едва сносных сценок, но которые не могут удержаться на подмостках. «Мистификация», «Новый Дон Кихот» пользовались успехом в течение нескольких дней и быстро были забыты[156].

Ничуть не лучше была пьеса «Завтрак холостяков», но она дольше других продержалась на сцене, потому что молодежь аплодировала всем картинам. Там изображаются два молодых человека, впавших в долги, у которых остался в кармане единственный экю. Они хотят дать обед и… Не правда ли, совершенно такое положение, как у меня в настоящий момент? У меня тоже остался один экю, не считая того, который я спрятал под тем предлогом, что хочу собирать разные монеты. Сегодня у меня обедали Фредерикс с братом, день прошел чудесно: мы вспоминали о прошлых удовольствиях, они оба прекрасные собеседники. Они сидели у меня с часу дня до девяти, потом им надо было уезжать. «Ах, если бы они могли остаться еще на завтра», – сказал я Кашкарову. «Вы об этом мечтаете, – возразил он, – но ведь ваш последний золотой исчезнет тогда». Последний экю, подумал я, и тут же мне пришла на ум эта опера, многие положения которой так напоминали наше, но, подобно беззаботным караибам, мы стали шутить на эту тему и смеялись целый час. Как настоящий караиб, я нисколько не пекусь о завтрашнем дне и надеюсь на счастливый случай, а когда последний экю будет истрачен и от небольших средств Кашкарова тоже ничего не останется, я в утешение себе стану напевать романс об единственном экю и весельем прогоню тоску, которую нагоняет нужда.

Советы рассудка

Бывают минуты, когда я сам себя не узнаю – настолько я благоразумен, но зато бывают другие, когда… я не хотел бы вспоминать о них. Что бы ни делал человек, без советов рассудка не обойтись, но иногда воображение берет перевес над разумом –

со мною это случается особенно часто. Сегодня я последовал все же советам рассудка.

Мандрыка[157] – гусар, который стоит на квартире у одного поляка, добился свидания от красавицы, которая занимается хозяйством в том доме (подобно всем особам такого положения, она не имеет ни имени, ни звания) и спит в комнате, соседней с той, где помещаются старик-хозяин и наш молодой влюбленный. Чтобы добраться до неё, надо было пройти мимо постели старого ревнивца, а луна светила ярко, и потому гусару пришлось встать на четвереньки. К несчастью, хитрый старик не спал и, догадавшись, кто мог красться по комнате с такой осторожностью, притворился, будто думает, что в комнату вошла собака, и стал громко кричать, прогоняя ее. При каждой угрозе влюбленный отползал в угол, но потом понемножку продвигался вперед. Когда он опять оказался вровень с кроватью, старик, словно раздраженный назойливостью собаки, схватил палку и отвесил такой удар, что наш гусар, прежде столь предприимчивый, ретировался поспешно, как побитая собака, и был счастлив незаметно пробраться обратно на свою постель.

Вчера мы все с полчаса смеялись над этим анекдотом, действительно очень смешным при всех подробностях, и меня просили нарисовать эту сценку. Сегодня, вернувшись в шесть часов домой после обычной прогулки и посещения госпиталя, я решил взяться за рисунок; этот анекдот пришел мне на ум, я уже набросал карандашом комнату, кровати, красавицу у двери… но тут рассудок шепнул мне на ухо, что тема этого рисунка слишком вольна, а ведь он может попасться на глаза Марии[158]. Так досадно было видеть прекрасные спектакли, которые из-за какой-нибудь одной грубости становились недоступными для молодых девиц. Неужели же, сказал я себе, я испорчу таким образом свой дневник – и я стёр набросок (остатки его ещё видны), заменив его… главой, которая может быть вполне доступна даже моей сестре. Но пока я совершал этот похвальный поступок, тщеславие продиктовало мне заменившие рисунок строки, которых я теперь все же должен стыдиться. Чтобы получить удовольствие от анекдота, надо его выслушать целиком, приличие же требует длинных перифраз (я называю приличным то, что не оскорбляет стыдливости юной девицы); здесь анекдот получился не смешным, но в 100 раз более вольным, чем рисунок, который я стер, а я заметил свою глупость, только окончив писать. Я ничего отсюда не вычеркиваю, и потому мне не оставалось ничего другого, как сохранить навсегда это свидетельство моей глупости, чтобы, вспоминая его, упрекать себя и исправляться, чтобы помнить, как важно быть настороже, особенно в ту минуту, когда

кажется, что побеждаешь в себе дурное намерение; как нужно стыдиться своего неразумия и стараться всегда быть готовым прислушаться к советам разума.

Ямщиков[159] – один из хороших солдат нашей роты. Сегодня утром я встретил его в дурном обществе. Он пожаловался мне, будто солдаты думают, что я их разлюбил, так как забочусь только об одном из них – наименее достойном и наиболее больном. Я возвращался в тот момент из госпиталя, и действительно я послал белого хлеба и пива только одному солдату, но это потому, что я сам не знал, как пообедаю. Днём, совершая свою привычную прогулку, я зашёл, как всегда, в госпиталь, обошёл все палаты и оставил каждому солдату по две булки. «Братцы, – сказал я им, – я сам болел, и теперь у меня нет возможности вам помочь». В один голос они отвечали, что им ничего от меня не нужно, что они рады уж тому одному, что видят меня каждый день. Я вышел поскорее, чтобы избежать чрезмерных похвал и, отведя Ямщикова в сторону, сказал ему: «Я тебя сегодня видел вместе с пьяным, а ведь тот, кто ходит за больными, должен всечасно заботиться о них. Я тебя всегда любил, я знаю, что ты добрый солдат, признайся же мне по правде: ты выпил?» Слезы выступили у него на глаза, на лице его выразилось истинное раскаяние; я убежден, что никогда больше не увижу его навеселе (и сегодня это было едва заметно, но у меня чутье на пьяных). Если мне придется когда-нибудь командовать, без сомнения, справедливость, разумная строгость и такие разговоры сделают гораздо больше, чем хмурость и сквернословие.

14 марта

Искусство и природа

Пойдёмте со мной, вы, собирающие в роскошных галереях шедевры искусства и обходящиеся без природы, созерцая подражание ей, – подымитесь на эту крутую гору, подойдите к этому беленькому домику, бросьте взгляд окрест себя. Величественная река плавно катит свои воды, по берегам её кое-где виднеются деревеньки, – и сия картина простирается на много верст. А теперь обратите лицо к этому берегу, полюбуйтесь сим крутым склоном, на котором теснятся дома, колокольни, руины, устремите свой взор на древний монастырь, развалины коего возвышаются перед вами.

А теперь сравните со всем этим шедевры живописи. Ведь то все ложь; талант художника предлагает вам красивую рощицу, счастливо расположенное селение, рисует перед вами какую-нибудь из красот природы, но никогда он не выразит ее великого

очарования. Если бы даже кисть могла изобразить бесконечное разнообразие красок хотя бы только солнечного захода, разве не мешали бы ей все время законы искусства? Восхищенный раскрывающимся перед ним очаровательным видом художник хватает карандаш. Сейчас же является искусство с компасом и линейкой, устанавливает линию горизонта, размечает планы, одно подвигает ближе, другое отставляет дальше, и пейзаж утрачивает прелесть; глаз, стесненный отмеренным узким пространством, теряет подвижность, и художник лишается приятнейшего из наслаждений – переноситься от предмета к предмету, возвращаться к прежде замеченному, сравнивать его с другим и запечатлевать своим карандашом эти минуты наслаждения.

Вот какие мысли пришли мне в голову однажды вечером на заходе солнца, когда я приблизился к этому монастырю – истинному шедевру готической архитектуры, реставрированному так, что он не оскорбляет современного вкуса. Я был вне себя от досады, что не умею запечатлеть для вас в своей тетради все красоты, приводившие меня в восторг в те минуты. Когда я опустил взор вниз и увидел у себя под ногами нависшую скалу, грозившую обрушиться на домики, рассыпанные по берегу; когда, постепенно подымая глаза все выше, я обратил их, наконец, к противоположному берегу, такой восторг охватил меня, сии великолепные виды так очаровали меня, что я ни о чем не помнил. Обращая взор в разные стороны, я пытался найти хоть какой-нибудь неживописный уголок, но повсюду встречал новые красоты.

В ярости против искусства, недовольный собой, я хотел совсем отказаться от рисования. Я вознамерился было поселиться в этом беленьком домике, таком простом с виду, и наслаждаться красотами, открывающимися оттуда, – но ведь это тоже было бы неразумно.

Я успел набросать пейзаж, каким же жалким показался он мне, когда я взглянул на него дома, как справедливо негодовал я на себя, повторяя размышления, которые пришли мне в голову в час наслаждения истинными красотами природы…

Я решился изложить здесь то, что всем известно, – что даже наипрекраснейшие произведения искусства стоят гораздо ниже простейших картин природы.

14 марта

Трио из «Волшебной флейты»

Г-жа Нейфельд не лишена ума. О ком же еще мне вам рассказать теперь, как не о газетчике, об аптекаре и о людях, с

которыми я надеюсь никогда больше не встречаться. Мы её, конечно, терпеть не можем, потому что она назойлива, часто проливает слезы, дурно обо всех отзывается, но может быть, у неё действительно есть причины жаловаться на судьбу? Может быть, она искренне скорбит о супруге, который был ей необходим, как я сужу по состоянию ее хозяйства. Её назойливость вызвана дурно понимаемой вежливостью; когда же я остаюсь с ней и она видит, что слёзы и сплетни принимаются холодно, беседа её становится интереснее.

К тому же я получил возможность пользоваться клавесином; не отыщется ли для меня и волшебная флейта? Скучные визиты – не такая уж дорогая плата за это. Сегодня г-жа Нейфельд сначала полюбезничала, а потом попросила меня петь, и когда мы с Кашкаровым начали прелестный дуэт («Bei Mannern…» и т. д.) [160], она взялась подпевать нам голосом разбитым, но довольно верно, а затем, сделав реверанс и повторив свое вечное «их махе майн комплиман», удалилась, оставив мне тему рисунка, и обеспечив, таким образом, два часа приятного занятия.

15 марта

Продолжение «Размышлений о кампании»

Эта кампания доказывает более всякой другой, что если народ заслужил имя, отличающее его от других европейских наций, то неприятелю, сколь бы он ни был могуществен, опасно вторгаться в пределы этого народа и переносить театр войны на его территорию. Особенно же опасно пускаться на такую авантюру, не установив надежных и хорошо прикрытых коммуникаций. Ему придётся прибегнуть, мне кажется, к старинному методу ведения войны; и хотя Жомини порицает австрийцев за то, что они рассчитывали свои действия в соответствии с запасами продовольствия, я думаю, что он не посоветовал бы Наполеону уходить вперёд, пока не будут устроены магазины. У Наполеона магазины, конечно, были, но они оказались слишком далеко. К тому же его окружали партизаны и враги (крестьяне), так что он вынужден был более, чем когда-либо двигаться взад и вперед по своей операционной линии.

В настоящее время я ещё плохо и мало осведомлен обо всех этих событиях и, наверное, ошибаюсь гораздо чаще, чем если бы обладал всеми необходимыми сведениями, но мне кажется, что если бы Наполеон остановился в Смоленске на зиму, он мог бы добиться успеха в том же году и уж во всяком случае не испытал бы и сотой доли того, что навлек на себя своим дерзким, или скорее безрассудным, походом на Москву.

Мы так боялись Смоленска, и потеря этого города привела нас в такое уныние… А ведь Наполеон мог рассчитывать там на жителей. Когда мы вновь проходили через эти места, я видел приготовленные для него магазины; жадность помещиков могла служить гарантией, что они предадутся Наполеону.

По самым магазинам этим видно, что Наполеон не ждал своего счастья, он не позаботился выдвинуть их вперед. Не задумываясь над тем, что будет, когда он продвинется дальше, надеясь всюду встречать такую же покорность и отсутствие патриотизма, он дерзко, сломя голову мчался вперед, к бездне, куда низвергся и откуда выбирается теперь с таким трудом.

17 марта

Привычка

Вот он и уехал, мой товарищ по несчастью, болевший вместе со мной и облегчивший мне тоску выздоровления. Сегодня он покинул наше прекрасное обиталище с чувством живейшей радости, несмотря на слезы г-жи Нейфельд и всего её семейства. Чего не делает привычка? Было время, когда я не мог выходить (это было еще в Петербурге, в те счастливые месяцы, когда все наслаждения были передо мной). Мои товарищи, кто из дружбы, а кто от нечего делать, всегда толпились у меня в комнате, и я так привык к этому, что, оставаясь один, ни в чем не находил утешения.

В течение целого года кампании мы привыкли находиться в обществе своих товарищей и теперь испытываем потребность видеть их. Не то чтобы нас связывали узы очень нежной дружбы, не то чтобы их общество могло расцветить унылое однообразие нашей жизни, но просто мы привыкли видеть их повседневно, разделять с ними все, не расставаться с ними. Вот почему Кашкаров радовался, покидая Плоцк. Вот почему, можно добавить, я огорчен отъездом Кашкарова. Мой день так же заполнен, как и прежде. Но пишу ли я, рисую ли, занимаюсь ли музыкой, мне скучно не иметь подле себя товарища, который отвечал бы мне, который свидетельствовал бы, что я нахожусь всё-таки не в пустыне. Охватившее меня сейчас ощущение пустоты вызвано не тем, что я был очень дружен с Кашкаровым. Чтобы доказать это, я нарисую вам два портрета. Если они окажутся не очень похожими, надеюсь, меня извинят. В 20 лет не все умеют точно определять характеры, но есть черты, заметные всем, кто достиг возраста разума; их-то я попытаюсь изобразить.

18 марта

Два портрета

Кашкаров получил такое же образование, как все, кроме тех, чьи родители настолько разумны, что более стремятся развить у своих детей вкус к учению, чем обучить их кое-чему. Ибо какая разница – немного больше или немного меньше человек выучил, если, едва освободившись, он спешит все позабыть и никогда больше не станет утруждать себя науками. Он вырос в деревне, учителей у него было довольно, но друзей не было, и родители недостаточно укрепили его нравственность. Получив свободу действий, он очень рано увлекся игрой. Ах, я извинил бы его, если бы он был игроком по натуре. Страсть – совсем не то, что порок. Тот, кто умеет победить страсть, тем больше заслуживает уважение, чем труднее ему было бороться. Добродетельный человек может иметь страсти, такого я назову своим другом, но никогда моим другом не будет человек порочный.

Клеонт ведет игру из расчета. Я не подозреваю его в нечестности, но он вынужден проводить всю жизнь в расчетах. Он знает тех, против кого играет, не жалеет дураков, заранее обдумывает свой день и, не упуская ни одной удачной минуты, действуя с величайшим тщанием, сумел приобрести гораздо больший доход, чем дают его земли. Но я не завидую его жизни.

Он чрезвычайно услужлив, любезен, добродушен, хорошо говорит, но все его поступки отмечены двоедушием, неизбежным для тех, кто составляет игрой свое состояние; это двоедушие все время меня отталкивало. Оно лишало его беседу искренности, его уверения в дружбе – приятности, его манеру держаться – естественной живости и свободы и накладывало на все печать фальши. Что касается меня (ведь я должен, подавив самолюбие, изобразить для вас какие-то свои черты), что касается меня, я обожаю искренность и верность, на мой взгляд, это мои основные качества. Все, что относится к чести и честности, для меня дорого; могу утверждать, не краснея, что в этом отношении мне нечем будет себя никогда упрекнуть.

Я еще слишком молод и могу хранить верность лишь в пределах, допускаемых светом. Но, по крайней мере, я могу искать дружбы с теми, кого не возмутит моя откровенность, кому я сумею прямо говорить правду, не боясь обидеть.

У меня есть друг, он упрекает меня в некоторой слабости, я порицаю в нем некоторую страсть, но мы не знаем друг за другом пороков. Вот почему, беседуя с Кашкаровым, я всегда испытывал неловкость, усиливаемую его неискренностью.

К тому же я умею искать истинное счастье только среди тех, кто меня окружает. Мои родные, мои друзья – вот круг, в коем я могу быть счастливым, и если я когда-либо испытывал радость, это было, когда я делился с ними своими огорчениями и

удовольствиями. А в разговорах с Кашкаровым мне приходилось притворяться и сдерживаться или же впоследствии упрекать себя за излишнюю откровенность, когда я слишком увлекался. В наших беседах не было места наукам… Искусства его не трогали… А меня не интересовали денежные расчеты; вот почему я не теряю в нем друга и не жалею о том, что мы расстались.

Я изобразил лишь некоторые черты; следовало бы добавить еще очень многое к моему портрету, нарисовать который мне труднее. Может быть, другие это сделают лучше, чем я, ведь зеркало, в которое человек смотрится, льстит ему больше, чем глаза его близких.

Я уже задумал эту главу, значит, следовало ее написать; между тем в ту минуту, когда я надписывал ее название, мне в голову пришла новая тема. Я на этот раз не поддался своему обычному непостоянству; но теперь справедливо будет, если я перейду к изложению мыслей, которые занимали меня в течение нескольких вечеров. Когда Гурко был здесь, мы каждый вечер находили увлекавшую нас тему разговора. Искусство, науки, петербургское общество, прошлогодняя кампания, мир, война – все эти темы заполняли часы, которые иначе пришлось бы провести в молчании, сидя друг против друга со сложенными руками, потому что и брат Гурко[161], и Кашкаров – оба неразговорчивы.

Как-то вечером мы стали разговаривать о воспитании; эта тема занимала нас целых два дня, и я хочу изложить здесь наши споры, разумеется, со своей точки зрения, потому что для краткости я напишу только о том, что сам говорил. К тому же ведь мне следует заботиться об исправлении собственных ошибок, следовательно, я должен изложить для вас свой образ мыслей.

Гурко отрицал необходимость математики и считал, что нужно отодвинуть как можно дальше начало серьезных занятий его сына; он наметил такой план его образования, в котором эти занятия следовало начать не ранее, чем его сын достигает совершенного разума.

Русские офицеры 1812 года.
Гравюра. XIX век

– Но вы должны признать, – сказал я ему, – что талант рождается с человеком и развивается только посредством образования. Ведь вы сможете быть наставником своего сына, пока ему не исполнится 20 лет. Ведь главное в образовании – развить вкус к учению, и, только достигнув этого возраста, человек может начать заниматься науками по-настоящему. До 20 лет приобретают лишь элементарные познания.

Вы сами были молоды и знаете, насколько важно для молодого человека приобрести собственный опыт, как важно ему по собственной охоте посвятить года два учению. Но если ваш сын не изучит математики, сумеет ли он рассуждать достаточно логично, чтобы выбрать и определить свои занятия? И кто будет отвечать за него?

Дайте ему хорошее, но обычное образование, и в возрасте 20

лет пустите его в общество. Если у него есть талант к чему-нибудь, он будет продолжать свои занятия. Раз он будет владеть основами наук, имея о них справедливое, хотя и краткое понятие, он сумеет выбирать по своему вкусу, может быть, займется несколькими науками, а в конце концов изберет ту, что больше всего подходит к его положению; тогда он сумеет быть полезным, а вам не придется ломать голову над тем, какое образование ему дать, рискуя к тому же ошибиться.

Если ваш сын рожден для светской жизни, а не для того, чтобы приносить пользу отечеству, то всё-таки в 20 лет он будет достаточно образован, чтобы обо всем говорить и все понимать; а если он позже почувствует потребность заниматься историей или литературой, то сумеет приняться за них с новой охотой; если же, к несчастью, он останется всего лишь светским человеком, то, по крайней мере, будет себя хорошо чувствовать в обществе, потому что там и нужно знать всего понемножку.

Но при вашем плане воспитания вы напрасно замедлите развитие способностей вашего сына, если они у него есть. За два года праздности, в то самое время, когда определяется судьба человека, он забудет то, чему научился, и впоследствии ему потребуется много мужества и времени, чтобы вернуться к основам математики, причем он может совсем потерять вкус к занятиям.

При вашем плане ваш сын, если у него не будет отменных дарований, не сумеет даже блистать в свете. Большинство наук останутся для него неизвестными, и он не выйдет с честью ни из одного разговора.

Я убежден, что вы сумеете уберечь своего сына от испорченности; сейчас мы говорим не о морали, нас интересует только образование; но ведь нельзя насильно сдерживать потребность свободы, которая появляется у человека в 20 лет. Если вы будете принуждать его, вы его потеряете; если вы предоставите его самому себе и станете для него другом, то сумеете влиять на него, как захотите, и его покорность будет тем больше, чем меньше будет в вас деспотизма.

Поэтому необходимо, прежде чем он достигнет 20 лет, дать ему как можно полное образование, особенно в отношении тех наук, кои требуют длительного и серьезного изучения, оставив то, что требует рассудительности и логики, на тот возраст, когда он сам сумеет чувствовать наслаждение от этих занятий. Но чтобы доставить ему это удовольствие, надо учить его в детстве математике.

Гурко спорил со мной; возражая ему, я приводил в пример себя самого; ведь я на своем опыте понял, что математика

необходима для человека, посвятившего себя пользе отечества, который среди тягостей военной жизни вынужден искать отдыха, не зависящего ни от обстоятельств, ни от общества.

Замечания

Что до истории и географии, вы навряд ли станете обучать вашего сына этим наукам, прежде чем он сумеет заниматься подробностями статистики или понимать всю важность истории. Вы не должны забывать, что всё, изучаемое в юности, – не более, чем канва, чрезвычайно полезная для памяти, и что в юном возрасте эти области знаний еще нельзя рассматривать как науки. Ведь после того, как канва приобретена, простое чтение даёт больше знаний, чем 20 уроков. По мере того как читаешь, факты укладываются в соответствующие клеточки и запечатлеваются навсегда.

Хотя эти две области знаний исследуют жизнь не менее серьёзно, чем другие глубокие науки, они в то же время дают отдых, и заниматься ими можно сколько угодно, так как они полезны во всяком возрасте. Если ваш сын станет читать подробную историю какой-нибудь страны, не ознакомившись предварительно с краткой хронологической таблицей, то имена, даты, даже события перепутаются у него в памяти, и чтение будет совершенно бесполезным (хорошо ещё, если не вызывающим отвращение) трудом, ибо, зная не больше, чем сообщают ребенку в школе, он будет вынужден отвлекаться от соображений и рассуждений для заучивания необходимых сведений.

К этим трем страницам следовало бы присоединить еще 30 страниц комментариев, если бы я хотел высказать все, что думаю по этому поводу, но приходится вернуться к обычному припеву: уже 11 часов, свеча догорела, и я записал главное – ту канву, которая покажет впоследствии, ошибался ли я или был прав. Такова слабость человеческая: хочется сохранить свой образ мыслей.

19 марта

Говорун

Уже два дня идет дождь, я не выхожу гулять, но только сегодня я почувствовал скуку, тогда как другие на моем месте сочли бы себя счастливыми.

Ж.[162] получил хорошее воспитание, он не лишен склонности к наукам, но воспитанный, к несчастью, слишком слабой матерью, он слишком рано привык делать, что ему угодно, и стал немного педантом и говоруном.

Я уже упоминал его в своем петербургском дневнике, потому

что, стремясь стать физиономистом, я на его примере убедился, каким обманчивым может быть первое впечатление. Он показался мне сначала чудом образованности. В полку заметили его чрезмерную склонность к разговорам, и она стала предметом постоянных насмешек; видя его, я заранее готовлюсь к роли слушателя[163].

Он был болен, а сегодня утром прибыл в Плоцк по пути в Главную квартиру. Он прежде всего явился ко мне, потом ушел по делам, и только вечером мне пришлось смертельно проскучать в течение трех часов, слушая его. Чтобы философские рассуждения, вроде предшествующих этой главе, не оттолкнули моих друзей, чтобы не описывать в подробностях часы нестерпимой скуки, которую он заставил меня пережить, и чтобы набросать достаточно похожий портрет его, я просто приведу отрывок его речей, это несомненно заставит моих друзей рассмеяться, потому что они его знают.

Он уже успел описать мне всю мебель в доме своей сестры, вышедшей замуж год тому назад, рассказать о своих имениях, поговорить о своей болезни, о музыке, и, наконец, мы дошли до военных наград.

– Когда я заболел после Бородинского сражения, – сказал он, – я приказал, уезжая, чтобы если мне дадут Владимирский крест, его тотчас же переслали мне, а если наградят мечом Св. Анны, то даже не смели мне об этом сообщать, – получить этот орден слишком унизительно. С тем я и уехал. – Я как сейчас вижу генерала: он сидел вот в этом углу, а вот тут стоял диван, да-да, как раз в эту минуту доложили о том, что доставлены двое пленных французов, с которыми этот осел С. завел такой дурацкий разговор, что мне пришлось с досадой уйти. Генералу принесли целую кучу бумаг на подпись, а подпись у него такая смешная… ну, так вот, я уехал, добрался до своей деревни, – в город я ехать не собирался, – мне там было очень весело, у меня там была библиотека, собранная еще при вас, и я читал одну книгу… Я жил там уж пятнадцать дней, потому что раньше я съездил в другое имение матушки, где управляющий… прямо чудо, а не управляющий; поверите ли, он заботится о наших имениях, как о своих собственных… Я читал одну книгу… как же, очень хорошо помню, сидя у прекрасного биллиарда, великолепнейшего биллиарда, за который мой батюшка заплатил 100 руб., работы искуснейшего мастера… Ах, боже мой, как же… как же звали купца?..

– Всё равно, – сказал я, – продолжайте.

– Я уронил под биллиард свой носовой платок и табакерку, вот эту самую табакерку, что у меня в руках; не правда ли, она

отменно хороша, а ведь её сделал наш мужик, у нас в имениях есть мастера на все руки, столяр у нас прекрасный, он делает прелестнейшую мебель из пальмового дерева и из березы… Я читал одну книгу, как я уже вам сказал, кажется, но так как чтение иногда очень утомляет, я захлопнул ее, наконец, я подошел к окну. Погода была прекрасная, а я всегда очень любил гулять по нашему саду; поверите ли, в нем столько цветов, что даже и осенью из-за них не видно травы. Я прогулялся, а после умеренного обеда вернулся к себе в комнату. Она обставлена просто, но, я уверен, если бы вы ее увидели, она бы вам очень понравилась. Я стал читать уже не помню какую книгу, кажется, это был Лагарп или нет… Руссо… нет, все-таки Лагарп, и тут мне доложили о приезде И.Н.П.[164], человека достойного, который вышел в отставку, живет в своем имении и очень дружен со мной. Это очаровательный человек, он прекрасно говорит, он женился на родной сестре того молодого человека, которого мы с вами видели, помните, еще в Петербурге. Так вот я пригласил его садиться: – Хотите кофе? – Нет, благодарю вас. – Садитесь же. Как поживает ваша супруга?.. Наконец, он мне говорит: Кстати, я должен вас поздравить. – А по какому же случаю? – говорю я. – Да в приказе по полку сообщается, что вы награждены Владимирским крестом. – Тут я вскочил от радости и…

Тут на самом деле мне подали чай, и Ж. вынужден был умолкнуть, к моему счастью, потому что я прямо задыхался от его бессвязных речей.

Друзья мои, вы, для кого я написал эту главу, признайтесь по правде, узнаете вы его? Если мне не удалось заставить вас рассмеяться, описывая с полной точностью, по всей правде, его речи, простите меня, простите хотя бы за благое намерение. Исписать две страницы бессвязными мыслями, попытаться запомнить и воспроизвести их в точности – неужели этот труд нисколько не заслуживает похвалы?

Сегодня я заложил часы, мне должно хватить денег до прибытия столь желанного курьера, но вчера я был действительно без гроша, так что даже обед мой пострадал. Я встал из-за стола, поев не досыта, что очень хорошо, когда следуешь советам врача, но очень плохо, когда чувствуешь себя вполне здоровым. И все потому, что у меня осталось лишь полдуката, а я не хотел делать мелких долгов. Вчера первый раз в жизни я был в такой крайности.

Полляк болен; я не был у него с отъезда Гурко, потому что Гурко сделал ему подарок, а я знаю, что Полляк в нужде, знаю, что благодарность обязывает меня помочь ему, – но не в состоянии сделать это. Я думал, что не иду к нему из-за ложного

стыда или, скорее, из деликатности, но ложный стыд – не такой уж значительный недостаток, и о нём можно умолчать, когда приходится упрекать себя за нечто гораздо более серьезное. Подумав сегодня утром над этим, я понял, что дело в тщеславии. Ведь я не обязан ему ничего давать, но Гурко дал, но Полляк может счесть меня бедным или неделикатным… и пока что получается, что он будет считать меня неблагодарным, а это уже недостаток, за который приходится краснеть.

Ну что ж, пойду навестить его, пусть он думает, что я небогат или скуп, но, по крайней мере, будет знать, что я не лишен благородных чувств, что у меня сердце, способное чувствовать, что я исполнен глубочайшей благодарности к нему за все, что он для меня сделал.

20 марта

Сейчас льёт страшный дождь, но день я провел прекрасно, так как гроза разразилась уже после моей вечерней прогулки, и ливень, продолжающийся уже два часа, благодетелен для хлебов.

Нет, конечно, больше я в госпиталь не пойду. Стараешься от всей души быть полезным солдатам, но трудно прекратить воровство и грабеж, когда пример этого показывает сам генерал. Я свой долг выполнил, пусть бы он выполнял свой.

О пользе математики, как я ее доказываю.

Когда я начал учиться, я не мог понять, зачем мне нужно знать про Цезаря и Александра; и даже позднее я сомневался в полезности истории.

Мне хотели дать представление о географии; но как я мог понять в семь лет этот урок, когда и теперь не умею представить себе миры и межзвездное пространство.

Мне объяснили, что дважды два – четыре, этот урок понять было легко с помощью игрушек и плодов. От хронологических таблиц, которые мне приходилось заучивать по истории, развивалась только память, но изучение арифметики развивало мое суждение и учило меня мыслить.

В двенадцать лет меня познакомили с геометрией. В математических науках все ясно, ничего непонятного для меня не было, лишь иногда случалось колебаться. Соревнование побуждало меня заниматься часами одной задачей: стыдясь, что так долго приходится искать решение, я возвращался к теоремам, приспосабливал их, пробовал применить их все к моему случаю; и когда встречалась новая задача, я уже не сомневался и сразу решал её. Все нужные сведения были у меня в голове, я перебирал их, и в мгновение ока выхватывал то, что требовалось для решения. (Что до полезности геометрии, то даже ребенок поймет,

например, насколько лучше не ломать дом, чтобы узнать, сколько кирпичей на него ушло, а высчитать это, начертив несколько фигур.)Эта легкость, естественно, побудила меня приблизить все свои размышления к математическому расчету. Когда меня увлекала какая-нибудь мысль, я выбирал среди уже усвоенных понятий то, которое могло помочь мне объяснить новое; всякая новая задача представляет сначала трудность, с которой легко справиться, подчинив ее законом; убежденный в том, что следую правильным путем, я приучил себя не оставлять рассмотрение предмета, пока не найду ему полного объяснения. Эта привычка – несомненно, дело очень важное. Почему молодые люди нередко плохо рассуждают?

Потому что не успеют они задуматься над одной мыслью, как воображение подсовывает им тысячи других, отвлекает их в сторону, сбивает с пути, и рассудок остается не при деле.

Об алгебре я буду говорить меньше, поелику все признают ее полезность. К тому же она связана с геометрией и, будучи еще более краткой, чем счёт при помощи цифр, она еще лучше приучает к полной сосредоточенности, к точной и быстрой деятельности рассудка[165].

Наконец, я познакомился с коническими сечениями, интегральным и дифференциальным исчислением. Я уже настолько увлекся этими занятиями, что мне и в голову не приходило оставить их. Они стали для меня необходимы еще и потому, что требовались для фортификации, коей я теперь особенно интересуюсь и коей всегда буду заниматься.

Прожить в свете можно, разумеется, обходясь одной арифметикой. Но когда я познакомился, хотя и очень поверхностно, с механикой, когда физика открыла мне секреты природы, я не знал более приятных минут, чем те, которые проводил за различными вычислениями.

Разве не позор для начальника быть в зависимости от знаний его подчиненных, разве не позор, если ему приходится ежеминутно звать на помощь инженера? Разве не случается, что таким образом нарушается тайна, кою следовало хранить?

Я предназначен служить отечеству, какое бы дело мне ни поручили; значит, я должен иметь хотя бы малое представление обо всем. Если мои понятия ясны, если я умею мыслить и рассуждать, то, как только определится мое призвание, я буду знать, какие понятия мне потребуются, и за несколько месяцев приведу все в ясность.

Еще совсем юным я любил входить в мастерские, разглядывать машины, пытаясь разобраться в том, как они действуют, с каким увлечением обдумывал, как их упростить.

Часто я изобретал в мыслях новые машины, рассчитывал их движение и находил в этом величайшее наслаждение. Нравился ли мне экипаж, поражала ли прелесть какой-либо мебели, я задумывался над тем, какие механические законы определяют их форму. Чертеж, рисунок не радовали взгляд, пока я не находил ту последнюю черту, которая придавала им уверенность и приятность. Я сам составлял проекты своих экипажей, и они были очень прочны, потому что я высчитывал и трение, и вибрацию, и центр тяжести, и нагрузку.

Я бы исписал целые тома, если б попытался рассказать здесь, с каким воодушевлением я стремился стать инженером. Я строил укрепления, рассчитывал оборонительные сооружения, созданная мною крепость казалась неприступной, но потом я бросался в атаку, пробивал бреши, прорывался через них и радовался, побеждая сам себя. Бродя по извилистым берегам невских островов, я делал мысленно съемки, производил в уме расчеты и скоро знал все высоты, все дистанции; в этих занятиях состояли мои прогулки, предпринимавшиеся ради здоровья или развлечения.

Вот в кратких словах польза и прелесть математических наук, по крайней мере, насколько я могу об этом говорить.

Искусства, литература чрезмерно питали мое воображение. Мне следовало отвлечься, найдя занятие, полезное для ума. В математике всё так ясно, так просто, что с каждой минутой я все больше привязывался к этой обширной науке, которая родилась с человеком, которую он непрестанно совершенствует, в которой он, конечно, нуждался даже в диком состоянии. Оторвите Америку от Европы, со временем в ней появится математика такая же, как в наших странах, она разовьется из самой природы, из потребности облегчить использование благодеяний природы. Вот и еще одно доказательство того, что математика – наука, естественно присущая человеку и, как я убежден, полезнейшая из всех.

Поверите ли, я ведь обязан только математике тем, что могу наслаждаться изображением поразивших меня видов. Разве не с компасом в руках нарисовал я свой первый пейзаж? Разве не пришлось мне рассчитывать по законам оптики, какой предмет приблизить, а какой удалить? Теперь я знаю соотношение всех расстояний, всех пунктов, всех уклонов; разве я мог бы разобраться в этом без математики? Ведь для того, кто ею не руководствуется, это темный лес. Самые сложные тела и даже человек подчиняются все тем же законам; и математик, сумевший нарисовать пропорционально хоть одну человеческую фигуру, имеющий хотя бы самое общее представление о скелете человека,

сможет изобразить вам его во всех ракурсах и положениях.

22 марта

Еврейская улица

Я ещё раньше начал этот рисунок, желая изобразить готическую архитектуру еврейских домов; теперь мне больше нечего было рисовать, и я решил его докончить. Я зашёл в эту улицу, совершая свою вечернюю прогулку. Суббота кончилась, еврейки в чистых платьях сидели на ступеньках у входных дверей, и меня издалека привлекло разнообразие красок, расцветивших всю улицу. Я хотел сделать еще один рисунок, но подумал, что хватит и этого; мне пришла в голову новая тема, а отложив рисунок на день, я заканчиваю его обычно с отвращением.

Религия

Я болел, поправлялся, совсем выздоровел и всё думал, что надо бы мне пойти поблагодарить Бога в храме, построенном моими соотечественниками.

Сегодня утром, наконец, я разыскал квартиру гарнизонного священника и попросил разрешения прослушать у него вечерню; я узнал, что он отправляет службу утром и вечером.

– В походе отвлекаешься, – сказал я ему, – и церкви так далеко от наших лагерей, что уже три месяца, как я не был ни разу на богослужении. Я счастлив, что случай представляет мне возможность помолиться в комнате, которую вы освятили, поместив в ней изображения божества.

– Это не беда, – сказал священник, благословляя меня, – была бы молитва в глубине сердца, а внешность, обряды не так уж обязательны, истинная вера может обойтись и без них.

– Да, – ответил я, – но ведь надо подавать пример…

– И к тому же, – заметил он, прерывая меня, – обряды приближают вас к истинному благочестию; когда вы входите в священный храм, ваша совесть пробуждается, и вы следуете ее требованиям, а сие угодно Богу.

Я вошел в комнату, где он служит. Я тут каждый день вижу похороны и даже присутствовал из любопытства на католической службе, но целых три месяца не слыхал родных молитв. Меня охватило глубокое волнение, когда священник надел торжественные ризы и кротким голосом начал молитву. Воображение, конечно, чересчур увлекло меня, и я даже перестал молиться, чтобы упрекнуть себя в этом, слез проливать не следовало; но это чувство шло от сердца, всё мое существо возрадовалось в присутствии того, что должно особенно привязывать нас к отечеству, при виде священнослужителя, и я

даже забыл вознести молитву, кою повторяю ежедневно за здравие моих родителей.

23 марта

Любовь к отечеству

Несколько недель тому назад я записал советы, которые мне давал генерал Лавров[166], и хотя мои убеждения тверды, я всё-таки старался разглядеть, что говорит во мне сильнее – воображение или сердце, когда я сравниваю иностранцев с русскими. Предубеждение так часто действует на нас, а ведь это серьезный недостаток. Обычно говорят, что лучше всего наслаждаться дарами неба в своем отечестве, но этого не чувствуешь. Прибегаешь тогда к помощи воображения и в конце концов привыкаешь сопоставлять с тем, что нам нравится на чужбине, самые замечательные красоты родной страны; мучишься, как я сейчас, чтобы уяснить свое отношение, и не можешь не видеть, что сердце не участвует в этом идолопоклонническом обожании отчизны.

Я не люблю людей, которые чрезмерно подчеркивают все чувства и не хотят ни видеть, ни слышать, ни ощущать ничего вне России, которые отказываются от встречающихся им наслаждений и приятностей, заявляя, что в отечестве они знали лучшие.

Я могу сравнивать солнце Франции с итальянским, я могу предпочесть англичанина испанцу, испанца – поляку, но в глубине души я никогда не пытаюсь сравнивать русского с кем бы то ни было на свете. Так, я неоднократно восхищался прелестью, грацией, остроумием особ, которых встречал в обществе. Много раз, о женщина поистине божественная, прелести и достоинства, которыми ты сумела себя украсить, приводили меня в восторг, я поклонялся тебе как образцу добродетели, но я никогда не подумал сравнивать кого бы то ни было с моими родителями. Любовь, которую я к ним питаю, – это чистое пламя, возвышающее мое сердце; она служит источником тихой радости, нисколько не мешая мне испытывать другие наслаждения; эта любовь, принадлежащая только им, образует часть моего существа, я не расстанусь с ней до гроба. Такова же любовь, которую я питаю к своему отечеству. Мы видим здесь повсюду успехи цивилизации, они сказываются во всем: в обработке земель, в устройстве жилищ, в нравах, и всё-таки я никогда, ни на минуту не захотел бы поселиться под иным небом, в иной стране, чем та, где я родился и где почили мои предки. Разве возможно отказаться от того, что привязывает меня к жизни, от родных и друзей, от тех мест, которые я не могу видеть без сердечного волнения, от нашей варварской непросвещенности, от русских

бород, никогда не слышать языка, которому учила меня мать… Нет, эта жертва слишком велика. Ничто ее не оправдает.

Вот еще одно свидетельство сцепления мыслей. Ведь о любви к отечеству меня заставила говорить крайность, которую я сейчас испытываю. С тех пор, как я появился на свет, я еще не знавал такой нужды. Мне случалось в Петербурге бывать без денег, но ведь тогда за дом, за лошадей и слугам платилось вперед. Отсутствие денег означало только, что я не могу немедленно осуществить свои прихоти. Если деньги запаздывали, я занимал, сколько нужно было, на две недели или на неделю, и все шло своим чередом.

Но что же мне делать здесь? Последний флорин ушел сегодня в уплату за сливки, Кашкаров не сможет прислать мне денег раньше 26-го, часы мои уже заложены… Я ни с кем здесь не знаком, и, надо признаться, хотя уже несколько дней предвидел возможность такой нужды, но не мог все же представить, что у меня не будет самого необходимого. Подумав сегодня вечером о завтрашнем обеде, я вспомнил, что за него надо заплатить, а у меня нет ни гроша, ни кредита… Тогда-то мне и пришло в голову, что в России я никогда не оказался бы в такой крайности, и, решив отнестись к своему затруднению весело, я рассмеялся. У моих людей есть еще чем завтра пообедать, ну а я обойдусь кое-как, а если уж дойду до крайности, придется надеть суму, как тот нищий, чье лицо меня поразило, чья мольба будит меня каждое утро.

25 марта

Вчера пробило полдень, а я ещё ничего не ел. У Колоскова (музыканта, который живет со мной) оставалось довольно денег, чтобы угостить меня чаем, но в три часа полагается обедать. К несчастью, аппетит в этот день говорил громче, чем всегда. Мы с поваром устроили великий совет, и в результате к пяти часам он предложил нам несколько котлет вместо обеда. Что бы вы сделали на моем месте, без надежды, без перспектив? Вы, может быть, заплакали бы, ну а я, наоборот, извлек из этого повод для веселья. Целый день мы проговорили с Тулубьевым о средствах к существованию.

– Пойдем побираться, – сказал он, – или продадим обноски старьевщику.

– За чем же дело стало? Ведь у нас два прекрасных музыканта, объявим концерт в пользу бедных, вот и будет на что прожить.

Сегодня утром Тулубьев покинул меня, он уехал догонять полк; а я, чтобы не скучать, занялся этим рисунком, который

навеки запечатлеет самые черные дни моей жизни.

Вообще, мне не так уж плохо. Мой повар раскопал где-то три золотых и обещает кормить меня на эти деньги еще два дня, так что меня страшит только будущее.

Но вчера!.. Ну что ж, упрекните меня, скажите, что это моя вина, что я наделал глупостей, слишком швырял деньгами, истощил свои средства на балы и экипажи… Я прожил 2 тыс. руб. за шесть недель, это уж чересчур. Вы, по чьей вине я терплю эту нужду, заслуживаете того, чтобы оказаться в таком же положении, тогда вы увидите, каково остаться совершенно одному, когда никто не приходит к тебе на помощь. И вы будете еще несчастнее меня, потому что при мне остается, по крайней мере, моя веселость; я ещё ни разу не проводил в Плоцке дня так весело, как вчера, ни разу не получал от обеда такого удовольствия, как от шести котлет, которые вчера его заменили, и надеюсь никогда не знать большей нужды, чем теперь. Теперь это уже не бедность, не нужда, а прямо нищета, и мне действительно ничего не остается, как пойти побираться.

Музыкант

Есть поразительные лица, привлекающие вас непреодолимыми чарами. Я говорил вам о музыканте из нашего полка, который лежал больным в госпитале и которого я навещал ежедневно. Его лицо выражало такое добродушие, его манеры были так изящны, что когда он поправился, я взял его к себе, желая отвезти с собой в полк и обеспечить ему удобства, коих при его состоянии он не сможет получить в деревне, куда посылают выздоравливающих. Он стал моим слугой, очень тщательным, аккуратным, настолько предупредительным, что я не успеваю высказать свои желания. Сегодня утром он вздохнул и, когда я спросил его о чем, ответил: «Я видел во сне отца, старухи говорят, что это дурной знак, потому у меня тревожно на сердце». Он действительно был очень грустен, а ведь это простой солдат, он принадлежит к тому классу людей, которых в обществе называют скотиной. У него есть брат в Петербурге, но он не хочет получать от него денег, ибо знает, что брат живет трудом своих рук. А ведь молодой человек в походе мог бы желать получить время от времени какую-то толику, чтобы удовлетворить свои прихоти. Это незначительные черточки, но они позволяют узнать человека и заставляют полюбить его. Вы, украшенные орденами, отягощенные богатствами, вас я уважаю, быть может, меньше, чем моего музыканта.

В 20 лет нельзя определять характеры. Я написал это, пытаясь очертить характер Кашкарова, и рассудок тут же упрекнул меня,

но, как всегда, когда я делаю глупость, слишком поздно. С тех пор другие мысли отвлекали меня, но я все время собирался вернуться к этой. Я уже сказал, что пишу только для себя; зачем же помещать в эту тетрадь, которая должна запечатлеть мой образ мыслей и его изменения, фразу, которая не соответствует действительности? Ведь я судил правильно, хоть, может быть, и слишком резко, и эта фраза должна была только служить извинением мнениям, кои я высказывал. К чему неуместная скромность, когда в глубине души я убежден, что у меня достаточно ума, чтобы разгадать все оттенки чужого характера; зачем притворяться, когда имеешь что-то на душе?

А. В. Чичерин и С. П. Трубецкой в палатке, 19 сентября 1812 г. Рисунок А. В. Чичерина. Военный дневник. 1812–1813 гг.

Я совершенно убежден, что могу ошибаться, но это убеждение основано только на привычке записывать свои мысли.

По старому дневнику я вижу, что четыре года тому назад вел себя по-другому: каждый день мне приходили новые мысли, я всегда хватался за сегодняшнюю, а вчерашняя уже казалась мне ошибочной. Очень возможно, что через два года я буду удивляться тому, как скверно мыслю теперь, но если я рассуждал категорически даже тогда, то теперь, когда мой разум столько развился, я тем более могу себе это позволить. Ибо когда пишешь дневник по совести, как я это делаю, нужно отбросить всякие украшения, необходимые в свете. Эта фраза была бы превосходна в светском обществе, где зависть и робость заставляют бледнеть краски портрета, где мне бы сказали, что я скромен и остроумен, – она неуместна, нестерпима здесь, где я пишу только по правде, только выражаю свои впечатления.

26 марта

Как отраден этот возраст, сказал я себе, глядя в окно и любуясь малюткой, игравшей с козой, возраст, когда страсти еще не заговорили, когда сердце легко воспринимает все впечатления, срывает цветы их, не замечая шипов, радуется всему, не зная горечи, перепархивает от наслаждения к наслаждению и еще не способно понимать, что на свете существует зло.

Ведь в этом возрасте, когда радуешься настоящему, когда надежда еще не чарует, а существенность украшает цветами

каждый час жизни, в этом возрасте совесть молчит, ей еще не за что упрекать нас, все мгновения – это мгновения счастья.

Если б я мог стать вновь пятилетним! Мне этого так захотелось – увлекшая нас мысль не выходит из ума и не подчиняется голосу рассудка. Я уже приготовился, я заранее наслаждался свободой от тяжелого груза предубеждений, безопасностью от светской злобы и огорчений, которые ждут нас в свете. Тут мои мечты прервали, сообщив мне, что скоро начнется вечерня. Священник живет близко от меня и потому любезно извещает меня всякий раз, как собирается совершать богослужение. Одеваясь, я еще раз подошел к окну, чтобы полюбоваться малюткой, которая внушила мне такие сладостные мечты, и не мог отрешиться от них даже во время службы.

Народу было очень много, меня пропустили вперед, я увидел свечи, цветы, женщин в трауре… Оказывается, хозяин дома (грек) потерял свое дитя и теперь отдавал последний долг усопшей. Девочка, увенчанная цветами, покоилась среди взволнованных зрителей, черты лица ее выражали невинность и чистоту и, казалось, сохраняли всю прелесть земной красоты; запечатлевшийся в ее лице неземной покой напоминал о херувимах, возносящихся к божеству.

Не могу передать, как я был взволнован. Значит, и такое невинное создание, подумал я, подвержено смерти… Ведь дитя, которому я только что завидовал, может также оказаться в гробу. Слёзы выступили у меня на глазах, я не стал молиться за упокой ее души, потому что она ведь невинна и чиста, как божество, но я вздохнул, глядя на ее родителей. Счастье, блаженство, что вы такое в нашем мире? Грёза умирающего, проблеск молнии, тут же поглощаемый тьмой.

27 марта

Сегодня обед у меня был, но следовало подумать, как занять вечер, потому что чай пить уже не предстояло. Все запасы кончились, деньги мои совершенно истощились, возможности достать средства не предвидится (потому что Ляпунов отказал дать мне взаймы). Я ломал голову над тем, как бы получить утром кофе, и наконец, чтобы отвлечься от этих докучливых мыслей, пошел прогуляться по своим любимым местам.

Через пять минут я стоял уже на берегу Вислы возле древнего монастыря, коим так восхищаюсь. Красоты природы вскоре заставили меня забыть обо всех заботах. Как жаль, что я не могу воспроизвести разнообразные картины, вставшие перед моим взором!

Я обошёл монастырь кругом, потом спустился к самым

волнам, вновь поднялся по крутым скалам, окаймляющим берега, и, наконец, улегся отдохнуть на ступенях, сделанных людьми с таким искусством.

Я следил взором за владельцами садов, раскинувшихся внизу амфитеатром; наблюдал, как они переходят от грядки к грядке, от дерева к дереву, то поливают, то подстригают ветви, останавливаются у каждого растения и куста и наслаждаются своим невинным и полезным трудом. Признаюсь со стыдом, сначала я сказал себе: как несчастны эти люди, ни честь, ни слава незнакомы им, истинные наслаждения и радости далеки от их жилищ, они ищут развлечения в забавах, не интересных даже для детей… Эта мысль увлекла меня, я стал ее развивать дальше, пока не вспомнил, что ведь не все рождены для того, чтобы всю жизнь отдать службе, что счастье чаще сопутствует достатку, чем богатству или бедности, что мирная кровля лучше укрывает от бурь, чем золоченые потолки дворцов, что в саду может быть интереснее, чем на балу или празднике, стоящем много тысяч. «Да! – воскликнул я. – Если отечество потребует этого садовника, он также помчится на его защиту, пренебрегая опасностями и смертью, а потом вернётся в свою хижину наслаждаться покоем и удовольствиями мирной жизни».

Моя прогулка была очаровательна, но очень утомительна. Я еле держался на ногах от усталости, когда пришел домой и, чтобы немного освежиться, спросил стакан пива. Но денег не было, не было, значит, и пива, и вот я опять повержен в пучину забот. Целый час я размышлял, пытаясь найти хоть какое-нибудь средство выпутаться из затруднений… Я бы, может быть, и нашел его, ежели бы Колосков не вбежал с радостным смехом, принеся мне добрую весть. Я сразу догадался, в чем дело: за ним следовал унтер-офицер с письмами и деньгами; таким образом, хотя чаю я не пил, вечер мой оказался достаточно заполненным.

Сегодня я перешёл обратно в большую комнату, надеюсь, что мне удастся уехать через три дня, иначе болтовня хозяйки, ее слёзы, любезности и назойливость выгонят меня из дому. Ныне мне удалось от нее отделаться только в десять часов вечера, но завтра я надеюсь придумать средство удалить её. Терпеть не могу, когда меня отвлекают от моих занятий… Когда я рисую, она читает мне вслух по-немецки; а я мог бы подумать над рисунком, вообще поразмышлять, вспомнить прошлое и усугубить свое наслаждение – приходится же лишаться его.

28 марта

Сегодня утром было так жарко, что я не мог совершить обычную прогулку. К тому же меня все время что-нибудь

отвлекало.

В маленьком городе все становится событием. Уже некоторое время, как здесь страшно возросла смертность, и всё-таки каждые похороны вызывают бесконечные разговоры. Сегодня должны были хоронить богатого купца, одного из тысячи женихов, которыми похваляется моя хозяйка. И вот не успел я взяться за краски и кисти, как она явилась и стала мне рассказывать во всех подробностях о предстоящей церемонии похорон. К ней собрались соседки обсуждать последнюю волю покойного; она утверждала, что может обжаловать завещание и добиться, чтобы ее признали единственной наследницей. Страсти разгорелись. «Мало что он за тобой ухаживал, – сказала одна, – никакого ты права не имеешь на его имущество». «Он всё завещал своим приказчикам и слугам, – сказала другая, – ведь его тут не очень жаловали…»

Я одевался, чтобы выйти, когда пришли звать меня в судьи. «Что вы на него нападаете? – сказал я. – Родных у него не было, и он поступил справедливо, наградив тех, кто ему больше служил». Но убедить кумушек было непросто, и они не отпускали меня со своими вопросами до самого обеда.

Я ничего ещё не говорил о Христине, а ведь она некоторое время входила в число моих домочадцев. Она была служанкой у хозяина моей квартиры. Этот несчастный Доннер Вальтер, когда его жена неожиданно уехала, предался пьянству до такой степени, что Христина его больше не видела и вошла в число моих слуг. Она бегала на посылках, заменяла моего повара, когда он заболел; ловкая, всегда веселая, она была чрезвычайно полезна в хозяйстве.

Наконец, вернулась хозяйка и потребовала ее к себе. И вот уже восемь дней, как я её не видел. Сегодня, гуляя после обеда, я прошёл мимо их двери и решил зайти, чтобы дать ей талер; хозяйка заявила мне, что Христина больна; я попросил тогда показать мне её комнату.

Я всегда считал, что слуги – это самое несчастное сословие из всех, на какие делится человечество. Вырванные из нищеты, чтобы стать свидетелями роскоши господ, воспитанные пороками общества, не знающие ни честолюбия, ни надежд, они прозябают с начала до конца между нуждой и избытком, сегодня богатые – завтра бедные, и кончают свою жалкую жизнь, не имея ничего своего, ни даже уголка земли для могилы. В странах, где слуги вольные, их судьба еще страшнее. Состарившийся, заболевший, обессилевший слуга всегда находит какой-нибудь приют в наших имениях и доживает там свой век, большую часть которого он посвятил своему господину. Но здесь, как только слуга

оказывается неспособным работать, его прогоняют или выбрасывают, и хорошо ещё, если он может вымолить на время болезни место на жалком чердаке.

Хозяйка Христины – довольно миловидная щеголиха; она очень кокетлива и старается показаться мне милосердной и добродетельной. Я заметил, что она не сразу согласилась проводить меня к Христине, но поелику я настаивал, стала взбираться по лестнице, пригласив меня следовать за собой… Я не понял сначала, чего она хочет. Как было догадаться, что Христина, эта славная услужливая девочка, которую ее хозяйка столько раз хвалила, валяется на каких-то ящиках, на зловонном чердаке. При звуке наших шагов она приподнялась, и её изумленный взгляд показал мне, что с тех пор, как болезнь ее свалила, никто не навещал её в сем печальном убежище. Разглядев меня, она вскрикнула от радости, и при свете фонаря, направленного на ее ложе, я различил в ее лице удовольствие, вызванное моим приходом, и стыд, что мне пришлось лезть из-за неё на чердак. С минуту мы не находили слов, но это молчание говорило больше, чем длинные речи, и взгляды заменяли слова. Христина первая своим смущением дала понять хозяйке, что человеколюбию оной не делает чести место, куда она спровадила служанку. Хозяйка, смутившись, пыталась оправдываться или, скорее, отвлечь мое внимание, суетясь подле меня, а я стал, скрестив руки, и вспоминал все, что передумал о судьбе слуг. Я первый прервал молчание, чтобы покормить бедную девочку, она попросила у меня чаю и залилась благодарными слезами, когда я подал ей два талера, а я в эту минуту почувствовал, что слеза скатилась у меня по щеке, и вышел, не глядя на хозяйку, от всей души желая здоровья и счастья моей бедной славной Христине. Наконец, я увидел жалкий приют нищеты и болезни, какие изображаются в романах, и в жизни не забуду полученного впечатления.

29 марта

Детский бал

Сегодня я провел день более шумно, чем обычно. У хозяйской дочери были именины. Мать послала её ко мне, надеясь, что я сделаю ей подарок, но я отдал только что хозяйке семь золотых и не слишком стремился угождать ей дальше за счет своего кошелька. Чтобы возместить такой недостаток внимания, я велел подать чай детям, которые собрались в гости к именинице. Сласти окончательно сдружили меня с детьми, и в конце концов они попросили меня о любезности, которую я охотно согласился им оказать, превратившись на целый день в музыканта. Три раза я

бросал клавесин, не чувствуя рук от усталости, а они все танцевали.

Вы, конечно, догадываетесь, что г-жа Нейфельд, воспользовавшись случаем, не отходила от меня целый день. Она со мной обедала, пила кофе, пила чай, и если я не могу простить ей этого, то потому только, что каждый раз приходилось терпеть в течение получаса ее церемонии и любезности, которые она считает хорошим тоном. Она с гордостью показывала своим посетительницам, что кушает вместе со мной, что я угощаю ее детей, что я с ней любезен, хотя мои любезные фразы были столь же неискренни, сколько ее любезности были неуместны и надоедливы. Этот день был бы совершенно невыносим, если бы меня не развлекало невинное веселье детей, внушавшее мне мысли кроткие и приятные, соответствующие их летам.

К тому же две старшие девочки танцевали очень грациозно. Мать, завидовавшая прелести своей дочки, которой я особенно восхищался, старалась из ревности преуменьшить ее достоинства, но напрасно. Я мог извинить столь естественную ревность, но не мог перестать восхищаться наивной Идой, кроткая прелесть которой пленяла меня больше, чем жизнерадостное веселье других детей.

Счастливый возраст, подумал я еще раз. Вот две сестрицы и две их подружки, рады целый день танцевать под звуки клавесина, зависть еще не отравляет их наслаждений, в их танцах видна только наивная грация детства, а на наших балах кокетство и ревность искажают все лица и даже иногда уничтожают очарование тех, кого мы хотели бы обожать.

30 марта

Болезнь г-жи Нейфельд

«Как я несчастна, – говорила мне г-жа Нейфельд, наказав своих детей, – все меня покинули, состояния у меня нету, и на меня такая находит меланхолия, что впору плакать, как маленькой, а то хочется веселиться непонятно отчего».

Я уже много рассказывал здесь об этой женщине и сделаю ей честь еще раз изобразить ее. Она не может пропустить прохожего, не осудив его. Вот в чем ее болезнь. Она обвиняет свою племянницу и своих детей, твердит, что они делают ее несчастной, сама всячески мешает их счастью, присваивает себе все их достоинства, дурно говорит обо всех, кто живет в доме, и уже этим показывает, какой у нее злой и ядовитый язык.

Она утверждает, что при чтении следует делиться мыслями, обсуждать и оспаривать то, что читаешь, вновь перечитывать и спорить по поводу прочитанного; и как только находит в книге

место, которое ей нравится, читает его мне вслух и спрашивает: «Не правда ли, прекрасная мысль?» Я отвечаю: «Да», – и она продолжает чтение. Эти разговоры ей нравятся бесконечно. Вот ее болезнь. Она принадлежит к породе тех говорунов, которые не дают вам слова сказать, но ежеминутно, всеми интонациями требуют и вымаливают ваше одобрение. Она всегда рассуждает о нравственности, пробует философствовать и убеждена, что ведет политическую беседу, когда ей случится выразить желание, чтобы Наполеон скорее попал в ад. Она способна замучить вас церемониями и любезностями, без конца повторяет, что боится помешать, а между тем ее назойливость не знает границ. Она зла и все время сердится на своих детей. Сегодня четыре раза высекла свою младшую дочку, а говорит, что обожает ее и что она – перл среди детей.

Когда я сажусь за клавесин, ей всегда кажутся знакомыми мелодии, которые я играю. Она выходит из своей комнаты и надтреснутым голосом подпевает, пока слишком высокая нота не заставляет ее остановиться. Тогда она умолкает, и некоторое время мне удается играть, что хочу. Вот какова ее болезнь.

Она все время приписывает себе разные достоинства и не гнушается при этом ложью; она назвала мне тысячу женихов, рассказывала о том, как любила своего мужа, проливала слезы, говоря о нем, и в то же время плакала о женихе, который недавно скончался. К тому же у нее такая плохая память, что сегодня на протяжении одного часа она дважды рассказала мне одну и ту же историю, а старая кухарка, более терпеливая, чем я, вынуждена выслушивать одно и то же каждый вечер по два часа подряд. Г-жа Нейфельд рассказывает ей о своих несчастьях, о своем покойном супруге, о богатстве, которым она могла бы обладать, о своем пансионе, о своих друзьях и недругах и назавтра начинает все сначала.

В то же время ее поведение безукоризненно, она беспрерывно говорит о благоразумии, о том, что нужно сдерживать свои увлечения, о том, как стали бы сплетничать в городе, если бы знали о наших беседах tete-a-tete, и тут же шепчет мне на ухо, что об этом уже поговаривают. Она болтает, поет, говорит глупости, наказывает своих детей, плачет, сплетничает, а после всего этого заявляет о своей меланхолии.

На днях она увидела, как повар подает мне счет… «Ах, капитан, я вижу, вы тоже страдаете меланхолией, и даже чрезвычайно. Я сама страдаю, но вы страдаете гораздо больше меня». Рисую ли я, напеваю ли что-нибудь, играю ли на клавесине – все это, по ее мнению, меланхолия. В этой женщине столько притворства, она столько раз повторяет одно и то же, ее

любезность так надоедлива, что желание ее осуществится: я никогда ее не забуду.

Сегодня число больных в госпитале еще сократилось: выздоровело еще несколько человек. Из 150 больных теперь здесь остался только десяток наших солдат. На небесах были услышаны мои постоянные мольбы об их здоровье и благополучии. Я не без удовольствия прохожу теперь по коридорам, когда-то столь для меня неприятным, так как встречаю теперь только выздоравливающих и вижу всего десяток синих воротников.

Мой аптекарь (женатый на племяннице г-жи Нейфельд) заболел. Я два раза навестил его. Меня угощали пивом, мы разговаривали о политике, о дороговизне, о хорошей погоде – вот общество, вот беседы, которые мне может предоставить Плоцк. Я уже знаю все городские сплетни, часто меня приглашают быть судьей в этих вздорных разговорах, предметом которых я, наверное, нередко оказываюсь; меня уже считают принадлежащим к кругу и даже к семейству г-жи Нейфельд, поскольку она пьет чай со мной, и когда я прохожу по улице, со мной здороваются, как со знакомым.

Тщеславие человеческое

Ни к чему люди так не стремятся, как к тому, чтобы нравиться окружающим. Скупец и честолюбец видят свое счастье в другом, но их пороки и они сами меня не интересуют, я говорю о людях с обычными недостатками.

Делая записи в своем дневнике, я сто раз ловил себя на лжи, готовой сорваться с пера только из побуждения казаться интересным, понравиться; к счастью, разум вовремя пресекает эти происки тщеславия.

Вот несчастные дни, когда я увидел Николая на ложе смерти. Я так же ощущаю свое горе, как и тогда; за пять лет оно нисколько не ослабело и не покинет меня до гроба, ибо потерять брата – значит испытать все муки одиночества. Сия скорбная мысль не оставляет меня, я отбрасываю ее ежеминутно, потому что еще не совсем окреп физически и не могу удержаться от слез, а окружающие не настолько вызывают мое уважение, чтобы делиться с ними горем. Но чем ближе первое апреля, тем неотступнее стоит у меня перед глазами этот ужасный день. Мне страшно написать это число, мучительное воспоминание о навек потерянном счастье разрывает мне душу и опутывает мысли. Вчера, позавчера, уже несколько дней, что бы я ни делал, что бы ни говорил, меня не оставляет сознание нашей потери.

Вы, читающие эти главы, перелистывающие эти страницы, с недоумением обнаружили, вероятно, после описания бала и

шуток, свидетельствующих о весёлом расположении духа, страницу, целиком посвященную моему горю, и, может быть, увидели в ней аффектацию.

Мне пришло сейчас в голову, что эта внезапная перемена настроения может вам не понравиться, и сейчас же мое задетое тщеславие принялось искать тему нового рисунка (прежний, иллюстрирующий предыдущую главу, я закончу только завтра), который соответствовал бы этой записи и смягчил бы неожиданность перехода.

– Недостойный! – вскричал мой разум. – Неужели ты включаешь тщеславие в число сердечных чувств? Если ты действительно скорбишь, расскажи, напиши, что ты чувствуешь. Чего же ты хочешь? Что ты собираешься сейчас делать? Изобразить горе, которого не ощущаешь, не так ли? Или проявить слабость, пытаясь отличиться в чужих глазах? Твое самолюбие даже в скорби ищет случая блеснуть… Какое тебе дело, сочтут ли тебя способным к глубокой привязанности или слишком легкодумным для этого.

Тот, кто знал твоего брата, знает, сколько ты обязан ему, сумеет определить глубину твоего горя; с мнением же тех, кто не может оценить твоей потери, не стоит считаться.

Признаюсь, этот порыв самолюбия так меня смутил, что я хотел тут же нарисовать сценку, написать главу, более оживленную, чем обычно, назло тем, кто обвинит меня в неискренности. Но потом я решил поступить более благоразумно: записать все эти размышления, чтобы они так и остались здесь навсегда.

О тщеславие! Подобно яду, подстегивающему иногда организм, ты можешь своей искрой разжечь благородное и полезное честолюбие. Но как яд жжет и раздирает мучительной болью наши внутренности, так ты разъедаешь сердце и ввергаешь человека в бездну заблуждений. Кому только не внушало ты нечистых мыслей, кого твои лживые внушения не лишали сотни раз способности здраво рассуждать? И все же, хотя едва ли найдется человек, не упрекающий себя за то, что чрезмерно прислушивался к советам тщеславия, я до сих пор не могу научиться распознавать его в своем сердце. Ну что ж, судьба не хочет, видно, дать мне тему рисунка на завтра: сколько я ни искал, ничего не попадалось.

Ах, когда же смогу я изобразить переправу через Вислу? Мне уж давно бы следовало двинуться в путь, чтобы догнать полк. Плоцк так скучен; я не живу здесь, а прозябаю. Два месяца без единой книги, а ведь в течение этих двух месяцев я располагал всеми 24 часами в сутки.

Я еще настолько не потерял привычки к труду, что даже когда мне нечего писать, когда г-жа Нейфельд прерывает ход моих мыслей или когда никакие мысли не приходят мне на ум, так что тетрадь моя остается закрытой, – я чувствую, что не выполнил свой долг. Я не скучаю здесь, не сижу сложа руки; клавесин, прогулки, мелкие занятия заполняют время, но отсутствие серьезного дела очень ощутимо.

1 апреля

Явись мне, нежно любимый брат, чтобы мгновения, предшествующие сну, заполнились ощущением твоей дружбы. Я провел этот день, как обычно, но твой божественный образ все время витал перед моими глазами. Сегодня утром у священника мне казалось, я вновь вижу погребальный катафалк, который так страшно потряс все мои чувства пять лет тому назад; и сейчас в моих ушах звучит похоронное пение.

Николай был мне другом, руководителем, единственной опорой. Он мог бы сделать мои дни счастливыми, он один, без обманчивой помощи приятелей, разделяющих со мной развлечения. Я был так счастлив с ним и находил это счастье таким естественным, что мне ни на мгновение не приходило в голову, что так будет не всегда… Одна черта отделяет блаженство от скорби; вчера еще я радовался своему счастью, следил за его возрастанием, готовился наслаждаться им впредь… а сегодня я ничего не вижу, кроме горя.

Нет, мы не расстались с тобой! Я тебя встречу, наши души соединятся и вместе вернутся к божественному источнику, откуда они изошли. Моя страшная утрата настолько приблизила меня к религии, что я не могу не надеяться на то, что когда-нибудь мы будем вместе. Но что я говорю!.. Ты ведь не покидал меня ни на мгновение, ты стал моей совестью, в затруднительный момент я всегда спрашиваю себя: «А что бы сделал Николай на моем месте?» – и разум сейчас же внушает мне божественные советы. Покойся вечно в моем сердце, сопровождай меня повсюду, будь мне защитой! В горе, в тоске, среди забот мне всегда будут утешением слезы, вызываемые этими горькими воспоминаниями.

2 апреля

Мой отъезд опять откладывается из-за медлительности курьеров; против желания придется еще задержаться здесь и тратить время впустую, не имея никаких развлечений.

Сегодня сюда прибыл генерал Ермолов. Я первый явился к нему, хотя знаю его лишь постольку, поскольку он командует гвардией и поскольку я знаю более или менее всех генералов. Он

принял меня с распростертыми объятиями, говорил о моих товарищах, как о своих друзьях, короче говоря, был чрезмерно любезен; это его обычная манера, под этой маской он скрывает от тех, кто приближается к нему, свою лукавую прозорливость и незаметно, за шутливой беседой изучает людей.

В начале кампании все верили в чудо; Ермолов был героем дня, от него ждали необыкновенных подвигов. Эта репутация доставила ему все: он получил полк, стал начальником штаба, вмешивался во все, принимал участие во всех делах; это постоянное везение вызвало зависть, его военные неуспехи дали ей оружие в руки, герой исчез, и все твердят, что хотя он не лишен достоинств, но далеко не осуществил того, чего от него ожидали.

Между тем, насколько я мог заметить, он по характеру свиреп и завистлив, в нем гораздо больше самолюбия, чем мужества, необходимого воину. Батюшка, однако, отзывался о нем с похвалой, а мнение отца я ставлю выше всех других. Ермолов хорошо образован и хорошо воспитан, он стремится хорошо действовать, – это уже много. Что до самолюбия, то… оно ведь присуще человеку. Освободиться от него столь же трудно, сколь необходимо для блага других и себя самого.

3 апреля

Синагога в Плоцке

Сегодня утром евреи ожидали пришествия мессии, а я, руководимый давно подстрекавшим меня любопытством, решил заглянуть к ним в синагогу.

Женщины, наряженные, как в самый большой праздник, располагались за стеной, скрывавшей их от всех взоров. Я видел их только при выходе. Мужчины, закутанные в длинные белые покрывала, заполнили свой храм; их старейшина читал нараспев, сопровождая чтение такой странной мимикой и жестами, что я на мгновение вообразил, будто попал в мечеть. Остальные, повернувшись лицом к стене, внимательно следили за ним и, когда он повышал голос, повторяли его слова, так что помещение заполнялось каким-то странным невнятным жужжаньем, мешавшим мне сосредоточиться. «Ведь это тоже религия, – говорил я себе, – это тоже народ, верящий в единого бога, в провидение, умеющий молиться; я должен вступать в их храм с благоговением к божеству». Я постарался сделать серьезное лицо, чтобы меня не сочли насмешником.

У них в храме нет никакого благолепия, ходят туда и сюда, словно по городской площади, поворачиваются спиной даже к заповедям, помещенным на возвышении.

Женатые накидывают на плечи большое покрывало из белой шерсти, холостая молодежь не соблюдает этот обычай, хотя тоже имеет право на это одеяние.

– Мессии сегодня не будет, видно, он отложил свое пришествие до будущего года, – сказал я сегодня утром одному еврею, окна которого выходят на мой двор. Тот трусливо промолчал, улыбнулся и отошел от окна. Когда я вошел в синагогу, на меня обратились любопытные взгляды; жужжанье, царившее там, показалось мне возмущенным ропотом, вызванным моим присутствием; я вообразил, что все присутствующие знают о моей глупой шутке, и пожалел, что бездумно оскорбил их, поддавшись неуместному желанию сострить. Ведь всякий человек, все равно, кто он – русский, еврей или француз, – подобен тебе, и ты должен уважать его взгляды и самые его заблуждения, если он искренне убежден в их истинности. Эти укоры совести настроили меня более серьезно, и я пробыл в синагоге еще около получаса, как бы в искупление своего легкомыслия.

Сегодня мне захотелось немного развлечься, и, чтобы нарушить однообразие моих послеобеденных прогулок, я приказал запрячь лошадь и поехал в прусскую колонию, находящуюся в полуверсте от города. Погода была великолепная, местность прекрасна: огромная луговина, пересеченная глубоким живописным оврагом, прелестная деревня с аккуратными домиками и прелестными садами – все это делало мою прогулку очень приятной. Я зашел к старосте. Он прежде всего справился о моем виде, я прощаю ему это, так как у немцев это первейшая необходимость. В прочем же он держался очень хорошо, говорил с умеренностью и кротостью и не хотел принять двух флоринов, которые я оставил тогда на столе. Он твердил, что я оказал ему великую честь, посетив его, и мы расстались, я – довольный прогулкой, он – польщенный моим посещением… Не удивляйтесь тому, что я числю умеренность среди важнейших достоинств поселянина. Непомерное, ужасное угнетение от управителей во время войны, жестокость и грубость воинов таковы, что могут превзойти всякое человеческое терпение.

5 апреля

Я был занят приготовлениями к отъезду, когда мне доложили о приезде С. Голицына. Он ночевал у меня и помешал моим привычным занятиям. Сегодня утром он, наконец, уехал. Через два часа отправляюсь и я. Прощай, Плоцк! Прощайте, г-жа Нейфельд! Оставляю вас оплакивать мой отъезд и покидаю вас без сожаления. Теперь-то пойдут у вас с кухаркой философские

рассуждения, особенно когда вы узнаете, что я стащил у вас стакан. Покидаю вас, чтобы уложить последние вещи.

Освобождение русской армией Европы.
Заграничный поход 1813–1814 гг.
Гравюра. XIX век

Прощай, покой и тишина! Вновь мне предстоят неудобства и трудности странствий. После передышки в два с половиной месяца опять мне предстоит пуститься в путь.

6 апреля. Гоштиниц

Наконец, я еду. Вчера не было лошадей, я ждал понапрасну весь день. Карандаши были упакованы, так что я даже обрадовался наступлению ночи. Прекрасно выспавшись, я отправился в дорогу сегодня утром. Дождь, снег, град – все противодействовало моему выезду, но я держался стойко, на полпути непогода успокоилась, и я мог наслаждаться красотами местности, разнообразной, пересекавшейся оврагами, покрытой лесами, ярко освещенной солнцем.

Проезжая по мосту, я бросил прощальный взгляд на город.

– Что ж, – подумал я, – таковы веления судьбы. Никогда не угадаешь их заранее. Видно, суждено мне было провести два с половиной месяца без книг, без общества, рядом с надоедливой старухой и хнычущими детьми, без дела, без каких бы то ни было обязанностей, удерживающих нас обычно на месте, и все же не скучать. Оказывается, это возможно; неблагодарностью с моей

стороны было бы сказать, что я совсем не развлекался в Плоцке.

Время мое проходило очень однообразно, но без скуки. Много приятных минут провел я за музыкой и рисованием; хотя мои таланты в том и другом очень невелики, я извлекал из них, что мог. Даже г-жа Нейфельд иногда заставляла меня рассмеяться своим философствованием; Плоцк навсегда останется для меня источником приятных воспоминаний.

У пани Донецкой

Я выехал из Гоштиница, лошади были скверные, погода по-прежнему ужасная, уже смеркалось, а до Конина, где я намеревался ночевать, оставалось еще полмили; вдруг Колосков заметил вдалеке унтер-офицера, коего я выслал вперед, чтобы приготовить лошадей. Хороший, теплый ночлег – разве это не счастье для путника?

Самой владелицы не было дома, но меня очень дружелюбно встретили гувернантка и двое прелестных детей; мне предлагали и подавали все, что я мог только пожелать, приготовили постель и… Я как раз писал эту фразу, когда гувернантка пришла объявить, что ужин готов. Я поужинал и укладываюсь спать. Что ещё нужно человеку, коему пока не до забав?

8 апреля

Конин

Едва я проехал вчера две мили, как увидел издалека своих людей, и мне сообщили, что тут можно будет получить свежих лошадей. Не успел я сойти на землю, как очень толстая дама, разряженная, как в самый большой праздник, пышущая деревенским здоровьем, стала умолять меня остановиться у нее. Дело было в Хоцене, у пана… Сам хозяин дома явился через полчаса, гостиная наполнилась людьми, и графиня, взяв флакон душистой воды, вылила мне ее на голову в соблюдение местного обычая обливать водой всех прохожих в течение первых трех дней Пасхи.

– Господин капитан, стакан водки! Оставайтесь обедать! Господин капитан, вы должны ночевать у нас, польская дама молит вас об этом на коленях. Вы должны остаться, я попрошу вашего генерала простить вас. Что для этого требуется? Написать письмо, послать нарочного? Все будет сделано, только бы вы остались.

Стакан водки, поднесенный мне при входе, флакон духов, так неожиданно вылитый мне на голову, и все эти чрезмерные учтивости настолько меня ошеломили, что я, не задумавшись, отослал своих людей на ночлег в Избич, дабы причинить меньше

хлопот своим хозяевам, и согласился остановиться у графа. Ежеминутно предлагались тосты за чье-нибудь здоровье, я пил один раз из десяти, но все-таки мне пришлось проглотить четыре стакана водки, и к тому времени, как пришлось садиться за обед, у меня жестоко заболела голова. После обеда на стол подали вино. По местному обычаю хозяин дома сначала выпивает стакан за здоровье самого почетного гостя, а затем предлагает тому полный стакан, чтобы он мог совершить ту же учтивость в рассуждении сидящего рядом. Таким образом, все по кругу пьют за здоровье друг друга. Итак, хозяин дома подал мне стакан, мне следовало выпить за здоровье каноника, который, как мне заявили, знает много языков и который на самом деле помнил несколько вежливых фраз по-французски и по-немецки. Не зная их обычая, я поставил стакан на стол… Обиженный каноник налил себе вина, выпил снова за мое здоровье и предложил мне полный стакан, а я, все еще не догадываясь, как следует поступить, выпил вино и поставил стакан на стол. Все гости по очереди пытались заставить меня соблюсти принятый у них обычай; наконец, голландский купец, бывший гувернером детей в этом доме и говоривший по-французски, растолковал мне, в чем дело. Но было уже поздно, я уже проглотил пять стаканов вина и не мог воспользоваться его советами ранее следующего дня. Сотрапезники были оскорблены моей неучтивостью, а у меня голова была уже совсем тяжела. Потом стали играть в карты, танцевать, петь, а мне становилось от всего этого еще хуже.

А затем надобно было ужинать, поддерживать непрерывный разговор со всеми гостями, шутить и смеяться, когда мне до смерти хотелось спать. После ужина все целуются, и мне пришлось подходить ко всем дамам по очереди с выражением нежных чувств, которых в моем сердце отнюдь не бывало. Сегодня утром меня пытались задержать в Хоцене, приглашали еще гостить, всячески уговаривали. Я встал в 6 часов, но графиня, подобно Авроре, часом раньше. Разряженная, как на бал, она пришла вместе со своей дочкой окропить меня оделавандом; но все ее учтивости были втуне. После хорошего завтрака я уселся в свой экипаж и велел пустить лошадей в галоп, чтобы наверстать потерянное время (ведь вчера я проехал только две мили). Сегодня я сделал восемь или девять.

Так как две повозки с моими людьми всегда опережают меня на час, то лошади всегда бывают готовы. Колосков, уставший от любезностей слуг в графском доме не меньше, чем я от любезностей хозяев, и сердившийся на меня за промедление, погонял лошадей всю дорогу. В Избиче мне пришлось остановиться на полчаса. Бургомистр угостил меня завтраком, его

семья и друзья старались услужить мне как можно лучше, и я отплатил за их учтивость, подымая тосты за их здоровье по принятому здесь обычаю.

Избич – хорошенький городок, в нем много еврейских лавок и довольно много домов, но все же он уступает Самполью, где я рассчитывал пообедать. Туда от Избича три часа езды. Там я также остановился у бургомистра, где пришлось выпить чашку кофею, а затем, не теряя времени, поехал дальше к Люботину (еще одну милю), где меня ждал обед. Всего я проехал пять миль, было четыре часа дня, и я был очарован приемом, который мне оказали. Один поляк, очень плохо говоривший по-французски, сначала рассказывал мне, как Фредерикс принял его за эмигранта, а потом стал распространяться о красоте моего имени и о добродетелях моих предков, упоминаемых на страницах истории; сам хозяин и славная старушка – его жена делали мне тысячу учтивостей, но я не стал задерживаться и уехал сразу же после обеда, так как хотел до ночи прибыть в Конин, находившийся в трех милях от Избича. Когда стемнело, я оказался на берегу довольно обширного озера, переходящего в реку с болотистыми берегами.

Наконец, мы проехали по великолепному подъемному мосту, увидели правильные улицы, каменные дома, церкви, большие площади, «Hotel de Paris» и другие гостиницы; все свидетельствовало, что передо мной прекрасный город. Мне показали просторную и красивую комнату, сейчас я укладываюсь спать в прекрасной постели.

9 апреля. Калиш

Сегодня я сделал только шесть миль. Я намеревался обедать в Бяле, но там мне предложили только скверной солонины. Старые сестры хозяина что-то говорили пискливыми голосами, сам он был болен, но ежеминутно вставал с постели вследствие недавно принятой доброй порции ревеня; поэтому я поспешил переменить лошадей, полуголодный пустился опять в путь и к четырем часам приехал сюда.

Комендантs, адъютанты и канцеляристы всегда стараются придать себе важности. Едва успели переписать мою подорожную, как комендант убежал встречать какой-то полк. Я прождал два часа у Нарышкина, который задержался здесь по болезни. Наконец, лишь в восемь часов мне отвели квартиру, дали лошадей и проч. Итак, мне приходится ночевать здесь, в доме одного честного немца. Война приучила жителей к гостеприимству. Мне быстро приготовили комнату: ужин, кофею, постель, белье – все передо мной, и достаточно чего-нибудь

пожелать, чтобы тут же получить.

11 апреля. Милич в Силезии

Вчера я выехал из Калиша спозаранку и, несмотря на то что лошади шли очень тихо, сделал до обеда семь миль. К двум часам я прибыл в Зольмергиц, и меня пригласили обедать к начальнику этой части Силезии, который живет всего в четверти мили от города, но уже за границей герцогства Варшавского.

Меня приняли с распростертыми объятиями; пруссаки с тех пор, как стали нашими союзниками, очень стараются хорошо принимать русских. Г-н Франкенберг имел жалобу против бургомистра Зольмергица, и я оказался тут очень кстати, чтобы перевести ее на русский язык; он не знал, как мне услужить.

– За здоровье русской армии, – провозгласил он тост.

– За здоровье обеих армий, – отвечал я, и в восторге от моей любезности он сейчас же отправил бургомистру Милича приказание принять меня со всей возможной учтивостью. Наконец, мы простились. Мне предстояло проехать еще три мили.

Сегодня утром я беседовал с Колосковым о предрассудках и пытался разъяснить ему неосновательность некоторых суеверий, но он не хотел согласиться со мной.

– Так что же, – сказал я ему, – по-вашему выходит, что мне сейчас нужно плюнуть? – Дело в том, что вокруг нас собралось много народу, с восхищением разглядывавшего мой маленький фургон.

– Все равно, плюнете вы или нет, смотрите, как бы нам это не принесло беды.

Полюбовался моим экипажем и господин Франкенберг, вышедший проводить меня. Я расстался с ним, рассчитывая провести ночь в нескольких милях отсюда. Едва мы проехали пять верст, как – крак – ось треснула и переломилась пополам, и я, подобно несчастному Ипполиту[167], увидел свой унесенный разогнавшимися лошадьми экипаж далеко впереди, а сам оказался на дороге в куче подушек и чемоданов, свалившихся на меня.

В версте от сего места был довольно изрядный домик, я послал туда слугу, а сам, в ожидании помощи, прилег на траве. Через час я увидел фургон, запряженный парой сильных лошадей; почтенный старик в прусском мундире на жирной старой лошадке подъехал ко мне. Это был хозяин домика, попросивший меня сесть в экипаж, который за ним следовал; он ехал в город, отвозя туда лекаря, и пригласил меня ехать с собой, чтобы не терять времени. Мой фургон очень быстро починили и доставили в город через час после того, как мы с лекарем туда въехали.

Милич – прелестный городок. Он выглядит как нельзя наряднее. Граф Мальцау, коему сей город принадлежит, устроил в нем великолепный английский сад. Над воротами сада надписано: Semper bonus potet[168], и, надо отдать справедливость, эта надпись не лжет: широкие аллеи, тополевые и буковые, живописные храмики, два прекрасных замка, множество различных строений, громадный парк, с большим вкусом разбитый и особливо поражающий красиво подобранными купами дерев, делают этот сад одним из прекраснейших, кои я когда-либо видел. Он настолько обширен, что составить представление о нем можно лишь после многих прогулок.

Вчера мой унтер-офицер доложил, что лошади будут готовы, как потребуется. Письмо г-на Франкенберга придало мне здесь весу: все, к кому я обращался по пути с расспросами, сразу указывали приготовленную мне квартиру, у самого въезда в город ждали полицейские служители, чтобы немедленно отправить мой экипаж к шорнику; можно было подумать, что мой приезд почитался в этом городке событием. Сегодня утром, еще до моего пробуждения, явился немец показывать мне сад; мне обещают всевозможные удобства.

Через час надеюсь уехать отсюда.

Экипаж мой был готов лишь в два часа пополудни, потому, как я ни спешил, до Трахенберга добрался лишь к пяти часам, а сюда к семи. Придется заночевать здесь.

Едва я обратился к бургомистру, как мне поспешили указать квартиру, лучшую в городе, у сестры бургомистра, очень милой особы. Я вхожу в комнату и вижу, встает 60-летняя старушка, делаю еще шаг – эта воплощенная старость, опирающаяся на посох, спешит мне навстречу. Признаюсь, я страшно смутился, подумав, что не туда попал, но она обошлась со мною чрезвычайно учтиво, успокоив меня на этот счет, и спросила весьма приветливо, каковы будут мои приказания. Итак, мое путешествие пока никак нельзя назвать несчастным, я еще не имел ни одного неприятного дня, кроме вчерашнего или, вернее сказать, нынешнего утра, когда места себе не находил от нетерпения в ожидании экипажа.

13 апреля. Бунцлау

Вчера утром проехал я Штейнау, Любек и Гейнау и к шести часам вечера уже был в Бунцлау. Невозможно путешествовать удобнее. Где бы я ни остановился, местные чиновники бегут мне навстречу и готовы служить, как самые покорные лакеи. В отводимых мне комнатах я нахожу все, что только можно пожелать; обед, кофей, что бы я ни заказал, приносят самое

позднее через полчаса – в любое время дня.

Все маленькие городки, которые я проехал, весьма густо заселены, в них можно найти мастеров, искусных всякому ремеслу, и даже художников. Но улицы там скверны; узкие, извилистые, вымощены плохо. Еще больше их портит архитектура домов. Уродство этих черных клеток утомляет взор, их заостренные крыши тоже весьма неприглядны. Все дома одинаково выстроены вполовину из дерева, вполовину из камня, так что, хотя они и свидетельствуют о достатке, и при них есть изрядные огороды, и размещены они неплохо, но вида красивого иметь не могут, а ведь дома – главное украшение всякого города.

Я остановился здесь и не тронусь с места до вечера, потому что нынче наш великий праздник, славный день Пасхи, который я всегда проводил раньше со своими, а этим утром встретил, как самый обыкновенный день, без радости и веселья, кои у нас всегда ему сопутствуют.

К тому же светлейший смертельно болен. Даже Виллье потерял надежду; я прочитал в его глазах терзающую его тревогу и сознание ответственности; ни слова его, ни поведение не оставляют надежды на выздоровление того, кто должен был дать мир Европе[169].

Вместо того чтобы встретить этот день со своими родителями, я провел его у одного мельника. Мельник, правда, очень богат, он угостил меня превосходным обедом, и дом его больше походит на дворец, чем на мельничную избу, но всё-таки это прусский крестьянин, которому до меня не более дела, чем мне до него и его семейства.

В этих краях довольно много лесов и воды, но рек мало. Даже Одер (через который я переправился у Штейнау) очень узок, и, проезжая по мосту, я мысленно упрекнул вас, господин Малерб, за то, что вы заставляли меня зубрить название этой ничтожной речки.

Население здесь не разорено, несмотря на целых восемь лет войны. Причину этого я вижу в хорошем и регулярном управлении, в том, что магазины и станции правильно размещены и устроены. У самого бедного из крестьян лошади так хороши, что их можно заложить в карету. Сейчас как раз срок уплаты налогов. Крестьяне прицепляют к шапке кокарду и важно прогуливаются, флегматически покуривая трубочку, возле ратуши. Они собираются кучками, кланяются мне, зовут моих людей камрадами, и видно, что они навеселе.

Признаться ли? Мне досадно путешествовать с такой быстротой. Я хотел бы познакомиться получше с жителями, изучить их нравы, разглядеть их костюмы – ведь все это должно

интересовать путешественника. Но сейчас я скачу с почты на почту и только ночью останавливаюсь на несколько часов в каком-нибудь местечке или городке.

Колосков

Вот и твое имя, раз тебе этого так хочется, любезный и благоразумный молодой человек, хотя и принадлежащий к самому многочисленному и простому сословию. Вот что значит благоразумие. Он очень ценит образование и успел кое-чему научиться. Колосков служит мне лучше, чем 20 слуг вместе взятых; он знает свое место, вежлив, бодр, всем доволен; когда мы в пути, он поддерживает беседу лучше, чем многие, получившие тщательное образование. Я с удовольствием просвещаю его, раскрываю ему те тайны природы, которые ему можно открыть; он легко все схватывает, поразительно здраво рассуждает, и, пожалуй, ему я обязан тем, что не соскучился в дороге. Ему хочется научиться говорить по-немецки, я написал ему несколько самых необходимых фраз, причем прежде всего он спросил меня, как сказать «спасибо». Вот доказательство того, как сильно чувство благодарности в его сердце, а это ведь далеко не дурное качество.

Вот несколько силезских костюмов. Конечно, мне не удалось нарисовать их совершенно точно, потому что я ведь только проезжал здесь, не останавливаясь. Если вам покажется, что здесь слишком много женщин, вина не моя. Мужчины здесь все одеты почти одинаково. Зато женщины одеваются по-разному, и причину этого нетрудно понять. Если небо даровало им способность пленять нас, немудрено, что они стремятся эту способность развить, и воображение их столько же занято обдумыванием нового убора, сколько наше – обдумыванием способов совратить их.

14 апреля. Будинен-на-Шпрее

Королевство Саксонское

Вчера я выехал из Бунцлау и, сделав меньше мили, оказался на границе Саксонии. Там я остановился на ночлег в деревне Эйрендорф, в трех милях от Горлица.

Сразу заметна большая разница. Меня уже не принимают здесь так, как в Силезии, и у населения не столь счастливый и довольный вид. Я проехал через Горлиц-на-Ниссе и через Лаубау и добрался до Будинена еще засветло. Все эти города хорошо построены; хотя дома в них старинной архитектуры, но свидетельствуют о достатке. Каждый город представляет собой маленькую столицу. Везде есть самые разнообразные лавки,

бульвары, площадь с фонтаном. Костюмы, которые казались нам на сцене преувеличенно пестрыми, еще во многом уступают тем, кои мы видим в этих городах. Женщины здесь одеваются почти так же, как в Силезии. Мужчины же, которые там почти все одеты по-современному, в Саксонии имеют совсем другой вид; даже солдаты напоминают капрала из комедии, тогда как форма прусских солдат похожа на нашу.

16 апреля. Дрезден

Вот я и добрался, наконец, до своих; радость встречи сгладила в моей памяти все впечатления пути; усталый и как нельзя более счастливый, я ложусь спать.

18 апреля. Геринсвальд

Вот что значит путешествовать быстро; ничему не успеваешь порадоваться. Я проскакал прелестные деревни Силезии, едва успев полюбоваться красотой их обитательниц, изяществом и аккуратностью их нарядов; потом пересек огромные горы, перерезывающие всю Саксонию; мои глаза наслаждались самыми роскошными видами природы; наконец, позавчера я увидел прекрасно обработанные поля и сады по дороге к Дрездену, восхищался каштановыми аллеями, украшающими его предместья, полюбовался великолепным мостом и пейзажами, открывающимися с него, видел большую площадь, шумный и оживленный рынок и пеструю толпу, его заполнявшую; посмеялся над портшезами; восхищался женщинами – и не успел запечатлеть ничего из понравившегося мне.

Я прибыл в Дрезден совершенно разбитый усталостью. Мне сказали, что в итальянской опере идет «Весталка»[170], рассказали о картинной галерее, о тысяче живописных мест, В восторге я улегся спать, полный планов и мечтаний; утром меня разбудил бой барабана. В городе распространилась ложная тревога, говорили, что пруссаки потерпели поражение, и нам было приказано поспешно выступать. Мы сделали сегодня шесть миль, и столько же обещают нам назавтра. Черт побери, без слуг, без лошадей, без необходимых вещей, валясь с ног от усталости, я более, чем когда-либо, ощутил тяготы военной службы. Проделанные сегодня три мили показались мне десятью. Но вечер хорош, и я уже забыл утренние неприятности. Выяснилось, что тревога была ложной, мы идем теперь по дороге на Эрфурт; здоровье светлейшего улучшается[171]. Я почти утешился и надеюсь скоро восстановить привычку к походам и найти себе развлечение.

20 апреля. Первый бивак в Эшфельде

Вчера мы сделали три мили, и, хотя переход всегда бывает очень утомителен, когда потеряешь привычку к маршам, я нашел, чем развлечься, так как мы пришли на стоянку очень рано. Ничего, что нас так много вместе; среди людей, связанных дружбой, всегда находится место веселью. Я много смеялся, сделал несколько визитов и собирался весело завершить вечер, несмотря на ужасную погоду, продолжающуюся уже несколько дней, когда нам объявили, что мы станем здесь лагерем. Так как я не выспался, то улегся, не раздеваясь, на овчине и заснул в ожидании приказа о выступлении. Сегодня в пять часов утра мы прошли с полверсты до этой равнины. Вот я и снова на биваке, не прошло и двух часов, как я так совсем освоился, словно провел здесь всю жизнь.

Сегодня вечером мы выходим, чтобы пройти еще две мили. Вот последствия нераспорядительности тех, по чьему приказу мы ночуем в палатках. Вместо того чтобы хорошо отдохнуть в деревне, где нас были готовы охотно принять, а потом выйти в свое время и совершить этот переход, устроили ужасную неразбериху: солдаты одеваются, разбивают лагерь, всё устраивают, а когда уже можно наслаждаться плодами своих трудов, приходится все бросать и двигаться дальше. Крестьяне тоже совершенно сбиты с толку: у них требовали доставки сена, соломы, мебели, а всё это оказалось ненужным.

24 апреля. Лагерь в Герсдорфе

Мы ещё не знали, по какой причине нас заставили покинуть Дрезден, как 21-го вся армия оказалась в виду врага у Вейзенфельда-на-Заале. Накануне Винценгероде имел некоторое преимущество. 21-го вся армия участвовала в действиях. Мы атаковали французов, стоявших за рекой. В течение всего дня наши войска одерживали успехи. Французы, подталкиваемые сзади, уже видели себя вынужденными перейти Заале, как вдруг к вечеру Витгенштейн покинул поле битвы; командовать было некому, никто не знал, на что решиться. Вражеская батарея, расположенная справа от нас, нанесла нашей армии значительный урон; город был в наших руках, но плохо защищен; вот почему этот день закончился, можно сказать, поражением. В 6 час. нас повели под огонь. Если бы Лавров решился пойти на риск, он поставил бы нас под городом, правильно разместил бы батареи, и поле боя осталось бы за нами, но… боязнь ответственности – страшная болезнь. Он не сделал никаких распоряжений и велел отвести войска. Французы сами понимали, что победа осталась за ними только потому, что мы ее так

любезно уступили. Пруссаки захватили Иену и Лейпциг, а мы поспешно отступаем к Дрездену. Неприятель сейчас находится в 12 верстах от нас, и пруссаки покинули недавно занятые ими города. В жизни я не встречал такой нерешительности, растерянности, такого обилия ложных слухов. Мы одержали победу – и бежали, как трусы. Мы воспрянули духом – и впали в отчаяние.

Я чуть было не пострадал в этом походе больше всех. Моя повозка отыскалась только сию минуту. Но раз уж она здесь, я утешился.

Итак, я ещё один раз участвовал в сражении. Правда, вчера это продолжалось только три часа, картечи было мало, пуль много, ядер совсем не было, но всё-таки я ощутил разницу между этим боем и первым.

Во все время сражения я находился наверху. Я бы помчался вперед, если бы только мог: меня уже не сковывала неуверенность, которую я испытал в Бородинском бою; когда вечером высылали стрелков в охранение против возможных атак неприятеля, я всей душой желал счастья попасть в их число. Ночь, однако, прошла спокойно, и я вернулся на место, не сделав ни единого выстрела.

Наше отступление было мучительным. Большой переход, страшная жара, а я ещё без багажа, без экипажа, так что трое суток мне пришлось питаться одним черным хлебом, спать, завернувшись в шинель, и всё время идти пешком.

2 мая

Уже 15 дней, как я вернулся, и 15 дней ничего не делаю. Вот что значит провести три месяца в праздности и привыкнуть к досугу. Я пробовал писать, но мысли застыли; пробовал рисовать – ничего не выходило. К тому же после дела под Люценом мы отступали, пока не пришли сюда. Наконец, мы остановились, тут наши позиции, и никто не предполагает, чтобы мы подверглись нападению.

Мне пришлось много пройти пешком, последствия болезни меня еще не совсем покинули, я чувствовал вялость и ленился приняться за какие бы то ни было занятия. И всё же я не скучал. Бивачная жизнь мне нравится не менее, чем в прошлом году. Удовольствия все те же самые, но они радуют и развлекают своим разнообразием. Музыка всегда собирает кружок любителей, встречаешь знакомых, можно отойти в сторону и побеседовать по душам или собраться в кружок, пошутить и посмеяться, и время проходит незаметно. Сейчас уже за полночь, а разговоры, весьма оживленные, еще продолжаются; я оставляю дневник, чтобы

вернуться к беседе.

4 мая

Бивак под Бауценом

Мы стоим здесь уже три дня, и каждый день нам обещают атаку на неприятеля. В ожидании мы весело проводим время, каждую минуту находится какое-нибудь интересное занятие. Музыка, играющая до отбоя, собирает зевак; музыка, которая начинается в 9 часов вечера в нашей палатке, привлекает любителей. Вчера я не раз вспомнил счастливые времена Тарутинского лагеря; вся палатка была забита народом, любопытные толпились даже у входа, все были оживлены и веселы… Да сохранится Бауценский бивак в моей памяти, как и бивак в Шелоницах, а пока мы здесь предаемся веселью, да примут наши дела такой же счастливый поворот, как в прошлом году.

Австрийцы объявили себя на нашей стороне, позиции у них чрезвычайно выгодные, и, если небесам будет угодно, мы еще добьемся в этом году столь же блестящих и значительных успехов, как в прошлом.

4 мая

Увы, пока этот год отмечен только смертью светлейшего. Хотя её держат в тайне от всей армии, те, кто узнали об этом, проливают слезы скорби, воздавая должное герою, который спас Россию. При жизни человеку не отдают справедливости, после смерти его славу всегда преувеличивают. Сейчас все превозносят светлейшего до небес, а совсем недавно почти все его осуждали; я рад, что, как ни молод, ни разу не поддался соблазнам злословия.

Благоразумие светлейшего, которое вы называли робостью, сохранило жизнь нашим славным солдатам; то, что вы называли нерешительностью, было мудростью; ваш дух был, видно, слишком слаб, чтобы понять весь размах его политики. Все его действия имели тщательно обдуманную цель. Все обширные операции, которыми он руководил, были направлены к одному; отдавая распоряжения о размещении орудий, кои должны были обеспечить победу над французами, он в то же время обдумывал сложные политические комбинации, кои должны были нам обеспечить благорасположение всех европейских кабинетов. В армии его обожали и за его имя, и за его знакомое и любимое лицо; достаточно было ему показаться, чтобы все радовались.

Я собираюсь сделать себе новую палатку; но совесть меня упрекает – как бросить старую, в которой провел однажды ночь

этот достойный старец.

11 мая. Лагерь в Лаубау за Квиссой

Вот уж восемь дней, как я ничего не записывал, а каких только перемен не произошло за это время. Мы стояли на позиции под Бауценом, и вдруг 8-го, около двух часов пополудни, неприятель атаковал нас со всех пунктов. Сражение продолжалось до вечера, ночью мы оказались впереди своих позиций, а неприятель не смог продвинуться ни на шаг.

Костюмы жителей Силезии, 13 апреля 1813 г.
Рисунок А. В. Чичерина. Военный дневник. 1812–1813 гг.

Я был очень утомлен; меня послали в караул; важность поста и безопасность, в которой я оказался, обязывали меня к рачительному и утомительному наблюдению; когда утром в 5 часов меня сменили, я был очень счастлив возможности отдохнуть и, хотя уже завязалась перестрелка, проспал до 8 часов, когда нас подняли, поелику сражение началось.

Это было 9-го числа. Наш левый фланг упирался в горную цепь Карпат. Возвышенность была занята французскими стрелками, но Милорадович, командовавший левым флангом, продержался целый день, не понеся потерь. Французы вышли из Бауцена двумястами больших колонн, которые, казалось сначала, направлялись на наш центр. Но вскоре они разделились и стали

атаковать нас по очереди с разных пунктов. Мы имели то преимущество, что наша артиллерия, расположившаяся на возвышенностях, действовала успешно, а центр прикрывался укрепленным селением. Барклай, прикрывавший наш правый фланг, увидев, что ему угрожает атакой Ламертюм, отходит в сторону, разворачивается и готовится вклиниться во французское войско.

Было уже почти шесть часов вечера, когда Наполеон, поняв опасность, собрал все свои силы вместе, выставив против нашего центра и левого фланга одну линию кавалерии и артиллерии и, оставив несколько колонн в резерве, все остальные бросил на наш правый фланг. Пруссаки оставили занятую ими высоту; у нас не хватало сил, чтобы сдержать атаку левого фланга неприятеля и помешать ему ударить на нас всеми силами; в половине восьмого было отдано приказание отступать.

Мы потеряли 1500 человек, пруссаки ещё больше; неприятель в эти двое суток только и делал, что напрасно терял людей, уже к шести часам он был почти обессилен… Но мы ушли с поля боя и, пройдя через Горлиц, повернули направо и вышли сюда. Не знаю, пойдем ли мы к Австрии или будем прикрывать Глогау.

Мы одержали победу и всё-таки отступили; меня утешает только то, что дух солдат не ослабел. Одно огорчает их, и я разделяю сие чувство, – это необходимость отдать в руки французов край, где нас так хорошо принимали. Мне стыдно было проходить через Горлиц, казалось, каждый житель взглядом упрекает меня за то, что я его покидаю.

14 мая. Лагерь под Гольдбергом

Уже два дня, как мы в Силезии. Река Квисса образует ее границу. 12-го мы переправились через Бобр у Левенберга, а вчера расположились здесь биваком.

Что ни говори, многое в стране зависит от правительства. Местность в Саксонии живописна почти столь же, сколько здесь, так же разнообразна, пересечена, богата водопадами, ущельями, прелестными долинами. Карпатские горы украшают южную часть этой страны, но другие места в ней не так хороши. Силезия представляет собой сплошной сад. Дороги, прекрасные сами по себе, украшаются еще аллеями плодовых дерев. В селах фруктовые сады, окруженные живыми изгородями, представляют очаровательную картину; каждый уголок украшен трудами рук человеческих; видишь, как повсюду жители стремятся усовершенствовать природу.

И все же саксонские города красивее. Горлиц построен на скале, дома в нем очень красивы, хотя и старинной архитектуры,

в нем множество фонтанов и других украшений. Города Силезии много теряют потому, что в них мало кирпичных домов; причудливое сочетание дерева с камнем неприятно поражает взгляд и портит вид города… Гольдберг – совсем некрасивый город, хотя находится в очень живописной местности и обладает изрядным мостом, который мог бы служить украшением и столицы.

18 мая. Лагерь в Стригау

Мы стоим здесь уже два дня и завтра продолжаем отступление. Неприятель больше не нажимает на наш авангард, его силы расчленены по нескольким пунктам.

На днях вступает в действие Австрия. На сей счет болтают много пустого, но как бы то ни было, это соединение сил может привести к гораздо более значительным успехам, чем предполагают. Что касается меня, я мало занимаюсь политикой. Иногда, уткнувшись носом в карту, я пытаюсь предугадать направление, в котором станут двигаться все эти армии, но молчу и храню свои размышления про себя. Так глупо, когда вслух объявляют разные нелепые и часто необоснованные соображения.

20 мая. Лагерь в Свейднице

Мы стоим здесь два дня, укрепив позицию, центр которой прикрывается городом. Много говорят об австрийцах, о перемирии, даже о мире; но на меня сейчас нашло такое состояние, когда не хочется ни о чем думать, и потому я не делаю никаких выводов и закрываю тетрадь – тоска и апатия овладели мною.

22 мая. Лагерь в Гросс Вилькау

Люди хороши только на словах, но нередко бывают дурны на деле[172].

Клеонт получил от родителей порядочное воспитание, он правильно мыслит, совесть в нем говорит прежде воображения, он обдумывает свои поступки, соразмеряет все действия и обладает всеми качествами, необходимыми, чтобы занимать в свете достойное место.

Но он еще молод, и ложный стыд часто сбивает его с пути. Боязнь показаться смешным из-за чрезмерного благоразумия пересиливает в нём голос совести. Он видит, как Дамон дурачит всех, как Дорант соблазнил и обманул Селимену, как сей приносит сердце в жертву остроумию, тот гордится своими дебошами, и Клеонт стыдится быть в их обществе, не обладая качествами, которыми они похваляются. Посмотрите на него,

когда он с ними, вы его не узнаете. Послушать его, он уже совратил не одну красавицу, он завсегдатай самых гнусных мест; он злословит насчет своего друга; хвастает несуществующим богатством. Но стоит вам остаться с ним наедине, вы увидите честного и скромного молодого человека и пожалеете, что он так рано оказался подвержен всем опасностям светской жизни, и убедитесь, что ложный стыд нередко увлекает его казаться гораздо хуже на словах, чем он есть на самом деле.

Дамис последовал общему увлечению, подчинился течению и предался всякому распутству; ваша прежняя дружба обязывает вас говорить с ним без церемоний. Ваши упреки его трогают, он раскаивается в своем поведении и обещает исправиться. Вы вновь встречаетесь с ним, и он опять дает вам такие обещания. Вы опять встречаетесь, он рассказывает вам о поступках, которые подтверждают его исправление. Вскоре он начинает говорить о том, что собирается делать. Что касается меня, то, слушая его, я восхищаюсь этим благоразумным человеком, словно вдохновляемым самой Минервой. Мне нравятся его убеждения, я прихожу в восторг от его достоинств, я нахожу в нем больше добрых качеств, чем у кого бы то ни было, и только и мечтаю о том, чтобы сделать его своим другом. Мы часто встречаемся и беседуем; наконец, я как-то прихожу к нему домой – увы, у себя он совсем не таков. Я обнаруживаю в нем все недостатки, которые знаю за собой, а потом и множество других, я вижу, что это самый обыкновенный человек, и признать его хорошим можно было, только слепо поверив его собственным словам.

Оба эти примера столь же истинны, сколь часто встречаются в свете, и если я решился привести их здесь, то лишь потому, что сам бывал то Клеонтом, то Дамисом.

Мне случалось хвастаться пороками перед молодыми людьми, которых я, быть может, в глубине души презирал столько же, сколько ненавижу эти пороки, – токмо для того, чтобы не показаться ребенком, чтобы не пострадало это проклятое самолюбие, которое находится где-то между ложным стыдом и скромностью. Вчера, побеседовав с Броглио, я думал о том, как мне исправиться, и, словно новый Дамис, составил замечательный план, и тут все мои слабости вдруг завладели мной. Послушать меня – мои поступки прекрасны, но если заглянуть в глубину моего сердца, то как бы не оказалась, что они внушены одним токмо тщеславием.

Сегодня мы прошли около 20 верст, переход был утомителен, потому что большая часть его была сделана по страшной жаре, которая теперь стоит.

Я вновь убедился, что Силезия – самая красивая страна из

всех, кои я доселе видел. Мы прошли по большой долине, встретив на пути более десятка деревенек. Огромная впадина усеяна жилищами и садами, сплошь украшена прелестными ручейками. Сия местность, плодородная и пусто населенная, теперь повергнута в нищету, и все деревни, которые мы миновали, представляют собой неузнаваемые жалкие остатки прежнего благополучия.

Селянин встречает солдата приветливо, следуя своему доброму сердцу, подносит ему стакан пива. И вдруг ещё несколько солдат врываются к нему в дом. Хозяйка бежит за молоком, стол накрыт; но варвары увидели скот, хватают его и тащат за собой; пока она безуспешно молит их сжалиться, другие лезут в окна и двери, забираются на чердак, роются в сундуках и утаскивают все, что там попадает под руку. Колонна уже прошла деревню, солдаты догоняют ее, таща с собой награбленное, а крестьянину предстоит ещё худшее. У него осталось только жилище, много лет дававшее ему приют, хранилище всех его привязанностей; но вот прибывает новая орда варваров, они бросаются по следам своих предшественников и, не надеясь найти, чем утолить голод и жажду грабежа, лезут на крышу: вниз летят пуки соломы, доски; вот уже стропила разломаны, стены хижины обрушиваются; напрасно несчастный селянин пытается укрыться под сенью сада, все деревья коего посажены его руками; повсюду раздаются роковые удары топора, живые изгороди, посадки, рощицы – все вырубается, чтобы облегчить прохождение, солдаты тащат за собой все, что только могли взять, и уходят, даже не оглянувшись. Наступает вечер, солдат устраивается на ночлег, а селянин сидит у развалин своей хижины; 20-летний труд погублен, придётся провести ночь без крова, если не считать нескольких досок, случайно оставшихся неунесёнными.

Солдат устраивает свой бивак, раскладывает рухлядь, которой он набил свой ранец; готовит обед, ради которого были разорены крестьяне. Перед ним огромный мешок овощей, откуда он вытаскивает несколько картофелин, чтобы сварить их. Наступает ночь, а совесть у него так и не пробудилась.

Вот уже барабан зовет в поход. Едва заря осветила Карпатские горы, как лагерь заполняют поселяне с мешками за спиной; они подбирают обломки, обрывки, остатки, выпрашивают назад у солдат свою утварь, пожитки. Я видел, как один крестьянин упорно добивался лоскута от полога, который накануне украшал его постель.

Колонна строится и уходит, она провела здесь только одну ночь, и богатейшее селение низведено до полной нищеты, и нашим союзникам остается проклинать наше имя и свою славу.

Кто же эти варвары? Это мы, русские, и я сам тоже, и все мы. Беды, испытываемые нашим собственным отечеством, до такой степени ожесточили наши сердца, что никому уже не кажется позорным брать, не платя, насильно отнимать то, в чем мы испытываем нужду. Все грабят и тащат наперегонки и похваляются этим; на слезы целого селения мы не ответствуем даже вздохом.

26 мая. Лагерь в Бюллоу.
Главная квартира в Рейхенбахе
Мир

Ради себя я хочу войны и всегда хотел, потому что, становясь воином, я рассчитывал поседеть в боях, а не одряхлеть от непрерывных досад на учениях и парадах; я хочу войны, потому что считаю позорным вернуться домой, не встретившись с неприятелем лицом к лицу; никогда я не позволю себе думать иначе.

Образ мыслей, который я для себя составил, не позволяет мне желать мира для себя. Радости, кои мир мне обещает, лишь откладываются на время войны, удовольствия мирной жизни навряд ли возместят мне пользу кампании, в которой я приобретаю опытность.

Вчера впервые по лагерю распространились слухи о мире: радость оживила все лица, надежда загорелась у всех в глазах; все бегали, поздравляли друг друга, наперебой перечисляли преимущества мирного соглашения. Короче говоря, нам опять приказано двинуться вперёд и стать на квартиры; заключено перемирие, идет обсуждение предварительных условий, обстоятельств, спорных пунктов. Будет ли мир заключен или нет, мы, во всяком случае, получим неделю отдыха.

Мы получили сей столь радостный для нас приказ, сию нежданную весть на подходе к Рейхенбаху; приказано было войти туда с музыкой и песнями.

Первые звуки ещё не произвели на меня никакого впечатления; я привык проходить города Саксонии и Силезии, не подымая глаз; ведь стыдно оставлять добрых и честных людей на волю неприятеля, даже когда обстоятельства вынуждают к этому. Я привык уже видеть только испуганные лица робких жителей, опасающихся того, что их ожидает, и потому сделал привычку не смотреть на них, чтобы не оскорблять любопытствующими взглядами людей, которых мы так позорно покидали.

На этот раз толпа была велика, все теснились, толкались, бегали взад и вперед, музыка и песни привлекали кучки жителей, балконы были полны. Чем же вызвана вся эта радость, если не

перемирием, залогом столь желанного мира? – подумал я. Я поднял глаза и увидел уже не тоску и уныние, но радость и счастье на всех лицах. Дети толпой бежали за музыкантами, приплясывая в такт, словно исполняли балетную сцену сражения. Молодые люди, возбужденные видом такой внушительной колонны, идут в ногу за поющими солдатами; женщины теснятся вокруг нас; и все это потому, что мы принесли им весть о мире, при коем только они могут быть счастливы.

Ну что ж, сказал я себе, я охотно пожертвую собственным счастьем ради всеобщего. Я ведь тоже могу быть счастлив среди своих близких; я бы мог образовать в своем имении отряд верных мне воинов, и, когда потребует честь или призовет слава, я повел бы их на смерть, не страшась её и не жалея об удовольствиях мирной жизни.

Но что будет с этими несчастными? Что их ждет, если мы станем продолжать войну? Неужели мы будем настолько жестоки, чтобы желать их разорения лишь потому, что Россия была разорена? Неужели мы будем настолько безжалостны, чтобы хладнокровно взирать на опустошение, разрушение, уничтожение этого сада Европы? Неужели, стремясь к ложной славе, мы лишим себя славы истинной, кою приобрели бы, обеспечив счастье этого края?

Я тоже хочу мира, я тоже стосковался по нем; впервые за 15 месяцев я решаюсь сказать это.

29 мая. В карауле в Петерсвальде

Сегодня я назначен в караул и вновь повторяю ту фразу, которую еженедельно заносил в свой петербургский дневник: я в карауле, какая скука. Пробыть сутки на Главной квартире, где всеми руководит только интрига или желание незаслуженно возвыситься, – это отнюдь не значит приятно провести время. Каждый отказ, проект, замысел требуют нескольких посещений генерала, все это выслушивающего, а мне досаждают тем, что приходится оставлять обед, перо или постель и спешно бежать отдавать честь какой-нибудь особе, может быть, заслуживающей токмо презрения. Человеку свойственно преувеличивать, и я сейчас тоже немного преувеличиваю. Но я далек от тех, кто видит в черном свете окружающих, а любит лишь тех, кого судьба оделила; я приписываю все эти низости человеческой подлости, знаю, что и будущие века от них не избавятся, вижу их в настоящем и видел в прошлом и думаю о них только затем, чтобы получше предохранить себя от них.

Сколько раз, любезная графиня, я дерзал расходиться с вами во мнениях потому лишь, что стремился защищать свое

поколение, что не хотел унижать его перед старшими, не хотел лишаться надежды на будущее. «Век портится», – говорили вы, а я утверждал, что он всё тот же и что мы не менее чувствительны, чем люди прошлого столетия. Ах, если бы я мог привести примеры нашей чувствительности, хотя бы показать вам безграничную благодарность, коей я плачу за всю вашу доброту ко мне, вы бы поверили в чувства нашего поколения.

Но что это за критика на ходу, наспех и все это в полной табачного дыма кордегардии, где шумят 58 солдат… Не слишком ли много для философа я отдаю воли своему воображению; как бы меня не приняли за поэта.

2 июня

«Капут», или Всеобщий язык

Мы разговаривали на днях о пользе всемирного языка, который облегчил бы сношения между странами; так вот, такой язык существует, и мы обязаны им опять же французам.

Я приезжаю в город, спрашиваю сукна, купец показывает мне образец, я хочу лучшего, но не умею объяснить это. Но вот то сукно уносят, и мое желание сейчас же исполняют.

Мой хозяин рассказывает какую-то длинную историю, я вижу, что он волнуется, разгорячается, ожидает моего сочувствия, но не понимаю его. Он говорит: «Капут», и вот я понял его и знаю, что он просит помощи.

Мне принесли хороших плодов, прекрасного печенья, я хочу выразить благодарность, нужно что-то сказать. «Не капут», – говорю я ребенку, и он убегает вполне довольный.

Мне понравилась грация и наивность Доротеи. Я уже много раз болтал с ней; каждый день, совершая прогулку, я прохожу мимо её сада, вижу, как она работает там вместе с матерью, бросаю ей взгляд и улыбку; вчера, подойдя поближе, я сказал ей с обиженным видом: «Всё капут». Доротея, нежно улыбнувшись, отвечала: «Нет, не капут». Она меня поняла, я её понял, и с тех пор мы всегда рады встречам.

Позавчера мы впервые играли в мяч, в первый раз несколько офицеров собрались вместе, и радость не покидала нас. В час ночи мы все еще не расставались, толпа поселян, всеобщее веселье – все это являло приятную картину. Если бы к этому отнеслись всерьез, я охотно посвятил бы себя устройству таких забав, но одни опаздывают, другие забывают прийти, и дело не совсем идет на лад. Увы, скромные удовольствия, которые должны заменить нам развлечения столицы, чисты и невинны, но не настолько привлекательны, чтобы заменить в моих глазах те, которые я испытал в изящных гостиных Петербурга.

14 июня

Отчет

Как, 12 дней без строки, 12 дней без единого рисунка? Должно быть, молодой человек был очень рассеян, если пренебрег занятиями, избавляющими его от скуки. Да, я был рассеян, но это рассеяние произвела скука, знакомая мне апатия, которая имеет все симптомы лени.

Вы встречаете русского человека самого простого сословия, вас восхищает его образцовое поведение, поражает щепетильная точность, с коей он выполняет свои обязанности, отказываясь совершенно от крепких напитков, даже избегая их. Но стоит одной капле коснуться его уст – всё кончено, на неделю или две он теряет рассудок, пока какой-нибудь случай не приводит его в себя и он не возвращается к прежнему хорошему поведению. Я русский, и моя лень подобна запою таких людей. А я ведь немало делал, не правда ли? Если бы французы не забрали мой дневник, вы бы увидели, как после тяжелого перехода, зная, что через несколько часов нас ждет еще более утомительный марш, я находил удовольствие в том, чтобы запечатлевать на бумаге даже незначительные обстоятельства дня, только чтобы не поддаться лени.

Так вот тот самый человек, который совсем недавно казался неутомимым, приезжает на квартиры, зная, что останется там в течение некоторого времени и сможет распоряжаться частью этого времени по своему желанию: не правда ли, он наделает чудес? Сколько рисунков, сколько глав!

Ничего подобного. В первый день он отдыхает, отложив все на завтра, завтра – то же самое, и так проходят две недели, а он даже не приближался к письменному столу. Чем же он занимался? Ходил каждое утро на карусель – не кататься, а смотреть, как катаются, обедал кое-как на воздухе, вечером занимался тем же, скучая и в то же время избегая оставаться в одиночестве, словно боясь лишиться участия в удовольствиях окружающих; в 9 часов голова у него тяжелела, на ум ничего не шло, и он засыпал беспробудным сном.

Утром бьет уже 10 часов, а он все еще не вставал; предвидя такое же скучное утро, он словно боится возвращения дня и старается продлить ночь, валяясь в постели.

Когда на меня находит такой приступ, вывести из него может какой-нибудь пустяк, какое-нибудь незначительное, но необычное обстоятельство.

Вот уже четыре дня, как я веду себя так: все порядочные люди успевают переделать половину дневных дел, все заняты, уже

пробило 10 часов, а я, закрыв ставни и создав себе искусственную ночь, валяюсь в постели, раздумывая о том, что, к сожалению, нельзя проспать весь день.

Сильный порыв ветра раскрывает окно, пропускает лучи солнца и пробуждает назойливую стаю мух, которые, как настоящая казнь египетская для лентяев, набрасываются на меня. Я закрываю лицо руками – они кусают руки, закрываюсь с головой – их дурацкое жужжание раздражает меня и заставляет ругаться; и все же я не предвижу занятия, настолько приятного, чтобы оно заставило меня встать с постели.

Вошел Ломан, он принес мне письмо: приехал г-н Малерб[173], только от меня зависит броситься в его объятия. Я сразу становлюсь деятельным. Ехать можно будет только через несколько часов, но я уже одет, собрался, велел приготовить лошадей; день опять мне кажется невыносимо длинным, но теперь уже из-за нетерпеливого ожидания. Пробило семь часов. Я предусмотрительно рассчитал, что солнце зайдет через два часа и выезжать надо сейчас, чтобы лошадям было легче.

Растянувшись в маленькой повозке, в которой я уже проехал 500 верст, я оставляю Рейхенбах и въезжаю в длинную долину, украшенную прекрасными селениями. По мере того как я приближаюсь к Стрелену, солнце опускается за вершины Карпатских гор. Вот оно позолотило вершины, окрасило все пурпурным светом, вот его уже не видно, пропал даже отблеск его лучей на облаках, ночь незаметно распростерла свои гигантские крылья, стало совсем темно, а до Стрелена еще больше мили.

Я мало размышлял в пути. Повидать своего воспитателя после полутора лет разлуки – такое счастье, что отдаешься всей душой предвкушаемой радости. Я вспоминал прошлое, думал о том, что ему расскажу, что он мне расскажет, и, переходя от воспоминания к воспоминанию, не заметил, как добрался до ворот Стрелена и въехал в предместье этого города. Была ночь, лошади уехали, они пробежали 35 верст, и Арапка, бедная Арапка, к которой я так часто бываю несправедлив, замедлила шаг; чтобы заставить ее бежать, потребовались удары кнута, каждый из которых ранил мою совесть. Я решил остановиться и дать отдых лошадям.

Все гостиницы были полны, я вошел в последнюю. Навстречу мне из трёх разных дверей выскочили старуха, трактирщик и черноглазая трактирная служанка, рослая и дебелая. Я просил – тщетно, грозил – напрасно, я повышал голос – служанка кричала громче и, уперев руки в боки, наговорила мне тысячу оскорблений, не обращая внимания на мои слова и преградив мне дорогу, когда я хотел войти. Гвардейский офицер,

порядочный человек, богатый, бедный, без приюта, – они ничего не хотели слышать. Я узнал, что там стоит прусский офицер, и так как воину свойственно быть учтивым к товарищам и понимать затруднения других, я попросил его сойти. Выйти ко мне, предложить мне свою комнату и подняться со мной туда отняло у него меньше времени, чем мне потребовалось, чтобы принять его предложение. Похвалив достоинства русских войск, чтобы иметь возможность отдать справедливость и войскам его нации, назвав наших полководцев и справившись об именах его начальников, я предложил ему ложиться, и, не заставив себя долго просить, мы растянулись на своих постелях. Едва начало светать, как я прервал свой сон и, не протерев глаз, пустился в дорогу. Я дремал от усталости, толчки повозки будили меня всякую минуту. Наконец, я увидел издалека этот городок Гроткау, сейчас столь драгоценный для меня. Я подстегнул лошадей и через несколько мгновений оказался в объятиях г-на Малерба.

Вы, гордящиеся чувствительным сердцем, постоянством в привязанностях, способностью испытывать благодарность за содеянное для вас, вообразите себе первые мгновения нашей встречи и все наслаждение, испытанное мною в течение трех дней. Почти все время мы были наедине, только иногда к нам присоединялся третий друг – Владимир; мы говорили только о себе, о прошлом… Я был очень огорчен, когда долг заставил меня уехать. Возвратный путь был менее приятным, меня занимали теперь уже прошлые радости, что касается будущего, я пытался строить какие-то планы.

Переночевав в крестьянском доме, я в три часа утра пустился в путь, и к шести увидел издалека громадные горы и колокольню Бюллоу. Вот я и вернулся и, несмотря на прекрасные планы, уделяю своим занятиям не больше времени, чем прежде, скучаю почти столько же, краски и кисти мои пришли в самый ужасный беспорядок.

16 июня

Болезнь приходит галопом, а уходит шагом, говаривала г-жа Нейфельд. Беспокойство, которое причиняют мне ноги, заставило меня вспомнить эту пословицу. Что же это, за пять месяцев не вылечиться от слабости, которая обычно проходит в две недели?.. Вчера после ученья я почувствовал, что ноги у меня ослабели более обычного, и решил отдаться в руки врачей, не выходить из комнаты, отказаться от всех удовольствий, разделяемых мною с товарищами, и даже от созерцания каруселей.

Что может быть нелепее, чем запрещение больному выезжать на прогулки, необходимые для его здоровья? А таково положение

офицера: пусть у него только палец поврежден, он не имеет права выйти за порог. И в то же время этот несправедливый закон необходим, чтобы предотвратить злоупотребления. Как он ни тяжёл для нас, мы подчиняемся ему, чтобы не приходилось терпеть несправедливостей; все мы находим его слишком строгим, и все соблюдаем. Вы скажете, что только дети способны к такому рабскому послушанию, что только скоты бывают так покорны, – но их счастье надежнее вашего, и может быть, только воину доступна истинная свобода.

17 июня

Различные размышления

Я не настолько испорчен, чтобы считать себя совершенством; поэтому я нередко начинаю раздумывать о себе. Опять тщеславие! Я обнаруживаю его в самых потаенных уголках своего сердца и вижу, что самые простые проступки бывают внушены или руководимы им.

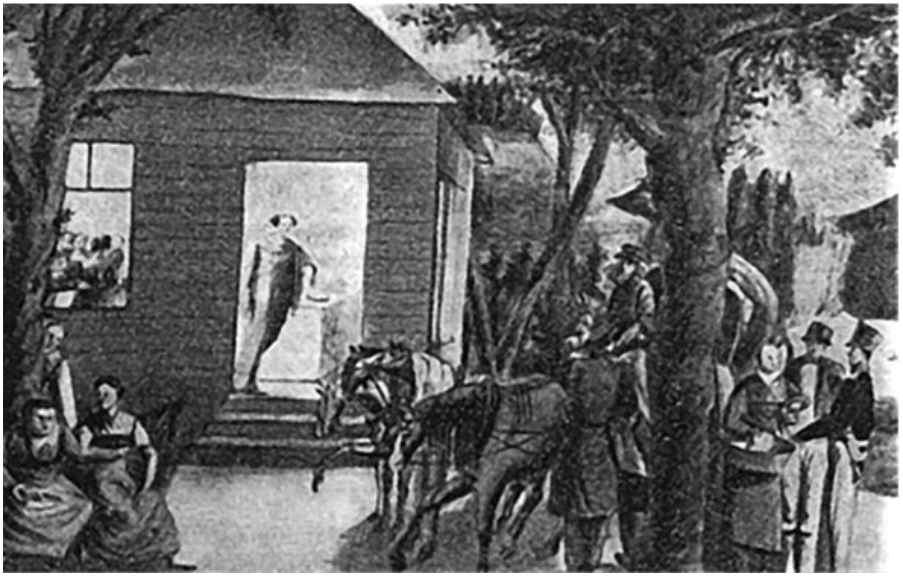
Человек – это машина, приводимая в действие разумом; совесть и рассудок бдительно следят за игрой наших побуждений, но если они отвлекутся, ничто не может идти хорошо.

Я достаточно знаю себя, чтобы владеть собой, чтобы улавливать все движения своей души, и отчасти мне это удается, и нередко я бываю доволен своим поведением. Но откуда же эти недели тоски, так часто повторяющиеся? Разум в это время не руководит мною; устав сдерживать страсти, побуждаемый тщеславием, желанием блистать, я слишком даю волю самолюбию… И тогда – прощай душевный покой, две недели меня мучит тоска.

Рожденный в кругу, где все пользуются более или менее значительным состоянием, я страдаю от невозможности тянуться за другими; темные тучи заволакивают даль, будущее представляется мне ужасным, несколько раз я доходил даже до того, что считал своим долгом отказ от счастья; страсти как раз в это время терзают меня с особенной силой; я испытываю мучительное волнение; обычные занятия кажутся мне скучными; я ищу развлечения в компании богачей, утешаясь тем, что порицаю их; и это поистине ужасное для меня состояние продолжается до тех пор, пока какой-нибудь случай не пробудит меня, не покажет мне все зло и мерзость моего поведения, пока разум, столько времени пребывавший втуне, не восстановит свою власть – тогда я вновь спокоен и счастлив.

Не уметь стерпеть шутку, не уметь повернуть ее против того, кто хотел надсмеяться над вами, не уметь просто посмеяться вместе с другими над своими недостатками, куда это годится! –

сказал я вчера Клеонту. Вчера Дамис прохаживался на мой счет в присутствии нескольких человек… Я краснел, смущался и до сих пор не могу простить Дамису его шуток. Дорант просто дурак, который хочет показать, что умеет разговаривать. Он имеет больше успеха, чем я, его слушают с удовольствием, развлекаются его речами, ищут его общества; а я удаляюсь, избегаю показываться на глаза, стараюсь даже не являться в гости, а втайне чувствую себя обиженным. Я не хочу, чтобы за мной гонялись, как за ним, но не хочу, и чтобы ему оказывали такой прием. Когда имеешь самолюбие, всегда кажется, что все только на тебя и смотрят, стесняешься, принимаешь искусственные позы, не решаешься говорить или рассуждаешь неискренне, и тебя находят педантом.



Вход на бал в Альтвассере, 23 июня 1813 г.
Рисунок А. В. Чичерина. Военный дневник. 1812–1813 гг.

Я ненавижу всякую несправедливость; встречаясь с нарушением равенства, я испытываю такое сильное возмущение, что теряю власть над собой и могу сам совершить несправедливость.

Мнение, которое я составил себе о людях, внушает мне так мало уважения к их словам, что я часто не обращаю на них внимания. Многие принимают это за гордость.

У меня нет состояния, а я родился мотом. Желание блистать экипажами, костюмом, праздниками, обедами внушается тщеславием. Но желание платить за все больше, чем спрашивают, неумение сдерживать себя, ограничивать свои прихоти зависит от привычки и склонности к расточительности. Этот недостаток причиняет мне особенно много огорчений, уже пять лет я стараюсь, а мне нисколько не удается его подавить.

И теперь, уже наученный опытом болезни, я оказался вновь без лошадей, без платья; и вот я получаю от батюшки 800 руб., получаю жалованье, мне возвращают несколько долгов… И вот уже 1 тыс. руб. как не бывало (с тех пор, как мы проходили Дрезден). У меня оставалось менее тысячи. Я вбил себе в голову устроить состязания. Мысль прекрасная, несомненно, ведь это способствует сближению офицеров, а мне напоминало о веселье, забытом за 15 месяцев, и это вполне невинное развлечение. Но вместо того чтобы определить сюда 200 руб., я истратил, сам не знаю как, 500. И почему? Потому что там, где надо было дать талер, я давал два, потому что я платил втрое за работу, которую

могли бы сделать солдаты. Назавтра мне пришлось возобновить запасы по хозяйству, я дал 5 руб. музыканту, 10 – одному унтер-офицеру, и, не знаю как, прошла неделя, а у меня ни лошадей, ни платья, ни денег.

Если разобраться в том, как это получилось, я почти не виноват. Но никто этого не знает и не хочет знать; и меня упрекнули сегодня за то, что я не мог участвовать в параде. Конечно, в такой краткий срок я не мог бы достать все необходимое, но я даже не пытался это сделать, и в этом я целиком повинен.

Если перемирие закончится, мне придется совершать марши пешком, винить в этом надо будет только самого себя, и я не только не стану жаловаться, но найду это наказание совершенно заслуженным.

Клеонт – мой друг, я вижу в нем недостатки, которые мне трудно побороть, и другие мешают мне в этом. Вместо того чтобы действовать разумно и дружески, я часто теряю терпение и пытаюсь исправить его насмешкой. Он раздражается, думает, что я хочу покрасоваться за его счет, дружба его хладеет; его неловкие нападки на меня показывают, что он думает, будто возбуждает во мне зависть.

Бродячий арфист

Я всегда жалел тех несчастных, которые вынуждены добывать себе на жизнь, развлекая других. Нищий знает, по крайней мере, что чем страшнее его увечье, тем скорее ему окажут помощь. Все к ним привыкли, и даже если нищий не ходит побираться по улицам, он может надеяться, что какая-нибудь милосердная душа сжалится над ним.

Но эти несчастные, бродяги по ремеслу, оказываются все время в чужих краях, где их никто не знает. Они редко бывают хорошими музыкантами и обычно не столько доставляют удовольствие, сколько вызывают жалость, а им надо заботиться о том, что о них подумают. Вечно обижаемые, вечно гонимые, они бродят из страны в страну, и самая недолгая болезнь повергает их в бедствия страшнейшей нужды. Сегодня днем мы беседовали и смеялись, когда нечто похожее на звуки арфы прервало наше веселье. Это был цыган, развлекавший таким образом честной народ, в чем ему помогала маленькая девочка, аккомпанировавшая отцу на большом тамбурине.

Безжалостный отец! – мысленно обратился я к нему. Вместо того чтобы доверить свою дочь родным, друзьям, наконец, родным местам, вместо того чтобы обеспечить ей покой и благополучие, ты, когда она едва научилась лепетать,

вынуждаешь ее к такому неприятному и механическому занятию, отупляя и ожесточая ее.

Взгляд девочки скользил окрест; когда отец делал ей знак, она начинала бить сильнее, довольно точно соблюдая такт, так что видно было, что другого занятия она в жизни не знала. Признаюсь, сия мысль так возмутила мою душу, что это зрелище нисколько не развлекло меня. Унижение моих ближних унижало меня самого. Чтобы отвлечься, я отошел в сторону… Еще более скорбная картина представилась мне.

В доме, где я живу, есть бедный старик, больной эпилепсией. Всеми покинутый, он зарабатывает себе на жизнь самой черной работой; я часто вижу, как он бродит, всегда один, скрестив руки, вздымая к небу скорбный и робкий взор. Он старается избегать всех, или, может быть, на него стараются не обращать внимания. Единственное его утешение – ребенок, с которым он играет. Когда дитя спит, он садится возле и сторожит его покой. Иногда он берёт тележку, сажает в нее мальчика и развлекается, катая его, но глаза его остаются скорбными, и я еще ни разу не видел улыбки на его устах.

В ту минуту, когда мне хотелось развлечься, я увидел его сидящего в тени дерева. Ни музыка, ни игры его не веселили; казалось, он весь погружен в свое несчастье. Это зрелище и сочувствие, которое я к нему испытываю, еще более возмутили мою душу, и целый час я не мог заставить свое воображение умолкнуть.

22 июня

Путешествие на воды Альтвассера

Мне посоветовали принять несколько ванн; лекарь, давший мне этот совет, сам нуждался в купаниях; Якушкин, заболевший лихорадкой, хотел развлечься; итак, вчера я решился на это путешествие, а сегодня, после скромного обеда, мы пустились в дорогу вместе с лекарем. Мы долго ехали меж двух горных цепей; Петерсвальде и Лентмансдорф остались позади, погода была очень приятная. Довольно прохладный ветер облегчал дорогу лошадям, а нам позволял легче переносить жару.

Наконец, мы въехали в горы, пришлось проделать еще восемь верст по скверной дороге. Как ни прелестны были живописные долины и холмы, купы деревьев и селения, разбросанные по равнине, дорожная тряска так измучила меня, что я даже не обрадовался, увидев издалека выходы каменного угля, предвещающие близость Альтвассера. Куски угля валялись на пути, и я уже с опасением думал о том, что из себя представляет это «жилище старости», когда передо мной открылась глубокая

долина, а в ней прелестная, очень живописно расположенная деревенька.

Среди нее протекал ручеек, орошавший все ее уголки; разбросанные домики окружены были садами, улицы чисты, и места для прогулок радовали взор простором и сельской свободой.

Мы прибыли очень удачно. День был воскресный, и в соседней гостинице, как раз рядом с которой мы вышли из коляски, начинался бал. Обойдя сады, я решил взглянуть на него, но так как я не был одет для праздника, остановился возле сеней и стал разглядывать входящих. Несколько русских экипажей показали мне, что в числе собравшихся были и мои соотечественники, и я загорелся любопытством повидать их. Забавно было наблюдать армейских офицеров с их претензиями на изящество, наряженных со возможным щегольством, обмахивавшихся белыми платками и размахивавших руками в такт ходьбе.

Трактирщик с очень гордым видом распоряжался устройством праздника, захлопотавшиеся служанки бегали взад и вперед, а я, закутавшись в шинель, предался размышлениям, принявшим философское направление, когда новое явление привлекло мое внимание. Чудный голос зовет лакея, я подымаю голову; это молодая женщина, приехавшая на бал, отправляет домой свое дитя, муж взял ребенка на руки и посадил его в коляску, а мать всё стояла на дороге и провожала его взглядом. Какая женщина! Тот же цвет лица, те же глаза, те же локоны, та же грация движений – всё напоминало мне прелестную А… Невольно я устремился к этой молодой женщине. Я никого не видел, кроме неё, и, даже когда она уже вошла в зал, пытался разыскать ее среди толпы. Я не мог успокоиться; мне хотелось увидеть её еще раз, чтобы вспомнить божественные черты, запечатленные в моем сердце. После долгих поисков я взобрался на лестницу, дотянулся оттуда до окна и увидел весь бальный зал. Все красавицы прошли передо мною одна за другой, но через час я должен был, к своему горю, убедиться, что она уже уехала. Печальный, я воротился к себе и у дверей увидел старуху-гадалку. Я бросил ей талер и попросил предсказать мою судьбу.

– Вы будете счастливы, – оказала она. – Вас любят и долго будут любить. Скоро вы вновь увидите ту, которую любите.

– Я увижу её! – воскликнул я, оставив старуху, и эта мысль заставила меня забыть молодую мать, показавшуюся мне столь интересной.

23 июня

Я приготовился посвятить весь день купальням и описать их. Каково же было мое изумление! Большая часть живущих здесь – уроды, лишь у немногих наружность свидетельствует о совершенном здоровье. Купальни же – просто чаны с горячей водой, куда залезают поодиночке; нет ни гостиной, где собиралось бы общество, ни общества; да и вообще, они не стоят даже этих пяти отрок.

Но тема рисунка была уже у меня готова. Молодая мать не выходила у меня из головы, и никогда, может быть, я не рисовал с таким увлечением, как в этот раз.

Само селение зато прекрасно. Горные склоны скрыты за холмами, ущельями, обрывами, поросшими молодыми деревьями; всё выглядит свежо и весело и дышит летом.

Однако вдруг хлынул ливень: в горах жить-таки неприятно. С тех пор как мы стали лагерем в Бюллоу, уже не раз шли дожди; ветреные дни и холодные ночи заставляют нас все больше жалеть о России.

24 июня

Чтобы разнообразить немного наше времяпровождение здесь, мы решили посетить замок, находящийся в этом кантоне. Так как до него всего несколько верст, мы отправились туда сегодня утром. Дорога шла среди гор, и я неустанно любовался красотой местности. Ваша Швейцария, любезный друг, не может быть прекраснее; могла ли природа создать что-либо великолепнее этих гор? Тут можно восхищаться и трудолюбием человека: крутые склоны взрыхлены плугом, и на них зреют прекрасные хлеба; скала, казалось, преградила путь плугу, но он обошел ее, и вот вдали, на хребте, тоже желтеет нива. Из всякого ущелья вытекает ручей, радующий взор; разбросанные там и сям хижины оживляют пейзаж и манят путника остановиться.

Длиннейшие липовые и тополевые аллеи свидетельствовали о близости замка. И действительно, вскоре мы увидели павильон на горе. Спуск привел нас к большой искусственной террасе, украшенной благоухающими очаровательными цветами и как бы окаймлявшей сад и растущие на возвышенности купы дерев. Громадное здание замковых ворот отдано под канцелярию и контору. Там живет также привратник. Несколько далее находятся весьма изрядные двухэтажные службы. Квадратный двор украшен расположенными у стен статуями и фонарями в готическом вкусе, весьма внушительными. Замок стоит в глубине двора, словно для того, чтобы поражать своей красотой.

Всё это устроено на громадной скале, отделенной от других скал лишь ручьями и глубокими ущельями.

Со стороны двора замок имеет три этажа, а со стороны обрывов – пять и шесть. Среднюю часть его занимает громадный зал в готическом стиле. Длинные коридоры, двусветные внутренние дворики, великолепные лестницы говорят о богатстве графа Гогенберга – его владельца.

С башни замка открывается вид еще более прекрасный. Мы поднялись только до первого балкона и оттуда уже могли различать Бреславль, Штригау и Свейдниц. Далее горная цепь обрывалась, за ней шла огромная равнина, потом опять горы; с башни можно озирать местность на 100 вёрст кругом.

Однако мы проголодались, ибо если красоты природы питают душу, то тело утомляется от лицезрения их. Нас проводили в трактир – великолепное здание, кое мы заметили еще по дороге сюда и чуть было не приняли за самый замок. Мы подкрепились тем, что там было. Я взял несколько аккордов на клавесине, а затем открыл лежавшую на столе большую книгу, куда посетители заносят свои имена. Там я обнаружил немецкую баронессу с двумя сыновьями, тремя дочерьми, зятем и четырьмя племянниками, со всеми их титулами, выписанными крупными буквами, и с указанием дня, года и часа, когда они посетили сии места.

Мне попались там имена нескольких соотечественников; их неловкие выражения заставили бы меня рассмеяться, если б я не был тронут видом родных букв среди записей чужих и безразличных мне людей. Один, например, чтобы выразить, насколько ему дорого отечество, внёс в книгу стихи, украденные им у поэта, подписавши под ними свое имя. Другой, возмущенный невежеством сего похитителя, написал под ними:

«Oui, Derjavine le dit,
Mais pas comme vous faites.
II dit avec esprit,
Et vous comme une bete»[174].

Я имел наивность долго смеяться над этой незначительной эпиграммой. Написав в книге немецкие стихи от имени прусского офицера и еще разные глупости, над которыми, наверно, посмеются наши соотечественники, мы отправились осматривать старый замок.

Пришлось пойти назад, спуститься с горы, опять подняться и вновь спуститься, и, наконец, после долгого подъема по извилистой дороге, окруженной купами деревьев, мы увидели развалины башни, подъемный мост, зубчатую стену и поняли, что добрались до замка. Сторож встретил нас с изрядной учтивостью

и показал нам все помещения. Этому замку 11 столетий, он совершенно разрушился. Граф, владелец его, не желая входить в страшные расходы ради того, что может служить только предметом любопытства, ограничился тем, что 17 лет назад распорядился восстановить две из обрушившихся стен и, воспользовавшись лучше сохранившимися частями здания, построить маленький замок, воспроизводящий в миниатюре древнюю крепость его предков. Сводчатые залы, гобелены на стенах, резная деревянная мебель с позолотой, палата совета, очень красивая часовня, сложенные в амбразуре кости, панцири, щиты, рыцарские доспехи, всяческое оружие, копья, мечи, пищали – всё, одним словом, волновало наше воображение и напоминало о прошедших веках. Лишь часть подземелий была очищена от земли, и сторож с большой важностью показал мне своды, сложенные 11 веков назад, почитая своей обязанностью указывать каждый починенный или впоследствии добавленный кусок. Я увидел в башне цепи, обрубок дерева, служивший седалищем несчастному узнику, закончившему там свои печальные дни, скелеты; все говорило о страданиях и злой судьбе. Я попробовал заглянуть в расселину скалы; даже и она была закрыта решеткой, так что солнечный луч едва мог сквозь нее проникнуть.

Сверху башни мы увидели большой замок во всей его красе. Скала, на которой стоят эти развалины, ещё выше, еще круче других; тропинка, ведущая к Фюрстенштейну, вдоль которой бежит ручеек, имеет в длину семь верст – настолько неправильны и неровны очертания замка. По одну сторону подъемного моста находится квадратная площадка, украшенная готическим павильоном; 13 лет тому назад он служил гостиной королеве, в чью честь граф устроил турнир и праздник.

Я поблагодарил сторожа и отправился в обратный путь, довольный, что видел эти руины, хоть и реставрированные, хоть в маленьком замке мебель была не 11-вековой давности, а кое-где весьма явственно обнаруживался современный вкус.

Я видел ваши владения, граф Гогенберг, и смею сказать, что вы поскупились. Потрать вы каких-нибудь сто тысяч экю, вы доставили бы мне гораздо больше удовольствия. Но если вы сами довольны, ваша цель достигнута.

26 июня

Прогуливаясь вчера вечером, я восхищался красотой селения и множеством гор, вздымающихся амфитеатром вокруг места купаний. Свежая веселая зелень прикрывает наготу сих скал, смягчая их суровые очертания, и прогоняет мрачные мысли,

внушаемые видом дикой природы.

Я подошел к угольным копям и думал спуститься в них, но было уже поздно, и мне пришлось ограничиться осмотром их извне. На краю большой дороги находится пруд, оранжевый цвет воды которого свидетельствует, что она прошла сквозь залежи железа и угля. По трубе, проложенной под дорогой, протекает речка, очень узкая и мелкая; местами она расширяется, так что по ней может проплыть лодка, а затем уходит под землю на расстояние до двух верст.

В разных местах виднеются входы, откуда начинаются длинные галереи, ведущие к подземельям, где добывают уголь. Там ходят при свете факелов. Рудокопы в черной одежде, грозящие обрушиться стены, жилы железа и пласты угля, подпертые столбами, эхо, откликающееся на каждое движение, мрак, в который все погружено, – все это кажется царством смерти. Воздух здесь настолько тяжел, что немногие соглашаются дождаться возвращения лодки.

В этих громадных подземельях есть переходы, сообщающиеся с другими подземельями, откуда лестница в 300 ступеней ведет на гору; там можно увидеть небо и вдохнуть свежий воздух. Чтобы пройти по копям и осмотреть их, нужно не меньше трех часов и крепкое здоровье. Однако многие предпринимают это путешествие из чистого любопытства, а прусский наследный принц даже обедал в одном из подземелий.

28 июня

Уж второй день, как я вернулся в лагерь; вернулся и никуда больше не поеду. Через восемь дней перемирие кончается. Говорят, что время не имеет крыл… А разум мне шепчет на ухо: говорят, что ты не дурак.

Разумный человек сумел бы распределить шесть недель так, чтобы хватило времени и на удовольствия, и на занятия, и на выполнение обязанностей. Когда я приехал сюда, у меня была 1000 руб. в кармане, были краски и товарищи. Я сделал только пять рисунков, написал всего три главы… Что ж, не удовольствия ли отвлекали меня? Нет, я проводил дни с людьми, мне безразличными, и разговаривал большей частью о самых обыденных вещах. Я совсем не занимался, я не открывал книг и до сих пор – а теперь уж некогда – так и не взял предложенный мне томик Курпана, писателя забавного и поучительного.

У молодого человека была 1000 руб. Он, конечно, заказал себе новое платье, и эти докучные заботы отняли у него много времени? Не тут-то было! У меня нет сейчас даже форменного кивера, нет новых сапог, только одна лошадь и одна смена

платья. Неужто я совсем потерял голову? Не знаю, может быть, и так. Только оказавшись совсем без гроша, я вспомнил о том, чего мне недостает. Но, по справедливости говоря, я никогда не считал себя способным на такое нелепое и бестолковое поведение.

2 июля

Женщины

Неужели ревность умеет пробираться в самые невинные сердца и осквернять их чистоту своим зловонным дыханием? Возможно ли, чтобы зависть и ревность не были внушены молодой прекрасной женщине светом, а родились сами в ее душе? Эта мысль мучила меня, я всегда был защитником прекрасного пола, который связывает наше общество дружеским единением. Можно ли жаловаться на природу, сделавшую эти узы более приятными, чем прочными? Нет, говорил я. Общество внушает нам пороки, без него женщины были бы совершенством. В его пустой и невнятной суете они научаются остерегаться мужчин, отвечать на их любовь (из осторожности) притворством, злословить друг против друга, во всем завидовать друг другу, тешить и вскармливать свое самолюбие. Непрестанно думая об этом, я надеялся найти среди крестьянок чистоту чувств, которая составляет главнейшую часть женского очарования.

Вчера я дразнил Розу тем, что она долго гуляла. «Нет, – сказала она, – мне не свойственно увлекаться удовольствиями; я всех избегаю, чтобы не знать искушений».

– А её уже не раз удавалось уговорить, – шепнула мне на ухо Тереза, – и этот корсаж она сшила не на доходы от продажи плодов.

– Ты её, значит, не любишь? – сказал я Терезе.

– Нет, – отвечала Тереза, – природа дала мне больше прелести, и меня находят более хорошенькой; вот почему я не ненавижу.

Я посмотрел на нее пораженный: мне казалось, что предо мной светская женщина, что я в гостиной, но увы, приходилось верить глазам: оказывается, и крестьянки могут быть злыми кокетками, и они подвержены ревности.

Доротея понравилась мне своей наивной детской грацией, но Дамон сразу же, как только мы приехали сюда, сделался ее поклонником. Однако она показалась ему слишком юной, может быть, слишком добродетельной, и через несколько дней он перестал с ней видеться. А девочка его любит. Видно, как она скучает по нем. Сегодня, проходя под ее окном, я подразнил ее, пошутил над ее увлечением. Она защищалась изо всех сил, но я

успел заметить, как она смахнула слезу, говоря о том, что Дамон ее покинул. Я не очень нападал на нее, жалея ее невинность и ее чувство; рядом оказался Клеонт, все время меня перебивавший. Доротея, однако, оказывала предпочтение мне. Чтобы проверить, кокетка ли она, я сделал вид, что собираюсь уйти, и пожелал ей приятно провести время.

– Послушайте, – сказала она, – вы видели ту, которая увлекла Дамона? Не правда ли, она нехороша? Скажите ему, что дурно быть непостоянным. Вы, господа, не умеете любить одну, вам обязательно хочется покорять всех. – При твоей невинности, подумал я, и ты кокетка, и ты ревнуешь. До чего не доводит любовь! Увы, этот злой божок внушает мужчинам сильную страсть, нередко определяет их судьбу, властвует над ними и побеждает их; что же до женщин, он определяет их существование, лишает их рассудительности, портит их сердце, заполняет их жизнь огорчениями и заботами, отравляет все сердечные радости и лишает их той кротости, той ласковой прелести, которые суть единственные чары, удерживающие нас.

9 июля

Притча

Доркомен и Тирсис оба родились в бедности, осиротели в самом нежном возрасте и, кормясь милостью прохожих, не имели никаких средств к существованию. Наконец, оговорившись, они решили вместе покинуть родной город, чтобы поискать счастья, и с сумой за плечами отправились искать заработков. Доркомен, умеренный в своих потребностях и честный в поведении, остановился в первом городе, попавшемся им на пути, нашел службу с малым вознаграждением, постепенно скопил немного денег, поместил их так, чтобы они давали небольшой доход, и медленными шагами, стараясь не пропустить ничего, что давало бы самую малую выгоду, улучшил свое состояние; его терпение и умеренность были оценены по заслугам; лет через 20 он вернулся в свое родное селение богатый, счастливый и довольный.

У ворот ему встретился Тирсис с печатью несчастья на лице. От рождения тщеславный и честолюбивый, он не умел сокращать свои желания. Ему казалось слишком утомительным подыматься со ступени на ступень в поисках счастья; он не хотел трудиться, если не видел впереди значительных выгод; беспокойный, мятущийся, увлекаемый то тщеславием, то надеждой, он провел всю жизнь в беспокойстве и неопределенности; пропуская мелкие возможности улучшить свое состояние, он не умел удержать больших и вернулся на родину таким же, каким покинул ее, постарев на 20 лет и еще беднее, чем был.

Молодые люди, старайтесь извлечь поучение из всего, что видите. Безумец, глупец может дать иногда лучший урок, чем человек благоразумный.

– Ничего нет опаснее спора, одно мгновение может разрушить 10-летнюю дружбу, – говорил Дамон. – Я никогда не вступлю в спор с близким другом, потому что не могу отвечать за себя.

Я не хотел разговаривать с ним. Он всегда похваляется, что ни от кого не стерпит обиды, так что мы чувствовали, что он гораздо больше страшится претерпеть оскорбление, чем потерять друга. Напрасно я говорил ему, что, увлекаясь состязанием в остроумии, я ничего не испытываю, кроме дружбы к своему противнику, и готов заранее простить его горячность, если такая терпимость пойдет ему на пользу; что я всегда сохраню достаточно власти над собой, чтобы пытаться убедить его, не обижая; что другу можно простить и обидное слово, если умеешь ответить на него добрым советом… Он стоял на своем, и мне пришлось оставить его. А мне бы следовало, подобно Доркомену, извлечь пользу из той малой доли рассудка, которой не лишен Дамон.

Жоаш, который не знает света, который в 15 лет попал в общество молодых людей, скорее храбрых и дерзких, чем прямых и честных, не понимает других ответов, кроме «да» или «нет», и не верит, что можно убеждением примирить спорящих. Он считает, что во всяком разговоре нужно защищать свое маленькое самолюбие, а не свои принципы; и если вы даже докажете всему свету, что он ошибается, что его мысли ложны и противоречат человечности и чести, он всё-таки останется доволен собой, лишь бы ему удалось задеть вашу гордость и сохранить свою нетронутой. Всякий раз, как нам случается беседовать, он, не умея связать последовательно двух мыслей, ограничивается двумя-тремя репликами и затем несколькими оскорбительными словами, которые идут вовсе не от сердца и даже ему самому неприятны.

Сегодня мы опять поспорили, и опять все было так же. Мне ничего не удалось ему доказать, и я еще больше убедился в том, что он не способен к такой верной привязанности, которую я хочу видеть в своем друге, что в нем больше злости, чем рассудительности, и больше упрямства, чем разума. Каждый спор с ним оставляет меня все более равнодушным… Незаметно теряя друга, я могу также потерять терпение. Дамон был прав.

10 июля

Когда я вернулся вчера с довольно длительной прогулки,

слуга подошел ко мне и с ухмылкой доложил, что меня ждут дамы. Удивившись сначала, я быстро понял, что это за визит. Они ждали меня уже три часа, успели сыграть партию в пикет и, найдя на столе мою тетрадь, развлекались в ожидании разглядыванием рисунков. Несмотря на вычурность их наряда, фамильярность манер и образ жизни, который они избрали, я не мог решиться их выгнать. Даже в них мне хотелось уважать пол, составляющий счастье нашей жизни; я ограничился тем, что укрылся в своей комнате.

Обиженные, вероятно, моей нелюбезностью либо удивленные моей холодностью, после еще получаса ожидания они сложили платочки, расправили юбки и уныло потащились в город.

Что же это! Неужели испорченность может доходить до такой степени! Неужели наивный и добродетельный пол может опуститься до такой низости, до такого отвратительного бесстыдства!

– Спасибо! – сказал я хозяйке, которая думала доставить мне удовольствие, допустив дожидаться меня этих дам, которых она считала, видно, особами другого полета. – Если такие еще явятся, гоните их, чтобы вам не досталось. Мне больше нравится наивная и неловкая грация ваших поселянок; в прошлом, да и в будущем, я вижу достаточно радостей, чтобы не иметь нужды в таких недостойных существах.

11 июля

Опять о недостатках

Я родился довольно богатым, в настоящее время я очень беден, но батюшка никогда мне ни в чём не отказывал, так что я всегда имел достаточно на нужные расходы и даже швырял деньгами. Прекрасный повод, чтобы не просить денег у государя.

Батюшка оставил службу, он имел неприятности. Государь, вероятно, думает, что его состояние больше, чем на самом деле; иначе его щедрость обеспечила бы батюшке большое достояние, если бы судьба так упорно не преследовала моего отца.

Я никогда еще не брал ни от кого денег; я всегда считал преступлением лишать других необходимых им средств, чтобы тратить их на свои прихоти. Даже будучи в величайшей нужде, я не хотел просить денег, потому что они ушли бы на мои прихоти, а другим, может быть, нужны были на пропитание, на самое необходимое.

Наш новый генерал[175] явно показывает, что честь командовать нами отнюдь не радует его, он заботится о нас лишь в той мере, в какой это может быть замечено и может повлиять на его репутацию, а не потому, что стремится облегчить нам

существование. Поэтому я ещё менее склонен обращаться за деньгами к нему, чем к кому бы то ни было, так как мне пришлось бы из благодарности быть любезнее с ним, чем я бы хотел. На днях генерал, удивленный тем, что у него не просят денет, или желая придать себе достоинства, а может быть, и по влечению сердца, попросил у государя денег для офицеров. Я оказался в списке без моего ведома, и первое, что я сделал, услыхав об этом, было потребовать, чтобы меня исключили. На этот раз, подумал я, я еще менее могу согласиться принять деньги, ибо я не просил о них, а генерал дает их только тем, кого он считает нуждающимися. Это просто милость, которую он, а не государь, оказывает нам, и я не хочу быть в числе осчастливленных ею.

Русские в Париже.
Художник Б. Виллевальде. XIX век

Деньги получены в полку, меня не успели вычеркнуть из списка; подлая жадность твердит мне, что надо принять их. Боже мой, почему человек обречён видеть себя столь несовершенным во всех поступках! Решение твердое и разумное колеблемо вновь и вновь нечистым дыханием корысти. Я горжусь перед собой этим

отказом и теряю право на гордость из-за этих колебаний. Ну что ж, здесь тоже видна забота провидения. У меня и так, слава богу, хватает тщеславия. Что же получилось бы, соверши я такой поступок, который позволил бы мне забыть о моих недостатках?

12 июля

Когда-то моё воображение было очень богато, мне ничего не стоило найти тему для рисунка; если ничто подходящее не попадалось мне на глаза, я изображал себя самого в той позе, в какой был в ту минуту. «Так что же мне нарисовать?» и другие наброски в этом роде обязаны появлением на свет не самолюбию, а недостатку сюжетов. Но позднее я заметил неловкость слишком частых повторений и жалел тратить по два часа на предметы, в сущности мало для меня интересные, стал более разборчив и потому в последнее время рисую гораздо меньше.

А пейзажи? Ведь на них выезжают всегда путешественники; вы сами тоже, наверное, стали бы их рисовать; но что можно изобразить в пейзажном рисунке? Дома, деревья – всюду они одинаковы, разве что подпишешь под ними славное название из чужой страны, слишком далекой, чтобы можно было проверить точность изображения.

Я бросил палатку и вот уже несколько дней ночую в уголке своей комнаты, напоминающей мне чуть-чуть о том, как я жил в Петербурге; я поставил здесь столик с цветами, здесь я пишу, и мои занятия ускоряют бег времени. Прохаживаясь по комнате, я любовался сегодня эффектом драпировки: аккуратный уголок, устроенный с некоторыми претензиями на изящество, задрапирован висящими под потолком мундирами вперемежку с полотенцами; тут валяются сапоги, там стоят тарелки… – вот каков порядок в холостяцком хозяйстве.

Я хотел изобразить этот уголок со всем, что в нем есть, но Поль упросил меня нарисовать только комнату. Так я и сделал, и теперь мое предисловие осталось всуе. Уж лучше я стану вносить в тетрадь размышления, пришедшие мне в голову, пока я отдыхал в той позе, в какой вы меня здесь видите.

Человек, брошенный в наш мир, волнуется, бьется, завидует другим, трудится, учится, старается изо всех сил выделиться и продвинуться вперед, огорчается, увлекается, жертвует покоем и счастьем призрачным надеждам – такова история самых достойных, – и все улетает дымом.

– Да, – сказал мне Броглио позавчера, – но разве мы не обязаны действовать по совести, разве не должен всякий человек поставить перед собой цель и стремиться к ней? Этой целью должно быть добро, как он его по совести понимает.

Горе и радость через минуту перестают различаться, как минутою раньше мы их не ощущали.

Смирение, скромность – это маска, которую одевают, большею частью чтобы прикрыть свои недостатки.

Оргонт был бы более сдержан, если бы имел больше достоинств. Но он всегда нападает первым, потому что знает, что в любую минуту на него могут напасть и застать врасплох. Это называется тактикой хорошего воина.

Говорун, болтает так много не потому, что считает себя остроумнее других. Он прекрасно знает, что переходит границы, но надеется, что другие об этом не догадываются.

Начальник, обладающий преимуществом власти, должен чаще прощать проступки и не считать, что ему оказывают или намереваются оказывать недостаточное уважение.

Мы подчиняемся женщинам не потому, что жалеем их, а потому, что считаем их слишком слабыми, чтобы бороться с нами. Ничего нет милее, ничего нет обманчивее дружбы, она редко бывает основана на взаимном уважении. Проистекая из нужды, которую один имеет в другом, она рвется еще быстрее, чем возникает.

Любовь не лишает нас рассудка, но заставляет нас руководствоваться в своих поступках причинами второстепенными. Добившись любви, льстишь себя надеждой, что достиг полноты счастья, познал истину. Ничего нет на свете сладостнее любви. Не видеть той, которую любишь, – мука; увидишь ее хотя бы на минуту – и целый день счастлив.

29 июля

Лагерь в Зильберберге

Вот уже прошло два месяца, и незаметно пройдут последние 18 часов. Утешительная мысль для того, кто, не воюя по-настоящему, оторван от всех радостей и привязанностей.

Мы снова на биваках. Что я делал, чем занимался в течение этих двух месяцев, чем мне помянуть Бюллоу? Я мог бы провести эти месяцы с пользой и даже с удовольствием, но мне не хотелось этого, я даже сам искал скуки. Я в этом виноват, и мне за это расплачиваться. Вчера мы устроили бал для поселян – такой же, как уже один раз устраивали. У меня не хватило совести терзать клавесин, офицеры все разбрелись, каждый занятый своими интересами; девушек собралось мало; танцевали меньше, чем обычно; ужин прошел гораздо менее оживленно, чем всегда, и не успели часы пробить полночь, как мы уже встали из-за стола и разошлись, недовольные проведенным вечером. Будут ли о нас помнить в Бюллоу? Мой хозяин, увидев, что я ему не заплатил,

сделает недовольную мину и рассердится на меня. Но ведь мы всё время за все платили, наша щедрость увеличила благосостояние многих семейств. Поселянам было весело с нами, и, пережив в прошлом бедствия, они должны радоваться, что так легко отделались теперь.

Сегодня утром в 8 часов вся деревня гудела. Самый критический момент был, когда все стремились устроить свои дела. Старики, приготовившие подробный счёт, столь же фальшивый, сколь нелепый, представляли его стоявшим у них офицерам, надеясь на оплату. Девушки, оставив притворство, сами искали тех, от кого накануне убегали, и, обманывая наше безрассудство, надеялись получить прощальные подарки. Доротея тоже пришла попрощаться со мною, и хозяин мой представил мне счёт, тот и другая, обманутые в своих надеждах, утешились и проводили меня прощальной слезой.

В полдень бьёт барабан, по всем улицам идут роты, сзади бегут дети, толпятся женщины, у дверей и ворот полно народу, девушки раздают цветы, воинственные звуки музыки оживляют все лица, голова колонны выходит из деревни, вся деревня устремляется следом, и мы покидаем Бюллоу с торжественностью, которая могла бы трогать, если бы мы были доступны чувствительности.

Переход был нетруден, мы прошли всего полторы мили и стали биваком у подножия гор в прелестной долине, вечер прошел приятно, меня ждет спокойный сон… Я доволен.

30 июля. Лагерь в Неродах, в трех милях от Бюллоу

Мне давно хотелось посмотреть Зильберберг. Когда сегодня утром колонна двинулась в поход, я свернул с дороги и поехал смотреть эту крепость. В одной из долин, образуемых самой большой горой этого хребта, находится красивый городок Зильберберг. Он весь состоит из одной очень длинной улицы. Горные склоны украшены с обеих сторон садами и прелестными беседками. Когда подымаешься к замку, дома как будто постепенно уменьшаются, а с вершины горы кажется, что видишь очень точный план городка, словно эти веселые домики, цветущие сады и ровная чистая улица высунулись из недр земных.

Вся крепость со своими четырьмя башнями и куртинами высечена в скале и одета камнем; подступ к ней закрывают четыре бастиона неправильной формы и рвы глубиной более 50 футов, а башня подымается на высоту 90 футов.

Со стороны Нерод есть еще одно укрепление, под углом к равелину, а правее на холме находится батарея, размещенная в

нескольких фортах, соединенных переходами. Крепость устроена на самой недоступной стороне горного хребта, а еще выше, в направлении к Богемии, стоит еще одна башня, батареи которой возвышаются над большим пространством долин и дорог, и в то же время отчасти открыты, так что если неприятель их захватит, то он будет тревожим батареями главной крепости и конными отрядами. Кругом со всех сторон скалистые и поросшие лесом горы; дорога, ведущая к крепости, извилиста, неровна и очень тяжела.

Я долго ехал и наконец оказался почти на вершине горы. Копыта Арапки прозвенели по подъемному мосту, я хотел подскакать прямо к воротам, но тут окрик часового дал Арапке повод остановиться; я спешился, прошел внутрь цитадели и, справившись, где живет комендант, явился к нему, отчасти чтобы оказать ему любезность, отчасти чтобы обеспечить себе разрешение на осмотр крепости. Он разговаривал со мной очень учтиво, когда же часовой доложил о приезде генерала с большой свитой, комендант отправился встречать его в полном параде, а меня сопровождать поручил старому воину. В крепости нет жилых домов, она так мала, что имеет только один просторный двор, и жилищем для солдат служат казематы, но так как они устроены во всех стенах, то их вполне достаточно, фасады их устроены даже довольно изящно. Мы поднялись на сторожевую башню, откуда я мог разглядеть крепость во всех подробностях, восхищаясь невероятным трудом, которого стоило сие сооружение, и поражаясь его бесполезности, потому что природа укрепила это место не в пример сильнее искусства.

Нашего проводника звали Пейч (имя из комедии). Он живет здесь уже 30 лет и занимается тем, что показывает крепость, поэтому он не дал нам пропустить ни одного банкета, а напоследок заставил нас сойти в подземелье и пройти более сотни шагов по косому спуску, чтобы увидеть колодезь, откуда берут воду для гарнизона. Глубина этого колодезя 200 футов, и воду подымают при помощи машины; меня поразило, что два человека постоянно заняты этим и что машину не сумели настолько усовершенствовать, чтобы не пришлось таскать воду через все подземелье. Я очень смеялся хвастовству ветерана, уверявшего, что если неприятель захватит кавальер, то можно будет отступить в это подземелье. Он показал мне старую дверь со щелями, утверждая, что это бойницы для ружей, а также трап, капонир и другие оборонительные сооружения, устроенные под сводами.

– Но если неприятель запрет вас в подземелье, – сказал я старику, – вы не сможете оттуда выйти, разве только через

главный ров.

– Оно так, – отвечал он, – но ведь победа может перейти и в наши руки, а тогда мы будем осаждать здесь неприятеля.

Сердечно поблагодарив его за учтивость, я вложил ему в руку дукат; по его восторгу можно было понять, что эта сумма вдвое превышала все, что он получил за 30 лет службы.

Я пустился галопом назад. Мне захотелось услышать еще раз звон копыт Арапки по подъемному мосту, и я отпустил поводья. К несчастью, за мостом была глубокая колея, куда попали ее передние копыта, и, не удержавшись, она перекувырнулась, а я, увлеченный ее падением, перелетел через её голову и тоже перекувырнулся. У неё на ногах и на морде была кровь, но не беспокойтесь, ни я, ни она серьезно не пострадали, и эта катастрофа не помешала мне наслаждаться обратной дорогой. Погода была прекрасной, горная тропа проходила среди чудесных тенистых деревьев, ручейки сбегали там и сям по голым скалам; со мной был Фредерикс, и его приятная беседа развлекала меня. Мы не заметили, что колонна шла другим путем, и прискакали в лагерь двумя часами раньше её, совершив приятную прогулку вместо утомительного перехода.

31 июля

Дневка

Вот уже 18 месяцев, как продолжается кампания; мы познакомились со всякими биваками. Я привык к тому, что дождь загоняет нас в палатки и, когда появляется грозовая туча, предвещающая ливень, мы, подобно мухам, в ненастье собирающимся кучками на стене, вынуждены удалиться от всего света на пространстве двух квадратных аршин.

Я привык к тому, что самое сокровенное становится здесь всем известно. Я смеюсь – всем слышно, я плачу – всем видно, вся жизнь проходит на виду; в мою палатку, словно в придорожную корчму, заходит всякий, кому случится пройти мимо. Одному лень пройти через дверь, и он подымает полу палатки, заглядывает, замечает мой мрачный вид и ретируется восвояси, чтобы не разделять моей скуки. Другой видит, что я занят, но входит, я откладываю тетрадь, он берет ее и принимается читать. Я рисую – он начинает делать мне замечания; так, сегодня мне заявили, что два всадника, скачущих к Зильбербергу, слишком велики, чтобы крепость могла считаться неприступной. Это еще ничего: один советует делать в месяц не больше одного рисунка, но зато тщательно отделывать его; другой, мешая мне работать, требует, чтобы я показал ему все мои рисунки; хорошие манеры, такт и учтивость на биваках неведомы.

Сегодня мой суп засыпало песком. Что делать! Ветер поднял целое облако пыли, сорвал крышку с котелка, и суп испорчен.

В самую сию минуту, когда я пишу, музыка и песни мешают мне сосредоточиться. Сколько здесь досадного, а все же я люблю биваки. Здесь они особенно хороши и богаты всеми приятностями… Приятности – это уж чересчур, возражает рассудок, но все же не запрещает мне утверждать, что бивачная жизнь весела и разнообразна.

Как в громадных английских садах, где гуляющим предоставлено удовольствие углубляться в лабиринт извилистых тропинок, устраивают прямые просеки и полянки, чтобы нельзя было заблудиться, так и среди этих гор всюду видны составленные в пирамиды ружья, и эти пирамиды спускаются в долины, пересекают заросли, подымаются по склонам и показывают вам дорогу к расположению полков.

Нестройное скопление самых разнообразных палаток, кучи соломы и нарубленного хвороста – все это поражает беспорядком и разнообразием. Вот десяток лошадей привязан у копны свежескошенной травы, а рядом стоит кучер еще с косою в руке; чуть подале доят корову, а там чистят овощи; все приводит на ум деревню и сельские занятия, но сделайте еще шаг – и вы услышите литературную беседу, философский спор, словно в столичной гостиной. А в стороне, растянувшись на траве, несколько офицеров наслаждаются в аркадской обстановке обедом, приготовленным со всеми ухищрениями искусного повара.

Молодой человек держит в руке листок бумаги и пожирает его глазами, видно, он читает письмо от драгоценной его сердцу особы, страсти волнуют его душу, он весь поглощен своими воспоминаниями, далек от мира.

А рядом играет музыка, и много народу толпится вокруг музыкантов, все кричат, смеются, говорят, не слушая друг друга, всем весело, все полно жизни и бодрости…

Осторожнее, не наступите на спящего, видите, как он спокоен; он забыл обо всем, обо всех горестях и бедах, даже наше веселье не мешает ему.

Но что за ноги торчат со всех сторон из-под палатки? Она совсем маленькая, но 20 человек ухитрились засунуть туда головы, должно быть, они рассматривают что-то весьма интересное… Вглядитесь внимательнее – они играют в карты.

Посмотрите, какой блаженный вид у этого солдата, сидящего на охапке соломы в тени нескольких переплетенных веток; вот он подымается, неторопливо осматривается, укладывается поспать, а потом вновь садится, обводит все взором и опять ложится; так он

может провести несколько дней. Для него нет другого счастья, как хорошо пообедать и проспать несколько часов.

Вон кто-то скачет сюда, как он спешит, бока его коня окровавлены… Пустяки, просто какой-то адъютант, посланный своим генералом справиться о здоровье другого генерала.

Но к чему столько писать! Квадратная площадка перед палатками батальона – это сцена, на которой чуть не тысяча человек всех сословий разыгрывает все роли комедии нашей жизни. Тут они развлекаются, огорчаются, спят, гуляют, делают все, что приходится делать в жизни. Тут можно найти все характеры, все типы, все занятия; тут можно найти себе развлечение.

1 августа. Лагерь у города Полица в Богемии

Ещё немного о вчерашнем вечере. Шум музыки раздражал меня; неуместный визит вывел из себя; даже Делиль, чья поэма так подействовала на мое воображение новыми и обширными идеями, даже Делиль надоел мне. Я три раза перечитывал одну страницу, ничего не понимая, наконец, книжка выскользнула у меня из рук, глаза, утомленные игрой солнечных лучей, стали смыкаться, Морфей навеял на меня мрак, всегда его сопровождающий, – а все потому, что назавтра следовало встать в два часа утра. Хотя сон и клонил меня, но глаза мои еще открывались, и я вновь и вновь оглядывался окрест, стараясь запечатлеть в памяти эти горы; тысячи видений пришли на помощь воображению, и мне удалось соединить драгоценнейшие чары сна с очарованием действительности.

Мы стояли в горах. Луна, спустившаяся к вершинам скал, посылала вдаль свой печальный свет, ее лучи, терявшиеся на крутых склонах, отражались в хрустале ручьев и, преломляясь в их волнах, освещали купы дерев, разбросанные в долинах. Когда его высочество встретил нас в пути, небо уже окрасилось пурпуром, скромная боязливая луна, бледнея, пряталась за горами, листва трепетала, колеблемая крылами пробуждавшихся пташек, которые разнообразным, еще невнятным щебетанием приветствовали наступающее утро; воздух, словно напоенный соком маков, навевал на нас дремоту. Вот вершины деревьев стали светлее, легкий туман покрыл все вокруг… Мы долго шли вдоль небольшой речки… Вот, наконец, и граница. Дома, построенные по-другому, двуглавый орел, иначе одетые жители, белые мундиры и прочее – все говорило, что мы в другой стране.

Мы прошли через Браунау, раскинувшийся амфитеатром городок, который издалека кажется красивее, обширнее и лучше выстроенным, чем на самом деле. Пройдя добрых три мили, мы

стали здесь лагерем.

2 августа. Лагерь в Грос Скалеце

Сегодня мы сделали три мили, как и вчера. Мы поднялись в два часа утра и шли очень медленно, разгоняя скуку беседой и любуясь красивыми окрестностями. Пройдя две мили, мы увидели издалека местечко Неходы. Оно расположено на возвышенности, а над ним господствует великолепный замок, резиденция княгини Лажьо. Но самый город некрасив. Дома словно придавлены выступающими крышами. Уродливого смешения дерева и штукатурки, правда, незаметно, но все же архитектура здесь в дурном вкусе. Когда мы были близко от города, навстречу нам вышло десятка три женщин. Как далеко они ни были, каждому офицеру понадобилось, как я заметил, что-то исправить в своем туалете. Насколько же велика притягательная сила прекрасного пола, если, несмотря на усталость, стараешься понравиться женщине, с которой встречаешься лишь на несколько секунд и которую никогда более в жизни не увидишь. Музыканты заиграли красивый вальс, и мы не обманулись в своем ожидании: прелестные оживленные лица, милые улыбки, нежные взоры вознаградили наше внимание.

Нет, в этих горах природа в тысячу раз прекраснее, чем где бы то ни было. Художнику, попавшему сюда, не хватило бы и года, чтобы запечатлеть пейзажи, украшающие пройденные нами сегодня шесть миль. Теперь горы как будто становятся ниже, идти стало легче, после Неход мы все время движемся по одной долине, правда, не очень ровной и пересекаемой изредка неглубокими оврагами.

Но завтра опять переход; потому я откладываю до другого раза удовольствие описать эти красоты.

3 августа. Лагерь в Неделище

Пройдя Яромеж, город побольше, но некрасивее тех, что мы до сих пор встречали в Богемии, мы остановились лагерем у этой деревни.

Местность становится лучше. Горы видны теперь только издали. Даже Йозефштадт – крепость, виденная нами издалека, стоит на ровном месте. Я не осматривал ее укреплений, но они, кажется, устроены регулярно, с бастионами.

Диоген искал с фонарём человека. Я ищу тщеславия и, более удачливый в своих поисках, имею несчастье всюду находить искомое.

Местечки Богемии довольно некрасивы, но я вхожу в них всегда с удовольствием, хоть и видел с полсотни более изрядных

в других краях. Жители выбегают нам навстречу, оживляющее все лица выражение радости льстит моему самолюбию; мне нравится проходить перед этими толпами с самонадеянным видом, который должен внушать уважение зрителям.

Все устраивается здесь как нельзя лучше благодаря разумным распоряжениям властей. Когда мы входим в селение, все дома оказываются запертыми, а жители выносят на улицу съестные припасы, в которых у нас может быть нужда, так что образуется нечто вроде рынка. Если войдешь в какую-нибудь хижину, не увидишь ничего, кроме соломы на полу; из всех углов глядит нищета. А говорят, здесь живут богато. Видно, власти заранее позаботились распорядиться, чтобы все здесь имело бедный вид и возбуждало сострадание, а не жадность у солдата, всегда готового грабить.

Плодоносных деревьев здесь больше, чем в Силезии, но огородов почему-то не видать. Дома, хоть и сплошь деревянные, без примеси, выстроены довольно скверно и выглядят жалкими; только красоты местности позволяют этим селениям соперничать с силезскими.

– Моро, Моро в лагере! Вы его, конечно, нарисуете, – слышу я со всех сторон. Что ж, нарисую. Хотя я не могу передать сходства, ни изобразить какое-либо происшествие, все же я рад запечатлеть минуту, когда этот человек, почитаемый всей Европой и столько лет восхищающий ее своим прямодушием, проскакал мимо нашей колонны, привлекая к себе любопытствующие взоры всей армии.

4 августа. Дневка

Никогда не пугайте солдата заранее трудностями перехода, тогда он легче перенесет их. Я знаю это по себе. Я боюсь завтрашнего марша только потому, что мне сказали, что завтра придется сделать три мили, потом еще четыре и еще три.

Наконец, я повидался с моим дорогим графом[176]. Меня не испугали ни дождливый день, ни мрачные тучи, ни семь верст дороги. Я доехал к нему и подле него вспомнил счастливые дни моей жизни, те дни, когда вдали от шума и развлечений я всей душой предавался обожанию, восхищению и любви. Мы простились. Дождь лил как из ведра. Мне пришлось дать шпоры верной Арапке, чтобы ускорить ее бег, но все же я вымок до нитки.

Ну что ж, палатка всегда наводит меня на философские размышления. Над моей головой ревет буря, хлещет с удвоенной силой дождь, свистит ветер, дождевые капли, перегоняя друг друга, заливают землю, и по канавкам несутся бурные потоки. А я сижу сухой, пишу, читаю, рисую, словно в комнате, хотя меня

защищает простое полотно. Это полотно провисло, наполнившись водой, она стекает по стенкам палатки, а все же я спокоен, и буря пройдет, нимало не потревожив меня. Бывает, подумал я, что на человека свалились, кажется, все несчастья, напали все беды, фортуна отвернулась от него, а он всё-таки упорствует, и все проходит, счастье возвращается, и в сердце его воцаряется покой.

5 августа. Лагерь в Скаховицах

Вот уже начались походные трудности и неприятности. Мы сделали больше четырех миль. Сейчас около восьми часов, а мы только пришли на место.

Местность эта пустынная, деревни имеют довольно печальный вид. Печальный вид и у Слушина – городка, который нам встретился на полпути. Три больших современных дома, а за ними какие-то развалины, выглядящие ещё более мрачно и жалко, чем деревни.

По обе стороны дороги мы видели несколько довольно изрядных крепостей. Справа от нас остался Кенигсграц, довольно хорошо укреплённый замок, с башнями и флешами… Я не осматривал его, потому что дорога и без того была утомительной. Наконец-то, мы на месте, поесть и поспать – больше я ни о чем не думаю. Вот я снова уподобляюсь животному, и, может быть, надолго.

6 августа. Лаучин

Вчерашний переход не предполагался таким утомительным. Мы прошли лишнюю милю по вине плохо осведомленного проводника, потому наша колонна оказалась в довольно жалком состоянии. Сегодня мы сделали три мили гораздо более легко.

Когда мы оставили Силезию, я восхищался горами. Местность казалась мне прекрасной, в сто раз прекраснее и величественнее, чем все, что я до сих пор видел. Богемия, подумал я, – великолепная страна… И всего несколько миль меня совершенно разочаровали. Деревни здесь жалкие. Хотя они и велики, но ничем не украшены. Плодов тут больше, чем в Силезии, но сады имеют вид убогий и чахлый. Местечки здешние напоминают польские. Население говорит на языке, похожем на наш; встречаются прямо русские фразы, а также выражения, напоминающие немецкие диалекты. У женщин черты лица изящнее. Привлекательны их черные глаза и крутые брови. Одеваются здесь так же, как в Силезии, но цвета не столь пестры, а прически красивее.

Я зашел в деревню за яблоками. Мне подала их молодая девушка в белом платье. Алый корсаж подчеркивал и украшал ее

тонкую талию. Вместо платка ее плечи и шею закрывал белый воротник. Рассыпавшиеся по плечам волосы были перехвачены синей лентой, завязанной большим красивым бантом, напоминавшим крылья бабочки. За флорин она мне предложила 35 яблок, но из почтения к ней и из восхищения ее прелестями я взял только несколько штук, положив в ее корзинку целых три флорина. Легкая улыбка послужила мне наградой. О женщины, женщины! Ваша улыбка может послать нас на смерть. Ваша улыбка стоит часто сокровищ, целых годов счастья.

– Вам бы следовало писать путевые записки, – сказал мне кто-то; вот почему я никому не показываю свой дневник. Я вовсе не думаю подражать Шатобриану[177], я пишу для собственного удовольствия. Вчера, если бы я даже увидел самые прекрасные на свете пейзажи, я не стал бы их описывать.

Другой, может быть, повторил бы чужие описания Дрездена, лишь бы не признаться, что не был там. Что до меня, я пишу, только когда это доставляет мне удовольствие и когда у меня есть на это время. Находясь все время на биваках, я не вижу населения, не могу ознакомиться с его нравами, ни даже изучить как следует край. Города тут почти все одинаковы, совсем не красивы. И ничто пока не привлекает моего внимания.

А если бы у меня даже и были какие-нибудь замыслы… завтра предстоит пройти четыре мили… и эта мысль вытесняет все остальные; придется, видно, отказаться от всяких занятий и вернуться в первобытное состояние: хорошо есть, спать и ни о чем больше не думать.

Сейчас только три часа; сегодня, слава богу, мы шли менее 12 часов; я успел пообедать и поспать 6 часов. Вот судьба, которой я заслуживаю, которая, по крайней мере, кажется нам счастливой.

Замок Лаучин заслуживает нескольких строк. Он принадлежал раньше герцогине Фюрстенберг; я забыл имя теперешнего владельца, жена которого приходится сестрой прусской королеве.

Аллея из каштанов, довольно просторный двор, часовня, великолепные комнаты – это наименьшие красоты замка. Со стороны равнины, по которой мы шли и которая имеет вид большого поля битвы, находится высокая терраса, подымающаяся тремя уступами. Она украшена цветами, купами деревьев и окружена теплицами. Наверху также растут прекрасные деревья, долина постепенно понижается, ее пересекают ущелья, живописные ручьи, она уходит вдаль и наконец совсем пропадает из глаз. С левой стороны терраса шире. Середину ее занимает поросшая цветами луговина, по краям тянутся густые аллеи. Я заглянул туда только на минуту и увидел фонтан, вольеры,

изящные храмики. С края террасы видна тройная цепь гор, местами утесистых, местами поросших кустарником и прерываемых живописными равнинами; громадный парк охватывает их подножие… Наконец, я с радостью увидел, что и здесь можно найти красивые виды.

7 августа. Лагерь в Эльба-Коштелеце
(переход в 3 мили)

Прозябать – вот наша судьба, радоваться лишь воспоминаниям, опасаться будущего, терпеливо сносить настоящее, забывать прошлое – вот какова судьба воина…

Наши переходы теперь не так утомительны. Расстояние между батальонами стало больше, поэтому идти легче, мы реже останавливаемся; но марши всё так же скучны. Я пытаюсь развлечься, заходя то в одну, то в другую деревню, но тщетно: нигде меня не встречает гостеприимство.

По мере того как мы приближаемся к Эльбе, местность становится суше. Дороги покрыты песком, леса пошли сосновые… Я устал и был в дурном настроении, но, когда увидел внизу Эльбу, сердце у меня забилось, я перекрестился. Дай бог, сказал я, чтобы во второй раз мы перешли её со славой. Дай бог, чтобы мы вернулись только увенчанные лаврами победы.

Однако завтра надо пройти шесть миль до Будена; заранее предвижу эту скуку, готовлюсь к ней, и перо выпадает у меня из рук.

9 августа. Лагерь в Лауне
Добро и зло

Вместо того чтобы сделать шесть миль и прийти в Буден, мы сделали почти восемь и час тому назад, то есть в 8 часов утра, пришли сюда.

Вчера мы поднялись в четвертом часу и шли до одиннадцати. Местность ровная, но песчаная, окрестности чрезвычайно унылые, голые бесплодные склоны вдалеке – все предвещало неприятный и утомительный переход. Мы спускались по склону, я видел берега, воду и, наконец, всю Молдаву, которая в этих местах разделяется на множество протоков, образуя прелестные острова. Аккуратные мостики, хорошенькая мельница в виде павильона, купы дубов и плакучих ив на главном острове, чья зелень отражается в прозрачной воде, образовали прекрасную картину. Далекие горы, господствующие над противоположным берегом, представляют живописный контраст со свежим весенним видом этих островков.

Предмостное укрепление, защищенное дефиле и хорошо

фланкированное, с деревней впереди, также укрепленной, прикрывает тыл; равнина эта представляет такое высокое плато, что возвышенности не могут быть опасны. Мы прошли еще немного и остановились для отдыха и чтобы сварить каши. Пройдено две с половиной мили.

Мы оказались в долине, засаженной грушевыми деревьями, размещенными в шахматном порядке. Справа от нас Молдава, соединившая тут все свои рукава, быстро текла по ложу из мелкой гальки в тени зеленых дерев. В глубине виднелась равнина, окруженная рощицами и летними домиками. Прямо перед нами был дом священника; селение, правильными рядами подымавшееся по склону горы, дополняло прелестный пейзаж.

Мои люди запоздали. Меня любезно угостили прекрасным обедом, и я уснул под грушей, с которой предварительно имел удовольствие обобрать все плоды; когда я проснулся, между нами завязался веселый разговор, занявший остаток времени, и я совсем не чувствовал усталости и с удовольствием услышал барабан, звавший продолжать поход.

Мы вышли около четырех часов. Арапка пообедала гораздо хуже меня, и потому я решил заехать в попавшуюся мне на пути деревню. Я стучался во все двери, но ни одна не отпиралась; я видел в окнах крестьян, но они не отзывались, и я пришел в негодование. Вот пример несправедливости человеческой: ведь это единственный способ, которым бедняки могли воспользоваться, чтобы защитить свое добро. Наконец, я увидел какие-то большие и очень грязные строения с низкими окнами и вошел туда из любопытства. Это была ферма. Великолепные коровы, масса кур занимали все помещение; я открыл полуразбитую дверь, попал в темный дымный коридор, а оттуда – в комнату управляющего. Заплатив гроши, я получил кое-какую еду и, поелику Арапка очень увлеклась своей охапкой сена, оказал ей снисхождение и остался там на целый час. Когда я подходил к двери, она с таким умоляющим видом взглядывала на меня и снова принималась жевать, что у меня не хватало духу помешать ей.

Колонна ушла уже далеко вперед, смеркалось, я наполнил сумку крутыми яйцами и грушами и пустился в дорогу, непрестанно (со стыдом признаюсь в этом) побуждая Арапку ударами хлыста бежать спорой казацкой рысью. За час я проскакал 7–8 верст и догнал полк как раз на стоянке. Был уже десятый час, я отослал Арапку в соседнюю деревню и, закутавшись в свою любимую, столько послужившую мне шинель, крепко заснул.

Вот и пять миль сделано самым приятным образом. Чего же

стоят все наши опасения? Просто выдуманные страхи, преувеличенные воображением.

Чего же стоят все земные блага, когда подумаешь, что зло связано с ними неразрывно? Ночная темнота помешала мне заметить собравшиеся на горизонте тучи. В 4 часа утра нас разбудили, чтобы идти далее. Шинель моя вся промокла, кивер, который я низложил под голову, был полон воды, шарф мой намок, ноги плавали в огромной луже; чтобы хоть рубашка осталась сухой, я вновь набросил на плечи шинель, весившую не менее пуда. На каждом шагу я рисковал потерять сапоги. Верная Арапка, ты была в деревне и жевала сено под уютным кровом, пока твой бедный хозяин сражался с грязью. Никогда еще не было такой отвратительной ночи; я вспомнил ужасный марш из Свенцян. Дождь все продолжался, мелкие ледяные капли пронизывали нас; земля под ногами размокла, и я с трудом вытягивал сапоги, облепленные грязью… Наконец, я увидел Арапку и завершил путь с несколько большими удобствами.

Наконец, мы пришли на место, и едва составили ружья, как дождь перестал. Солнце пронзило густой покров туч и осветило своими благодатными лучами прелестную лужайку, на которой разместился наш бивак.

Веселый ручеек омывает эту лужайку, плодовые деревья осеняют ее; солдаты обобрали с них все плоды, заменив их своим платьем, развешанным для просушки; все рады, усталость забыта.

Так что же, где же теперь зло? Оно проходит и забывается; а пока его переносишь, приходится терпеть, ибо кто же не знает, что за горем следует радость.

10 августа. Лагерь в Бриксе. Переход в 2,5 мили

Лаун расположен в чрезвычайно живописной долине; однако из-за остроконечных крыш его дома кажутся менее красивыми, чем виденные нами прежде. Этот город довольно велик и хорошо выстроен, Эгер омывает его стены, вымощенная камнем дорога длиной в три версты ведет к другому местечку, фон пейзажа образуют горы причудливой формы.

Сегодня мы вышли только после полудни. Хотя местность очень неровная, идти было легко. Вид гор украшал наш путь. Часов в семь мы увидели Брикс, расположенный почти так же, как Лаун, и представляющий еще более живописную картину. Тоже два кольца стен, дома покрасивее, некоторые даже напомнили мне Саксонию, две-три большие площади, поросшие лесом горы и скалы, окружающие его, заставляют меня отдать этому городу предпочтение перед всеми другими. Все города, которые я здесь до сих пор видел, напоминают польские местечки. Церковь, одна

черепичная крыша, все другие соломенные – вот почти все, что мы видели в городках Богемии.

За Молдавой всюду слышится немецкий говор, и местность стала более разнообразной и пересеченной. Мы опять вошли в горы. Это напоминает мне Силезию…

Но барабан бьет отбой, уже девять часов, а я ещё не сплю, и кажется, словно не ложился до трех часов ночи. Завтра, наверное, опять переход, усталость, скука… ах, я засыпаю.

12 августа. Собохлебен

Ответ на ваши замечания

Мне советовали, как я уже говорил, вести путевые записки. Менее требовательные люди желали подробных описаний.

– Он изобразил все утолки Плоцка, описал в подробностях силезскую деревню Бюллоу, показал нам Розу и Доротею – и обошёл молчанием Дрезден, Прагу, Теплиц.

Что делать, так мы двигались. Я изображаю то, что на меня производит впечатление, то, что я вижу.

Вчера, например, мы вышли в два часа пополудни. Пройдя две мили по трудной дороге среди отрогов горного хребта, замыкающего этот край, мы вошли в Теплиц, когда уже спускалась ночь. Я увидел превосходные здания, прекрасные улицы, широкие площади, множество народу, сады, гульбище – и ничего об этом не рассказываю. Неужели возможно, скажете вы, чтобы путешественник отказался дать картину интереснейших мест того края, по которому он проходит, только потому, что его лошади натёрло седлом спину? Ему бы следовало остановиться, оглядеться, нанять экипаж, задержаться на несколько дней… А я, совсем наоборот, тащусь за колонной, ибо обстоятельства не дают мне возможности ознакомиться с этим городом. Потому я и не рисую Теплиц, что рисунки, сделанные по памяти, не могут быть точными, а наброски, которые можно было бы сделать в полутьме, были бы ещё более неточны.

В походе я всегда ем фрукты. Мне хотелось, по крайней мере, запасти их в Теплице, но по глупой неловкости я даже не нашел место, где они продаются.

Ночь была совсем темная, верная Арапка, на спине которой отозвались мои частые прогулки, брела за мной, грустно понурив голову: шел холодный дождь, к довершению неприятности дорога покрылась грязью, и на каждом шагу Арапка обрызгивала меня до колен. С поразительным смирением я проделал еще две версты, перегнав колонну, которая двигалась очень медленно.

Передо мною открылся Дукс, хорошенький городок с прекрасным замком, и еще красивые селения вдали, но красоты

природы мало меня трогали. Можете упрекать дождь, это он лишил вас рисунков и описаний, которые навряд ли понравились бы и мне самому.

Наконец, я попал в узкое ущелье и вынужден был следовать за двумя офицерами, которые, несмотря на скверную погоду, были в прекрасном настроении. Вообразите себе, каково тащиться позади двух дураков, которые то хвалят и критикуют самые старинные водевили, то терзают романсы прошлого века, то обсуждают нравы современного, определяют судьбы войны, утверждают всякие нелепости да еще наперебой восхищаются друг другом…

Вы, наверно, подумали, что я смотрел на них через мутное стекло досады, что я несправедлив к ним, потому что был в дурном настроении, но человек слаб, даже чужие недостатки он замечает благодаря своим. Мы негодуем на то, что раздражает нас больше, чем на действительные пороки, и думаем, что весь мир создан для нашего удовольствия.

Я возбудил их любопытство, я был для них словно человек в маске, а они надоели мне, как самые скучные персонажи маскарада.

Наконец, я увидел костры, услышал шум, радостные крики… Это был наш лагерь. Я улегся на открытом воздухе, смиренно приготовившись совершить еще один марш сегодня, но, кажется, у нас будет дневка.

13 августа. Лагерь в Гроссе Котте
Королевство Саксонское

По мере того как приближаешься к Саксонии, деревни становятся красивее. Сегодня утром, пройдя около двух миль, мы перешли границу у Петерсвальде. Эта деревня лучше всех других. Нам предстояло перейти три большие горы; едва поднялись мы на первую, как я увидел колокольни Дрездена. Я увижу тебя, – воскликнул я в ту же минуту, – снова увижу тебя, столица, которую мы покинули ещё легче, чем захватили. Эта мысль доставила мне тайное удовольствие… Вдруг на одном из холмов я увидел завалы, услышал грохот орудий… Вы понимаете, что вся душа моя воспряла и лучи надежды, столько раз меня обманывавшей, столько раз возрождавшейся, опять согрели мое сердце.

Трупы на дороге, транспорты с ранеными, брошенные биваки – вот что я прежде всего увидел в Саксонии, а сейчас на первом ночлеге в этой стране я засыпаю под грохот пушек.

notes

Сноски

1

Военно-сиротский дом был учрежден Павлом в Гатчине 28 декабря 1792 года, еще в бытность его великим князем. По воцарении Павла I (1796 г.) корпус был переведен в Петербург. С 19.02.1829 г. – Павловский кадетский корпус, с 25.08.1863 г. – Первое Павловское пехотное училище.

2

Кофишенк (кофешенк) – придворный чин смотрителя за кофе, чаем, шоколадом и прочими горячими напитками.

З

Поярок – шерсть, руно с ярки, с овцы по первой осени, первой стрижки. Поярковый (поярчатый) – сотканный или свалянный (чаще) из поярку.

4

Неофициальное название Ораниенбаума.

5

Дворянский полк (так наименован в 1808 год, до того назывался Волонтерным корпусом) был сформирован при 2-м кадетском корпусе 14 марта 1807 года. Целью этого учреждения была массовая подготовка офицеров из молодых дворян и студентов гражданских учебных заведений. Ранее дворяне из небогатых семей записывались в гвардейские и даже армейские (особенно кавалерийские) полки рядовыми, создание полка позволяло распорядиться этими кадрами более рационально. После ускоренного обучения воспитанники полка переводились в армию офицерами. По отзывам современников, уровень их подготовки оставлял желать лучшего. 17 апреля 1855 г. Дворянский полк преобразован в Константиновский кадетский корпус, а в 1859 г. – в Константиновские военное училище. За первые 25 лет своего существования Дворянский полк подготовил 9070 офицеров.

То есть строевой подготовкой, которая служила в те времена важнейшей основой военного дела.

7

Кутасы – украшение кивера в виде замысловатой оплетки с кистями на концах.

8

Темляк – ременная или ленточная петля на эфесе сабли, шашки, шпаги или палаша, надеваемая на руку, чтобы выбитое из руки оружие не падало.

9

В связи с массовой подготовкой офицеров для вновь формируемых полков были снижены требования к декоративным элементам офицерских мундиров. Ранее все металлические детали желтого цвета исполнялись из золота, белого – из серебра. Полный комплект офицерского обмундирования обходился в несколько сот рублей. Денис Давыдов, служивший с одном из самых «дорогих», лейб-гвардии гусарском полку, писал: «У нас было больше золота на ташках, нежели в ташках». В ходе наполеоновских войн от этой разорительной для большинства офицеров практики постепенно отошли.

Это вполне реальная стоимость роскошного офицерского шарфа, тканного серебром. Стоимость солдатского обмундирования оценивалась примерно в 12–20 рублей.

11

Согласно ‹…›, помимо 4 гарнизонных рот, в формировании 50-го егерского полка участвовали также 4 роты 35-го егерского полка (бывшего Софийского мушкетерского). Пехотные полки дивизии создавались каждый на базе 2 рот кадровых полков и 4 гарнизонных рот, так что считать дивизию Неверовского состоящей из одних рекрут (как это часто делается) нет никаких оснований.

12

Вероятно, это была особенность Московского гарнизона; обыкновенно личный состав гарнизонных частей оставлял желать лучшего. То, что Андреев пишет об офицерах, было повсеместным явлением, т. к. в гарнизоны часто переводили из армии за служебные проступки, чаще всего – за пьянство.

13

Тут рассказчик ошибается. Чин генерал-лейтенанта Неверовский получил в конце 1812 года. Тем не менее за сформирование дивизии он был награжден орденом Св. Анны 1-й степени.

Ныне город Истра.

15

Речь идет о знаменитом Новоиерусалимском монастыре. Основатель монастыря патриарх Никон преследовал цель создать подобие Израиля в Подмосковье, поэтому окрестности монастыря были преобразованы в соответствии с евангельскими ландшафтами. Монастырские деревни, реки и холмы получили подходящие библейские названия.

16

Вероятно, имеется в виду так называемый «Скит Никона», сохранившийся до настоящего времени.

17

Из воспоминаний Андреева следует, что монастырю не везло и в старину, но самые тяжелые испытания он перенес в XX веке. В декабре 1941 года он был преднамеренно разрушен фашистами, Воскресенский собор взорван, музеи разграблены. Восстановление монастыря началось вскоре после войны.

Такую характеристику дивизии подтверждает А.М. Дараган в ее биографии Д.П. Неверовского. Она утверждает, что московский губернатор называл 27-ю дивизию «Московской гвардией».

19

Речь идет об известном сражении под Салтановкой 10–11(22–23) июля 1812 г.

20

В 1839 году я служил исправником в Новоржевском уезде и при проезде Фельдмаршала князя Эриванскаго чрез наш уезд его встретил и рапортовал. Он пред станцией Ашевой шел пешком. Увидя у меня медаль 1812 года, он спросил, где я служил. Ответ был мой скор: «Я служил у храброго генерала Неверовскаго в 27-й дивизии». – «А знаю! жаль доброго моего друга, – сказал князь, – а помните ли вы, как я под Смоленском вас выручил?» – «Ваша светлость, – отвечал я, – вы не помнили зла, что дивизия наша не выручила вас под Могилевым». – «Да, это правда, что не выручила, – сказал он, – но как могли вы выручить, пройдя и без того неимоверно, около 80 верст в сутки? Жаль мне и теперь вашего храброго и доброго Дмитрия Петровича Неверовскаго!». – Прим. Андреева.

21

По свидетельству поручика Симбирского пехотного полка Душенкевича, в Смоленске была оставлена 1-я пехотная бригада 27-й дивизии (Одесский и Тарнопольский пехотные полки). Тем не менее он также считает, что во время боя у Неверовского было 5 полков – 4 собственных и один сводный, из батальонов 42-го егерского и Орловского пехотного полков 26-й дивизии. Некоторые источники называют также Полтавский и 41-й егерский полки. В целом вопрос о составе отряда Неверовского остается открытым; положительно можно утверждать лишь участие 49, 50-го егерских, а также Симбирского пехотного полка, относительно прочих сведения противоречивы.

22

То же видел Душенкевич с позиций Симбирского пехотного полка.

23

По-видимому, Неверовскому поначалу все же удалось устроить общее для всех полков каре, однако оно не было слишком стройным и в ходе отступления смешалось окончательно.

24

Вороновский утверждает, что местность от Красного до Смоленска представляет собой широкие и ровные поля, раскинувшиеся по обе стороны от дороги (*Вороновский В.М.* Отечественная война в пределах Смоленской губернии. Смоленск, 1911).

Душенкевич, напротив, утверждает, что березы и рвы помогали укрыться от французской кавалерии; из этого невнятного утверждения многие исследователи делали неверный вывод, что отряд Неверовского отступал походной колонной по дороге. Это чудовищное искажение показаний очевидцев делает картину боя совершенно непонятной и даже фантастической. Тем не менее оно зафиксировано во многих вторичных источниках, в том числе на известной картине Петера Гесса.

Душенкевич, напротив, относит действие захваченной артиллерии к финальной части боя.

Душенкевич также упоминает одного «храброго французского штаб-офицера», «павшего на штыках». Рассказ Андреева кажется более отвечающим действительности.

Реально с боем было пройдено 12 верст.

Совпадает с показаниями Душенкевича.

Вопрос о потерях не может быть решен с точностью. Сегюр говорит о 1200 пленных и 1000 убитых, что кажется преувеличением. Паскевич утверждал, что дивизия была наполовину истреблена, т. е. оценивает потери в 2000–2500 человек, – но эту цифру он приводит со слов адъютанта Неверовского, высланного вперед прямо из боя; точной эта цифра быть не может. Богданович приводит цифру в 800 пленных и 700 убитых, но никак ее не объясняет. Судя по тому, что 27-я дивизия отнюдь не потеряла боеспособности и через пару дней активно сражалась в Смоленске, к малой цифре потерь, сообщаемой Андреевым, следует отнестись со вниманием. Она тем более заслуживает внимания, что Душенкевич также не сообщает о значительных потерях и уверяет, что французы потеряли намного больше (по французским данным – 500 человек). В любом случае, значительная часть потерь лежит на драгунах, казаках и артиллерии, пехота же действительно могла понести самые ничтожные потери, отражая атаки холодным оружием в сомкнутой массе и не подвергаясь почти действию ружейного и артиллерийского огня.

31

Уланы – традиционный польский вид кавалерии, популярный, впрочем, и в других армиях, в том числе и в русской. Литовский уланский полк включал в себя много солдат и офицеров польского происхождения, сохранивших верность России наряду с русскими. Среди последних можно назвать поручика Александрова (известную кавалерист-девицу Н.А. Дурову).

32

В полном батальоне, вместе с гренадерской ротой, должно было быть около 640 человек, если гренадеров не отряжали в сводные части, что делали весьма часто. Численность действующих батальонов обычно не превышала 500 человек. Возможно, Андреев все же имеет в виду полную численность своего полка.

33

Еще одно странное место – в полной роте насчитывалось около 160 человек. Если речь идет все-таки о полке, это место следует читать «так что нельзя было и роты набрать на батальон».

34

Форштадт – гражданский поселок при военной крепости.

35

В.А. Афанасьев пытается доказать, что награды вышли разновременно в 1813 и 1814 годах, ссылаясь на данные из доклада Барклая де Толли 22 апреля 1814 г. в Париже за дела 2, 4, 5 и 7 августа (Жизнь и подвиги генерал-лейтенанта Дмитрия Петровича Неверовского (1771–1813) под ред. Генерального штаба полковника В.А. Афанасьева, СПб., 1911).

Речь, конечно, идет о «хлебном вине», т. е. водке.

37

Выходя раненым (тоже в ногу) из оставляемой войсками Москвы, Душенкевич также наткнулся на брата, служившего в другом полку. Вообще, некоторые параллельные свидетельства участия в сражениях совпадают едва ли не текстуально, интересно в этом смысле сравнить, например, описание собственных приключений при Гейльсберге двух уланов – Н.А. Дуровой и Ф.В. Булгарина. Возможно, это дань общей литературной моде, диктовавшей некоторые «беспроигрышные» сюжетные ходы. Спустя много лет память услужливо подставляла мемуаристу именно такие, «литературные» эпизоды.

38

Как следует из текста, в состав сводной гренадерской дивизии при Бородине были отобраны гренадерские роты 2 действующих батальонов из каждого полка, помимо гренадерской роты запасного батальона.

Андреев не единственный, кто говорит о невысоких боевых качествах ополчения.

40

После слова «гвардейский», вероятно, выпущено слово «корпус». Перечисленные гвардейские полки входили в состав 1-го резервного кавалерийского корпуса под командованием графа Ф.П. Уварова.

41

При всей сумбурности, эта фраза весьма интересна, если ее понимать как «видел впервые с пиками». Перед войной первой шеренге гусар было приказано иметь пики; но на практике, видимо, это исполнялось только в гвардии.

Вернее, усадьбу.

43

Произносить напыщенные «исторические» фразы было очень в характере Милорадовича, который сознательно соревновался в сем искусстве со своим непосредственным противником, маршалом Мюратом. Об этом можно прочесть в мемуарах Ермолова.

44

Вымораживание – способ крепления вина, состоящий в замораживании до температуры замерзания воды. Затем лед удаляется, а оставшееся вино (вымороски) становится крепче.

В данном случае – оскуделых дворян без крепостных.

То есть такая «неисправность» по службе грозила разжалованием в солдаты.

47

В 1826 году Н.И. Андреев женился на Надежде Николаевне Чихачевой.

48

Крепость Модлин у слияния Варева с Вислой существовала в зачаточном состоянии еще в XVIII веке: она имела земляные верки, которые к концу столетия пришли в полный упадок. Наполеон оценил важное стратегическое значение Модлина и во время кампании 1807 г. приказал в целях облегчения переправы через Вислу и Нарев построить большое предмостное укрепление на правом берегу Вислы и малые укрепления на левом берегу Нарева, на Новодворском полуострове. Затем, готовясь к походу в Россию, он признал необходимым обратить Модлин в первоклассную крепость, причем в составлении проекта этой крепости принимал участие известный французский инженер Шасслю. В 1813 г., ко времени блокады Модлина русскими войсками, он представлял собой следующее: главная крепость, на правом берегу Вислы и Нарева, состояла из ограды о четырех фронтах бастионного начертания, обращенных в поле, и одного фронта – неправильного кремальерного начертания, обращенного к реке. Три напольных фронта, наиболее подверженных атаке, имели равелины, вынесенные за гласис. Средний фронт, расположенный почти по прямой линии с соседними, не был подвержен атаке и потому имел равелин, примкнутый к контрэскарпу. К западу от крепости, у берега р. Нарева, находился горнверк с равелином, а еще далее к западу – верк кремальерного начертания с равелином и каменным блокгаузом в горже; он носил название кронверка Утратского. К северу от крепости находился кронверк Средний, а к северо-востоку – кронверк Модлинский. На левом берегу Вислы было расположено Казунское мостовое укрепление, на Шведском острове у головы моста находилась флешь с крыльями; наконец, на Новодворском полуострове – мостовое укрепление в виде горнверка, с отдельным ретраншементом в горже и двумя передовыми батареями (данные приводятся по источнику: *Яковлев В.В.* История крепостей. Гл. 18. М.: Полигон, 1995).

49

Служба в гвардии обходилась дорого из-за повышенных требований к обмундированию, а также многочисленных престижных трат. Жалованье гвардейцев ненамного превышало армейское (на 20–50 %), но траты были многократно больше. Например, гвардеец не мог позволить себе пить в трактире дешевое вино или пиво, приходить пешком на званые балы и т. д. Попытка «удешевить» собственное содержание могла вызвать не только насмешки товарищей, но и прямые нарекания начальства.

50

18 октября 1813 года Неверовский был ранен пулей в ногу (в лодыжку) в сражении под Лейпцигом. Присланный врач (Тарасов) решил воздержаться от ампутации, однако вынуть пулю не смог. Решение отказаться от ампутации оказалось ошибочным: Неверовский умер от гангрены 21 октября того же года.

51

«Афера» Андреева состояла, вероятно, в том, что гостеприимные хозяева взяли на содержание его роту, скорее всего, в обмен на услуги, которые способны оказать находящиеся в поместье 160 пар крепких рабочих рук. Тем не менее Андреев получал со складов необходимое довольствие, которое продавал, получая с солдат расписки. Вырученные деньги он отдавал солдатам за определенный посреднический процент, на который и содержал себя в достатке. О распространенности такой практики красноречиво свидетельствует распоряжение А.А. Аракчеева отказать в прибавке жалованья ротным командирам, «поскольку оные пользуются доходами с рот».

52

Действительно, Андреев командовал 3-й гренадерской ротой полка (она же 4-я (гренадерская) рота 3-го батальона, она же 9-я по счету среди действующих рот полка: сначала следовали 4 роты 1-го батальона, затем гренадерская рота 2-го (запасного) батальона, и, наконец, 4 роты 3-го батальона, последней из которых командовал мемуарист.

Напомним, что сам Андреев умел «читать и писать по-французски и по-немецки», т. е. владел языком, что называется, «со словарем».

54

Степенные книги – свод исторических сведений о России от древнейших времен до Ивана Грозного, составленный в XVI веке.

55

Махиавель – Макиавелли Николо (1469–1527) – итальянский политический деятель и писатель.

56

Маркиз Куева де Бедмар (1572–1655) – испанский дипломат, посол в Венгрии; описан французским аббатом и историком Сент-Реалем (1639–1692) в книге «История заговора испанцев против Венецианской республики в 1618 году» (1647 г.).

57

Гедеон (ок. 1726–1763) – придворный священник при императрице Елисавете Петровне, славившийся своими проповедями.

58

Имеется в виду укрепленная позиция близ г. Дриссы на левом берегу Западной Двины.

59

Имеется в виде «Фарсалия» – поэма Лукана (39–65), римского поэта, в которой прославляется Катон Младший как воплощение гражданской доблести.

60

Имеется в виду популярный в свое время роман французского писателя Мармонтеля Ж.-Ф. (1723–1799) «Велисарии».

61

Три старших сына этого почтенного дворянина были уже на службе. В продолжение войны четверо из них ранены.

62

Колоцкий монастырь – расположен близ села Бородина, где произошло генеральное сражение 26 августа 1812 года.

Табор – бивак (bivoique).

Лейбниц.

Имеется в виду 1-й кадетский корпус.

Выражение из сочинений Гуфланда.

Позорище (устар.) – зрелище.

68

Речь идет о персонажах романтической идиллии «Поль и Виргиния» французского писателя Бернардеча де Сен-Пьера (1737–1814).

Сие выражение принадлежит почтеннейшему А.С. Шишкову.

6000, сдавшихся добровольно, препровождены были тотчас, со всевозможными выгодами, в главную квартиру. Им оставили даже повозки с грузом, бывшие при них, и все, кроме оружия.

71

Имеется в виду ложный маневр, с помощью которого Наполеону с остатками «великой армии» (ок. 30 тыс. человек) удалось ускользнуть на Березине от преследования намеревавшихся его пленить адмирала Чичагова и графа Витгенштейна.

72

Клястицкие поля – севернее г. Полоцка, в районе которого произошло сражение между войсками корпуса генерала П.Х. Витгенштейна и французскими войсками маршала Удино.

73

Валахия – юго-западная часть Румынии.

74

Аббат Сабатье (1682–1742) – французский монах и теолог, критически изучавший Библию.

75

Арминий (I в.) – вождь древних германцев, победитель римской армии полководца Вара в Тевтобургском лесу (9 в. н. э.).

Кунтуш – польский кафтан.

Орден св. Владимира III степени.

Фукс Б.Е. – секретарь А.В. Суворова, автор книги «История генералиссимуса князя Италийского графа Суворова-Рымникского».

79

Баярд – легендарный средневековый французский «рыцарь без страха и упрека».

80

Ротмистр Мариупольского гусарского полка.

81

Вильсон Роберт (1777–1849) – английский генерал, в 1812 г. находился в русской армии в звании великобританского комиссара.

82

Костюшко Тадеуш (1746–1817) – руководитель Польского восстания 1794 г., участник войны за независимость в Северной Америке 1775–1783 гг.

Все это напоминает басню Крылова, где царевича-львенка учили вить гнезда.

Непостижимая слепота, постигшая начальников и влиятельных лиц, тогда как превосходное целесообразное боевое образование суворовских войск было в свежей памяти. И, несмотря на всю эту нелепость, русские войска совершали подвиги едва вероятные.

Но во всем этом безобразии была и светлая сторона: чинопочитание и дисциплина, развитые вполне до поразительности. В самое время разгула пирующих, когда обыкновенно происходят изъяснения в любви и целованья, начальник, по капризу, надуется и примет грозный вид: все встают; пьяный начальник делает выговор пьяному подчиненному, иногда отправляет на гауптвахту; подчиненный с кротостью агнца повинуется, не смея возразить ни одного слова; говорит: «виноват…» и отправляется на гауптвахту. Скоро после того начальник смягчается, просит всех усесться, и повторяется невинное занятие. В нашем полку не было примера нарушения чинопочитания и ослушания. – *Прим. Д.Е. Остен-Сакена.*

Публикуемый дневник, как видно из имеющихся в нем записей, а также из писем А.В. Чичерина, был не первым. Судьба тетрадей, заполненных еще в Петербурге, и дневника первых трех месяцев похода, отправленного в Петербург в июне 1812 г. к С.В. Строгановой для пересылки матери Чичерина (см.: Письма А.В. Чичерина., № 8, 10), неизвестна. Тетрадь, содержавшая записи с конца мая по конец августа 1812 г., пропала в Москве при отступлении русской армии.

85

Лейб-гвардии Семёновский полк, в котором служил А.В. Чичерин, выступил из Петербурга в поход к западным границам России 9 (21) марта 1812 г.

Эти настроения А.В. Чичерина разделяли и другие русские офицеры. Так, П.С. Пущин, командир 9-й роты 3-го батальона Семёновского полка, в которой служил Чичерин, записал 3 сентября у себя в дневнике, что вступление французов в Москву возбудило всеобщее негодование и ропот: многие офицеры говорили, что если будет заключен мир, они перейдут на службу в Испанию (где в это время шла упорная партизанская война против захватнических французских армий). 6 сентября Пущин записал: «Население… выбежало за нами, упрекая, что мы покидаем столицу. Многие присоединились к нашим колоннам, чтобы уйти до наступления неприятеля. Это зрелище щемило наши сердца». (*Пущин П.С.* Дневники Павла Пущина).

87

Мария – младшая сестра Чичерина, жившая вместе с матерью в имении под Могилевом. После смерти матери в августе 1813 г. она переехала в Петербург к своей опекунше Роксандре Стурдзе. В 1816 г. Мария вышла замуж за А.С. Стурдзу (Алеко) и в марте 1817 г. умерла от родов.

88

Мария – младшая сестра Чичерина, жившая вместе с матерью в имении под Могилевом. После смерти матери в августе 1813 г. она переехала в Петербург к своей опекунше Роксандре Стурдзе. В 1816 г. Мария вышла замуж за А.С. Стурдзу (Алеко) и в марте 1817 г. умерла от родов.

89

В русской армии того времени на казённом довольствии находились только солдаты. Офицеры питались за свой счет, и пищу им готовили сопровождавшие их в походе слуги или солдаты-денщики.

90

Речь идет об одном из двух братьев, сыновей французского эмигранта де Броглио-Ревель, окончивших кадетский корпус и вступивших в Семеновский полк раньше Чичерина. Поручик Карл-Франциск-Владислав был убит в сражении при Кульме; его брат – штабс-капитан Альфонс-Гавриил-Октав участвовал в кампании 1812 г. и заграничном походе 1813–1814 гг. В 1816 г. он вышел в отставку, в 1826 г. привлекался по делу декабристов, но был оправдан.

Как и многие из его современников, Чичерин думал, что отступление русской армии было вызвано предательством в ставке и правительстве.

92

Отец и сын Чичерины встретились в сентябре 1812 г. в лагере под Подольском. После этой встречи они больше не виделись. Переписка их, о которой есть упоминания в дневнике, до нас не дошла.

93

Имеется в виду роман английского писателя Джонатана Свифта.

Первым сражением, в котором участвовал Чичерин, было Бородинское. Хотя полк весь бой простоял в резерве, прикрывая фланги других полков, семеновцы понесли большие потери, ибо подвергались непрерывному обстрелу неприятеля в течение 14 часов

95

П.Ф. Вадковский, подпрапорщик Семёновского полка. Мать Вадковского просила Чичерина приглядывать в походе за её сыном, не имевшим ещё офицерского звания (он был произведен в прапорщики в октябре 1812 г.).

Очевидно, владелец мызы или хутора в окрестностях села Друи, где Чичерин находился на постое в апреле 1812 г.

Этим уменьшительным именем молодые офицеры называли опекавшего их командира 2-го батальона Семёновского полка полковника Жасента де Дамаса.

С.П. Трубецкой.

Очевидно, А.П. Трубецкой.

По-видимому, Н.С. Апраксина.

101

4 октября 1812 г. Наполеон послал к Кутузову своего адъютанта – генерала Лористона с предложением заключить перемирие. Эта новая попытка заключить мир была столь же безуспешной, как и предыдущие (см.: *Кутузов М.И.* Документы. Т. IV. Ч. 1. М., 1954. С. 367–369; Внешняя политика России XIX – начала XX в. Т. VI. М., 1962, 629).

Я написал это только для того, чтобы предостеречь молодых людей от желания не то что угождать всему свету, а держаться развязно в обществе; особенно молодых людей, ибо им кажется, что легче всего добиться успеха, прослыв «добрым малым», и они выставляют себя на посмешище, тешась надеждой, что снискали всеобщую дружбу и любовь. (Примечание написано позднее и другими чернилами. – *Прим. перев.*)

103

Имеется в виду С.Б. Строганова.

С.В. Строганова.

105

А.С. Голицын.

Н.П. Анненков.

107

Этот случай был отмечен М.И. Муравьевым-Апостолом: «По предложению полковника Семеновского полка А.А. Писарева главнокомандующий спокойно провел ночь в палатке поручика 9-й роты А.В. Чичерина» (*Муравьев-Апостол М.И.* Воспоминания и письма. Прага, 1922. С. 34–35).

108

Некоторые дворяне в Белоруссии охотно присягнули Наполеону и снабжали его армию продовольствием и фуражом. После вступления русских войск в Могилев губернский прокурор Вакар был уволен, а архиепископ Варлаам, приводивший духовенство Могилевской губернии к присяге Наполеону, лишен сана.

109

В Юхнове были сосредоточены отряды Дениса Давыдова. Многие местные крестьяне участвовали в партизанской войне.

С.В. Строганова.

111

Сходный эпизод описан в романе «Сентиментальное путешествие» (глава «Табакерка») английского писателя Лоренса Стерна.

112

Сетования Чичерина на бездействие объяснялись тем, что, согласно планам русской Ставки, в Отечественную войну все гвардейские полки составляли резерв 1-й армии. Преображенцам и семеновцам в 1812 г. не довелось вступить в непосредственное столкновение с неприятелем. Эту же роль резерва обоим полкам пришлось играть и в первую половину кампании 1813 г., до сражения под Кульмом.

113

Имеются в виду неудачные действия П.В. Чичагова, командующего 3-й Западной армией, который не сумел помешать остаткам наполеоновской армии переправиться 14(26) – 15(27) ноября 1812 г. через Березину.

114

М.И. Кутузов, как известно, был назначен главнокомандующим русской армией вопреки желанию царя. Александр I боялся дальнейшего усиления авторитета Кутузова. Он направил в ставку главнокомандующего английского военного представителя Роберта Вильсона, поручив ему подробно сообщать обо всем, что там делается. Вильсон оценивал действия русского командования с точки зрения интересов Англии, не пренебрегал домыслами и прямой клеветой, сближался с генералами, завидовавшими Кутузову или несогласными с ним. Таких было немало, и они чувствовали поддержку двора. Интриги внутри Главной квартиры и вне ее вынудили в конце концов Кутузова выслать в ноябре 1812 г. из действующей армии особенно упорно противодействовавшего ему Л.Л. Беннигсена.

115

Первоначально вся эта запись была озаглавлена «Скитания Вер-Вера», но задуманный Чичериным полушутливый рассказ о злоключениях благонравного юноши из высшего света, которому пришлось три дня скитаться, догоняя свой полк, и терпеть при этом голод и холод, уже не соответствовал серьезным переживаниям и мыслям, вызванным впечатлениями от всего увиденного в эти дни. Поэтому Чичерин дополнил запись от 26 ноября обширным примечанием (совсем в ином тоне) и заменил заглавие.

116

«Вер-вер» – пользовавшееся чрезвычайной популярностью в конце XVIII – начале XIX в. произведение французского поэта Ж.-Б. Грессе (1709–1777 гг.). Первое издание вышло в 1736 г. во Франции и с тех пор неоднократно переиздавалось. В основу произведения была положена комическая эпопея о приключениях воспитанного в женском монастыре попугая Вер-Вера, позднее попавшего в солдатскую компанию.

117

Я не мог больше выносить его вопросов. – *Прим. Чичерина А.В.*

А.С. Голицын.

119

«Уехав к своему отцу» вписано вместо «поступив в пажи».

120

Семья молдавского господаря Скарлата Дмитриевича Стурдзы (1750–1816), переселившегося в конце XVIII в. в Россию, жила в Могилевской губернии. Имение С.Д. Стурдзы находилось недалеко от имения матери Чичерина, и дети этих двух семей часто встречались. Переехав в Петербург, Александр Скарлатович (Алеко) Стурдза начал «делать карьеру» под руководством своей старшей сестры – фрейлины двора. В 1812 г. он начал писать для нее рассказ о своей жизни (рассказ сохранился в рукописи). Там перечисляются соседи и знакомые семьи, но ни слова не говорится о Чичериных. Известный впоследствии как реакционер и ханжа, А.С. Стурдза был объектом насмешек и эпиграмм А.С. Пушкина. Восторженные слова Чичерина были навеяны, очевидно, светлыми воспоминаниями детства.

121

Письма не обнаружены. Мать Чичерина была одной из двух дочерей Александра Михайловича Салтыкова и его жены Марии Сергеевны. Обе сестры – Екатерина и Мария – учились вместе в Смольном институте и окончили его в 1785 г. В родословных книгах и других источниках указывается, что женой В.Н. Чичерина, отца автора дневника, была Екатерина, однако единственное дошедшее до нас письмо матери Чичерина подписано «М. Чичерина».

122

«Размышления о кампании» вносились в дневник вперемежку с другими подневными записями. Чичерин всегда отмечал их начало и конец особым знаком и оставлял внизу большие поля для примечаний, которые добавлял позднее. – *Прим. перев.*

123

Записывая свои «Размышления о кампании», Чичерин понимал недостаточность имевшихся у него сведений.

Война французов с Испанией и беспорядки, которые они возбудили в Польше, вероятно, сыграли тут тоже свою роль.

125

Это сильно сказано. Еще правильнее было бы, однако, сказать: своей славой и счастьем своего народа, которое ему дороже венца. – *Прим. Чичерина А.В.*

Возможно также, что мы, слишком промедлив, упустили удобный момент; к тому же государь из благородства не хотел нападать первым. – *Прим. Чичерина А.В.*

127

К тому же против Витгенштейна стоял Макдональд, который, хотя и не мог надеяться пробиться до Петербурга, все же имел возможность тревожить население и сеять ужас и беспорядок в северных губерниях. – *Прим. Чичерина А.В.*

128

Мы давили на свои тылы, а Багратион не давал следовавшей за ним французской армии разделиться, чтобы нанести нам удар. – *Прим. Чичерина А.В.*

129

Прикрытие нашего отступления стоило графу Остерману восьми пушек и множества людей, но с очень малыми силами он сумел задержать целую армию. Барклая обвиняли в том, что он посылал в сражение малые силы: и действительно, некоторые части пострадали от превосходящих сил неприятеля; но наше движение необходимо было прикрывать, и к тому же я склонен думать, что ему были даны указания свыше избегать генерального сражения. – *Прим. Чичерина А.В.*

130

Это предприятие толкуют как маскирующий маневр, имевший целью скрыть отступление нашей армии, но, как бы то ни было, если оно и не увенчалось успехом, то доказало мужество наших войск и генерала Раевского. – *Прим. Чичерина А.В.*

131

Неверовский долго держался перед неприятелем и, хотя потерял всю свою дивизию, добился замечательного успеха. Он покрыл себя славой. – *Прим. Чичерина А.В.*

132

Последствия показали справедливость моего утверждения, ибо теперь вся Европа убеждена, что мы задолго до того имели план сдать Москву, чтобы обеспечить себе победы, которыми отомстили эту потерю. – *Прим. Чичерина А.В.*

133

Впоследствии мы, может быть, узнаем, каков был замысел французов; мне кажется, что если бы Наполеон мог догадаться о нашей медлительности, он ею воспользовался бы; но во всяком случае нелепые ошибки, сделанные им в этой кампании, заставляют забыть об этом просчете.

134

Эта глава написана, словно на мотив песенки «Ну что ж, сударь, тогда и жить не стоит»; только следовало бы изменить слова так: «Ну что ж, сударь, тогда и жалеть не стоит». – *Прим. Чичерина А.В.*

135

Я зеваю… – *Прим. Чичерина А.В.*

136

Очевидно, речь идет о сочинении А. Жомини «Traitedesgrandesoperationsmilitaires». T. I–II. Paris, 1804–1807.

137

Имеется в виду командир Семеновского полка генерал Я.А. Потемкин, назначенный 12 декабря 1812 г. вместо смещённого в августе К.А. Криднера. С 17 августа до 12 декабря должность командира временно исполнял Ф.Н. Посников.

Н.И. Лавров.

139

Казнён был корнет Нежинского драгунского полка Городецкий, поляк по национальности, умышленно отставший от своего полка во время отступления русских войск.

140

Где соизволил обедать император Наполеон, скрывавшийся инкогнито в свите Коленкура, трепетавший, как бы его не узнали, совсем замёрзший и мучимый заботами. – *Прим. Чичерина А.В.*

Как показывает эта запись, предубеждение против «московских щеголей» уже начало рассеиваться у Чичерина.

142

Предубеждение А.В. Чичерина против поляков свидетельствует о его великодержавных взглядах и отражает реакционную официально-правительственную точку зрения в отношении Польши, часть территории которой по I–III разделам была присоединена к России. После Тильзитского мира 1807 г. Наполеон образовал Великое герцогство Варшавское. Вступление многих поляков герцогства в ряды наполеоновской армии рассматривалось правящими кругами России как измена. В семье Чичериных антипатия к полякам была вызвана и личными мотивами: его мать в 1794 г. во время восстания Тадеуша Костюшко оказалась с детьми в плену у повстанцев.

143

Кто выведен под именем госпожи Ансельм – неизвестно. В своем дневнике Чичерин часто пользовался принятыми у французских авторов XVII–XVIII вв. условными литературными именами для обозначения знакомых ему лиц, а иногда и воображаемых собеседников (Клеон, Дорант, Дамис, Селимена и т. д.).

Н.П. Голицына.

С.В. Строганова.

146

Письмо было адресовано племянникам покойного князя А.П. Строганову и В.С. Апраксину (см. письма).

А.С. Стурдза (Алеко).

«Навек» – «дни», «несчастье» – счастье».

149

Записи от 6 марта предшествовал рисунок «Г-жа Нейфельд справляется о нашем здоровье в наше отсутствие». После главы «Воспоминания» следовала большая акварель «Вид Вислы со стороны театра». – *Прим. перев.*

150

Малерб.

С.В. Строганова.

Н.П. Голицына.

153

Колосков.

154

Я сначала вознамерился написать целую главу для тех читателей, которые не согласятся со мною, но потом решил, что вполне можно обойтись примечанием. Тот, кто исходит из ложных понятий, внушённых смесью роскоши и нищеты, тот, кто судит о массах людей, зная из них только немногих, в чём-нибудь провинившихся, – конечно, не разделит моих взглядов. Но тот, кто станет изучать каждый характер по отдельности и среди солдат, и среди крестьян, несомненно, согласится со мною. – *Прим. Чичерина А.В.*

155

Из оперы «Завтрак холостяков».

156

«Завтрак холостяков», «Мистификация», «Новый Дон Кихот» – оперетты из репертуара французского театра в Петербурге.

157

Этот анекдот – единственное, что о нём стоит рассказать.

М.В. Чичерина, сестра автора дневника.

159

Ямщиков написано русскими буквами.

160

Дуэт Памины и Папагено из первого акта «Волшебной флейты» Моцарта (имеется в виду первоначальный немецкий текст Э. Шиканедера 1791 г., а не последующая итальянская переделка).

161

Прапорщик В.И. Гурко.

Кто обозначен инициалами – не установлено.

163

К сожалению, я не вижу в нем своих недостатков; он утомляет не тем, что много говорит, но тем, что говорит непрерывно и беспорядочно, перескакивая от одного эпизода к другому; требуется напряженная работа ума, чтобы следовать за скоплением его мыслей. – *Прим. Чичерина А.В.*

Кто обозначен инициалами – не установлено.

165

Что до тригонометрии, то она может считаться правой рукой воина; когда привыкнешь к ней, глаз заменяет компас; эта наука требуется всякую минуту и всегда приносит пользу. И все это почти на глаз, ибо естественная пропорция сразу бросается в глаза, тогда как искусственная искажает природу. – *Прим. Чичерина А.В.*

166

См. запись от 2 января 1813 г. – *Прим. перев.*

167

Ипполит, герой одноименной трагедии Еврипида и трагедии «Федра» Жана Расина, был насмерть разбит лошадьми, которые, испугавшись, понесли и опрокинули его колесницу.

Вечно пребудет прекрасным (лат.).

169

М.И. Кутузов скончался 16 (28) апреля 1813 г. в Бунцлау. Василий Голицын писал родителям 6 (18) мая 1813 г. из Житомира: «…Не знаю, дошло ли до вас печальное известие о смерти князя Кутузова, скончавшегося 16-го числа прошедшего месяца, к общему всех сожалению. Это великая потеря для России, и смерть его может иметь большое влияние на успех нашего оружия, столь славно восставленный благоразумными его распоряжениями. Иные говорят, что Беннигсен будет управлять на его месте, а другие утверждают или более желают видеть начальство армии в руках Витгенштейна» (ЦГАДА. Ф. 1278. Оп. 1. Д. 514. Л. 1–2).

170

Лирическая драма в трех действиях итальянского композитора Гаспаре Спонтини. Впервые поставлена в Париже в 1807 г.

171

Чичерин ошибался. На самом деле Кутузов уже скончался, но от армии его смерть скрывали, и некоторое время приказы все еще шли за «его» подписью. Чичерин узнал об этом позднее (см. запись от 4 мая 1813 г.).

172

Я уже давно перестал рассуждать о пороках и добродетелях; эта глава относится к самому обширному классу людей, у которых есть и слабости, и хорошие качества, но нет ни ужасных пороков, ни великих добродетелей. – *Прим. Чичерина А.В.*

173

Воспитатель Чичерина швейцарец Малерб (ранее бывший воспитателем декабриста М.С. Лунина) стал затем гувернером Владимира Апраксина, внука Н.П. Голицыной, и по настоянию бабушки сопровождал своего воспитанника в действующей армии (с февраля 1813 г. по март 1814 г.).

Да, Державин это сказал, но не так, как вы, он сказал остроумно, а вы – как глупец».

175

Я.А. Потёмкин.

П.А. Строганов.

177

Чичерин имеет в виду опубликованное в 1811 г. в Париже трехтомное произведение французского писателя Франсуа Рене де Шатобриана «Путешествие из Парижа в Иерусалим».